Григорий
Медынский

СОВРЕМЕННИК

Григорий
Медынский

Честь

«СОВРЕМЕННИК» ● МОСКВА ● 1976

Р2
М42

Медынский Г. А.
М 42 Честь. Повесть. М., «Современник», 1976.
445 с.

Широта и острота взгляда, масштабность, смелая постановка сложных проблем жизни — характерная особенность творчества Г. Медынского.
Повесть «Честь» посвящена центральной теме всего творчества писателя — воспитанию молодого человека. Произведение привлекает живо развивающимся сюжетом, яркими характерами, волнует остротой проблем.

$М\frac{70302-237}{М106(03)-76}$ 103—77 Р2

Часть первая

1

От школы до дома было недалеко, и Антон так и не решил, говорить или не говорить маме о сегодняшних происшествиях в школе. Она, конечно, все узнает обо всем, но уж пусть это будет позже, чем раньше. Впрочем, если говорить о том, что было, то говорить нужно теперь, до прихода отчима,— Антон его не любил.

Чтобы скрыть свое настроение, он вошел в комнату с бодрым видом, беззаботно насвистывая. Но материнский глаз сразу отметил, как он вошел, как бросил на диван портфель, как в нерешительности остановился посреди комнаты,— явные признаки чего-то неладного. И не успел Антон сообразить, что ему делать, как мать уже стояла перед ним со своим обычным, так надоевшим ему в последнее время вопросом:

— Ну?.. Как дела?

— А что?.. Ничего!

— Ты говорил, что Вера Дмитриевна должна была по геометрии спросить.

— Мало ли что говорил,— недовольно проворчал Антон.— А ты все помнишь?..

— Что же она? Я с ней поговорю!

— Это зачем еще?— теперь уже совсем недружелюбно спросил сын.

— Как — зачем?.. До конца четверти остались считанные дни. Вторая четверть, а у тебя опять двойка выходит.

— Нечего тебе туда соваться!

— Тоник!— воскликнула Нина Павловна.— Как ты разговариваешь?

— А что? Как всегда!.. Ходить тебе туда незачем!..

Резко повернувшись, мать ушла на кухню и стала раздражающе чем-то там греметь, а Антон лег на диван и уставился глазами в потолок. Думать ни о чем не хотелось.

Шум на кухне прекратился, и, вытирая руки передником, в комнату вернулась мать. Она взяла стул и подсела к Антону.

— Тоник!

— Ну?— спросил Антон, продолжая изучать потолок.

Ему, кстати сказать, не нравилось это изобретенное мамой имя. Лучше просто: Антон, как его зовет бабушка, как все или даже как дядя Роман называет в шутку: Антошка-картошка! А мама сидит рядом и смотрит, смотрит, точно хочет загипнотизировать его.

— Давай поговорим!

— Опять «поговорим»!— Антон рывком поднялся и сел, уставившись теперь взглядом в пол.— О чем?

Он поднял глаза на мать, на ее светлые, пышные волосы, аккуратно подобранные, заколотые, как это бывает разве только на манекенах в парикмахерской, на ее нарядный, с яркими розами по кайме веселенький фартучек, повязанный поверх такой же нарядной шелковой пижамы, и на чистое, почти без единой морщиночки лицо, покрытое толстым слоем крема. Все это и особенно крем, его неживой, отвратительный блеск, вызвало у него чувство глухой, еле сдерживаемой неприязни.

Зачем это?

Антон знал, что к приходу отчима противная пижама уступит место нарядному платью, а лицо будет вымыто, вытерто, как будто ничего не было, потом брови мамы окажутся темнее ее волос, губы станут кирпичного цвета и на щеках появится чуть заметный румянец. Зачем? Разве она не красива и так, сама по себе? С тех пор как Антон помнит ее, мама всегда была лучше всех, красивее всех, и незачем ей мазать лицо кремом, который делает ее до обиды уродливой и неприятной. И почему это должен видеть он, Антон, а не тот, ради кого все это делается? И так не вязался со всем этим грустный, страдальческий взгляд ее больших голубых глаз, когда она подсела теперь к нему. Ничего, кроме раздражения, этот взгляд у него не вызвал.

— Ну?— глухо спросил он.— О чем говорить-то?

— Ну как же!.. Тоник!

— Ну что?.. «Тоник, Тоник»! — разозлился Антон. — Началась пилка! И чего ты ко мне привязалась?

Мать вскинула на него глаза, и они тут же вспыхнули гневом.

— Да как ты смеешь?.. — Нина Павловна встала, выпрямилась во весь рост. — Как ты смеешь с матерью так говорить? Щенок!

— Если я щенок, то ты... — вырвалось у Антона, но он тут же испугался, увидев, что гнев в глазах матери вдруг сменился страхом и полнейшей растерянностью.

Она повернулась и молча ушла опять на кухню.

Первым движением Антона было побежать вслед за нею, и обнять ее, и вымолить прощение. Но ничего этого он не сделал.

Он сидел, прислушиваясь к тому, что делается на кухне, но там стояла полная тишина — ни стука, ни звона посуды. И, чтобы не слышать этой тишины, Антон включил радио.

Потом он вспомнил о черепахе, которую купил в зоомагазине и с которой охотно возился. Черепашка отвечала ему признательностью и даже перестала прятаться от него в свой панцирь. Он разговаривал с ней, целовал ее в змеиную голову. Черепашка была маленькая, плоская и вечно куда-нибудь заползала — то под буфет, то за диван, и тогда Антон поднимал весь дом вверх ногами, пока не находил ее.

Не видно было ее и теперь, и Антон стал искать. Забывшись, он хотел, как всегда, крикнуть матери: «Мам! Где моя черепаха?» Но вовремя спохватился, промолчал и снова стал думать о маме. Он знал, что грубо обидел ее, и все-таки его поразило холодное молчание, с которым она вошла в комнату, — вошла, вышла, опять вошла, что-то поискала в буфете, потом шагнула к радиоприемнику и выключила его.

Антон хотел протестовать против такого нарушения его воли и самостоятельности, но не решился. И, точно почувствовав в этом свою пусть очень маленькую победу над ним, Нина Павловна ледяным голосом сказала:

— Конечно, ты можешь не считаться с матерью, можешь обижать, оскорблять ее. Но я все-таки советую тебе подумать, Антон. Хотя бы о себе! И прежде всего о се-

бе!.. У тебя совсем плохо с математикой. И вообще, тебе нужно сделать большое и решительное усилие над собой. А ты?.. Ну разве делаешь ты такое усилие? Тебе нужно работать, а ты... Скажи, где ты шатаешься целыми вечерами? С кем?

— А я, кстати сказать, не шатаюсь, а гуляю! — обиженно отозвался Антон.— Нужно же мне погулять на ночь? Все врачи об этом говорят.

— Да, но все нужно в меру. А ты иногда так загуливаешься...

— Я езжу к бабушке, ты это знаешь... Что? И к бабушке нельзя? Ну, ты ее не любишь, а я люблю и ездить буду. А с кем я там гуляю, ты тоже знаешь — с Вадиком...

— А зачем тебе нужен этот Вадик?

— А ты что же прикажешь, моих товарищей с тобой согласовывать?

— Не груби, пожалуйста!

— А какая же это грубость? У меня уже, к твоему сведению, паспорт в кармане, а ты все — зачем то, зачем это? Товарищи мне нужны? Как по-твоему?

— Неужели у тебя других товарищей нет — здесь, в школе?

— Нет! И не будет у меня в этой школе товарищей!

— Почему?

— «Почему, почему»... Будто не знаешь — почему? И думаешь, так легко найти товарища? А с Вадиком мы росли вместе, пока ты по заграницам ездила. И бабушка его знает. И вообще, я не понимаю, что тебе за дело до моих товарищей? Вечно эти морали и подозрения!..

— Я тебя ни в чем не подозреваю, Тоник.— Нина Павловна попробовала смягчить разговор.— Я хочу тебя просто предостеречь...

— Да в чем дело-то, в конце концов! — окончательно вскипел Антон.— «Предостеречь, предостеречь»... Отстань!

Он схватил пальто, шапку и, хлопнув дверью, выскочил из дома. Легкими, быстрыми шагами сбежал он по ступенькам лестницы. А по ту сторону двери, комкая в руках нарядный, с розами по кайме фартук, стояла мать и слушала, как постепенно, удаляясь, стихают его шаги. Что с ним творится?

2

Антон и сам не ожидал, что его разговор с матерью может так кончиться. Но так уж вышло. Что он, маленький, что ли? Вадик правильно говорит: нужно «бороться против домашнего гнета», нужно уметь «поставить себя перед родителями». Перед родителями... У Вадика родители есть — и отец и мать. А у него?..

Отца его звали Антоном. Это было обычное русское имя, и в крестьянской семье, где родился Антон Кузьмич, оно звучало так же просто и естественно, как Иван и Марья. Когда же Антон Кузьмич вырос, выучился и из крестьянского сына стал инженером, это имя стало звучать уже несколько необычно. Но Нина Павловна, горячо любя мужа, полюбила и его имя и не хотела никакого другого имени и для своего новорожденного сына. Так, среди Артуров, Эдуардов и Радиев, которые в то время стали наводнять русскую землю, появился Антон Антонович Шелестов — обычный мальчуган, крикун и капризуля.

...Папа и мама — это то, с чего начинается жизнь. И первая улыбка, и первые слезы, радости и огорчения, и сказка, и песня, и первое наказание — весь большой и с каждым новым шагом расширяющийся мир, в центре которого — папа и мама.

Нельзя сказать, что Антон все это ясно помнил и понимал. Но смутное ощущение чего-то простого и цельного он находил у себя в душе всякий раз, когда думал о своем детстве, когда у него были и папа и мама. Потом все распалось. И это была первая загадка в жизни: почему? Он обнимал папу, он обнимал маму, он со слезами тянул их друг к другу, но понять ничего не мог. Когда мама бранилась, а папа не бранился, он становился на сторону папы. Когда мама плакала, а папа не плакал, он становился на сторону мамы. Когда папа в конце концов ушел, а мама осталась, он стал на сторону мамы.

«Папы у нас нет». Это была вторая загадка в жизни. Папа куда-то уехал, и вот его нет.

Потом уехала мама, и Антон жил у бабушки. Потом мама приехала. Жили с мамой и бабушкой. Потом с мамой без бабушки. Цельность жизни, ее постоянство и устойчивость разрушились. Постепенно Антон привык ко всему этому, многое забыл и решил, что так и должно

быть. Но одного случая он забыть не мог. Во время игры на дворе одна девочка выскочила из их общего круга и побежала навстречу подходившему мужчине: «Папа! Папа!», и Антон тоже побежал и тоже прыгал и кричал: «Папа! Папа!» Мужчина поднял на руки девочку, а Антону, улыбнувшись, сказал: «Разве я твой папа?»

А потом один мальчишка спросил Антона: «У тебя отец на фронте погиб или смотался?» Антона как иголкой укололо это обидное слово. Он не знал, что ответить, но сам для себя понял: его отец «смотался».

Теперь вот появился новый папа, Яков Борисович... Но о нем Антон сейчас не хотел думать. Раздражение, в котором он выскочил из дома, понемногу спадало и, когда он приехал к бабушке, совсем прошло. А думать о своем отчиме без раздражения он не мог...

Бабушка жила в одном из московских переулков, где были и древние, может быть, помнящие Наполеона дома, и новые, которым суждено еще простоять неведомо сколько, и заброшенная церковь, точно гнилой зуб торчащая среди рождающегося архитектурного ансамбля, и фабрика, и клуб этой фабрики, и примостившаяся тут же «забегаловка», и школа, сверкающая зеркальными окнами, и сквер с клумбами, и булыжная мостовая. В одном из тех самых помнящих Наполеона домов и жила бабушка. Дом был большой, но до чрезвычайности нескладный. Громадные комнаты в нем были разделены на множество клетушек и заселены разным людом. Он давно был предназначен на слом, поэтому его и не ремонтировали, и таким заброшенным и обреченным он доживал свой век.

Когда Антон вошел, бабушка, только что пообедав, отдыхала. Но она тут же встрепенулась, открыла глаза и поднялась — маленькая, сухонькая, старенькая.

— А-а! Здравствуй, мой миленький! Здравствуй, внучонок!— сказала она.— Обедать будешь?

— Нет, бабушка, не хочу.

— Ну что врешь? Ну что врешь? Ведь по глазам вижу, что врешь!

— Да нет! Правда!— попробовал снова отказаться Антон и вдруг улыбнулся, выдавая себя:— И какая вы, бабушка, угадчица!

— А баушки все такие!.. Иди-ка мыть руки!

Антон вымыл руки в общей тесной и грязной умывальной комнате и сел к столу. На столе уже стоял хлеб,

тарелка с супом и знакомая еще с детства, расколотая пополам, но чем-то прочно склеенная солонка с целующимися голубочками. Голубочки эти напомнили Антону те хорошие, но уже очень далекие годы, когда он жил у бабушки, сидел вот на том диване, в углу, слушал сказки, рисовал зайцев и любовался золотыми рыбками в аквариуме.

— Из школы-то давно?

— Да нет... Пришел — и сразу к вам...

— Поругался с матерью, что ли?— Бабушка кинула на него смеющийся взгляд.— Ну, чего? Двойку-то за что получил?

— Да откуда вы, бабушка, все знаете?

— Ну вот — опять двадцать пять! Говорю, не упирайся, все знаю!.. У тебя же лицо как вывеска — все написано.

Вокруг глаз у бабушки лучиками разбегались маленькие морщинки, а из глаз бежали струйки смеха, привета и чуть заметной умной хитрости.

Трудно сказать, как и почему получилось, но у Антона успела уже сложиться своя житейская мудрость: нельзя говорить все. Нельзя все говорить учителям, нельзя все говорить матери, тем более — отчиму, да и ребятам тоже не все можно рассказывать. Вот только от бабушки он ничего не скрывал. Почти ничего. Да и скрыть от нее было трудно, когда она смотрит точно внутрь тебя и выпытывает все, что ей нужно: и как дома дела? и как мама с Яковом Борисовичем живут? и как у Якова Борисовича дела с дачей? и как Антон с ним ладит? и не обижает ли он Антона? И расспрашивает она обо всем этом не прямо, а как бы между прочим, смягчая свои расспросы успокоительными словечками: «Ну-ну!.. Да ладно!.. Это я так...»

Антон плохо замечал эту хитрость, а заметив, не обижался на нее, и разговор с бабушкой всегда приносил ему какое-то облегчение. Так вот и теперь: о той же двойке по геометрии рассказать бабушке почему-то легче, чем маме.

— Это все Перпендикуляр!— обжигаясь супом, отвечал он на повторные расспросы бабушки.— У нас так математичку зовут...

— Учительницу?— удивилась бабушка.— Да разве можно так учительницу звать? Ведь она же — учительница!

— А вы бы посмотрели на нее, эту «учительницу»,— возразил Антон.— Она как палка. Вот поставили ее на девяносто градусов, она и стоит, не пошевельнется. Как перпендикуляр! А глаза!.. Вы представляете глаза без ресниц?

— Ну и что из этого?— спросила бабушка.— Больные глаза!

— Пусть больные!— согласился Антон.— Они у нее, как у кобры. И вот она смотрит, а у меня все плывет и путается. И чертеж, и все. «Ну-ну-с? Что же из этого следует?» А фиг его знает, что из этого следует!

— Антон!— строго сказала бабушка.— Ты же в девятом классе! И что у тебя за слова такие стали появляться? Ты совсем как Вадик начинаешь разговаривать!

— Ладно, бабушка, не буду! А только ничего я ей не сказал, что из этого следует. Она ждет, а у меня в душе все дрожит.

— Плохо выучил, оттого и дрожит,— заметила бабушка.

— Ну я, конечно, не какой-нибудь там Член-корреспондент,— согласился Антон.

— Какой это член-корреспондент?— не поняла бабушка.

— Это у нас мальчишку одного так прозвали! Он все учит и все знает. А я... что я? Я — как все! Говорю: «Учил, а не запомнил». А она говорит: «Тут не запоминать, а понимать нужно».

— А что ж? Правильно!— согласилась бабушка.— И, значит, двойку поставила?

— Ее самую...

— Грехи!

Бабушка взяла у Антона тарелку и стала накладывать макароны.

— Я больше не хочу, бабушка!— попробовал отказаться Антон.

— Ешь, ешь! Смотри, ты какой: тощ как хвощ!

Бабушка поставила перед ним тарелку с макаронами и спросила:

— А потом?

— Потом я с урока ушел...

— Как «ушел»?

— Разозлился я на нее за эту двойку,— принимаясь за макароны, ответил Антон.— Если б я не учил! А то

учил, честное слово, учил, а она... Ну, ничего я больше слушать не хотел и стал рисовать. А она меня и засекала...

— Это по-каковски же будет? По-испански, что ли?

— Да ну, бабушка! Будто не знаете!.. Все ребята так говорят. Ну, подсмотрела, что ли... Поймала, одним словом. Потребовала тетрадь, а я не дал. Поднялся и пошел.

— Ну, а дальше?

— А что дальше?.. Потребовала тетрадь, а я не дал. Поднялся и ушел.

— Так и ушел?

— Так и ушел.

— Герой!.. А что у вас дома было?

Но Антон не успел рассказать, что у них было дома: в коридоре послышались стремительные шаги, и в рамке широко распахнувшейся двери показался дядя Роман. Он был пониже ростом, чем его сестра Нина Павловна, зато широк в плечах, в жестах, и дверь всегда распахивал именно так — во всю ширину размаха. Такой уж он был, дядя Роман! И глаза его, такие же живые и острые, как у бабушки, должны были смотреть именно так — пронзительно и умно, и зубы, крепкие, белые, именно так вот и должны блестеть в улыбке.

За все это Антон и любил дядю Романа и не любил. Неиссякаемая, напористая жизнерадостность захватывала и привлекала к себе, и в то же время в ней было что-то до того обязательное и требовательное, чему никак не хотелось подчиняться. К тому же, при всем видимом добродушии, дядя Роман был прям и резок, никогда не щадил унылых настроений своего племянника и при каждом свидании обязательно норовил как-нибудь поддеть его или приклеить к нему какое-нибудь полушутливое, полуобидное прозвище: «Студент прохладной жизни», «Герой не нашего времени», «Печальный демон» или что-нибудь в этом роде. Поэтому Антон при встрече с дядей Романом всегда настораживался и внутренне становился в позу боксера, готового к отпору и нападению.

Принял он эту позу и теперь, но дядя Роман на этот раз как будто и не заметил его. Твердым, стремительным шагом он подошел к бабушке, обнял ее:

— Ну, мамаша! Благословите!

Бабушка казалась совсем маленькой и беспомощной

в его сильных руках, но она их свободно и легко разжала и — глаза в глаза — всмотрелась в сына.

— Подожди, будорага. На что? Что это ты нынче такой торжественный? На что благословлять-то?

— На новую жизнь, мамаша! — сказал дядя Роман.— В деревню еду! Читали в газетах, что делается?

— Посылают? — тихо спросила бабушка.

— Посылают. В колхоз. Сельское хозяйство подымать!

— А тогда что же ты меня спрашиваешь? Раз посылают, значит, нужно — вот тебе и все благословение. А Лиза?

— И Лиза едет.

— Подожди, подожди!..— насторожилась бабушка.— А ребята?

— И ребята едут. Что за вопрос? — широко улыбнулся дядя Роман.

— А что ж это вы без разговора со мной на такое дело идете? — обиделась бабушка.

— А какое такое дело, мамаша? — спросил Роман.— По правде сказать, я за Лизу побаивался — что она скажет? А она у меня умницей была, умницей и осталась, и мы решили...

— Как же так вы без меня решили? — повторила бабушка.— Знать ничего не знаю, приходите вместе, и поговорим.

Антон доел макароны и поднялся:

— Спасибо, бабушка!.. Я к Вадику зайду.

— К Вадику? Ну что ж! — ответила бабушка, а потом вдруг спохватилась:— Постой, постой! А мама? Иди домой, мама беспокоиться будет.

— А чего ей беспокоиться! — Антон махнул рукой и вышел.

— Грехи! — покачала бабушка головою.

3

С Вадиком они вместе росли. С того самого дня, когда Нина Павловна вернулась с маленьким сыном из эвакуации и поселилась у бабушки, Тоник и Вадик стали неразлучными друзьями. Это не мешало им ссориться, изредка даже драться. Жили они рядом, в соседних ком-

натах, разделенных небольшим коридором. Коридор был узкий, темный, заставленный сундуками и отслужившими свое время детскими колясками, но в этой тесноте и заключалась вся его прелесть. Здесь было где спрятаться и, спрятавшись, воображать все что угодно.

Воображал, правда, больше Антон — пещеры, замки, крепости, дома — все, что было в последней сказке, рассказанной бабушкой, в прочитанной книжечке или передаче по радио.

Вадик просто прятался и прятал конфеты, которые ему удавалось стащить. Они вместе ели их, забравшись за большой ободранный сундук, и Вадик рассказывал, как он стащил эти самые конфеты из буфета, как он притворился больным и обманул мать. Глаза его, обычно бесцветные, белесые, загорались тогда веселыми, удалыми огоньками, точно обманывать мать доставляло ему особенное удовольствие.

Мать Вадика была заботливая, но очень уж надоедливая, особенно когда она начинала говорить о микробах и аденоидах. Послушать ее, так нельзя было и жить на свете: везде были микробы, на каждом шагу подстерегали они человека. Поэтому Вадика с ранних лет преследовали бесконечные требования и наставления: «Не трогай! Не касайся! Вымой руки!.. Помнишь, что я тебе говорила о микробах!» Вадик сначала сердился, а когда подрос, стал подсмеиваться над этими наставлениями.

Они были совсем разные — эти два приятеля: Тоник и Вадик, возившиеся в полутемном коридоре: один — длинный, тоненький, другой — краснощекий, сильный; один — непоседа, плакса и фантазер, другой — немного увалень, расчетливый и хитроватый. Поэтому и проделки их были разные, смотря по тому, кто брал верх. То играли в партизан или путешественников, карабкаясь на кучи снега, собранные дворником, то раскуривали подобранные на тротуаре окурки или забирались на крышу и стреляли оттуда из рогаток по прохожим.

В закоулке, на заднем дворе, из старых кроватей, досок, проржавленных листов железа они соорудили шалаш. Потом к ним, один по одному, примкнули ребята, и в шалаше образовался ребячий штаб. Они водрузили на крыше красный флаг, срывали на улице плакаты и развешивали на стенах своего шалаша, несли туда кто что мог: картинки, книги, игрушечные пистолеты. Вече-

рами приносили свечи и составляли проекты, как провести в шалаш электричество.

Однажды Вадик с таинственным видом привел Тоника в темный коридор соседнего дома, где стоял старый шкаф.

— Давай сломаем,— предложил он, указывая на плоский замочек, висевший на маленьких колечках.

— А зачем?— спросил Тоник.

— Посмотреть...

— Давай!— охотно согласился Тоник, готовый всегда поддержать своего приятеля.

В шкафу оказались лыжи, перевязанные бечевкой книги, старые ботинки и банка со столярным клеем. Книги не тронули, ботинки тоже, а лыжи и клей взяли. Лыжи — чтобы покататься, а клей — неизвестно зачем.

Все это потом раскрылось, за это попало, но в полутьме коридора, в приглушенном шепоте, возне с замком было что-то таинственное и интересное...

Так они и росли, пока Антон жил у бабушки, и с мамой и без мамы, когда она уезжала за границу. Вернувшись оттуда, Нина Павловна переехала в отдельную комнату, затем, вместе с новым мужем, в отдельную квартиру. Но Антон не забывал бабушку, а с нею и своего друга детства.

Теперь они выросли. Вадик остался таким же толстоватым, только еще ярче горел у него на щеках румянец да, пожалуй, прибавилось наглости в его белесых глазах. Антон, наоборот, вытянулся и, точно стесняясь своего роста, ссутулился. Вытянулось и его лицо с красивым — тонким, с горбинкой — носом, впалыми щеками и легкой синевой под глазами. У него были пышные вьющиеся волосы, которым отчаянно завидовал Вадик. У Вадика волосы были жесткие, как проволока, и все его попытки создать пышную, как у Антона, прическу ни к чему не приводили. Сначала это его расстраивало, а потом, когда среди молодежи стало распространяться пришедшее с Запада ядовитое поветрие «стиля», с его манерами, модами и поповской прической, оказалось, что проволочные волосы Вадика как раз самые подходящие для такой прически.

За этим занятием и застал его Антон: Вадик натягивал на голову тончайшую сетку-невидимку, чтобы приучить волосы к тому положению, которое, по выражению, Вадика, составляло «шик-модерн».

— Давай завяжу...— усмехнулся Антон, наблюдая за его стараниями.— Стиляга!..

— А по-твоему, лучше улыбающиеся комсомольцы в ватниках нараспашку? Или ты предпочитаешь девушек в спецовках, заляпанных бетоном?

— Зачем мне эти девушки? А стиляг все равно не люблю.

— Ты просто ничего не понимаешь,— покровительственно ответил Вадик.— Это очень хорошие ребята. Над ними смеются, а они — против всех. Они против скучной и серой жизни. Что такое жизнь? Ein Moment!.. Ну так, значит, держи его, лови его, а не топи в прокуренном воздухе затянувшихся собраний. Им поновее что-нибудь нужно, пошире, поинтересней!.. Когда в школе, помню, комсомол у нас анкету затеял,— ну, знаешь, как всегда: кем хочешь быть? Другие отвечают тоже как всегда: летчиком жажду быть, инженером, электростанции пылаю строить!.. А я так и написал: «Стилягой!» Железно?

— Ну и что?.. Попало?

— Проработали... Ну я им тоже железно ответил.

— А как у тебя с работой? Не устроился?

— Да ведь как сказать? На стройку не хочется, а в академию не берут!.. Да! Чуть не забыл! За мной должок!— Вадик протянул Антону двадцатипятирублевую бумажку.

— Какой должок?— не понял Антон.— За что?

— Будто не знаешь!..

И тут Антон вспомнил сырой, туманный вечер, когда он неожиданно для себя сделался участником какой-то непонятной истории. Как всегда, он зашел за Вадиком, чтобы пойти погулять. Вадик сначала отказывался, ссылаясь на какое-то дело, а потом неожиданно согласился.

— Ну, хорошо! Пойдем! Только зайдем за Генкой Лызловым. Ладно?

Генка Лызлов жил на соседнем дворе, и Антон знал его почти так же, как и Вадика,— в детских боях за шалаш Генка был предводителем другой, враждебной партии.

Они зашли за Генкой и отправились гулять,— шли, болтая о разных пустяках. Вдруг Вадик и Генка остановились.

— У нас тут дельце одно есть,— сказал Вадик,— ты постой! Только смотри: увидишь кого — свистни!

Антону стало не по себе, но Вадик, точно угадывая это, спросил:

— Трусишь?

— Кто? Я?— храбро ответил Антон.— А чего мне трусить? Идите!

На самом деле ему стало очень не по себе, когда Вадик с Генкой куда-то ушли и он остался один. Кругом было темно, только вдали тусклый фонарь, расплываясь в тумане, освещал какой-то сарай. И среди этой темноты и тумана — он один. Ему казалось, что он стоит у всех на виду, что за ним следят тысячи глаз — из-за сарая, из-за забора, который протянулся от этого сарая вдоль переулка, из невысокого домика, едва различимого в тумане. Он весь превратился в зрение и слух, готовый уловить любой шорох или раздавшиеся неожиданно шаги. И именно потому так явственно, так нестерпимо громко раздалось в этой напряженной тишине: трак! трак!.. Отдирали доску...

У Антона перехватило дыхание. Еще минута, и он убежал бы. Но в это время из темноты вынырнул Вадик.

— Ну вот и все! Ходу!

— А Генка?— спросил Антон.

— Генка?.. Ничего, все в темпе... Он догонит...

Потом Антон услышал, что в этот вечер «ве́лик толканули». Сначала он не понял, а потом узнал, что это значит: велосипед украли. Он очень испугался и ночью почти не спал, а когда забывался, то сквозь тревожный сон ему чудился треск отдираемой доски... Он долго после этого не был у Вадика и все ждал, что будет? Но ничего не было — все обошлось. Постепенно страх прошел и осталось только воспоминание о не совсем обычном приключении...

И вот теперь, когда Вадик подал ему деньги, он не знал, как к этому отнестись. Бумажка была почти новая, хрустящая, радужная. А Вадик тут же взялся за толстый альбом с патефонными пластинками и как ни в чем не бывало предложил:

— Крутанем?

Он выбрал пластинку, и из патефона полились томные ноющие звуки, под которые хотелось не ходить, а плавать, и даже не плавать, а где-то реять и изнывать.

— Гимн умирающего капитализма! — сказал Вадик и, опускаясь на софу, потянул за собой Антона.— Садись... Ну, а как у тебя с девчонками?

— Ну их! — небрежно ответил Антон, все еще не зная, что делать с хрустящей бумажкой.— Они помешались на дружбе и никак не могут определить, с чем ее едят.

— А вообще-то законно сделали, что вместе с девчонками учить стали. Знаешь...— вдруг оживившись, приподнялся на локте Вадик,— когда я учился, мы раз подсматривали, как они перед физкультурой переодевались. Есть — во!.. Я одной написал тогда такую записочку...

— Ну и что?

— Ответить не ответила, а как встретимся, бывало, смеется... Ты думаешь, они все такие скромные? Они только представляются, а сами...

— А у нас очень умные,— в тон Вадику сказал Антон.

Он почему-то считал неудобным не ответить на тот разухабистый тон, которым Вадик обычно говорил о девочках. Но похвалиться ему было нечем, а тем, что случилось у него с Мариной Зориной, хвалиться тем более было нельзя...

4

А случилось вот что...

Учиться Антон начал, когда жил у бабушки, вместе с Вадиком — в одной школе, в одном классе. Потом, когда мама вернулась из-за границы и получила комнату, он перешел в другую школу, а когда появился Яков Борисович и они опять переехали на новую квартиру, ему пришлось перейти в третью.

А в этом году было введено совместное обучение, и началось, как ребята говорили, «великое переселение народов»: мальчиков — к девочкам, девочек — к мальчикам. Так, в бывшую женскую, для него в четвертую по счету, школу перевели Антона и его дружков-товарищей: Сережу Пронина и Толика Кипчака. Перевели их, конечно, неспроста: они пошаливали, учились неважно, и, когда мать Сережи Пронина стала возражать против этого перевода, завуч ей откровенно сказал: «А на что нам лишние двоечники?»

Мать разволновалась и, не стесняясь в выражениях по адресу и завуча, и школы, выложила все это дома при Сережке. Тот обо всем рассказал своим приятелям, и ребята пришли в новую школу в самом воинственном настроении: негодные так негодные! Мы им покажем!..

И стали «показывать». Прежде всего — полное пренебрежение к девчонкам и к девчоночьим порядкам, установленным в школе: все девчонки дуры, зубрилки и шепталки, привыкли, как дрессированные мыши, ходить парами на переменах, при каждой встрече приветствовать учителей «медленным наклонением головы».

Об этом «медленном наклонении головы» в первой же беседе объявила Вера Дмитриевна, учительница математики и классный руководитель девятого «А» класса. С этого, пожалуй, и испортились отношения между ней и Антоном — с его неспроста, конечно, заданного вопроса:

— А если просто сказать «здравствуйте» без наклонения головы, — можно?

— Вам объявили наши правила, и будьте добры их выполнять! — заявила Вера Дмитриевна, уставившись на Антона своими круглыми глазами. — И, пожалуйста, своих законов здесь не устанавливать!

Вот это «наше» и «ваше» ребятам показалось особенно обидным, тем более что Вера Дмитриевна девочек звала девушками, а мальчиков — мальчишками. Этим самым она сразу стала в их глазах носительницей того девчоночьего духа, против которого они настроились, еще не входя в школу.

Школа, в которую их перевели, до слияния была на хорошем счету в районе и по успеваемости и по дисциплине, — об этом ребятам сказали при приеме. Директор ее, Елизавета Ивановна, много поработала над установлением дисциплины. Начальство, приезжавшее в школу, она прежде всего старалась вывести на перемене в зал, в коридоры и показать, как ходят парами, как кланяются и вообще как примерно воспитаны ее девочки. А девочки кланялись, ходили парами и трепетали перед своим директором.

Ребята все это сразу заметили и «пришпилили» Елизавете Ивановне кличку: «Солдат в юбке». Эта неслыханная до сих пор дерзость быстро дошла до директора и обозлила ее до крайности. И так как с приходом мальчиков прежняя дисциплина, которая составляла гордость

школы, пошатнулась, то все зло Елизавета Ивановна стала видеть в мальчиках. В своем стремлении сохранить порядок в школе она по-прежнему опиралась на девочек, на свой прежний актив, и у ребят создалось впечатление: комсомол — девчачья организация, учком — девчачья организация и вообще везде девочки, потому что они привыкли ходить на цыпочках.

Особенно шумно и дерзко проявили все эти настроения трое друзей из девятого «А», — как их прозвали, «Три мушкетера»: Антон Шелестов, Сергей Пронин и Толик Кипчак. Прогуливаясь в обнимку по всем коридорам, они декламировали вслух:

Трусов плодила
Наша планета,
Все же ей выпала честь:
Есть мушкетеры!
Есть мушкетеры!
Есть мушкетеры!
Есть!

У Антона эта ребяческая «фронда» усиливалась обострявшимися с каждым днем отношениями с Верой Дмитриевной. Ему не нравились ее круглые глаза с красными веками, неподвижное, как маска, лицо и холодный металлический голос, а ей, ответно, не нравилось в Антоне все, вплоть до его прически — пышные, точно ветром взвихренные волосы этаким облаком венчали его длинную, не совсем оформившуюся фигуру и были предметом его тайной гордости. И об этой-то прическе Вера Дмитриевна позволила себе сказать:

— А нельзя ли снять эти вихры и завести прическу поскромнее?

— Прическа — это личное дело. У нас не казарма! — ответил на это Антон.

На том же основании, что это казенщина и формализм, Антон не хотел носить форму, и Вера Дмитриевна решила дать ему бой, — она направляла его к директору и вызывала к себе Нину Павловну. Бой этот Вера Дмитриевна выиграла — Антон надел форму, но вести себя стал еще хуже. Когда однажды старенькая учительница истории вызвала его, он сначала как будто не расслышал, посидел, медленно достал носовой платок, высморкался и только после этого, встрепенувшись, под общий смех спросил:

— А?.. Что?..

Когда же учительница сделала ему замечание, он встал и ответил:

— А я, знаете ли, некультурный. Нас в прежней школе очень плохо воспитывали.

Тогда решительно встала со своего места Марина Зорина и, повернувшись к Антону, сказала:

— Слушай, Шелестов! Что это такое? Почему ты так ведешь себя?

— Ах, ах! — послышалось в ответ ироническое восклицание Сережки Пронина, ему подхихикнул Толик Кипчак, но Марина продолжала стоять, глядя на Антона упорным и требовательным взглядом. Ее поддержали другие девочки, и Антону пришлось сесть.

Это тоже был один из номеров Антона: как встать и как сесть. Вставая, он наклонял туловище, почти пригибаясь к парте, и потом сразу выпрямлялся во весь свой длинный рост, словно мачта, а когда делал обратное — опять, точно надламываясь, пригибался резким движением к парте, а затем уже садился.

— Как перочинный ножик! — смеялся Сережка Пронин.

К этим сравнительно безобидным проделкам постепенно прибавлялись обидные, злые и злостные. Так получилось, например, с доской Почета. Там среди других заслуженных людей школы был и портрет старшей пионервожатой Люси. Но у Сережки Пронина были с ней свои счеты: она остановила его как-то на улице, когда он шел, попыхивая папиросой, потом сделала ему еще раз замечание, и Сережка ее невзлюбил. Они решили сорвать портрет Люси с доски Почета. Хотели они это сделать тайно, но Толик Кипчак, который стоял на страже и должен был предупредить об опасности, проморгал: откуда-то подвернулась нянечка. Правда, видеть она ничего не видела, но, когда началось разбирательство, подозрение на них все-таки пало. А у Веры Дмитриевны это подозрение превратилось в уверенность, причем главную роль в этом деле она отводила Антону. К тому же у нее к этому времени назревал более широкий план: постепенно расчистить свой класс от всего трудного и непокорного. Она поставила перед директором требование — разбить беспокойную тройку. Елизавета Ивановна согласилась с ней, и Антона, как предводителя «мушкетеров», хотели

перевести в другой класс. Тогда к ней пришла Нина Павловна, пригрозила пожаловаться в роно, и Антон был оставлен в том же девятом «А», но оставлен условно — до первого замечания. И Вера Дмитриевна всячески старалась подчеркивать этот временный и сугубо условный характер пребывания Антона в ее классе.

Было ясно, что она выжидает только удобного случая. И таким случаем оказалось происшествие с Мариной Зориной.

Марина ничем не выделялась среди девочек, с которыми Антон встретился в девятом «А», — девчонка как девчонка. Остренький подбородок, остренький, чуть стесанный с кончика носик, лоб невысокий и не очень заметный — лицо ее не обращало бы на себя внимания, если бы не брови, резко надломленные и выразительные, и такие же выразительные глаза: открытые, ясные, точно изнутри освещавшие все лицо и придававшие ему неожиданную привлекательность. И еще косы — большие, золотистые, они пышным кольцом лежали на затылке, и голова ее была похожа на подсолнечник. Она была комсомолкой, членом классного комсомольского бюро и одна из немногих в классе носила комсомольский значок, новенький, чистенький, и вся она казалась тоже чистенькой и светлой, как этот сверкающий красной эмалью значок.

Для Антона Марина олицетворяла те самые «девчачьи порядки», которые были для него как тесная куртка. Порядок для нее — святыня, урок — святыня, учитель — святыня. После его выходки с учительницей истории она с возмущением говорила об Антоне на классном собрании, говорила о том, что учительница очень хорошая, добрая, но больная и что ее в прошлом году прямо из школы увезли в больницу с сердечным приступом.

— Ты что же — хочешь, чтобы у нее опять приступ был?

Антону было немного неловко, и он сначала отмалчивался, но потом, переглянувшись с Сережкой Прониным, стал оправдываться: о болезни учительницы он ничего не знал, а просто ему вздумалось почудить — простите, больше не буду! Но сказал он это так, что ему никто не поверил, и прежде всего Марина.

Все это — и чистота, и строгость, и в то же время неоспоримая привлекательность Марины — вызывало у Ан-

тона смешанное чувство робости, смущения и безотчетного, глухого раздражения, как и самый взгляд ее: когда Марина говорит, смотрит в глаза — прямо, честно, приветливо или требовательно. Так же требовательно смотрела она и тогда, когда после новой очередной выходки Антона остановила его в дверях класса.

— Шелестов! Ну почему ты такой грубый-прегрубый мальчишка?

Может быть, если бы это было при других обстоятельствах, то все сложилось бы иначе. Но рядом стояли его товарищи, братья-мушкетеры, кругом были девочки, и ударить лицом в грязь было никак нельзя. Антон дерзко посмотрел ей тоже прямо в глаза и сказал:

— А тебе что за дело? Ты чего лезешь? Подумаешь — комсомолка!

Марина чуть-чуть побледнела, но, продолжая так же прямо и твердо смотреть ему в глаза, проговорила:

— Да! Комсомолка! А что? Разве плохо?

Точно мутная волна накатила на Антона, его взбесил ее проникновенный тон и взгляд, и он, забывшись, выкрикнул:

— А пошла ты...

И тогда случилось неожиданное. В ответ на его грубое ругательство Марина схватила его за руку:

— Пойдем к директору!

Антон попытался вырваться, но рука у Марины оказалась неожиданно крепкой. На помощь ему бросился Сережка Пронин, но девочки окружили Антона плотным кольцом и повели его по коридору.

Антон опомнился только в кабинете директора. Елизавета Ивановна поднялась из-за стола, грузная, грозная, и тоном, не предвещающим ничего хорошего, проговорила:

— Опять Шелестов?

Произошло объяснение, о котором лучше не вспоминать. Когда они вышли из кабинета директора, Антон сказал Марине:

— Твое счастье, что ты девчонка, а то бы я тебе...

— А я думала, ты извинишься передо мной! — ответила Марина.

После этого было решено разбить злополучную тройку и Антона перевели в девятый «Б». Антон обиделся, несколько дней не ходил в школу, а когда пришел, то

уселся на свое место с видом, говорившим: «Мне на все наплевать и ничего не нужно».

Вот что случилось у Антона с Мариной Зориной, хвалиться ему перед Вадиком, пожалуй, было нечем...

5

На смену «гимну умирающего капитализма» забушевала бойкая, необыкновенно шумливая безалаберщина звуков. Развалившись на софе, приятели упивались дробным перестуком барабанов, подвываниями и взвизгиваниями труб, которые заставляли невольно дрыгать ногами, и тоже подвывать, и пристукивать, и бить кулаками в свои собственные надутые щеки.

— Неужели вам это нравится? — приоткрыв дверь, спросила мать Вадика, Бронислава Станиславовна.

— А как же?.. Музыка! — ответил Вадик.

— Да какая же это музыка? Кошачий концерт!

— Ты, мама, девятнадцатым веком живешь. А не хочешь, кстати сказать, не слушай. Тебя никто не звал!

Вадик встал, прикрыл дверь и, возвратившись на софу, проворчал:

— Им все симфонии надо! Шопена!..

Когда в патефоне отгремело, отшумело и отлаяло, за окном послышался свист. Вадик подошел к окну и открыл форточку. Свист повторился.

— Ребята зовут... Пойдем? — предложил Вадик.

Они оделись.

— Мы воздухом подышим, — сказал Вадик матери.

— Вот это хорошо! Это очень полезно! — согласилась Бронислава Станиславовна.

— Да, да! — в тон ей продолжал Вадик. — Это способствует окислению крови.

— Только подожди, Вадик! — встревожилась вдруг Бронислава Станиславовна. — Как ты одет?

— Я оделся как следует, мама!..

— А горло? Горло ты завязал? Вадик! У тебя же аденоиды!

— А ну тебя с твоими аденоидами! — Вадик хлопнул дверью и уже на лестнице грубо выругался.

На улице их ждали Генка Лызлов, Пашка Елагин, Олег Валовой, Сеня Смирнов и еще кто-то. Антон почти всех их знал по прежним детским играм. Одни из них

были членами его штаба в шалаше, другие обосновались на чердаке соседнего дома, и между ними некоторое время шла война. Потом на шалаш набрела дворничиха, присадила там себе шишку на лоб и со зла разломала его. Враждебный штаб на чердаке тоже распался — управдом запер чердак на огромный замок.

Ребята с тех пор выросли, по-разному наметилась их жизнь, но что-то их по-прежнему сближало.

— Жору сегодня взяли! — возбужденно объявил Пашка Елагин, едва Антон и Вадик вышли во двор.

Ребята наперебой стали рассказывать историю Жоры, смирного, безобидного на вид парнишки с соседнего двора, который частенько дарил им открытки с видами Москвы и по дешевке продавал авторучки. И вот теперь оказалось, что все это он добывал в газетных киосках, которые взламывал по ночам.

— Вот молоток! — покачал головой Генка Лызлов. — А на вид такой маленький — не подумаешь!

Ребята горячо обсуждали подробности происшествия с Жорой, когда за их спинами раздался громкий хрипловатый голос:

— Ну вы! Сявки!.. Чего раскудахтались?

Это был Витька Бузунов, по прозвищу «Крыса», — в «семисезонном», как он сам говорил, пальто с поднятым воротником и в новой белой кепке «лондонке». Когда-то он верховодил здесь, во дворе, был грозой для ребят и бельмом на глазу у взрослых, потом сел в тюрьму и вот недавно снова появился, — вернулся по амнистии. Ребята стали рассказывать ему о Жоре, но он уже все знал и небрежно цыкнул слюною сквозь зубы:

— Пятерик заработал!.. А если пятьдесят первую применят, может трешкой отделаться.

Что такое «пятерик» и «трешка», Антон догадывался, а «применят пятьдесят первую» — такого он еще не слышал. Когда он спросил об этом, Витька взял его за шапку и надвинул ее Антону на самые глаза.

— Тюря!.. Подожди!.. Попадешься им в лапы, все узнаешь!

Что он может когда-либо попасть «им» в лапы (кому «им» — Антон тоже понимал), казалось и страшным и смешным, вернее, невероятным и совершенно немыслимым. Но то, что ему приходилось слышать о Крысе, было необычно, неизведанно и интересно.

Витька вытащил пачку «Казбека», закурил, а потом протянул ее ребятам.

— Налетай!.. А ты, сосунок, не куришь? — спросил он у стоявшего в сторонке Сени Смирнова и, когда дошла очередь до Антона, насмешливо подмигнул: — Ну, а ты? Тоже небось мама не велела?

— Почему? Я курю! — сказал Антон с достоинством. — Только у меня свои есть...

— Да бери, бери! «Свои»... Ты еще своих-то не заработал. Я угощаю!

Курить Антон начал два года назад, в седьмом классе, когда жил один с мамой. Ребята собирались тогда большой компанией со всего дома в парадном, сидели на ступеньках, вели разные разговоры и курили, выхваляясь друг перед другом. Лестница после этого оставалась заплеванной, усыпанной окурками, и жильцы, с опаской пробираясь между ребят, всегда ворчали.

От этой глупой похвальбы и начинается курение: «Я тоже не маленький, я тоже не хуже других!» Так было и с Антоном: першило в горле, перехватывало дух, бил кашель, но он все претерпел во имя того, чтобы быть не хуже других. Маме он сначала боялся сказать, что курит, но мама узнала, правда, не скоро — на ее горизонте в это время появился Яков Борисович,— а когда узнала, расстроилась, но не очень сильно, потому что готовилась к переезду на новую квартиру. А там, на новой квартире, на сторону Антона неожиданно стал Яков Борисович: «Если парень закурил, тут уж никакие запреты не подействуют»,— и Антон стал курить открыто.

И теперь, особенно после насмешливого замечания Виктора, он медленно и глубоко затягивался, картинно отставляя руку с папиросой. Он не хотел походить на маменькиного сынка, который всего боится, вроде Сени Смирнова.

В это время мимо них торопливым шагом прошла девушка. Ни на кого не глядя, она обогнула стоящую на дороге кучку ребят, но Валовой неожиданно подставил ей ногу, и она, споткнувшись, чуть не упала. Девушка кинула на ребят безмолвный негодующий взгляд и пошла дальше. Они проводили ее взрывом хохота.

— А ничего девчонка, портативная! — заметил Вадик. — Ножки бутылочками...

— У нас получше есть! — в тон ему похвалился Антон.

— Получше! — насмешливо передразнил его Витька. — А сам небось дотронуться боится до девчонки.

Ребята засмеялись, и Антону стало стыдно. Он рад был сейчас что-нибудь придумать на ходу насчет каких-нибудь своих дел с девчонками, но здесь его фантазия была бессильна.

Витька Крыса отозвал в сторону Вадика, они о чем-то пошептались, и Витька ушел, а Вадик, вернувшись к компании, предложил:

— Ну что? В кино, что ли, двинули?

— А у кого деньги есть? — спросил Пашка Елагин.

— Деньги? У меня есть деньги. Я плачу! — ответил Антон и достал полученную от Вадика радужную бумажку.

Все «двинули» в кино, кроме Сени Смирнова. Ему явно не хотелось идти вместе со всеми, но так же явно он не решался и отстать от компании.

— У тебя что — режим? — иронически спросил его Генка Лызлов. — Брось! Соврешь что-нибудь!..

С неловкой улыбкой на круглом добром лице Сеня пошел вслед за ребятами, но потом все-таки отстал и исчез...

В кино шли ватагой, шумно разговаривая, размахивая руками. Прохожие сторонились, сходя с тротуара на мостовую, кидали на них недружелюбные взгляды. Один старичок с молочным бидоном проворчал, обернувшись им вслед, что-то насчет современной молодежи, но на него никто не обратил внимания.

Билетов в кассе не было, но Генка Лызлов увидел в толпе девушку в зеленом пальто, ярко-желтой шляпке и белых ботах.

— Эй, Галька! Билетиков не достанешь?

— А на мою долю будет? — Девица озорными глазами обвела всю компанию.

— Что за разговор?

— Гоните деньги!

Не прошло и пяти минут, как Галька появилась с билетами. При входе получилась заминка. Контролерша не пропускала мальчугана, у которого оказался старый билет. Мальчуган что-то доказывал, но контролерша, пожилая, усталая женщина, не хотела его и слушать.

Антону стало жалко мальчонку, и он слегка подтолкнул его.

— Ладно, ладно! Иди!

— То есть как «ладно»? — Контролерша раздраженно взглянула на Антона.

— А к кому вы привязались? — не унимался тот.

Воспользовавшись спором, мальчонка юркнул в толпу и скрылся.

— Молодой человек, я вас не пропущу, — заявила контролерша Антону.

— Как так не пропустите? У меня же билет!

— Не пропущу! Пройдите к администратору.

— Да чего она там возится? — послышался сзади чей-то голос, кто-то толкнул Антона, и он невольно подался вперед.

— Что это значит? — закричала контролерша. — Молодой человек! Молодой человек!..

И вдруг перед Антоном — молодой человек. Он в демисезонном пальто и цигейковой шапке-ушанке, из-под пальто видно темно-синее кашне с широкими красными полосами. Парень как парень и на вид просто хороший парень, но взгляд его строг и взыскателен, как у Марины, и на лице подчеркнутая, точно нарисованная решимость.

— Прошу пройти со мной, — обратился молодой человек к Антону.

— А я вас не трогал, — запротестовал Антон. — Меня толкнули.

— Прошу пройти!

— Никуда я не пойду. Я ничего не сделал.

— Я — комсомольский патруль. Пройдите.

— А чего ты привязываешься к человеку? — неожиданно раздался громкий голос Гальки, и она, буйная, злая, втискивалась уже между Антоном и молодым человеком.

На помощь ей пришли другие ребята, приятели Антона, и стали постепенно оттирать его в сторону, но в это время кто-то крепко схватил его за руку. Антон стал вырываться, Генка Лызлов попробовал оттянуть его, но парень сильным и ловким движением завернул вдруг Антону руки за спину.

— Чего руки ломаешь, гад? — опять закричала Галька, но парень, очевидно, хорошо знал ее и очень спокойно, но строго сказал:

— Не лезь, Галька! Уйди по-хорошему!

Кругом сбилось плотное кольцо народа, слышались то угрожающие, то сочувственные реплики, и Антону стало стыдно.

— Ну ладно, ладно! Я сам пойду, — сказал он покорно.

Не отпуская рук, парень повел его к выходу, и тут Антон заметил, что вслед за ними из кино выскочили Вадик, Генка Лызлов и Пашка Елагин, перебежали на другую сторону улицы, свернули в переулок и куда-то исчезли.

— Пусти руки-то! Неловко! — сказал Антон своему провожатому, когда они шли по переулку. — Думаешь, убегу?

— Никуда ты не убежишь! — ответил бригадмилец, но Антона отпустил.

Некоторое время они шли молча: Антон впереди, бригадмилец — чуть сзади, слегка придерживая его за рукав. Вдруг из ворот выскочили ребята и, налетев на бригадмильца, чуть не сшибли его с ног. Антон все понял и побежал. За его спиною раздался пронзительный свисток и топот ног — оправившись от неожиданности, бригадмилец, видимо, бежал за ним. Но Антон бегал хорошо и за это время успел уже оторваться от своего преследователя. Может быть, это и выручило бы его, но на новый свисток бригадмильца из других ворот выбежал дворник и схватил Антона за шиворот. Подоспевший бригадмилец опять завернул ему руки за спину и вместе с дворником доставил в милицию.

6

И что с ним творится?

Уже давно затихли шаги Антона на лестнице, а Нина Павловна все стояла, горестно глядя перед собою. И перед нею, как вехи жизни, возникали обрывки воспоминаний, мысли, вопросы... Но вехи эти никуда не вели — мелькали, путались и возвращали ее к одному и тому же пронзившему сердце вопросу: что с ним?

И прежде всего — когда?.. Когда это началось? И что началось?..

Нина Павловна и на эти вопросы не могла дать себе ответа. Она не представляла во всей последовательности

и сложности развития сына — с самого начала и вот до этой горестной минуты. В памяти возникали обрывки неясных воспоминаний о каких-то случаях, каких-то происшествиях и неприятностях. Но как, из чего вырастали эти неприятности, Нина Павловна не могла себе объяснить. Раньше она ни о чем не задумывалась: сын рос как растение. Но в этом она боялась сейчас признаться и загоняла подобные мысли свои, и сомнения, и угрызения в самые глухие закоулки души. Нет, она, конечно, делала все что могла, но что она могла сделать? И разве она одна воспитывала сына? А бабушка? А школа? А...

И, как нарочно, в этот самый момент раздался звонок. Нина Павловна сняла фартук, привычным движением руки взбила волосы и пошла открывать дверь.

— Можно войти?

Перед нею стояла полная, средних лет женщина в несколько старомодной, строгой шляпке, надвинутой на самый лоб. Лоб был большой, выпуклый, перерезанный скорбной морщинкой, но глаза под ним смотрели живо и пытливо. В них даже вспыхнули лукавые огоньки, когда женщина заметила мелькнувшую на лице Нины Павловны тень досады.

— Можно войти? — повторила она вопрос.

— Почему же нельзя? — не очень дружелюбно ответила Нина Павловна.

— Вы чем-то расстроены?

— Ну мало ли? Всякое бывает!.. Раздевайтесь.

Это была Прасковья Петровна Пчелинцева, учительница географии и новый классный руководитель Антона.

— А расстроена я вот чем! — решительно начала Нина Павловна, когда гостья разделась и прошла в комнату. — Что же это в конце концов выходит? Кончается вторая четверть, а у Антона по всем математикам опять двойки намечаются!..

— Я вас не совсем понимаю, Нина Павловна, — сдержанно, по опыту предчувствуя горячий разговор, заметила Прасковья Петровна.

— Да что же тут понимать? По всем предметам он успевает, а по математике — двойка за двойкой...

— А кто же здесь виноват? Учитель? — все больше настораживаясь, спросила Прасковья Петровна.

— А кто же виноват, если ученик не понимает того, чему учит учитель?

— А если он не хочет понимать? Вы это допускаете?

— Значит, учитель не заинтересовал! Учитель должен давать знания так, чтобы они привлекали детей, а не отталкивали. А мы привыкли обвинять во всем ребенка. А разве нет неправильностей и несправедливости со стороны учителей? У детей от этого возникает апатия к учебе, а то они и вовсе бросают заниматься и попадают в тяжелое положение!.. Главное — школа!

— Что может сделать школа, если родители ей не будут помогать?

Намечался затяжной, тысячу раз повторявшийся и, пожалуй, бесплодный спор между родителем и учителем. Но Прасковья Петровна решила выслушать все и постараться понять, а Нина Павловна, наоборот, не могла удержаться, чтобы не высказаться, не вылить накопившееся в душе недовольство.

— Тоник четыре школы прошел. Мы всяких учителей видели! — раздраженно говорила она. — Один пришел — не улыбнулся и ушел — не улыбнулся. Другая — истеричка, чуть что — в крик!..

— А третья? — спросила Прасковья Петровна, продолжая внимательно следить за своей собеседницей.

— Ну, конечно, бывают и третьи, — согласилась Нина Павловна. — Всякие бывают, а такой, как Вера Дмитриевна, я и не помню: как невзлюбила Антона, так и садит двойку за двойкой...

— Ну зачем?.. — поморщилась Прасковья Петровна. — «Невзлюбила», «садит»... Ведь вы умная женщина!

— Вот потому все и вижу, что умная! — не сдавалась Нина Павловна. — С самого начала: не так сказал, не так прошел, не так поднялся, не так сел. Ребята, видите ли, смеются, когда он встает. А чем он виноват? Я у него спрашиваю, он говорит: я сам не знаю, чего они смеются... А эта — все в строку, да все с ехидцей, да с подковырочкой. Он вздохнул, ребята засмеялись, — она говорит, он нарочно вздыхает. Да ведь у вас-то он не такой, на ваших уроках?

— Нет, не такой.

— Ну вот! А вы знаете, как он о ваших уроках отзывается? И вообще, он географию любит, и книжки читает, и какую-то географию Марса выдумывает... О путешествиях разных фантазирует. Он с детства такой фантазер!..

— Ну, что хорошо в детстве, не всегда хорошо в юности, — заметила Прасковья Петровна. — И мне, конечно, приятно, — для каждого учителя это великая радость, если он пробуждает в ученике интерес к своему предмету. Но нельзя заниматься только тем, что нравится. Есть еще слово: нужно! На этом и формируется личность, воля, характер, понимание свободы и необходимости: делать то, что нужно. Это основа и общественного чувства — обязанность, долг. А для вашего Антона — вы меня простите, Нина Павловна, — для вашего Антона ничего этого не существует. Да-да!.. Нет, вы помолчите! Теперь вы послушайте меня!..

Прасковья Петровна была уже совсем не та — не было ни лукавых блесток, ни пристального, изучающего спокойствия во взгляде, даже скорбная морщинка на лбу приняла другое, энергичное выражение. И такие же энергичные ноты появились у нее в голосе, в жесте, в секущем воздух взмахе руки, когда она говорила о великом значении — «нужно».

— Вы говорите о каких-то придирках, о чрезмерной требовательности: не так прошел, не так сказал, не поклонился. А как же? А если во время урока он ложится на парту и делает вид, что спит, а может быть, действительно спит? Нельзя! Нельзя так! Нельзя!.. Нужен твердый внутренний распорядок жизни. Перегибы? Может быть, есть и перегибы. Но в основном — нужен порядок и нужно, чтобы ученик чувствовал ответственность за этот порядок.

Новый секущий взмах руки подкреплял категоричность этого утверждения и неослабевающую силу ответной атаки.

— Перегибы есть и у Веры Дмитриевны. К тому же — она больной человек. Не будем скрывать — со странностями человек.

— Ну, так можно все оправдать! — возразила Нина Павловна. — То странности, то болезни! А при чем здесь дети? Простите, пожалуйста! Но кончается четверть, она мне обещала спросить Антона и не спросила.

— Как не спросила?

— Он пришел сегодня расстроенный... Я поинтересовалась — спрашивали его по геометрии, он сказал — нет.

— А про то, что он рисовал карикатуру на учительницу, он вам сказал?

— Нет.
— А про то, что самовольно ушел из класса, сказал?
— Нет...
— Вот видите! Вот где нужно искать корень: у вас нет контакта с сыном. Кстати, где он сейчас?
— Вероятно, у бабушки...
— То есть как «вероятно»?
Нина Павловна поняла, что она проговорилась.
— Вы даже не знаете, где ваш сын! — решительно перешла в наступление Прасковья Петровна. — Вот здесь, повторяю, и нужно искать корни. И не валите все на Веру Дмитриевну. Поверьте мне, это прекрасный преподаватель!
— Да ведь есть преподаватели, а есть учителя, — пыталась еще сопротивляться Нина Павловна.
— Это верно, — согласилась Прасковья Петровна. — Но преподавание тоже воспитывает, особенно математика. И когда Вера Дмитриевна требовала сегодня от Антона логического обоснования, а не простой зубрежки, я не могу ее за это обвинять. И она не считает положение Антона безнадежным, — я говорила с ней. Но у него чего-то не хватает в основах. Он бродил по разным школам, по разным учителям, и где-то что-то было упущено. Может быть, им самим, может быть, учителями, — теперь сказать трудно. Но факт остается фактом.
Горячась и наступая, Прасковья Петровна не переставала наблюдать и видела, как постепенно спадал с ее собеседницы воинственный пыл, как менялись ее глаза, как осмысленнее и вдумчивей становился взгляд и тени сомнения наплывали на ее лицо.
— Ну так что же делать? — растерянно спросила наконец Нина Павловна.
И Прасковья Петровна, глядя на нее, смягчилась, успокоилась, и в глазах ее появился мягкий и добрый свет.
— Давайте, Нина Павловна, искать главное. Какой, по-вашему, самый основной недостаток у вашего Антона? Я понимаю, что матери об этом, может быть, трудно говорить и больно.
— И страшно! — чуть слышно добавила Нина Павловна.
— Ну, не будем вдаваться в панику, давайте лучше разбираться в том, что есть, — сказала Прасковья Пет-

ровна.— По-моему, главное в Антоне — это расхлябанность. Расхлябанность чувств, расхлябанность воли, расхлябанность личности. Но ведь на хляби ничего не построишь. И попробуем быть потверже. Только вместе! Зажмите в кулак свое сердце, и будем вводить Антона в берега. Муж вам поможет в этом?

— Я думаю, — тихо и не совсем решительно ответила Нина Павловна.

Прасковья Петровна уловила эту мимолетную тень нерешительности, но спрашивать ни о чем не стала и одобряюще улыбнулась:

— Будем пробовать! — А потом, подумав, добавила: — Прежде всего нужно, чтобы он сам взялся за себя. Ведь без него-то без самого мы ничего не сделаем. Мы только помогаем развитию человека. Нельзя вдолбить. Внушение — не воспитание. Прочно только то, что человек понял, до чего дошел сам, своим умом и своим опытом, и что стало его, собственным... Ну и я, со своей стороны, приму меры. Ребят настрою. У нас есть чудесные ребята.

— Так где же они?.. — загорячилась опять Нина Павловна. — Вы меня простите, но где же они, эти ваши чудесные ребята? Почему же мой мальчишка один среди них, как столб в поле?

— А вы ему этот вопрос задавали?

— Задавала!.. Говорит, товарищей хороших нет...

— Да ведь дружба дело обоюдное. А он сам никого знать не хочет!

— Вот уж действительно: малое дитя спать не дает, с большим и сама не уснешь! — вздохнула Нина Павловна.

— Ничего, все будет хорошо! — успокоительно сказала Прасковья Петровна. — Откровенно говоря, конечно, жалко, что его перевели из того класса. Смотрите, в какой оборот взяли девочки Антона. Взяли и отвели! Это — ядро. А вокруг него можно любой коллектив создать. А у меня такого ядра нет. У меня и коллектива еще настоящего нет. Все новые! Все разные! И вот только-только что-то стало складываться и намечаться, и вдруг — он! Опять новый и неимоверно колючий, самостийный какой-то, анархический.

— И обиженный! — заметила Нина Павловна.

— Чем-то, кажется, и обиженный! — согласилась Прасковья Петровна. — И вот вы понимаете: с одной сто-

роны не крепкий еще, только что складывающийся коллектив, а с другой стороны он, не признающий никаких коллективов. Все это очень сложно! — вздохнула Прасковья Петровна. — Но ничего! Будем работать!

Прасковья Петровна поднялась и энергичным жестом протянула руку. Нина Павловна пожала ее и слабо улыбнулась.

— Ну вот!.. Встретила вас — хотела ссориться, а получился нужный разговор...

— А зачем нам ссориться? Главное — вместе!

7

Нина Павловна сама не знала, почему она запнулась, когда Прасковья Петровна спросила ее о муже. Нет, она не сомневалась: Яков Борисович, конечно, не откажет ей в помощи!.. И если дрогнул ее голос, то только потому, что она усомнилась в другом: как примет Антон эту помощь нелюбимого им человека?

И как все это вышло и получилось? Это сейчас было для Нины Павловны самым больным местом.

Жизнь с первым мужем, отцом Антона, у нее не удалась. Как и почему — об этом теперь поздно думать. Виноватым она считала, конечно, его, но теперь ее сердце терзалось другим: как наладить новую жизнь и почему она не получается? И началось это, пожалуй, с вопроса Антона: «Мам! А как мне его звать?»

Да! С этого и началось...

Это было накануне переезда на новую квартиру, к Якову Борисовичу, когда завязаны были уже чемоданы и Нина Павловна с внутренним трепетом ждала завтрашнего дня, того дня, когда она станет хозяйкой отдельной квартиры и женой солидного, положительного человека.

Познакомилась она с ним на одном заседании, на котором стенографировала. Заседание было важное, с участием видных людей, крупных ученых и даже одного члена правительства, и Нина Павловна не без гордости отнеслась к тому, что пригласили именно ее. Хотя иначе как будто и не должно было быть: она почти кончила институт иностранных языков, работала и переводчиком, и секретарем в крупных хозяйственных организациях, была за границей. Сталкиваясь с самыми различными вопросами, она всегда старалась разбираться в них и,

если нужно, даже кое-что подчитать, а потому ход прений она воспринимала не механически и, следовательно, меньше путала и ошибалась. За это ее и ценили, хотя, конечно, не исключено, что какую-то роль в этом играла и ее фигура — в меру стройная, в меру пышная, и цвет волос и кожи, и умение держаться, и умение одеваться. Одним словом, она была, что называется, культурной стенографисткой.

Среди других участников прений, может быть, и более видных, может быть, и более ученых, она не могла не выделить Якова Борисовича. Он не читал, как дьячок, по записке, не мямлил и не шепелявил, не экал и не акал, не глотал окончания слов, а так строил речь, что ее потом было очень легко переводить на машинку. Не могла не отметить она и его красивый баритон, и свободную манеру держаться, и умение ответить на реплику, и в конце концов его пышную шевелюру и волевые складки у губ. Все это как-то увязывалось для нее с тем, о чем с большим жаром говорил этот интересный мужчина. Он руководил крупной московской стройкой, был недоволен руководством главка и ставил перед ним ряд важных вопросов.

Но ораторы поднимаются на трибуну и уходят с нее, исчезая в общей массе многоликого зала. Так, вероятно, исчез бы и Яков Борисович, если бы он не сделал в своем выступлении несколько ссылок на иностранные журналы. Эти ссылки потребовали сверки, а при сверке Нина Павловна незаметно подчеркнула и свое знание языков, и свободную ориентировку в том, о чем шла речь в выступлении Якова Борисовича. Остальное доделали улыбка и ямочки на щеках. После одной сверки потребовалась другая, затем нужно было выправить всю стенограмму и просмотреть ее в окончательном виде, а результатом этого был обмен телефонами и многозначительное прощание.

К сожалению, Яков Борисович оказался человеком женатым, имел тоже сына. Правда, это не мешало ему сначала изредка, потом все чаще и чаще позванивать Нине Павловне на работу, но она старалась говорить официальнее и суше, соблюдая дистанцию, которую подсказывало ей женское чутье — не позволить ничего лишнего и не оттолкнуть совсем. Да! И не оттолкнуть совсем. Потому что от себя она не могла скрывать, что ей при-

ятны были эти звонки. Ну почему не позволить себе маленькую роскошь — сознание того, что тобою интересуются? Только это одно, немножко тщеславное, немного горделивое сознание! Но это «одно» повлекло за собою другое, третье, и вот между ними установилось уже то невидимое «что-то», от чего невозможно отделаться. Вот уже скучно, если долго нет звонка, и даже обидно, если он не может прийти, как условились...

Иногда появлялось сознание греховности того, что совершается, но оно меркло перед сладостью переживаний, перед радостью встречи, перед вниманием, которым окружил ее Яков Борисович. Он был совсем другим, чем те многие, которые попадались на жизненном пути Нины Павловны после крушения ее первого брака. Сначала слишком сильна была боль от этого крушения, и хотя ее очень утешала мама, утешала соседка Бронислава Станиславовна («Что вы, милая! У вас еще морщин нет, вы еще такого мужчину себе найдете!»), но боль не прекращалась и порождала возмущение, апатию, гордость, презрение — презрение ко всем мужчинам вообще и к тем, кто обращал на нее внимание, в частности.

Потом постепенно пошло наоборот: внимание стало радовать, льстить, но жизненный опыт не позволял уже бросаться очертя голову: возникали то одни требования к человеку, то другие, иной раз, может быть, даже придирки, капризы, и оказалось, что с возрастом все обстоит куда более сложно и трудно. В отношениях с Яковом Борисовичем все эти трудности куда-то исчезли — все было как в молодости. Вместо них возникали другие вопросы и препятствия — как быть с его женой, с сыном? Но и эти препятствия разлетелись, словно карточные домики: когда было нужно, Яков Борисович умел все ломать на своем пути.

Это было и страшно и сладостно, и у Нины Павловны захватило дух от налетевшего на нее вихря.

Она выдержала разговор с матерью, даже с прямым и резким братом Романом, решительно восставшим против намечавшегося брака, она выдержала объяснение с женой Якова Борисовича, она выдержала ехидные намеки соседок насчет отдельной квартиры, машины и дачи, которую начинал строить Яков Борисович. Эти намеки она отметала с горделивым презрением: ей не нужны

были ни машина, ни дача, ей просто надоело быть одной, ей надоело жить, как по веревочке, на свою зарплату, и, в конце концов, она просто полюбила. Имеет же она право любить?

И сын... Антон подрастает, и одной управляться с ним становится трудно — нужен мужчина в доме.

А соседки — на то они и соседки — пусть судачат!

Так были разрешены все затруднения, и Нина Павловна, закрыв на все глаза, отдалась захватившему ее потоку, и вопрос сына застал ее врасплох:

— А как мне его звать?

Она не сразу нашлась тогда, что ответить сыну, замялась, и эта минутная заминка была, очевидно, воспринята им как признание неправомерности того, что совершается. И хотя в следующую минуту она обняла его за плечи и стала объяснять, как ей трудно одной, стала убеждать, что он уже большой мальчик и все поймет, Антон сказал:

— Я буду звать его Яков Борисович. Ладно?

И у нее не хватило духу не согласиться с этим.

Вот с этого и началось. В новой квартире Антону выделили отдельную комнату, и он в ней замкнулся, как рак-отшельник в своей раковине. Сначала это находило объяснение: мальчик вырос и жил в шумной и многолюдной квартире, и теперь его, конечно, забавляло обладание собственным углом и сознание своей независимости. Да и сами «молодые» супруги не возражали на первых порах против такой его уединенности. В своем упоении собственным счастьем они не сразу заметили, как уединенность мальчика стала переходить в отъединенность: Антон выходил из своей комнаты лишь к обеду и ужину и, ссылаясь на уроки, сидел у себя взаперти, как квартирант. А когда Нина Павловна попыталась с ним поговорить об этом, она уловила в его ответе совсем неожиданные ноты: «я» и «вы».

Особенно эта отъединенность сказалась в отношении Антона к своему новому отцу, которого, впрочем, он так и не стал называть отцом. Яков Борисович сначала взял по отношению к нему несколько вольный, даже панибратский тон («ну, голуба моя») и разрешил ему курить. Антон этим правом охотно воспользовался. Но когда тот попытался вмешаться в его школьные дела, то получил отпор.

— А какая вам забота? — заявил ему Антон, всем своим видом подчеркивая то самое «я» и «вы», которое отметила Нина Павловна.

Яков Борисович попробовал сначала не придавать этому значения, но потом то же самое повторилось и в другой раз, по другому поводу, и в другой, в более резкой форме («На это у меня мама есть»). Яков Борисович обиделся и сделал крутой поворот в обратную сторону.

Вообще сквозь розовую дымку первоначального очарования в нем постепенно стали проступать для Нины Павловны новые, неожиданные и не всегда приятные черты — и чрезмерное внимание к себе, и излишняя самоуверенность, и настойчивость, и бесцеремонность. Свое первое разочарование Нина Павловна пыталась подавить ссылками на разного рода причины и обстоятельства, которыми можно было объяснить постепенно проявившиеся черты характера ее нового супруга. Потом вступил в свою роль жизненный опыт, и объяснение стало переходить в примирение: не все люди идеальны, да идеальных людей и вообще нет — у каждого свои недостатки...

Но Нине Павловне об этом не хотелось думать. Главное сейчас другое: как поступить с Антоном? Помимо всего прочего, это для нее действительно был один из аргументов при решении вопроса о новом устройстве своей судьбы: сын растет, сын заметно грубеет, из послушного, мягкого мальчика превращается в нервного и колючего подростка, управляться с ним становится все труднее. В доме поэтому нужен авторитетный мужской голос. Но получилось другое. Яков Борисович перегнул палку — стал к нему суровым до непримиримости.

Особенно болезненно был пережит всей семьей один случай.

Дело было летом, на даче. Соседки оказались не во всем неправыми: Яков Борисович действительно начинал строить дачу. Вернее, через дачно-строительный кооператив своей организации он получил участок, а дачу договорился строить вместе со своей сестрой, работавшей зубным врачом в одной из московских поликлиник. Ей старики родители завещали свой дом. Дом был старый, провинциальный, находился в глуши и стоял заколоченным. Яков Борисович предложил перевезти его на полученный им участок и, приложив руки и деньги, соорудить

из него настоящую дачу на две семьи: одну половину для сестры, другую — для себя с Ниной Павловной.

И вот на только что отстроенной даче Антону поручили поставить самовар. Самовар был новый, купленный для полного дачного великолепия, о котором откровенно стала теперь мечтать Нина Павловна. Антон очень неохотно взялся за дело — у него были какие-то свои планы. И, задумавшись об этих планах, он допустил небрежность: самовар разжег, а воды не налил. В результате самовар распаялся. Нина Павловна охнула, а Яков Борисович с ожесточением сказал:

— Разве можно такому растяпе поручать какое-либо дело.

Антон обиделся и убежал в лес. Он просидел там до вечера, слышал голос матери, которая искала его, но откликаться не хотел и, только когда уже совсем стемнело, явился домой...

Словом, вместо облегчения и помощи вышло что-то совершенно обратное, и Нине Павловне теперь часто приходилось думать о том, как примирить сына с его новым отцом и отца с его новым сыном...

Думала она об этом и сейчас: как сказать обо всем случившемся Якову Борисовичу и как он к этому отнесется?

Она взглянула на часы и заторопилась — Яков Борисович вот-вот должен прийти, а она была еще не одета. Она считала, что нужно поддерживать то очарование, из которого выросла любовь и без которого она неминуемо угаснет. Поэтому она, конечно, втайне от мужа, очень заботилась о цвете лица, вглядывалась в каждую морщинку. Поэтому и своему домашнему туалету она придавала большое значение и старалась не встречать мужа «распустёхой».

Яков Борисович пришел, как всегда, бодрый, оживленный, переоделся в свою любимую, скромную на вид, но дорогую пижаму из гладкой серой ткани (полосатых пижам он не любил — на матрас похожи!) и стал рассказывать, как этот сук-кин сын Иван Петрович, в ответ на его критику, сорвал ему график поставки цемента и чуть ли не лишил премии, а он сделал то-то и то-то и на премию все-таки вытянул.

Нина Павловна слушала его рассеянно, ожидая, когда спадет с него первоначальный пыл и он в конце кон-

цов заметит ее беспокойство. Но, рассказав об одном, Яков Борисович перешел на другое; и вот в его баритоне вместо возмущения уже играет незлобивый, добродушный смех по поводу того, что этот вахлой Семен Петрович не рассчитал, принял завышенный план и вот теперь прошляпил премию.

Нина Павловна слушала мужа теперь уже с обидой: перед ним сидит близкий человек, у человека этого душа разрывается на части, а он ничего, он совсем ничего не замечает!..

— Слушай! Яков Борисович! — прервала она наконец его рассказы. — Оставь это!

Такое необычное, по имени-отчеству, обращение произвело свое действие: Яков Борисович остановился и тут только заметил расстроенное лицо жены.

— А что?.. Что случилось?

Нина Павловна рассказала ему о событиях дня — о столкновении с сыном и разговоре с учительницей.

— Ну вот! Я тебе говорил!

— Что? Что ты мне говорил? — с прорвавшимся вдруг раздражением спросила Нина Павловна, но Яков Борисович в ответ только вскинул свои густые, красивые брови.

— Напомнить?

Это был намек на один крупный разговор между ними, когда в своем стремлении сломить сопротивление Антона Яков Борисович очень резко и обидно отозвался о нем. И тогда, в запальчивости, у нее вырвался упрек:

— Чужое своим никогда, видно, не будет!

— Ах, так? — обиженно сказал Яков Борисович. — Ну, пожалуйста! Тогда и управляйся со своим архаровцем как хочешь!..

Он делал вид, что ему все равно, и подчеркнуто старался не вмешиваться в дела Антона. Но теперь в пересказанных Ниной Павловной словах учительницы он увидел поддержку себе и явно торжествовал.

— Боюсь только, что поздно. Ежовые рукавицы тоже в свое время нужны. А теперь его, может быть, нужно на работу устраивать. Вот поработал бы и узнал, почем сотня гребешков!

— А школа? — встрепенулась Нина Павловна. — Ну, знаешь, это легче всего: отделаться от парня, а там — как хочешь!

— Ну, смотри сама! — Яков Борисович развел руками.

В доме установилась напряженная тишина, и среди этой тишины вдруг раздался телефонный звонок. Трубку взяла Нина Павловна и услышала мужской голос:

— Это квартира Шелестовых?

— Да. А в чем дело?

— Говорят из отделения милиции. У вас есть сын Антон?

— Да, — упавшим голосом ответила Нина Павловна.

— Он нами задержан.

— Как «задержан»? За что?

— Приезжайте, узнаете. Запишите адрес.

8

В милицию Нина Павловна поехала одна. Яков Борисович сначала отказался, потом как будто согласился, но Нина Павловна решила в последнюю минуту, что его посещение милиции может все испортить, и Яков Борисович охотно признал правильность этого решения.

Дорогой Нина Павловна все передумала — и так ничего и не смогла придумать. Тоник мог плохо учиться, Тоник мог шалить, даже грубить, но он ничего не мог сделать такого, чтобы попасть в милицию. Но в то же время он был там и в чем-то, очевидно, провинился. А может быть, нет? Может быть, зря попал? Разве так не случается?

Нина Павловна искала указанный ей номер дома, когда наперерез ей, с другой стороны улицы, мелькнули три тени, и среди них она неожиданно увидела Вадика.

— Нина Павловна? Вы милицию ищете? Вот она! — указал он на кирпичное, неоштукатуренное здание с трафаретной сине-красной вывеской. — Только вы не беспокойтесь! Тонику ничего не будет... С ним проведут воспитательную беседу и отпустят.

— Простите, Вадик, но откуда вы? — оторопела Нина Павловна. — И откуда вы все знаете?

— А потому, что он ни в чем не виноват! Он только за мальчишку заступился, а привлекать за это у них нет такой статьи. Вот если бы он сопротивлялся — наоборот, бригадмилец ему руки ломал, и его можно бы к ответственности привлечь. У нас и свидетели есть!..

— Подождите, подождите, Вадик! — остановила его Нина Павловна. — Я уж как-нибудь сама разберусь. Вы расскажите, что произошло?

По рассказам Вадика и других, наперебой вмешивавшихся в разговор ребят, так оно и получилось, как она думала: Антон ни в чем не виноват. Кого нужно, не ловят, а к ни в чем не повинным детям привязываются!..

В таком настроении она решительно открыла дверь красного здания и столь же решительно постучала в дверь детской комнаты, которую ей указали. И первое, что она увидела, открыв дверь, был ее Тоник. Он сидел на стуле, сильно сгорбившись, и теребил в руках шапку. Когда она вошла, он вскинул на нее глаза и тут же отвел их, потупившись...

— Гражданка Шелестова? — спросила ее женщина в милицейской форме с погонами старшего лейтенанта.

— Да.

— Я инспектор по детской работе Маркелова. Скажите, это ваш сын?

— Да.

— Шелестов Антон Антонович? Правильно?

— Правильно.

— А почему же ты сначала сказал неправильно? — спросила Маркелова Антона. — Да еще ложный адрес указал, пытался ввести в заблуждение органы милиции.

— Совершил нарушение, сынок, имей мужество ответить, — сказал другой, сидевший здесь же человек в гражданском костюме, с черными как смоль волосами и такими же черными крутыми бровями.

— А какое нарушение? — преисполненная воинственного настроения, резко спросила Нина Павловна. — За что вы его забрали?

— Не забрали, а задержали, — поправила ее Маркелова.

— Ну все равно — задержали!.. Если он вступился за мальчика и хотел ему помочь, так за это нужно ломать руки и тащить в милицию? Неужели у вас нет других, более важных дел?

Антона в обиду она решила не давать — мало ли что они могут на него наговорить!..

— Статью пришить хотят, — почувствовав поддержку матери, осмелел Антон.

— Не пришить, а применить. И, если нужно, применим! А пока помолчи! — Маркелова строго взглянула на него и, обратившись к Нине Павловне, спросила: — А откуда вы знаете, что случилось в кино?

— От свидетелей, очевидно! Мне ребята все рассказали...

— Ребята? — переспросил тот, чернобровый.

Он встал из-за стола, и тогда оказалось, что это небольшого роста, довольно плотный, но никак не толстый человек. Говорил он с легким украинским акцентом.

— Это они, значит, пытались тебя у патруля отбить?

— Ничего они не пытались, и вообще никто меня не отбивал, — продолжая теребить свою шапку, проговорил Антон. — Это я сам...

— А зачем ты сюда, летяча пташка, ездишь совсем из другого района? — спросил опять чернобровый. — Где тут для тебя мед намазан?

— А разве из района в район ездить нельзя? — ответил Антон. — Ездить я могу куда угодно, и запретить мне вы не имете права!

— Не имею, это верно! — засмеялся чернобровый. — Не зря, сынок, грамоте обучался, права свои добре знаешь, на пять с плюсом!

— А есть люди, очень хорошо заучившие свои права и ничего не желающие знать о своих обязанностях, — добавила инспектор Маркелова.

— Чуешь? — спросил Антона чернобровый. — Это в твой огород камушек! — Он быстро повернулся к Нине Павловне: — А какие хлопцы вам рассказали все? Вы их знаете?

— Мама! — предупреждающе сказал Антон.

— А ты, сынок, помолчи! — остановил его чернобровый, продолжая всматриваться в Нину Павловну.

Она не знала, что сказать. Она совсем не подготовилась к такому положению: сын и милиция. Кому помочь? Кому поверить? На чью сторону стать?..

— Ох, не знаю!.. — вздохнула Нина Павловна. — Все это меня очень тревожит...

— Тревожиться, мамаша, нужно не тогда, когда сын в милицию попал, а раньше, — сказала инспектор Маркелова..

— И воспитывать дите нужно, пока оно поперек кровати лежит, а как вдоль легло — поздно! — добавил чер-

нобровый и повторил свой вопрос: — Ну, а ребят-то тех вы знаете?

— Знаю, — проговорила Нина Павловна. — Вернее, одного только знаю...

— Мама! Я запрещаю тебе говорить! — встревоженно проговорил Антон.

— А я запрещаю тебе говорить! — прикрикнула на него Маркелова. — А ну выйди! В коридоре посиди, на диванчике. Освежись!

— И тильки запомни! — сказал от себя чернобровый. — У нас тут есть книжечка. Вот она. Чуешь? «Кого, когда и за что»... Вот в эту книжицу нынешнего числа тысяча девятьсот нашего года теперь записано. Нет, погляди, погляди! «Шелестов Антон Антонович». Ну, а за что — сам знаешь, — за то самое. Чуешь? Ну то-то! Иди и больше не попадайся.

Он улыбнулся, и тогда на его щеках выдавились неожиданные, совсем девичьи, добродушные ямочки.

Когда Антон вышел, Нине Павловне пришлось рассказать и о себе, и об Антоне, и о бабушке, и о Вадике.

— Сына вашего мы могли бы привлечь к ответственности за хулиганство, дебош в общественном месте и сопротивление органам власти. Статья семьдесят четвертая, — сказала Маркелова. — Но мы пока этого не делаем. Мы предупредили его, предупреждаем вас и предупредим школу и ваше отделение милиции по месту жительства. Нужно принимать меры. Можете идти!

Нина Павловна вышла, а когда закрыла дверь, услышала из-за нее голос чернобрового:

— Ну и мать!..

9

Антон сидел в коридоре на деревянном диванчике, прислушиваясь к приглушенным голосам за дверью... Дверь отворилась, вышла взволнованная и возбужденная Нина Павловна и резко сказала ему:

— Пойдем!

Антон поднялся и покорно пошел за нею, но за его покорностью Нина Павловна чувствовала недовольство. И действительно, едва они вышли на улицу, он спросил:

— Накляузничала небось?

— Что нужно, то и сказала,— коротко ответила Нина Павловна.

Не успели они пройти и нескольких шагов, как с другой стороны улицы, им наперерез, опять метнулись те же три тени.

— Ну как? Все в порядке?..

Нина Павловна остановилась и сказала:

— Простите, Вадик!.. Оставьте нас в покое!

Она повернулась и пошла, с болезненным вниманием прислушиваясь, идет ли за нею сын? Она хотела уже окликнуть его, как услышала, что он, задержавшись на несколько мгновений с ребятами, нагоняет ее. Нагнав, он зло прошипел:

— Что ты на моих товарищей набрасываешься?

— Тоник! — в ужасе остановилась Нина Павловна. — Неужели ты ничего не понял?

— А что тут понимать? Все ясно! — с поразившей Нину Павловну упрямой, жесткой нотой в голосе ответил Антон. — Ни в чем я не виноват. За мальчишку заступился — подумаешь, обеднели бы они, если бы мальчонку в кино пропустили?

— Кто «они»? — возразила Нина Павловна. — Да и мальчишка-то был без билета!

— Ничего не без билета. У него билет был, только на другой сеанс... Деньги-то уплачены.

Нина Павловна растерялась — она ничего не могла понять. Это было что-то совсем другое — другие понятия, другая логика, все другое, странное, непостижимое.

— Так что же? Неужели ты и в самом деле считаешь себя правым, Тоник? — спросила, почти выкрикнула она.

Антон ничего не ответил...

Потом, много позже, разбираясь во всей жизни и во всех ошибках — и сына, и своих собственных,— она вспомнила и этот разговор, и его молчание на такой важный, можно сказать, решающий вопрос: как он оценивает свой поступок?

А сейчас она, сама не зная каким образом, перескочила вдруг совсем на другое:

— А как же теперь с комсомолом?

— Ты о комсомоле, кажется, больше меня думаешь,— усмехнувшись, сказал Антон.

— Я вообще о тебе, кажется, больше тебя самого думаю!

Все это было скачком из сегодняшнего дня во вчерашний, когда все было сравнительно благополучно и при двойках и при шалостях Антона была надежда, что все каким-то образом уладится, что Антон выровняется и пойдет обычным для всех ребят путем: кончит школу, поступит в институт. В какой? Об этом еще рано было думать. Лишь бы кончил школу и куда-нибудь поступил — на этом ее заботы и мечты кончались. Нужно только, чтобы кто-нибудь ему в этом помог, поддержал, увлек, и тут Нина Павловна не могла не думать о комсомоле. Но для того чтобы вступить в комсомол, нужно было хорошо учиться — во всяком случае, без двоек — и хорошо вести себя, а Антон... Получался заколдованный круг, но теперь все рушилось и отодвигалось в неопределенное будущее. Разве могут принять Антона в комсомол после того, что произошло сегодня?

Яков Борисович встретил Антона какой-то непонятной усмешкой:

— Ну-ну?..

Он стоял, заложив руки назад, и смотрел — не смотрел, а рассматривал потупившегося Антона.

— Ну, что же ты?.. Рассказывай!..

Нина Павловна рада была вмешательству Якова Борисовича. Теперь как раз был тот момент, когда особенно казался необходимым авторитетный мужской голос, о котором она мечтала. Но в то же время она чувствовала, что у Якова Борисовича все было не то: и вопрос не тот, и тон не тот, и усмешка не та — ненужная, обидная, злорадная какая-то усмешка... А на лице у Антона она видела упрямое, жесткое выражение, которое уже не раз пугало ее. Поэтому она вмешалась и стала сама рассказывать о том, что узнала в милиции.

— А почему об этом мама рассказывает? — перебил ее Яков Борисович.— Почему обо всем не может рассказать сам герой? И именно — обо всем! Потому что история в кино — только следствие чего-то еще, другого. Правильно?

Яков Борисович требовательно смотрел на Антона, но тот отмалчивался, глядя в сторону.

— Вот это хуже всего! — с убежденностью, которая когда-то так понравилась в нем Нине Павловне, сказал Яков Борисович.— Хуже всего! Если человек совершает какую-то ошибку и не может честно признаться в ней,

проанализировать свое поведение, даже просто рассказать об этом,— чего же еще от него ждать?

Нина Павловна тревожно глянула на Антона. Последние слова Якова Борисовича чем-то напоминали ей историю с самоваром, и она испугалась, что Антон тоже заметит это. Но Антон продолжал смотреть в угол, и на лице его было безразличие и упрямство. Это заметил, очевидно, и Яков Борисович, и в голосе его появилось раздражение, которое он, однако, быстро подавил.

— Искренность — основа честности,— сказал он, начиная ходить по комнате.

Это было признаком того, что Яков Борисович собирается произносить речь. И действительно, он дошел до столика с телевизором, постоял, очевидно продумывая то, что им сказано, а потом, повернувшись, продолжал:

— А может быть, наоборот... Может быть, и наоборот!.. Во всяком случае, между ними есть полная взаимозависимость. Диалектика, милый мой. Диалектика! Честность — основа всего. И в школе, и дома, и на производстве, и в общественной жизни, даже на улице — и вообще: какая может быть жизнь без честности? А у нас, в социалистическом обществе, тем более. Честь — это высший человеческий девиз! Вам об этом, вероятно, и в школе говорят, и в комсомоле... Хотя ты... Вот видишь, ты даже не комсомолец! Ты, вероятно, не читал Макаренко, Калинина. А как же без этого? Если воспитывать себя в коммунистическом духе, как же не обращаться к нашим классикам? Нужно равнять себя на большие горизонты жизни. Но этого нужно хотеть! А вот хочешь ли ты этого? И вообще — чего ты хочешь? Разобраться нужно в этом, разобраться! Я допускаю, сам ты не можешь, не в силах. Юность самонадеянна, но глупа. Так спроси! Поговори! Поделись!.. А ты молчишь!

Нина Павловна с удовольствием слушала эту убежденную, хотя и немного выспреннюю речь. Вот наконец Яков Борисович нашел, кажется, настоящий тон, тон наставника, почти отца, строгого, принципиального, умного, который не просто ругает, а убеждает и увязывает случившееся с большими горизонтами жизни. И тем больше ее поразило уже не упрямое, а почти злое, исступленное лицо, с которым Антон слушал отчима. Он впился в Якова Борисовича глазами и следил за ним, за каждым его движением, как он ходил от дивана до телевизора и обратно.

Вместо радости, которая только что охватывала ее, в душе Нины Павловны вдруг быстро, грозно стало нарастать необыкновенное волнение, тревога, почти отчаяние, и когда все это достигло крайнего, невыносимого предела, она закричала:

— Чего же ты молчишь, на самом деле? Дрянь ты этакая! Дрянь! Другие дети как дети, от других матери радости видят, гордятся ими, а ты?.. Яков Борисович старается тебя на путь направить, он с тобой как с сыном, а ты...

Крик ее превратился в визг, готовый перейти в истерические слезы. Но в ответ на все это Антон сжал кулаки, напрягся как струна.

— С сыном? — тихо проговорил он.— Как с родным сыном? А его собственный сын где? Собственный!

— Антон! Да ты с ума сошел? — всплеснула руками Нина Павловна.

— Ни с чего он не сошел,— с холодным спокойствием ответил ей Яков Борисович.— Он у тебя просто хам!

10

Раньше Елизавета Ивановна была преподавательницей химии. Успеваемость в ее классе всегда была хорошая, дисциплина тоже, и она была на лучшем счету как в школе, так и в районе. И, по правде сказать, она к этому привыкла и даже расстраивалась, если ее забывал упомянуть в своем докладе директор школы или заведующий роно. Привыкла она и к тому, что ее просили выступить почти на каждой учительской конференции,— и она выступала. Фигура у нее была видная, голос — зычный, охватывавший и без микрофона самый большой зал, а нрав — смелый, решительный,— выступления ее поэтому обычно имели успех.

Вот почему, когда в районе построили новую школу, Елизавету Ивановну назначили туда директором. И она согласилась, тем более что школа была женская, а с девочками, как ей казалось, справляться все-таки легче. Елизавета Ивановна была энергичным, решительным человеком, у нее было много сил и здоровья, и, надо ей отдать справедливость, она совершенно их не щадила,— целые дни проводила в школе, вникала в каждую мелочь и очень быстро по всем требуемым показателям вывела школу на

одно из первых мест в районе. На учительских конференциях она сидела теперь в президиуме и с еще большей ревностью следила за тем, как и в каком духе ее школа упомянута в докладе роно. С такой же ревностью Елизавета Ивановна охраняла все, на чем зиждился достигнутый ею порядок. Поэтому, между прочим, во всех спорах и дискуссиях того времени она была ярой сторонницей раздельного обучения. В доказательство своей правоты она подбирала самые различные, пусть даже не очень основательные аргументы, а в глубине души просто боялась мальчиков. Когда же они, вопреки всем ее аргументам, пришли в школу, она растерялась. Вида она, конечно, не подала и решила встретить мальчиков во всеоружии. Она считала, что в обращении с ними прежде всего нужна железная дисциплина, а потому старалась не только поддержать, но и усилить тот внешний порядок, которым всегда отличалась ее школа. Об этом она даже сделала доклад на педсовете: «Дисциплина как фактор воспитания».

Но чем больше старалась Елизавета Ивановна, тем больше она чувствовала, что в школе что-то начинает меняться: то одно происходит, то другое, и считавшееся ранее незыблемым начинало колебаться, а считавшееся невозможным — совершаться.

В этом отношении ее особенно встревожила Марина Зорина. Дочь профессора, лауреата Государственной премии, Марина совсем не походила на тех, кто родительские заслуги принимает за свои и собирается прожить жизнь как луговой мотылек. Скромная и неброская с виду, она всегда была в числе тех, кто служил опорой и примером. Послушная, согласная, она во всем — в учении и в работе, в уборке школы, в сборе бумаги и лома, в любом предприятии — всегда была первой и казалась прозрачной как стеклышко. И вдруг стеклышко замутилось. Сначала Марина порадовала Елизавету Ивановну: привести мальчишку, сквернослова и хулигана, в кабинет директора — это не каждая сможет. Но когда Шелестова перевели за это в другой класс, Марина влетела в кабинет директора с небывалым и невозможным раньше вопросом: почему это сделано?

— Как почему? — удивилась Елизавета Ивановна.— И почему ты спрашиваешь? Разве это тебя касается?

— А разве я могу спрашивать только о том, что касается меня? — спросила Марина.— А если касается товарища?..

Она стояла перед директором прямая, напряженная, готовая выдержать все что угодно.

Но Марина тут же смутилась, покраснела, и у нее показались слезы. Она старалась их удержать, кусала губы, а слезы — предатели! — не слушались и потекли по щекам.

— Это еще что такое? — строго спросила Елизавета Ивановна.— Что за сантименты?

Марина вскинула на нее глаза и, круто повернувшись, выскочила из кабинета так же быстро, как и влетела.

— Марина! Вернись! — крикнула вслед ей Елизавета Ивановна, но Марина не вернулась и ушла — тоже совсем необычный, порождающий тревогу поступок.

Но главное, пожалуй, чего опасалась Елизавета Ивановна, было не столько состояние школы, которое пока не было сколько-нибудь угрожающим, сколько своя репутация. Вот только вчера она была в роно, и там, на совещании директоров, ее упомянули уже совсем в другом плане. Недавно в школе была иностранная делегация. Члены делегации только улыбались и жали руки, зато сопровождавшие их товарищи из гороно и, кажется, даже из министерства указали на ряд недостатков, о которых вчера и шла речь. Елизавета Ивановна пробовала оправдаться — сослаться на то, что мальчики принесли в школу новое, беспокойное начало, но заведующий роно сказал, что мальчики пришли во все школы, однако там дела идут значительно лучше, а «беспокойное начало» нужно вводить в рамки.

Елизавета Ивановна и за ночь не сумела пережить полученную вчера обиду и в школу пришла взволнованная; привыкшая к похвалам, она впервые, кажется, перенесла такой позор, и все из-за каких-то распоясавшихся мальчишек, вроде «трех мушкетеров». А что с ними сделаешь? Вот разбили их троицу, а на переменах они все равно вместе и все, кажется, что-то замышляют или забьются в уборную и курят там от звонка до звонка и вообще ничего не хотят признавать.

Или случай с доской Почета — с исчезновением с нее портрета Люси, старшей пионервожатой. Как? Почему? Это так и осталось неизвестным. А «мушкетеры» смотрят в глаза и смеются, а потом обнимутся и пойдут по коридорам:

Есть мушкетеры!
Есть мушкетеры!

Есть мушкетеры!
Есть!

В таком настроении Елизавета Ивановна вошла в свой кабинет, усаживаясь, сердито двинула креслом, переложила лежавшие на столе книги с одного места на другое и принялась разбирать почту. И там среди прочего она обнаружила открытку: такого-то числа, таким-то отделением милиции «был задержан ученик вашей школы Шелестов Антон за недостойное поведение и дебош в общественном месте. Сообщается для принятия соответствующих мер»...

— Шелестов? — Елизавета Ивановна с силою нажала кнопку звонка.

— Пчелинцеву ко мне! — скомандовала она, когда в приоткрывшуюся дверь заглянула секретарша.

Прасковья Петровна пришла на следующей же перемене, но пришла не сразу и явно торопилась— перемена была короткая. Поэтому Елизавета Ивановна не успела излить перед ней все свое возмущение и только, подавая открытку, кивнула:

— Полюбуйтесь!

Прасковья Петровна прочитала, покачала головой и так же коротко сказала:

— Займусь!

Но заняться этим она не успела: прозвенел звонок, и Прасковья Петровна пошла на урок.

А во время урока к директору зашла старшая пионервожатая. Она была редактором школьной радиогазеты, и Елизавета Ивановна сказала ей:

— Вот вы все ноете: материала нет. А вот вам! — и подала ей все ту же открытку.

Пионервожатая прочитала и всплеснула руками.

— Ужас какой! Елизавета Ивановна! Да разве это у нас раньше было?

— Теперь опять в роно склонять по всем падежам будут! — сокрушалась Елизавета Ивановна.

— И опять Шелестов! — добавила Люся.

— А кому ж еще?.. Ну-ка, разделайте его! Чтоб никому повадно не было! Я такого безобразия в своей школе не потерплю!

И Люся этого терпеть не хотела. Возмущенная происшествием со своим портретом, она искала виновников и упорно натыкалась на насмешливые глаза Шелестова и двух его друзей. Поэтому она со всей готовностью отозва-

лась на предложение директора, и на большой перемене по всем этажам школы прогремело по радио сообщение о позорном поступке ученика девятого «Б» класса Антона Шелестова. И как только оно прогремело, в кабинет директора прибежала взволнованная Прасковья Петровна.

— Что это такое, Елизавета Ивановна? Что это значит?

— А что?

В холодном спокойствии директора только привычное ухо могло уловить глухой гнев, и Прасковья Петровна, еще более возмущенная и холодом этим, и деланным безразличием, разгорячилась.

— Как же без меня делаются такие сообщения?

— А с каких это пор мы должны согласовывать с учителями работу редколлегии?

— Елизавета Ивановна! Я вас не понимаю! Я не просто учитель. Я — классный руководитель! И потом: должны, не должны... Это — формально! Мы — педагоги! А Шелестов мой ученик, и вы поручили мне заняться этим делом. А теперь... Мне нужно было поговорить с ним, с матерью, вообще разобраться, подготовить актив, и вдруг... Теперь мне все испортили!

— Как это — «испортили»? — тоже повышая голос, возразила Елизавета Ивановна.— Как может испортить общественное воздействие? Это использовать нужно, а вы... И, пожалуйста, поменьше этого: поговорить, побеседовать... Таких гнать нужно, а не миндальничать с ними! На гнилом либерализме можно авторитет свой строить, а школу держать нельзя. А вы же видите, что у нас делается, нам школу спасать нужно!

Опять прозвенел звонок, возвещавший окончание большой перемены. Прасковье Петровне нужно было идти на урок в другой параллельный класс, но она зашла в свой, чтобы встретить Антона и попросить задержаться после уроков. Но его не было.

— Вероятно, где-нибудь со своими дружками, — холодно ответила Клава Веселова, комсорг класса.

— Когда придет, скажи, что он мне нужен.

Урок Прасковья Петровна, как всегда, вела с полным напряжением сил: производила опрос и «совершила путешествие», как она называла объяснение нового материала, и отдавалась этому вся, но в ее сознании то и дело вставал Антон и все вопросы, которые завязались вокруг него. Окончив урок, она опять подумала о нем, но спо-

койно вела разговоры с окружившими ее учениками, в полной уверенности, что Антон ждет ее в коридоре. Но его не было. Прасковья Петровна поспешила в свой класс и узнала, что Антона не было и на уроке...

11

Первое, что заметил Антон, прослушав радиосообщение о себе,— это глаза. Их вдруг оказалось бесконечное множество, они окружили его, они смотрели на него со всех концов зала, они преследовали его по всему коридору, они были везде, а среди них, посреди них — он, один.

Антон сделал независимое лицо и, хотя в душе у него все дрожало, храбро шагал по коридорам, не сгибаясь, во всю высоту своего роста, неся свою пышную, видную на всю школу шевелюру. Только один раз он чуть не расплакался, когда к нему подошел друг-мушкетер Сережка Пронин и на виду у всех широким, размашистым жестом подал ему руку. Но после этого случилось то, чего Антон не мог выдержать: ему навстречу шла Марина — тоненькая, худенькая, натянутая, как струна,— совсем необычная. Она была еще далеко, но Антон, кажется, видел ее надломленные брови, чувствовал взгляд, такой светлый и чистый, удивленный, и возмущенный, и осуждающий. И, не имея силы вынести все это, не решаясь даже разглядеть ее как следует, Антон повернулся, пошел назад и, не замечая уже больше ничьих глаз, ушел из школы.

И только здесь, на улице, Антон подумал: а почему он так испугался Марины? И какое, в сущности, ему дело до того, как она посмотрит и что подумает о нем? Да и откуда он взял, что она что-то подумает о нем? Она хорошо учится, она хорошо кончит школу, поступит в вуз, а у него так все не устроено и не ясно. И какое ей дело до него? Теперь он, конечно, не испугался бы и не повернул бы назад. Теперь он, увидев ее золотистую, как подсолнечник, голову, пошел бы прямо на нее, глянул бы ей в глаза да еще, пожалуй, усмехнулся бы. Вот я какой!

И так, ожесточаясь в душе, он шагал по улицам, не замечая ни ветра, раздувавшего полы незастегнутого пальто, ни сухого, колючего снега — ничего. Ему встречались люди, его обгоняли люди, двигались машины, кипела жизнь, и среди этой жизни он шел один, не зная, куда он идет...

Домой идти не хотелось,— дома и без того была война.

Антон не знал, повторил бы он еще раз то, что сказал Якову Борисовичу, но тогда не сказать этого он не мог — слишком взбесили его разговоры о горизонтах жизни и высшем человеческом девизе. Хотя отчим и вышел из себя, предрекая ему «чахлое будущее», хотя мать и набросилась тогда на Антона с истерическими упреками в грубости, неблагодарности и хотя потом, ночью, она приходила к нему и плакала и уговаривала извиниться перед отчимом, он ни в чем не хотел извиняться и ни от чего не хотел отказываться. Тогда она рассердилась и ушла, хлопнув дверью. И теперь опять начнутся разговоры, объяснения, ругань, пилка. Нет, домой ему идти не хотелось!

Антон остановился на каком-то перекрестке, соображая — где он, куда привела его путаница мыслей и переулков и куда ему дальше идти? Где-то, в глубине души, на один миг вспыхнула было малюсенькая, совсем малюсенькая искра сомнения в правильности того, что он сделал и делал, но при воспоминании о доме, о радио и о Марине она, эта искра, мгновенно погасла. Нет, нечего ему дома делать! Ну их!

Оглядевшись, Антон увидел, что идет к бабушке. Он прошел уже больше половины пути, и садиться на трамвай или троллейбус было незачем. Он застегнул пальто, поднял воротник и пошел навстречу разыгравшемуся ветру. А заблудившийся среди домов ветер преследовал его, утихая вдруг, чтобы с новой силой выскочить потом из-за угла, наброситься и закрутить, завихриться в злобном желании сбить с ног, с пути-дороги и загнать куда-то в угол, в самую глухую подворотню.

Не доходя до дома, где жила бабушка, Антон неожиданно встретил Вадика и всю компанию. Ребята дружно и шумно окружили его, и в их вопросах, рукопожатиях и похлопывании по плечу Антон почувствовал искреннюю и дружескую радость товарищей, что вот они нечаянно встретились. И Антону стало тоже радостно — после недавних одиноких блужданий по переулкам встретить их, друзей, верных товарищей, доказавших на деле свою дружбу, и сознавать себя в их глазах в какой-то степени героем.

— Ну как? Что?

— А ничего! Подумаешь!

— Как же ты второй-то раз засыпался? Чудило! Чего ж деру не дал?

— Да, понимаешь, дворник!.. А если б не дворник, меня б в жизни не догнали — я по бегу призы беру.

И все это — крепким рассольчиком и развязным бахвальством на всю улицу, будто он не сидел сгорбившись в милиции и не теребил шапку.

— Ну ладно! Вырвался, и молодец. Айда с нами!

— Куда?

— Да так... в одно место погулять. Там и Галька Губаха будет,— подмигнул Вадик.

— Какая Галька?

— А помнишь, из-за тебя ругалась. Она о тебе спрашивала: как этот цыпленочек живет? Пошли!

— Ему мама не велела,— хмуро подшутил Генка Лызлов.

— А что мне мама? Пошли!

Мама не велела!.. А что ему действительно мама? Разве она может что-нибудь понять в его жизни? Все боится чего-то, предупреждает, а сама... И впервые нехорошие мысли мелькнули у Антона о маме и Якове Борисовиче. Им хорошо воспитывать, они живут в свое удовольствие, а тут — того нельзя, другого нельзя, не знаешь, как ступить, куда повернуться. Подумаешь, мама!..

В душе был хаос вопросов, упреков и обвинений, в которых тонули копошащиеся где-то сомнения. Антон сознавал, что если он пойдет с ребятами, то совершит новый и очень решительный шаг в жуткую неизвестность. Водку пробовать ему приходилось, но идти специально затем, чтобы пить и гулять, этого с ним не случалось. Ну так что ж! Мало ли чего с ним не случалось! Ладно! Идем!

Пришли они в неизвестный Антону переулок. Там на заднем дворе стоял барак, длинный, нескладный, с большими квадратными окнами. Внутри он делился на две части таким же длинным коридором, по сторонам которого виднелось много дверей. В одну из них вошла, вернее, ввалилась, вся компания — без стука и всякого предупреждения, со смехом и гомоном. Предупреждать, по-видимому, было и незачем, там уже были гости: несколько девчат и два парня, один — с золотой коронкой на зубе, другой — с косым, через все лицо, шрамом. Посреди комнаты стоял стол с бутылками, закусками, над столом ви-

села яркая лампа под оранжевым матерчатым абажуром, окно было завешено байковым одеялом.

— Ну вот и наша холостежь пришла! — встретила ребят Капа, хозяйка комнаты.

— Кто там? — послышался знакомый Антону голос.

— Наши, а с ними еще один, новенький.

С кровати, неожиданно для Антона, поднялся Витька Крыса и полуприветливо, полунасмешливо протянул:

— А-а-а!.. И ты пришел?.. Герой! Ну-ну! Раздевайся, если пришел. Тут все свои! «Сявки»!

Едва Антон осмотрелся, как увидел в упор устремленные на него глаза Гальки. Он ее сразу узнал среди остальных девчат, находившихся в комнате, и попытался спрятаться от ее глаз за чью-то спину, но они опять нашли его и все время преследовали, смеющиеся и откровенные.

— А я думаю, где мой цыпленочек пропал? — вдоволь насладившись его смущением, пропела наконец Галька.

— Цыпленочек?..— захохотал Витька.— Ну, так тебе, парень, видно, и быть Цыпой!

Антон, смущаясь, подал Гальке руку, она задержала ее и потянула к себе.

— Да ты подожди, подожди! Перед контролером хорохорился, словно петушок, а тут чего робеешь? Глупыш!

Что-то шальное и головокружительное хлынуло на Антона от теплых Галькиных рук и неотвязного, смеющегося взгляда, от которого он не знал, куда деваться.

Главное, не знал он, над чем она смеется: неужели над ним, и в самом деле глупым и нескладным по сравнению с нею, пышной и пышущей озорством дивчиной, которая намного старше его. И в то же время — нет! Она была такая ласковая, близкая — протяни только руку! — и лицо ее крупное, улыбчивое, и губы крупные тоже и, вероятно, очень мягкие, и глаза, затягивающие, как омут, и грудь, плотно обтянутая кофточкой.

— Гляди, гляди: глупа, а захватиста! — заметив ухищрения Гальки, сказал Витька Крыса.— Свежинку почуяла.

— А тебе что, завидно? — блеснула на него глазами Галька.— Кого хочу, того люблю. Каждый свой характер имеет. И ты ко мне не подкатывайся. Бортиком!

— Ах ты, цыпа на сандальных каблучках! — Витька со смехом обхватил ее за плечи.

— Бортиком, бортиком! — повторила Галька, но Витькины руки соскользнули с ее плеч на грудь, и он, играя, стал валить ее со стула.

Галька вывернулась и наотмашь оттолкнула его от себя.

— Уйди, Квазимодо страшный! Не приставай! А то мой цыпленочек и впрямь что обо мне подумает. А мы с ним и сидеть рядышком будем. Ладно? — Она заглянула в глаза Антону.— У нас дело пойдет как по бархату.

Когда сели за стол, Галька действительно оказалась рядом с Антоном, угощала его и подливала водку в его стакан.

— А ну до дна! До дна! Вот так вот!

Много ему и не требовалось: Антон не заметил, как все перед глазами у него пошло кругом, и поплыло, и совершенно изменилось, как повеселели все, как будто подобрели, даже Витька, даже парень со шрамом. Появилась гармонь, и какая-то громогласная девица затянула песню, а другая выскочила из-за стола и запрыгала как заводная, дрыгая плечами, выбивая каблуками замысловатую дробь под непристойные частушки. Все смеялись, и Антон тоже смеялся и почему-то стал барабанить руками по столу, пока Галька не взяла его за руки и не притянула к себе.

Антон чувствовал теплоту и мягкость ее тела, ему не хотелось отставать от других, от Вадика, который лез целоваться с сидевшей рядом с ним до невозможности завитой и совсем опьяневшей блондиночкой, а та смеялась и, пронзительно, притворно повизгивая, хлопала его по рукам. Затем они куда-то пропали... У Антона кружилась голова, его начинало мутить, и временами все куда-то исчезало, опять появлялось и снова исчезало...

В одно из таких прояснений он услышал нерешительный стук в дверь. Капа встала из-за стола, выглянула в коридор и, поговорив с кем-то, снова захлопнула дверь.

— Какой гад там ломится? — спросил охмелевший Витька.

— Соседка! Мешаем мы ей!

— Соседка? — недобро усмехнулся Витька.— Я вот ей скажу пару ласковых...

— Ладно, ладно! Сиди! — строговато глянула на него Капа. Но Витька стал подниматься из-за стола.

— Чего «сиди»?.. Чего «сиди»? А какое ее собачье дело?

У него задергалась щека и в глазах появился тот исступленный, злой блеск, который говорил, что Витька может «выйти из берегов», и тогда — собирай черепки, берегись, огуречники! Лучше всех это, видимо, понимала хозяйка комнаты и, сразу изменив тон, обняла Витьку за плечи.

— Ладно, Витенька, ладно! — ласково говорила она, придерживая плечи своего не в меру своенравного дружка.

Витька некоторое время еще осовело и недобро смотрел на нее, потом сразу обмяк и сел на свое место.

— Эх ты, темнота, курица! А бабке этой скажи, чтобы она не шебуршилась. А то мы ее укоротим!

— А ну его! Пошли! — шепнула Галька и, взяв за руку Антона, потянула его из комнаты.

Они прошли по коридору, и Галька открыла дверь, обитую рваной клеенкой. Комната была разделена занавеской,— из-за нее послышался встревоженный голос:

— Кто там?

— Ладно, ладно, зто — мы! — ответила Галька и сдавленным, приглушенным шепотом, который так волновал Антона, сказала ему: — Это свои!

Она обхватила его обеими руками и чмокнула в щеку толстыми, мягкими губами.

— Ух ты, мой желторотенький!

Невольным движением Антон вытер мокрое, слюнявое пятно на щеке, но Галька поцеловала его еще и еще и, склонившись на стоящий поблизости сундук, так крепко прижала к себе, что у него еще сильнее закружилась голова, и все в нем задрожало, поплыло, и Антон уже ни чего не сознавал, не помнил...

12

Сначала Прасковья Петровна хотела задержать после уроков Клаву Веселову, Степу Орлова, Володю Волкова и кого-нибудь еще из актива своего класса — поговорить об Антоне. Но, подумав, она решила, что сейчас это, пожалуй, преждевременно: нужно разобраться самой и прежде всего выяснить, что с Антоном. Поэтому в тот же вечер она снова пошла к нему домой, но и на этот раз Нина Павловна не знала, где он.

— Вероятно, опять у бабушки...

Только теперь она ответила враждебно-холодным, злым тоном.

— Послушайте, Нина Павловна! Что у вас происходит? — спросила Прасковья Петровна.

— А что может происходить в доме, когда сын отбивается от рук? — ответила та.

И опять холодность и жестокость в голосе, никак не соответствующие той тревоге, которая привела сюда Прасковью Петровну.

— Да, но почему отбивается? Что у вас за отношения? — спросила она. В ответе прозвучало столько боли и зла, что это потрясло ее.

— Кто вам давал право вмешиваться в наши отношения?.. Отношения!.. Да из-за него у меня вся жизнь трещит и раскалывается под ногами. И я не знаю, совсем не знаю, что делать!..

Все оказывалось куда более сложным, чем представлялось вначале. Это Прасковья Петровна почувствовала еще острее, когда пришел отчим и, ни слова не промолвив, прошагнул в другую комнату. Когда Нина Павловна сказала ему об исчезновении Антона, он коротко ответил оттуда:

— Не куль с золотом, никуда не денется!..

Ясно, что в семье шла война, но как трудно со стороны разобраться в ней и тем более вмешаться в нее. И как в то же время не вмешаться, когда видишь по-волчьему злой взгляд и неприкрытую враждебность в голосе?

— Вы меня простите, Нина Павловна...— сказала Прасковья Петровна.— В жизни своей вы разбирайтесь сами, это ваше дело. Но счеты сводите как-нибудь так, чтобы мальчик от этого не страдал. И разрешите мне попозднее позвонить. Вы понимаете: может быть, с ним случилось что?..

После ухода учительницы Нина Павловна еще некоторое время мысленно сопротивлялась ее укорам и тревоге. Она была почти уверена, что Антон у бабушки — отсиживается от неприятностей, но тревога, порожденная разговором с Прасковьей Петровной, постепенно овладевала ею: а может, с ним действительно что-нибудь случилось?

Нина Павловна поехала к бабушке. У бабушки сидел Роман со своею женой Лизой. Все они были расстроены, а на лице Лизы виднелись явные следы слез. Это было совсем необычно. Думая о своей такой нелепой семейной

жизни, Нина Павловна всегда с большим теплом, а подчас с грустью и завистью смотрела на эту несхожую между собою и в то же время завидно дружную и согласную пару. Когда она полушутя-полусерьезно спрашивала Романа, как у них получается жизнь без ссор, он, так же полушутя-полусерьезно, отвечал: «Очень просто! Глупые ссорятся, а умные договариваются».

Тихоня, труженица и прекрасная мать, Лиза всегда удивляла Нину Павловну спокойствием и душевной мягкостью, которыми она умеряла своего напористого, несколько буйного и иногда резковатого мужа.

Ласково и заботливо относилась она и к бабушке, и та отвечала ей тем же: Лизу она любила нисколько не меньше своих детей.

Теперь все выглядело по-другому: Лиза была явно растерянна, бабушка, затянувшись в платок, отчужденно отвернулась от нее и от сына, а Роман в упор смотрел на мать.

— Я фронтовик, мамаша, и во мне еще тот фронтовой дух не выветрился,— говорил он.— И дай бог, чтобы никогда не выветрился — да! И я член партии. И если партия идет в наступление — за хлеб, за мясо, за молоко, за все, чем жив человек, за изобилие, за коммунизм... Вы понимаете? И если партия призывает меня... Да, я горжусь этим! Разве я могу лезть в кусты, когда начинается наступление? Я на фронте этого не делал, за позор считал, не могу этого и сейчас.

— Что я, тебя не знаю, будорагу! — с не остывшей еще неприязнью ответила бабушка.— А только нельзя одним этим жить: меня посылают! Меня направляют! Без меня все прахом пойдет!.. А о жизни ты думаешь? О семье думаешь? Думаешь, сладко там будет?

— А что особенного? — возразил Роман.— У нас ребята на целину едут по комсомольскому, честному долгу. В степь! В палатки! А меня посылают на обжитое место, в колхоз.

— Вот-вот, оно самое! — не сдавалась бабушка.— Комсомольцы! В степь, в палатки! А ты свои годы-то помнишь? Мальчишкой все себя представляешь! И жене нужно бы об этом подумать! — с укором глянула бабушка на Лизу.

— Ну как же быть-то, мамаша? Ну, если нужно? Как же быть-то? А что вы будорагой его называете,— слабо

улыбнулась Лиза,— так я его за это и люблю! Что за мужчина, в котором силы нет?

— «Люблю»...— передразнила бабушка.— А нужно с головой любить-то! Заботиться нужно! Пошлют его... Ты знаешь, куда его сейчас загонят? В самый что ни на есть колхоз-развалюху. Вот и тяни-вытягивай. Ты знаешь, какое бремя ему на плечи ляжет? А он либо вытянет, либо не вытянет.

— Ну, почему ж он не вытянет? — как будто бы даже обиделась Лиза.— А что ж по-вашему? Отказаться? Это ж какой стыд-то!

— И никакого стыда нету! — упрямо стояла на своем бабушка.— Пусть едет, наступает, а отнаступается — вернется домой. Как с фронта! С фронта вернулся, а из деревни подавно!

— Ну нет! — решительно заявила Лиза.— На это я не согласна.

— Ты что?.. Не веришь? — спросила бабушка.— Как мужу, может быть, не веришь ему?

— Что вы? Мамаша! — вспыхнула Лиза.— Мне даже совестно. Как же можно не верить, если любишь человека? А просто... Он один там будет мотаться, а я — тут одна, с ребятами...

— Я помогу,— сказала бабушка.— У меня еще силы есть, помогу.

— За это, конечно, спасибо,— ответила Лиза.— Но нет... Ребята без отца...

— А мне на чемоданах сидеть? — добавил Роман.— Нет, на это я тоже не согласен! И Лизок мой — умница, она все правильно рассудила: разве в колхозе люди не живут? И в колхозе люди живут! А что я не вытяну... Ну, это мы еще посмотрим!

Нина Павловна скоро догадалась, о чем шла речь, но не знала, как к этому отнестись. Она любила Романа за отзывчивость, за хорошее сочетание силы и справедливого ума. В детстве он то и дело приходил с синяками, полученными в бесконечных уличных схватках, и в ответ на попреки и беспокойства матери упрямо твердил в адрес какого-то своего врага: «А чего он?» Он вечно с кем-то боролся, что-то защищал и отстаивал. Мальчишкой еще он вступил в комсомол и стал заводилой в разного рода делах — дежурил в избе-читальне, играл на гармони, плясал, ставил «постановки» и ездил с ними по соседним де-

ревням, разыскивал спрятанный кулаками хлеб и наконец уехал в Москву строить метро. И таким заводилой, «будорагой», как любовно звала его мать, он оставался и дальше: работал, учился, был комсомольским секретарем, агитатором, с первых дней войны добровольцем ушел на фронт, был ранен, тонул, горел, но не потонул, не сгорел и, вернувшись с перебитой ногой, пошел опять работать на завод. Однако и здесь он не долго удержался у станка и был избран председателем завкома и вот теперь с той же энергией бросался в новое дело, на которое его посылала партия. Хороший мужик, «будорага». Нина Павловна раньше его очень любила, но брак с Яковом Борисовичем настолько испортил ее отношения со всеми родными, в том числе и с братом, что теперь ей было все равно. Да и сам он, неутомимый и деятельный, создан был, кажется, для всех наступлений, какие только могут быть в жизни,— пусть едет.

А вообще ей в этом споре разбираться не хотелось,— голова была занята своим. Она все время выискивала момент, чтобы спросить об Антоне, но как-то все было неудобно. Но вот бабушка кинула на нее мимолетный взгляд, и Нина Павловна решила этим воспользоваться.

— Мамаша, у вас Тоника не было?

— А что? Опять история? — всполошилась бабушка.— Ох уж эти мне истории — сплошная нервотрепка. Двое — и не могут управиться с одним мальчишкой!

— Да нет! Ничего страшного! — попробовала было успокоить ее Нина Павловна, но против воли глаза ее наполнились слезами.

— Ну, это вода! Это вода! — замахал на нее руками Роман.— Это дешево стоит! Думать нужно, а не ручьи пускать. В чем у вас дело-то?

— Не знаю! Сама не знаю! — сквозь слезы ответила Нина Павловна.

— А что замечала за ним? Как насчет водочки?

— Да что ты! Что ты! Господь с тобою! — ужаснулась бабушка.

— Подождите, мамаша! Подождите! — остановил ее Роман.— Значит, не замечала? — повторил он вопрос.— А как с девочками?

— Никого...

— Нехорошо! Скрывает, значит... Товарищи?

— Какие ж товарищи? Вадик. Сначала был еще кто-то, а теперь, кроме Вадика, никого не видела...

— А Вадик?

— Ну что — Вадик? — ответила бабушка.— Мальчишка он, конечно, вольный. Да ведь на глазах! Мать над ним как клушка над цыпленком. И я их каждый раз предупреждаю: «Вы смотрите с ворами не спутайтесь!» — «Да нет! Что вы, бабушка»,— отвечают. С Антоном тоже как-то поговорила о Вадике, а он мне на это: «Так что ж, бабушка, мне его бросать? Его втянут в какую-нибудь компанию, он совсем пропадет». Я даже прослезилась. «Дай, говорю, я тебя поцелую за это, за твое доброе сердце». И подумать: ведь он тоже несчастный мальчик, в такой семье...

— Ну, а что же ты замечала? — спросил Роман Нину Павловну.

— Да вот грубый он очень... И вообще какой-то чужой!

— Вот этого я совсем не понимаю! — недоуменно развела руками Лиза.— Как это можно, чтобы родной сын был чужим?

— А я о чем тебе говорю? Вот об этом самом и говорю! — погрозила ей пальцем бабушка.

— Замечаешь ты, значит, то, что касается тебя? — продолжал свой допрос Роман.— Он тебе чужой, он с тобой груб. А почему?

— «Почему, почему»,— рассердилась Нина Павловна.— Что ты привязался? Ты скажи, что мне делать?

— Глаз нужен! — вставила Лиза.

— Много ты за ними глазом углядишь. Не глаз, а устои! — поправил ее Роман.— С устоями отец из Арктики будет сына держать, а без них и дома упустит.

— Да знаю я, к чему ты клонишь! — раздраженно, почти уже истерически перебила его Нина Павловна.— Все осуждаешь! За развод осуждаешь, за брак осуждаешь, за всю жизнь осуждаешь. Знаю! Ну не всем таким медведем быть, как ты, и не всем счастливыми быть, вроде вас с Лизой. А я измучилась! У меня совсем руки опускаются! — опять заплакала Нина Павловна.— Если б он хоть на тройки учился, а то ведь двойки. А ему все равно. Скажешь — грубит: «отстань», «надоела», «я сам знаю». Не скажешь — он полчаса позанимается и берет книгу или идет гулять. Спросишь — куда? Опять грубит: «А тебе какое дело?» Он как будто на все махнул рукой, тащится

в школу через силу и рад бы совсем не ходить. Не знаю! Не знаю, я, кажется, совсем запуталась!

— А ты лучше не путалась бы, чем теперь трехкопеечные слезы проливать! — проворчал опять Роман.

— А ты бы лучше помог! — вступилась вдруг за Нину Павловну Лиза.— Какие же это трехкопеечные слезы? Видишь, она растерялась совсем? Жизнь не получается. Разве этому три копейки цена?

— Вот это правильно! Это — умница! — обрадовалась бабушка.— Взял бы да поговорил с парнем. Осуждать-то легко, осуждать каждый может. Зашел бы и поговорил.

— Ну и зайду! И поговорю! — сдался Роман.— Добре? — с улыбкой уже спросил он Нину Павловну.

— Заходи! — согласилась та, но согласилась таким тоном, словно она ни во что уже больше не верила — ни в какие разговоры.— Ну, что за парень! Господи, что за парень! И куда он мог уйти сегодня?

— А он, может, дома! — пытаясь успокоить дочь, сказала бабушка.— Ты вот придешь сейчас, а он дома.

Так и получилось. Когда Нина Павловна пришла домой, она прежде всего заглянула в комнату сына. Антон спал, отвернувшись к стене.

— Давно пришел? — спросила она Якова Борисовича.

— Нет, не очень.

— Ну как?.. Какой он?

— А что? Ничего! — неопределенно ответил Яков Борисович.

13

И как все это удачно прошло — просто до удивления! Повезло!

Вернувшись с Галькой в общую комнату, Антон чувствовал себя очень неловко — ему противно было смотреть на Гальку, он не решался поднять глаза. А Галька настойчиво продолжала ловить под столом его руку и смеялась. Антон поймал на себе понимающий взгляд Вадика и, окончательно смутившись, решил идти домой. Вадик вывел его на улицу и на прощанье похлопал по плечу:

— Ничего!.. Ты не бойся!

Бояться Антон не боялся, но чем ближе подходил к дому, тем больше ломал голову: как его встретит мама и что он ей скажет? Обманывать ее он уже привык, но сейчас

это почему-то было очень трудно: он с отвращением, с какой-то даже тоской вспоминал Гальку и не знал, хватит ли у него сил скрыть все это от мамы. К тому же он был пьян...

Все получилось, однако, как нельзя лучше: мамы не было дома. Антон старательно, бодрым шагом прошел на кухню и долго, тщательно умывался. Ему даже захотелось принять ванну, но это было сложно — лучше поскорее умыться и в кровать! Спать ему не хотелось, взбудораженные мысли неслись в хаотическом, стремительном вихре, и когда пришла мама, Антон, отвернувшись к стене, сделал вид, что спит.

Все обошлось благополучно. И вдруг Антон получает повестку в детскую комнату отделения милиции, только уже другого, своего, мимо которого он каждый день проходит по пути в школу. И мама опять встревоженно смотрит на него.

— В чем дело, Тоник? Что еще случилось?

— Ничего не случилось. Я почем знаю? — отвечает Антон, а у самого сердце стучит, стучит и в голове сверлит тоскливая мысль: «Неужели о пирушке узнали?» А мама смотрит, мама спрашивает, продолжает допытываться и наконец решает:

— Идем вместе!

— Это почему? — настораживается Антон.— Вызывают меня, а ты при чем?

— Я пойду с тобой!

— А я с тобой не пойду! — так же твердо решает Антон и идет в милицию в другой, не в назначенный час.

Заведующей детской комнатой он объяснил это школьными делами, а она и не допытывалась,— пришел, значит, давай разговаривать. Она усадила его напротив себя и начала расспрашивать об отметках, о жизни, о том, куда он собирается идти после школы.

Это был совсем не «милицейский» разговор, да и сама заведующая Людмила Мироновна, молодая, миловидная женщина в вязаном жакете, совсем не походила на старшего лейтенанта милиции, форменный китель которого висел возле двери на вешалке. Но Антона именно это и насторожило.

«Глубокая разведка»,— подумал он словами какой-то не то повести, не то пьесы, которая запала ему в память. А когда Людмила Мироновна спросила его о товарищах, он

окончательно решил, что здесь ему готовят подвох. Поэтому он отвечал осторожно, сдержанно, чтобы не проговориться и ничего не выдать. А Людмила Мироновна после «разведки» перешла к делу.

— Ну, расскажи, что с тобой в кино случилось? За что был задержан?

— А вы уже знаете? — усмехнулся Антон.

— А как же? Мне сообщили.

— Ну, значит, сообщили и за что был задержан.

— Конечно, сообщили. А ты расскажи сам.

— А что рассказывать, все равно не повернте. Как они сказали, так и будет.

— Кто это — «они»? — спросила Людмила Мироновна.

— Милиция ваша. Кто ж еще?

— Чья это «наша»? А разве она не ваша? Маяковского-то читал?

— «Моя милиция меня бережет»... Я уж это забыть успел. Это во всех хрестоматиях есть, — усмехнулся опять Антон.— Только меня моя милиция не бережет, а забирает,— виноват, задерживает...

— А может быть, этим самым и бережет? — не обратив внимания на его колкость, спросила Людмила Мироновна.

— У нас, очевидно, разные понятия о слове «беречь»,— с независимым видом ответил Антон.

— Да? — пристальным взглядом посмотрела на него Людмила Мироновна.— Очень жаль! А наше дело честное! Мы бережем труд и покой советских людей. И если у нас с тобой разные понятия об этом, очень жаль! И откуда у тебя это? Что у тебя за товарищи?.. По школе? Или нет?

В вопросах Антон опять увидел скрытую и потому самую большую для себя опасность. Он назвал только Вадика, а об остальных сказал, что не знает их фамилий — ребята, и все!

— Эти дружки тебя от патруля хотели отбить? — спросила Людмила Мироновна.

— Это не дружки, а друзья,— ответил Антон.

— Ну друзья! А кто они?

— Вы что же хотите? — твердо глянул на нее Антон.— Чтобы на дружбу я ответил предательством?

— Значит, и о дружбе у нас с тобой разные понятия,— заметила Людмила Мироновна.

— Очевидно,— пожал плечами Антон.

— Невесело! — вздохнула Людмила Мироновна.— Боюсь, Антон, это может завести тебя совсем не туда, куда нужно... А как у тебя дома?

— Дома? — Антон опять неопределенно пожал плечами.— Ничего! Вас, очевидно, интересует мой папа номер два?

— Меня интересуешь ты! — Людмила Мироновна продолжала смотреть на него изучающим взглядом.— И я хотела, чтобы ты откровенно со мной поговорил.

— Милиция, по-моему, не очень подходящее место для откровенностей,— ответил Антон.

Выйдя на улицу, он вспомнил весь этот разговор и остался доволен собой: никого не выдал, ничего не рассказал. Рад он был и тому, что не оправдалось его главное опасение: о пирушке у Капы в милиции ничего не знали, и потому маме он рассказал о своем визите к Людмиле Мироновне легко и даже с оттенком некоторого юмора.

— А почему ты все-таки пошел один? — вскипела Нина Павловна.

— Так что, я тебе вру, что ли?

— Почему ты не хотел со мной идти? Тебе что — мать мешала?

Взволнованная, Нина Павловна решила зайти в милицию сама — узнать и проверить: а может быть, Антон и действительно что-нибудь еще натворил?

Но Людмила Мироновна и ей ничего нового не сказала, зато, обрадовавшись ее приходу, стала расспрашивать о «папе номер два» и о домашних условиях жизни Антона. Тогда насторожилась Нина Павловна.

— А откуда вам это известно? Это он вам нажаловался?

— Нет, он мне ни на что не жаловался,— ответила Людмила Мироновна.— А откуда нам известно, это уж разрешите нам и знать.

О своем разговоре с Прасковьей Петровной, о всех ее наблюдениях и опасениях говорить не хотела. А Нина Павловна увидела во всем этом угрозу себе и той новой жизни, которую она, с таким трудом построив, хотела сохранить и совместить с сыном и своей заботой о нем.

И вот уже закипает раздражение и набегают слезы, и Нина Павловна лезет в сумочку за платком и не находит его и от этого еще больше раздражается.

— Это совсем не ваше дело! Личная жизнь совсем не ваше дело! — почти выкрикивает она резким и враждебным тоном.

— Но если она отражается на мальчике,— пытается возразить Людмила Мироновна, но встречает еще больший отпор.

— И ничем она не отражается!.. И мальчика моего вы не марайте. Если за ним ничего больше нет, кроме той глупой истории в кино, нечего его дергать тогда, по двадцать раз в милицию таскать. А если он учится неважно, то нужно еще разобраться, кто виноват. Нельзя только ребят винить, и школа бывает виновата — не привлекает, а отталкивает их. А что вы говорите о товарищах... И никаких у него особых товарищей нет, и нечего наговаривать на мальчишку всякие глупости. Я все-таки мать ему и слежу. И сама слежу и бабушка. А вы бы лучше поинтересовались теми, кто разными нехорошими делами занимается. А то нашли преступника!

Рассердившись, Нина Павловна поднялась и, хлопнув дверью, вышла.

14

Домашнего телефона у Прасковьи Петровны не было, и она два раза ходила к уличному автомату, чтобы позвонить Шелестовым. Первый раз ей никто не ответил, а во второй подошел Яков Борисович и сказал, что Антон вернулся и лег спать.

— Носимся мы с ним, вот он и возомнил! — добавил он холодным тоном.

«А может быть, и действительно носимся? — подумала Прасковья Петровна.— И в то же время, разве можно говорить об этом так холодно и безразлично?»

Полная сомнений и самых противоречивых мыслей, Прасковья Петровна пришла в школу и доложила директору о вчерашних событиях.

— Что ж! — пожала плечами Елизавета Ивановна.— К одному нарушению прибавляется другое. С этим нужно кончать!

— А может быть, разобраться? — возразила Прасковья Петровна.— У Шелестова, по-моему, есть какая-то большая неустроенность в жизни. Не знаю, я еще ничего не

знаю, но чувствую. И сам он... Это тоже, по-моему, не простая, противоречивая и очень неустроенная душа.

— Не мудрите! — оборвала ее Елизавета Ивановна.— Мы с вами, кажется, договорились: парня нужно брать в руки.

— Елизавета Ивановна! — осторожно заметила Прасковья Петровна.— Но ведь в этом и заключается сущность воспитания: во внимании к человеку.

— Не к единице же? — возмутилась Елизавета Ивановна.— Ведь это единица!.. А у меня школа! На моих руках полторы тысячи их, этих единиц...

— А знаете, есть такая притча: у пастыря было сто овец, и одна из них пропала. Пастырь оставил девяносто девять и пошел искать одну и нашел ее и принес в стадо.

— Ну, вы эти евангельские разговорчики оставьте! — решительно заявила Елизавета Ивановна.— У нас — коллектив! У нас массовое воспитание, коллектив — основа всего. Да что вы, Макаренко, что ли, не читали?

Прасковья Петровна не помнила, что она читала у Макаренко по этому поводу, но ее сердце говорило, что не все и не всегда можно втиснуть в цитату и схему. Жизнь сложнее и многообразнее любой схемы, а судьба человека не всегда складывается по правилам арифметики. Конечно, бывают обстоятельства, даже целые эпохи, когда отдельный человек оказывается песчинкой, теряющейся во все потрясающем шквале неизбежных событий. Но теперь приходит время, когда судьба личности становится первейшей заботой человеческого и по-настоящему человечного общества, когда общество не может посчитать себя благополучным, если не будут благополучны составляющие его члены. За громадою общих дел, свершений и эпохальных планов нужно присматриваться и к маленькой судьбе одинокого, блуждающего по жизненным путям человека, и, может быть, это маленькое когда-то и как-то отзовется потом большим и громким эхом,— не может не отозваться потому, что душа человека гулкая.

Вот почему Прасковья Петровна, оставшись при своем мнении, решила поговорить с Антоном по душам. Это было очень трудное, но зато самое верное средство в ее педагогическом арсенале, и оно редко ее подводило. Обычно после некоторого сопротивления ученик раскрывался и слово за слово выкладывал то, что лежит у него на задворках души, и тогда неясное становилось ясным и за-

горался доверием взгляд... Ничего такого у нее на этот раз не получилось: Антон упрямо молчал, отводил глаза. Сегодня он был даже особенно замкнут, точно объявление по школьному радио настолько придавило его, что лишило обычной, немного демонстративной развязности. Сначала Прасковья Петровна увидела в этом прячущееся за мальчишеское самолюбие тайное сознание своей вины, но потом ей стало ясно, что и здесь она совершает ошибку.

— Напрасно вы на меня тратите время, Прасковья Петровна,— сказал Антон после ее неоднократных попыток подойти к нему то с той стороны, то с другой.

— Вот тебе раз! Почему?

— Да так... Ничего из этого не получится. Уж если на всю школу по радио пустили, что тут говорить? Теперь меня как-никак, а виноватым нужно делать!

— А ты разве не виноват?

— Почему не виноват? — уклончиво спросил Антон, снова метнувшись глазами в сторону.— Я, может, и больше виноват, да не в том, в чем меня обвиняют. Я в кино не безобразничал, ну, а сделали виноватым, так теперь что ж?.. Теперь нечего об этом и говорить.

В ответ на все попытки Прасковьи Петровны докопаться, что с ним было в кино, Антон опять замкнулся: нужно было рассказывать и о Вадике, и о Гальке — о всех, с кем он был и кто помогал ему вырваться из рук патруля.

— Ну хорошо! А как же ты мог уйти из школы? — попробовала Прасковья Петровна подойти с другой стороны.— Как же так можно: хочу — сижу, хочу — ухожу? Какое же ты имеешь на это право? Это же школа!

В ответ на это Антон кинул на нее короткий, но выразительный взгляд и снова угрюмо отвернулся в сторону.

«А что мне школа?» — так поняла этот взгляд Прасковья Петровна, и ей стало не по себе.

Мальчик пропутешествовал по четырем школам, дошел до девятого класса. Он даже не помнит, как звали его учителей, кроме одной, Александры Федоровны,— той, которая учила его в первом классе. И как все это вышло, как незаметно выветрился в нем детский трепет, с которым он когда-то собирал свои тетрадки и книжки и шел в школу сначала за руку с бабушкой, потом один? Как постепенно появились вместо этого обиды и разочарования и разрослось в душе равнодушие и стали пробиваться злые побеги дерзости, и озорства, и злонамеренности? Как и почему

все так вышло, Прасковья Петровна не смогла допытаться у Антона, да и сам он, пожалуй, этого не знал. Смешанное чувство негодования и недоумения возникло у Прасковьи Петровны, и сознание невольной вины и ответственности за то, что так вышло, и злое желание обвинять и бичевать этого мальчишку-фанфарона, не сумевшего нигде и ни за что зацепиться своим пустым и легковесным сердцем.

Это она и сказала ему, не очень даже подбирая выражения:

— Вот ты ведешь себя так, вот ты ушел из школы... Но неужели у тебя нет никого, кого бы ты постыдился, чье мнение для тебя было бы дорого?

Этот полувопрос-полуразмышление вырвался у Прасковьи Петровны нечаянно, порожденный тем же смешанным желанием и выдрать этого жалкого и возмутительного в одно и то же время одиночку, и вызвать в нем какое-то живое движение души. И тут она заметила, что ее нечаянный вопрос действительно тронул его и вызвал в нем невнятный намек на какие-то скрытые чувства и мысли.

— По крайней мере, в нашем классе таких нет! — сказал Антон очень решительно.

— Почему?

— Потому что это не класс, а собрание индивидуумов.

— Ну хорошо! Ну, не в нашем классе! — поспешила согласиться Прасковья Петровна.— Но вообще-то у тебя такой человек есть? Не может же быть, чтобы у тебя не было близкого по душе человека!

И опять она поймала мимолетную, скользнувшую по лицу Антона тень, но не поняла, что это значит: есть у него такой человек или нет? Не поняла, но попробовала на этом сыграть.

— Ну вот, видишь! А как же ты перед этим человеком выглядишь?

— А кому какое дело до меня! Подумаешь! — с неожиданной дерзостью ответил ей на это Антон и опять замкнулся.

Сделав еще несколько попыток, Прасковья Петровна поняла, что откровенной беседы по душам, которой она добивалась, у нее, пожалуй, с Антоном не получится, и отпустила его.

Так ничего и не решив для себя, Прасковья Петровна собрала на другой день актив своего класса, чтобы поговорить об Антоне.

— А что о нем говорить? Он у нас как чужой, отсидит от звонка до звонка, а потом срывается и бежит — или к дружкам своим, или домой,— отозвалась Клава Веселова.

Она хорошо училась, второй год была секретарем классного бюро комсомола, была строга к себе, строга к товарищам, и Прасковье Петровне до сих пор нравилась ее непреклонная и неподкупная прямолинейность. Но сейчас ее задела холодная категоричность, с которой Клава отозвалась о товарище. А когда Прасковья Петровна ей это заметила, Клава, пожав плечами, коротко бросила:

— Может быть!

На ее немного неправильном, угловатом и энергичном лице появилось выражение непримиримости.

— А разве можно считать товарищем того, кто не хочет признавать коллектив? Разве нам Шелестов помогает создавать коллектив? Он нам мешает, он подрывает, и мы должны против него бороться!

— А может быть, за него бороться? — перебил ее Степа Орлов, староста класса.

— А бороться с ним и значит бороться за него! — ответила Клава.

Твердость она считала главным качеством человека и потому свои мнения всегда отстаивала до последнего. Степа Орлов, наоборот, страдал недостатком уверенности в себе. Поэтому он больше слушал, чем говорил, больше спрашивал, чем утверждал, и таким образом как бы старался оглядеть каждый вопрос со всех сторон, прежде чем утвердиться в своем мнении. Вдумчивость иногда переходила у него в тугодумье, медлительность — в недостаток инициативы, но он был старательный парень, готовый выполнить все, что нужно и как нужно, и к тому же душевный. В отличие от Клавы, впервые столкнувшейся с угловатостью мальчишеских характеров, Степа всякое видел и, может быть, ко многому привык. Поэтому он гораздо спокойнее относился к Антону и всему его фанфаронству; только в ответ на какие-нибудь уж очень грубые выходки по-товарищески говорил ему:

— Что ты дурака валяешь? Брось!

Клава фыркала на это и называла Степу либералом. А Степа, наоборот, недолюбливал Клаву за скоропалительность суждений и излишнюю категоричность. К тому же он тоже замечал, что Вера Дмитриевна далеко не всегда

и не во всем была права, и потому в ее конфликте с Антоном он внутренне иногда становился на его сторону. Одним словом, нужно было опять-таки разобраться. Степа решил поговорить кое с кем из девятого «А», откуда был переведен Антон,— и с Толиком Кипчаком, и с Сережкой Прониным, и с Мариной Зориной. Он удивился, как горячо отозвалась на это Марина: у нее не было и тени обиды на Антона, и, наоборот, она была очень недовольна и директором и Верой Дмитриевной за то, что они перевели Антона из их класса.

— Разве мы с девчонками для этого тогда Шелестова в кабинет притащили? — возмущалась она.— Я думала... Одним словом, чтобы он почувствовал. А они сразу — перевести. А что такое — перевести? Это — выбросить. А разве можно выбрасывать человека?

— За человека нужно бороться,— сказал на это Степа Орлов вычитанными где-то словами.

— Ну вот! — подхватила Марина.— А они взяли и вышвырнули. Вышвырнуть легче всего!

Вот отсюда и родилась реплика Степы и выросший из нее спор: с Антоном бороться или бороться за него? Об этом говорили Володя Волков, Катюша Жук, говорили другие, и Прасковью Петровну это порадовало. Откровенно говоря, ее очень задело, когда Антон назвал свой класс сборищем индивидуумов. Класс был, конечно, сложный, трудный и разный, собранный в результате реформы из разных школ и классов. И, говоря еще откровеннее, в этом неокрепшем классе она сама до сих пор не чувствовала искры: были собрания, мероприятия, проводились диспуты и проработки двоечников, но той большой заинтересованности и горения, которые создают коллектив, было мало, и только теперь, в таком горячем обсуждении поступка и судьбы Шелестова, она увидела рождающуюся душу коллектива.

Но как же все-таки быть? Как покорить этого упрямого одиночку? А не покорить нельзя, невозможно, это признала даже Клава Веселова. Она предложила собрать классное собрание и как следует «проработать» Антона.

— Какое собрание? — перебила ее Катюша Жук.— Если по радио на всю школу объявили, какие там еще собрания? И прорабатывать его сейчас незачем, посмотрим, как дальше будет вести себя.

— Ему нагрузочку нужно дать, поручение. Пусть на работе себя покажет,— сдалась Клава Веселова.

— И поручение,— согласилась Катюша.— А прежде всего сейчас по математике вытянуть нужно. И скорее, теперь же,— чтобы в четверти опять двойки не вышли, чтобы у него руки не опустились.

— Это верно! — поддержал ее Степа Орлов.— Тогда что же? — Он обвел глазами собравшихся.— Тогда это Волкову Володе поручим.

— Мне? — удивился Волков.

— Тебе. А кому же? Ты у нас самый математик.

— Так он же ничего делать не хочет!

— А ты заинтересуй! В том твоя и задача, общественное поручение. Заинтересуй и помоги разобраться! Значит, решили? Принято единогласно.

15

Сиди дома!

Этот приказ был объявлен Антону после всего, что произошло в последнее время, а потом к нему было добавлено: и ни копейки денег. За пирушку и за все, что на ней было, Антон чувствовал себя виноватым, и потому приказ этот он принял с полной, хотя и несколько демонстративной покорностью. «Дома? Ну что ж! Буду сидеть дома!..»

В течение нескольких дней Антон ходил только в школу и обратно, не просил денег на завтрак и даже отказался, когда мама предложила их. И когда кто-то позвонил ему, а мама при нем ответила, что Антона нет дома, он и это вынес с такой же демонстративной покорностью.

После недавней неограниченной свободы все это было необычно: того нельзя, этого нельзя, ничего нельзя. Антон сидел и злился на мать, как он считал, за измену и на отчима — за все: за баритон, наполняющий своим бархатом всю квартиру, за хозяйскую самоуверенность в походке и за подчеркнутую холодность к нему, Антону. Но особенно возмущали Антона его телефонные разговоры, когда холодность сменялась вдруг развязностью («Жить надо уметь, голуба моя»), начальственностью («Я с тебя не слезу») или неожиданной мягкостью и желанием расшибиться (кажется) в лепешку.

Так, по крайней мере, казалось Антону, ловившему каждое слово из этих разговоров и наполнявшему их своим, особым и всегда недружелюбным смыслом. «Ну вот, голуба моя, и все делы!» — слышит он конец какого-то наполовину непонятного ему разговора, и эта непонятная половина разрастается для него в какие-то таинственные «делы́», с которыми вечно возится неутомимый Яков Борисович.

— Кто?.. А-а!.. Здравствуй, голуба, здравствуй! Я-то? А что мне сделается? Живу! В трудах! В трудах! А ты? Ну и добро!.. От тебя?.. Ах, да, да! Получил. Как же? Полный список нужд. Только знаешь что, дорогуша, пусть полежит... Я знаю, что тебе нужно, а только сейчас нельзя. Пусть отлежится. Фу-ты, чудило! Ты понимаешь—настроение не то. Да не мое — у начальства настроение не то. Ну и все! Как это говорится — дайте только срок, будет вам и белка, ну и так далее, все что нужно. А сейчас, поверь моему нюху, только попорчу. Погода не та!

А то вдруг раскатится своим баритоном на всю квартиру:

— Ха-ха-ха-ха! Как, как говоришь?.. Самосуй? Это кто — я самосуй?.. Ах ты, сук-кин ты сын! Ха-ха-ха-ха!

А сколько разговоров он ведет о даче, о цементе и кирпиче, о машинах и разных других вещах. В последнее время ко всему прибавился спор с тетей Катей, сестрой Якова Борисовича, из-за каких-то денег, из-за забора, который нужно ставить на даче,— спор, с каждым разом все обостряющийся...

Антон слушал разговоры и злился, а потом затыкал уши и углублялся в книгу — нужно же в конце концов взять себя в руки! Это он обещал Прасковье Петровне, обещал своим товарищам перед всем классом, а подумав, обещал и себе. Так он сидел пять, десять, пятнадцать минут, стараясь вникнуть в то, что написано в учебнике, но затем глаза его устремлялись куда-то вдаль, вспоминались обрывки выступлений, которые ему пришлось всетаки выслушать на классном собрании, или выплывали глаза Марины, или сами собой начинали строиться планы, как достать лодку с мотором для того путешествия, которое они с Сережкой Прониным и Толей Кипчаком надумали совершить летом. А потом рука тянулась к истрепанной, без первых пяти страниц книжке о похождениях какого-то Фабиана, которую дал ему Вадик.

«Женщины кружились кольцом в купальных костюмах, оттопыривали руки и пальцы и обольстительно улыбались. Мужчины стояли как на скотном рынке...»

Дальше и купальные костюмы исчезали с обольстительных женщин и начиналось такое, от чего уже нельзя было оторваться. Но в это время за дверью раздавались шаги матери, и Антон, воровато спрятав запретную книгу, снова вспоминал о своем обещании...

Терпения сидеть дома и никуда не ходить ему хватило ненадолго: нарушив запрет, он пошел к Сережке Пронину. Да и как не зайти к тому, кто в трудную минуту на виду у всех протянул ему дружескую руку? Но и здесь его ждала неудача: на звонок дверь открыла мать Сережи и кинула такой взгляд, что Антон оторопел.

— Сережа дома? — спросил он с неожиданной для самого себя робостью.

— А зачем он тебе? — громко и зло ответила мать Сережи.— Учитесь вы в разных классах. Какие такие дела у вас завелись? Хочешь, чтобы и он тоже в милицию с тобой попал? Не позволю!

Перед самым носом у Антона хлопнула дверь, и он остался один на лестнице.

Антон со злостью отсалютовал каблуком в дверь друга — ведь он чувствовал, что Сережка в это время был там, притаился где-нибудь и все слышал. Измена! А еще хотели в поход идти: на лодке от Москвы до Одессы. Вместе планы составляли, маршрут изучали и собирались научиться суп варить. Какие ж там походы с такими товарищами!

Обозленный Антон пришел домой и еще больше разозлился, увидев у себя Володю Волкова. Он сидел в его комнате и разговаривал с мамой.

— Где ты опять пропадал? А тебя вот товарищ дожидается,— сказала мама.— Хорошо, хоть я его задержала...

Антон буркнул что-то неопределенное и недовольно посмотрел на Володю, на его серые большие глаза и розовые оттопыренные уши.

— Он позаниматься с тобой хочет, спасибо ему,— сказала мама.

Но Антон на это только зло передернул плечами:

— Ладно, мама. Иди!

Нельзя сказать, что Антон не любил Володю Волкова,

до сих пор нельзя было сказать, что он вообще как-то относился к нему.

Светлоокий, светлолицый Володя был лучшим учеником в классе. Ребята прозвали его Член-корреспондент, но прозвали беззлобно, дружески, даже любя. Он действительно все как будто бы знал, все читал и всем интересовался. Он никогда не кичился этим, не навязывал никому своих взглядов, но и не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался. Он не понимал только одного: как можно не хотеть учиться? А Антон не понимал, что значит хотеть учиться, не верил тому, что может быть интересно учиться, и потому всякое стремление к хорошей отметке он объяснял по-своему: желанием «выставиться» или «подлизаться» к учителю или чем-то еще не менее вульгарным и низменным. Поэтому до сих пор у Антона с Володей не было, можно сказать, никаких отношений — это были люди разных горизонтов. Володя почти не разговаривал с ним в школе — не о чем было, и, конечно, никогда не заходил к нему — тоже незачем было, и никогда не пришел бы, если бы не общественное поручение. Антон понял нарочитость этого визита Володи, и это его окончательно разозлило.

— Воспитывать пришел? — спросил он с недоброй усмешкой.

— Почему воспитывать? По-товарищески! — ответил Володя.

— По-товарищески...— передразнил Антон.— Полно притворяться-то!

— А зачем притворяться? Дружбы у нас с тобой нет, а по-товарищески почему не помочь, раз нужно? На чем ты последний раз срезался-то? Давай!

— Давай, раз нужно!

Все с тем же недовольным видом Антон достал книги, они начали заниматься. Работал он нехотя, очень медленно высвобождаясь из-под гнета своего настроения, а Володя, наоборот, очень старался все разъяснить ему, и доказать, и убедить и, постепенно увлекаясь, все больше уходил в занятия. Ему уже и самому становилось интересно что-то выправить и в чем-то помочь этому неладному, долговязому парню, который обычно так долго и жалко торчит у доски и так мучительно мямлит свои ответы. Но в то же время его раздражали и леность мысли, и непонятное для него самого верхоглядство, которое об-

наружилось у Антона. С большим трудом ему удалось сосредоточить внимание Антона на том, что проходилось по математике в последнее время и о чем его могла спросить Вера Дмитриевна. Здесь Антон даже увлекся и не обратил особого внимания на то, что во время их занятий в передней раздался звонок и, судя по тому шуму и оживлению, которыми сразу наполнилась квартира, пришел дядя Роман. Пришел он, чтобы проститься перед отъездом в деревню, о чем громогласно объявил, и тут же ушел с Ниной Павловной в другую комнату.

Позанимавшись какое-то время и услышав то, что ему было непонятно, Антон захлопнул вдруг учебник и сказал:

— Ну ладно! Хватит!

— Да подожди ты! — попытался остановить его Володя.

— Говорю, хватит. На трояк отвечу.

— А ты идею-то понимаешь? — спросил Володя.

— Какую идею? Да ну тебя!

— Вот чудило! — сказал Володя.— Пойми ты, что без этого нельзя. Ну, завтра ты отбарабанишь — и все, а потом на другом споткнешься. Тут смысл нужно понять.

— Да чего ты пристал на самом деле? — вскипел вдруг Антон.— Что тебе, больше моего нужно, что ли?

— А что мне к тебе приставать? — обиделся в свою очередь Володя.— Пожалуйста! Что это, мне нужно? Я это еще вчера знал. А я не понимаю: «Трояк получу, и ладно!» Легко жить хочешь!

— Ты что, учить меня пришел? — с той же недоброй усмешкой спросил Антон.

— А что мне тебя учить? — ответил Володя.— Я говорю, что думаю. Знания так не заработаешь.

— Знания... Тоже знания! — передразнил Антон.— А ты-то за знания, что ли? Выхвалиться хочешь. А что, не так? — спросил он, видя, как передернулся Володя.— Чтоб мама по голове гладила, перед девчонками выставиться. А на тебя и так девчонки обижаются, что ты ни на кого внимания не обращаешь.

— Глупости какие! — возмутился Володя.— И если ты по-серьезному не хочешь заниматься, тогда...

— Что «тогда»? Ну что «тогда»?

— Тогда так и скажи,— ответил Володя.— Мне тоже время дорого.

— Ну и катись! — закричал Антон.— Если тебе время дорого! Иди зубри! Получай свои пятерочки, а то из-за меня еще тройку схватишь. Иди!

Не дожидаясь того, что может быть дальше, Володя выскочил в переднюю и стал одеваться. Услышав крик, вышла и Нина Павловна.

— Что это вы тут расшумелись?

— Да так... Немного поспорили. Всего хорошего! — поспешил ответить Володя, раскланиваясь.

— Вы заходите еще, молодой человек!

— Хорошо, хорошо! Конечно! — продолжал раскланиваться Володя и, не застегнув пальто, торопливо ушел.

— Что это у вас? — спросила Нина Павловна Антона.

— Да ладно, мама! Ну мало ли что бывает между товарищами? — примирительно ответил Антон, начиная уже раскаиваться в происшедшей ссоре.

В комнату вошел дядя Роман.

— Все шумим, — пошутил он, а когда Нина Павловна по его незаметному знаку вышла, спросил:— Это кто ж, товарищ твой, друг?

— Какой он друг...— нехотя ответил Антон.— Так... Перевоспитывать пришел.

— А ты разве невоспитанный?— улыбнулся дядя Роман.

— Значит, нет! — ответил Антон, не зная еще, отмолчаться ему или пойти на разговор, которого, видимо, добивался дядя Роман.— А только не хотел бы я быть таким воспитанным, как этот чистюля!

— Это почему же?

— Скучно.

— Что скучно?

— Не знаю... Все! И он скучный, и жизнь его скучная. Ну что его жизнь? Уроки, книги. А кончит школу — институт и опять книги. Вот и вся жизнь: сидит и долбит. А жизнь один раз дается.

— Единственный! Это верно! — согласился дядя Роман.— Только выводы из этого люди разные делают: одни хотят попользоваться жизнью, а другие — побольше дать ей.

— Чтобы потом не было стыдно оглянуться на пройденный путь,— продолжил Антон.

— А что? Разве неверно? — насторожился дядя Роман.

— Нет, как же неверно! — ответил Антон.— Это Островский сказал — значит, верно.

— Ты, брат, начинаешь что-то с закавыками разговаривать. Со смыслом! — сказал дядя Роман, вглядываясь в Антона.

— А какой смысл? Обыкновенный! — улыбнулся Антон, но улыбнулся криво и тоже со смыслом.— Только ведь Островский-то о подвиге говорил, а тут что? Учить и учить все, что тебе в голову пихают. А если я не хочу? Учить, я считаю, нужно то, что нравится.

— А если не нравится? — продолжал допытываться дядя Роман.— Э-эх, брат! Заелись вы! А с каким бы удовольствием я сейчас посидел бы за книгами!

— То посидеть, а то сидеть — и нынче сидеть, и завтра сидеть. А для чего? Ну, для чего, дядя Роман? Чтобы потом служить?

— Почему «служить»? Ну, что за стариковское слово?

— Ну, работать у станка. Извиняюсь, теперь новая мода,— с усмешкой поправился Антон.

— А к твоему сведению, и у станка можно «служить» — положенное отрабатывать, монету зашибать,— ответил дядя Роман. — А можно и за канцелярским столом...

— Душу вкладывать! — с той же кривящей губы усмешкой закончил за него Антон.

— Да! Вкладывать!.. А что ты, как пересмешник, все передразниваешь?

— Почему?.. Это правильно! — спокойно, но с тем же скрытым смыслом пожал плечами Антон.— Все правильно! — И вдруг, неожиданно вспыхнув, добавил: — А потому, что нам этим уши прожужжали! Старо!

— Почему «старо», если это действительно так?

— А почему это — «так»? Потому что все так говорят? А почему я должен думать как все? И вот долбят: моральный облик, моральный облик... На всех собраниях, на конференциях, с самого пионерского возраста долбят: «Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку!» — Антон передразнил знакомый, ежедневно повторяющийся по радио голос.— И трубы одни и те же. Пожарники приехали! И долбят одно и то же: «Ах, какая хорошая девочка Маня, как она хорошо учится! Ах, какой нехороший

мальчик Ваня, он плохо ведет себя и очень плохо учится! А потом Маня помогла Ване, и оба стали хорошие».

— Пересмешник! Брюзгун! — У дяди Романа давно уже нарастало желание просто взять и отшлепать своего не в меру умного племянничка, но разведка была не окончена и требовала спокойствия.— А как же воспитываются люди? Разве не так у Вани с Маней и развились те качества, которые проявились, например, во время войны?

— У Олега Кошевого и Зои Космодемьянской? — подсказал Антон опять с чуть заметной усмешкой в голосе.

— А что?.. Тебя и это не устраивает? — сверкнул вдруг глазами дядя Роман.

— Поновее что-нибудь, дядя Роман! Избито!

Дядя Роман всматривался теперь в Антона, стараясь вникнуть, понять и разобраться: что, откуда и отчего? Что идет действительно от проскальзывающего порой формализма и надоедливости, что от пустого «мозгоблудия», как говорил дядя Роман, от бездумного легкомыслия, мелкотравчатого анархизма и мальчишеского зазнайства, для которого все известное старо и все высокое избито.

— Знаешь, что я тебе на это скажу,— все еще спокойно, но на последней, кажется, степени спокойствия ответил дядя Роман Антону.— Ты сам не битый, вот тебе и кажется все избитым. А вот мы, мальчишками еще, разыскивали кулацкий хлеб в тысяча девятьсот двадцать девятом году — они прятали, а мы отыскивали. Твой дед за это пулю кулацкую получил!

— У-у, какую вы старину помните, дядя Роман! — снисходительно улыбнулся Антон.

Но дядя Роман как будто уже не видел этой усмешки,— ему все было ясно, разведка кончена, и он шел в атаку.

— А как мы метро закладывали? Нас, комсомольцев, тогда на строительство метро завербовали. Как мы первый раз в землю пошли, в Сокольниках — знаешь, около завода фруктовых вод? Не знаешь? А как у нас шахту затопило, мы по пояс в воде работали,— тоже не знаешь? Старина? Для тебя, может, и война — старина?

— А мы тут при чем, если молодые?

— Молодые... Да разве вы молодые — такие, как ты? Без пыла, запала и радости. Да, и без радости. Потому что

радость в служении, в деле, в полноте жизни, в высоте жизни, в сознании того, что ты нужен людям. Нечего губы-то кривить! А иначе для чего тебе жизнь дана? Дерево узнают по плодам, а человека по делам. Это свинья только и разная другая живность считают, что все ее дело — жить. А для человека — это возможность действовать, делать, приносить пользу. Чтобы людям был результат! Это парень один вчера сказал, монтажник. У нас, на заводе, вчера комсомольцев на целину провожали. И девчонка одна выступала: «Живу, но этого мало!» — говорит. Вот это я понимаю. Молодость не в годах, а в отношении к жизни. А вы, вот такие... Работы кругом до тьмы, жизнь наша идет в гору, а вам скучно, места себе не найдете, все прошли, все изведали и во всем разочаровались. А на самом деле ничего вы не прошли и ни черта не знаете. И откуда вы такие вылупились, недоноски?

Слова дяди Романа были жесткие, обнаженные, как проволока, и он бил ими наотмашь, во всю ширину своего плеча, отводя душу. Но Антона и эта неожиданная атака не смутила, и он с запальчивостью спросил:

— А что вы думаете? Если б я в войну взрослым был, я не поступил бы как Олег, или, положим, Сережка Тюленин?

— Ну, это еще как сказать! — с нарастающей силой и натиском ответил дядя Роман.— Подвиг не рождается сразу. Для этого, брат, нужно щедрую душу иметь. Богатую душу, высокую душу нужно иметь. В будущее нужно верить. В дело свое нужно верить. Без этого разве можно жизнь добровольно отдать? А ты... Пуп земли и центр мира! Ты во что веришь? Кто ты есть со своею скукой? Человек без будущего! И мало — без будущего!.. Можно так замараться, что ни в какой химчистке не отчистишься, на всю жизнь ветерок пойдет.

— Это кто ж, мамаша моя вас так настроила? Предупреждаю!», «Предостерегаю!» — передразнил Антон.

— Умней-то ничего не придумал? — возразил дядя Роман. — Будто я тебя сам не вижу! Да ты передо мной как облупленный! Скучно ему! Чтобы не было случно, знаешь что нужно? Хотеть нужно, делать, стремиться, волчком вертеться,— вот так я молодую жизнь понимаю.

— Быть на высоте великих задач! — подсказал Антон.

— Да! Быть! — подтвердил дядя Роман.— А что?
— Это мне Яков Борисович внушает.
— Правильно внушает: быть человеком большой души и возвышенных чувств!
— На словах! — задетый на больное место, вскипел опять Антон.— Яков Борисович-то?.. Да полно, дядя Роман, как будто вы не знаете!.. И вы думаете, я так ничего и не хочу? И не стремлюсь!.. Да я... Я, может, сделаю знаете что? Чего никто не сделает!
— Хвалилась редька, что она с квасом хороша! — усмехнулся дядя Роман.
— А что? Никто вот из Москвы в Одессу на лодке не ходил, а мы летом такой маршрут проложим. Вы мне мотор к лодке достанете? А?
— А зачем тебе в Одессу?
— Да так. Интересно! Никто не ходил, а мы пройдем.
— Дай, и мы будем героями — так, что ли? Ну это известно: не сотворишь чудес — не прославишься.
— Да нет! Дядя Роман! После школы я в мореходное училище собираюсь идти,— значит, нужно готовиться.
— А зачем тебе, сухопутной крысе, мореходное училище понадобилось?
— Ну как? Интересно! И дисциплинка там...
— Тебе знаешь куда?.. — перебил его дядя Роман.— Тебе в шахту нужно, на рудники, чтобы ты почувствовал, чем рубль пахнет... Нет, постой! А если всерьез — знаешь что!.. Эй, мамаша! Поди-ка сюда! — открыв дверь, дядя Роман позвал Нину Павловну.— Вношу конкретное предложение: отпусти Антоху со мной.
— Куда?
— В колхоз. А что? На тракторе научится работать, землю пахать.
— Ты что, шутки шутишь? — с горьким упреком сказала на это Нина Павловна.
— Почему шутки? Какие в этом деле могут быть шутки? Раз ему некуда деть себя и не видит он ни в чем ни цели, ни радости, пусть работать идет. Там все обнаружится!
— А школа?.. Да что ты на самом деле? Что я — не мать своему сыну?
— Да школу-то еще кончить нужно!
— Вот это и нужно! А ты... Да ну тебя, Роман! Всегда вот ты так!

— Всегда? — с загоревшимися снова от внезапного гнева глазами переспросил дядя Роман.— Всегда и буду! Сама все время в барыньки тянулась и парня туда же...

— Роман!

— Что «Роман»? Я сорок лет Роман. И тебе я говорю как лучше. А там смотри! Только помни: парня ломать надо!

Так ни до чего и не договорившись, дядя Роман простился и ушел, шумный и стремительный, как всегда.

16

Неудача Володи Волкова и огорчила Прасковью Петровну и рассердила.

— Как это можно? — сказала она ему.— Пойти затем, чтобы помочь, а вместо этого поругаться! Где твоя выдержка? Не понимаю!

— А я еще меньше понимаю! — обидчиво ответил Володя.— Обрастать двойками, а ходить гусаром, словно не тебе самого себя нужно вытаскивать за волосы!.

А потом приходит мать Володи и тоже предъявляет претензии: ее, видите ли, тревожит, что сыну ее навязывают шефство над каким-то хулиганом. Володя много работает, он идет на медаль, у него плохое здоровье,— одним словом, она решительно возражает против этого шефства.

Так одно цепляется за другое, и все это нужно уладить и увязать, а время идет, и кончается четверть. Для Антона она заканчивается опять нехорошо: двойку по физике ему в самый последний день удалось выправить, а по двум математикам получалась, как выразилась Вера Дмитриевна, «двойка в квадрате». «Квадрат» этот Антона тоже обидел, и винил он в нем, конечно, Веру Дмитриевну.

Но кого бы ни винить, а на душе нехорошо и стыдно. Как ни храбрился Антон, а все-таки и перед мамой стыдно, и перед ребятами, и особенно перед девочками — перед Катюшей Жук и Риммой Саакьянц, и перед всеми другими. Хотя он ходил перед ними «гусаром» и не ставил как будто бы их ни во что, а все-таки стыдно.

Наступал Новый год, в актовом зале окна были уже залеплены бумажными снежинками, с карнизов свисали голубоватые сосульки, во дворе лежала елка, и в свобод-

ных классах ребята и девочки что-то репетировали — готовились к новогоднему вечеру.

Антон на этот вечер идти не хотел, хотя ничего другого у него не намечалось. Мама с Яковом Борисовичем уходили встречать Новый год к какому-то его не то сослуживцу, не то начальнику. Звонил Вадик, предлагал складчину, но на складчину нужны деньги, а денег не было, и сознаться в этом было стыдно. И, словно почувствовав это по его заминке, Вадик сказал:

— Ты что, не можешь содрать со своих предков полсотни? Ну, если не можешь, приходи так, скучать не будешь, а там сочтемся.

Никакого другого способа «содрать полсотни» у Антона не было, как попросить. Но это значит — кланяться, а кланяться таким «предкам» Антону не позволяла гордость. Еще у мамы, пожалуй, можно бы и попросить, но если об этом узнает отчим... Нет! Это он выкрикнул тогда, как самую последнюю и страшную угрозу: «И ни копейки денег!»

«Ну и черт с ним! Нужны мне его копейки! — с новым приливом злобы подумал Антон.— Захочу, деньги у меня всегда будут».

Антон знал теперь, какую и за что он получил бумажку от Вадика, догадался и что значит «сочтемся», и теперь ему было все равно. Ему было на все наплевать — лишь бы не уступить в том поединке с отчимом, а пожалуй, и с матерью, который у него завязался. Лучше он проходит всю новогоднюю ночь по улицам и будет смотреть в окна на сверкающие огнями елки, на чужое веселье, которым переполнена будет в эту ночь Москва...

Размышления Антона прервал Степа Орлов, староста класса.

— Ты где встречаешь Новый год? На вечер-то придешь? — спросил он с грубоватой, несколько подчеркнутой бодростью, которая должна была означать высокую степень его товарищеского расположения к Антону.

— А тебе что? — насторожился тот.

— Как «что»? — еще больше подчеркивая свое расположение, ответил Степа.— Да хватит тебе быть чужаком! Давай приходи! Не отбивайся! Тебя весь класс зовет.

Тут Степа явно приврал, но ему действительно очень хотелось, чтобы Антон встречал Новый год в школе. Речь об этом зашла после разговора Прасковьи Петровны с ним,

как старостой класса, и с Клавой Веселовой в последний день перед каникулами. Проверив готовность номеров, с которыми класс выступит на новогоднем вечере, Прасковья Петровна спросила:

— Ну, а кто будет на вечере, кто не будет, кто где встречает Новый год, вы знаете? Шелестов, например? — она посмотрела на Клаву, но по ее упрямому лицу поняла, что на Шелестова та махнула рукой и заниматься с ним не будет, и перевела взгляд на Степу: — Нужно, чтобы Шелестов встретил Новый год в школе, со своим классом! Обязательно!

Вот тогда Степа и принялся уговаривать Антона.

— А знаешь что? — предложил он.— Я за тобой зайду! Ладно?

Антон понял, что Степа тоже выполняет какое-то поручение, но ему нравился этот простодушный парень с курносым, немного веснушчатым лицом, понравился и тон его разговора — простого и свойского. И он согласился. Ему даже захотелось провести такой торжественный вечер в школе, со своими ребятами.

И все было бы хорошо, если бы не досадная осечка в самом начале.

Придя на вечер, Антон решил блеснуть и пригласить на танцы самую шикарную девушку в классе — Римму Саакьянц. Это была красивая, рослая девушка, армянка, с большими, немного навыкате глазами. В глазах этих больше всего выделялись белки — ослепительно белые, точно фарфоровые. И сама она была точно фарфоровая, нарисованная, исполненная кукольной красоты, которая выделяла ее среди других девочек. При такой красоте нужен большой ум, способный противостоять соблазнам и опасностям, которые она несет, особенно если у тебя папа полковник, пальто с черно-бурой лисой и золотые часы на руке. Римме такого ума не хватало. Поэтому она жила сознанием своей красоты, ощущением своей красоты и мыслями о том, какое впечатление она производит на окружающих. И интересовалась она поэтому больше лейтенантами, студентами и, главным образом, конечно, блестящими молодыми людьми в зеленых велюровых шляпах...

Но Антон ни о чем этом не думал. Немного наивно, немного развязно он подошел к Римме и пригласил ее танцевать и даже улыбнулся. Римма тоже улыбнулась ему

своими фарфоровыми глазами, но сказала, что у нее болит голова. А через пять минут она уже танцевала с десятиклассником, сверкающим шикарными серовато-голубыми ботинками.

Антон скрипнул зубами и никого больше приглашать не стал. Кстати, в танцах скоро наступил перерыв, и около елки началось «новогоднее действо», как Антон назвал про себя литературно-музыкальный монтаж о мечте, поставленный десятыми классами. «Мечта — огонек, без мечты, как без крыльев», «из мечты родилось все — и наука, и поэзия, и музыка, и высшая идея человечества — коммунизм»... Антон на все смотрел уже с иронической улыбкой, и ничего в нем не находило отклика: ни огонек, ни крылья, ни высшая идея человечества...

А когда опять начались танцы, он сел в угол, в компанию нетанцующих или робких ребят, не решающихся показать свое незатейливое мастерство на таком большом школьном балу. Сначала эта компания сидела спокойно, с сознанием собственного ничтожества, но потом скука или зависть постепенно стали вызывать в ней озорное брожение. Здесь же оказались и Сережка Пронин и Толик Кипчак, бывшие друзья-«мушкетеры». Размолвка между ними на этот вечер была забыта, начались шутки, смех, возня, подтрунивание над танцующими, попытки передразнить кого-то из них и выкинуть залихватское коленце: мы, мол, тоже не лыком шиты, мы только не хотим, а то бы показали класс не хуже прочих!

К расшумевшейся компании подошел Степа Орлов с красной повязкой на руке — дежурный — и попробовал ее утихомирить. Тут Антон и вспомнил все его уговоры и обещания. Ждут! Жаждут видеть его, Антона Шелестова, на вечере! Ах! Ах! А вместо этого ломака-барышня с фарфоровыми глазами на виду у всех наставила ему нос.

— А твое какое собачье дело? — с назревающим гневом сказал он Степе.

Степа увидел вдруг его расширившиеся, ставшие совершенно черными зрачки и возбужденно вздрагивающие ноздри.

— Шелестов! Ну что ты! Ну подожди! Ну подожди!..

— Катись отсюда колбаской! Пока цел. Слышишь? — становясь лицом к лицу со Степой, почти кричал на него Антон.

И вдруг совершенно неожиданно перед ним оказалась Марина Зорина. Перед этим он видел ее в стайке девчат, о чем-то щебетавшей посреди зала, и вдруг ни с того ни с сего она тут и смотрит на него своим прямым взглядом.

— Ты что ж не танцуешь? Пойдем.

А у Антона не прошел пыл, и он грубовато и не очень приветливо ответил:

— С какой это стати? Я не танцую.

— Неправда! — ответила Марина.— Да ведь неправда же!.. Ну, пойдем, пойдем, не ломайся. Попробуем!

И тут Марина улыбнулась и потянула его за руку, и уже неловко, никак невозможно было отказаться и почему-то уже не хотелось отказываться. Бросив на Степу последний, уничтожающий взгляд, Антон пошел танцевать, и тогда обнаружилось, что все замечательно.

— Ну вот! А ты говорил! — похвалила его Марина.— Ты, наоборот, очень хорошо танцуешь. Другие просто ногами передвигают, а у тебя чувство ритма есть.

Антону это было приятно, и когда музыка заиграла танго, он опять пригласил Марину.

— Гимн умирающего капитализма! — проговорил он в том же пренебрежительно-насмешливом тоне, как Вадик.

— А мне нравится этот танец! — ответила Марина.— Спокойный!

Потом она подняла глаза и очень внимательно посмотрела на Антона.

— А ты это сам сказал?

— А кто же? — удивился Антон.

— Я, может быть, не так выразилась,— поправилась Марина.— Твои это слова или ты их слышал от кого-нибудь?

— А чьи же? Конечно, мои! — ответил Антон, но ответил уже не так смело и уверенно, и по глазам, которые Марина опять подняла на него, он не понял, поверила она ему или нет...

Об этом Антон думал и потом, в перерыве между танцами: поверила или не поверила? И почему спросила? Это все он и решил выпытать во время следующего танца. Но как-то так получилось, что он опоздал, и венгерку Марина танцевала с другим. Антон никого больше приглашать не стал и весь танец просидел, следя за голубым платьем,

мелькающим в зале. Но зато, как только заиграли вальс, он был уже около Марины.

На деле все оказалось, однако, гораздо труднее, чем в намерениях: как выпытать и как заговорить? Время шло, а Антон не знал, с чего начать.

Так ничего и не придумав, он сказал прямо:

— А почему ты так спросила меня насчет танго? Разве я похож на попугая?

— Не знаю,— пожала плечами Марина.— Вообще ведь интересно отличить настоящего человека от кажущегося. А тебя я совсем не знаю. Давай сядем!

Антон испугался, что Марина не хочет больше танцевать с ним, но она, найдя свободные места, села, указала ему на стул рядом с собою и, решительно повернувшись к Антону, сказала:

— Ну скажи! Я тебя опять спрашиваю: почему ты такой грубый? Вот ты опять чуть не поссорился со Степой. Почему?

Антон молчал, не зная, что ответить, а Марина ждала и смотрела на него в упор.

— А по-моему,— не дождавшись ответа, продолжала она,— по-моему, ты просто под кого-то подделываешься.

— Я? Почему?.. Ни под кого я не подделываюсь! — пробормотал Антон.

— Нет, подделываешься! — стояла на своем Марина.— Под то плохое, что есть у некоторых ребят. А мне кажется... мне кажется, на самом деле ты совсем не такой!

— А ты почему знаешь? — спросил Антон.— Такой — не такой... А может, я хуже этих «некоторых»!

— А ты что, хвалиться этим думаешь? Это, знаешь ли, не велика честь! — усмехнулась Марина.

— Я за честью не гонюсь. Какой есть!

— Да?.. Но ты бы посмотрел на себя, когда затевал эту ссору,— не сдавалась Марина.— Еще минута, и ты бы драться полез.

— Ну и что ж! — отозвался Антон.— Может, и полез бы! Без драки не проживешь. Это вы, девчонки, живете так, а с ребятами без драки нельзя.

— Бить людей!..— Марина повела плечами, а потом вдруг оживилась и, смеясь, продолжала: — Хотя, впрочем, знаешь, мы иногда с братом тоже деремся. Только так это, мирно деремся. Не от злости, а от избытка сил.

— Он большой у тебя? — спросил Антон.

— Да нет! Маленький! В шестом классе. А тоже из себя мужчину строит, тарелку за собой убрать не находит нужным. Считает, что его женщины должны обслуживать. Я и с мамой из-за этого спорю. А она его балует.

Марина стала рассказывать о себе, своей семье, и разговор с неприятных тем незаметно перешел на другие, более мирные и теплые. И как-то спокойнее стало, легче, и Антон заметил и прядку волос, свисающую у нее на лоб, и как интересно она морщит нос, когда смеется, и то, что вся она была какая-то «бальная», совсем не будничная — в голубом легком платье. И вообще, новогодний вечер совершенно неожиданно окончился для Антона совсем хорошо и интересно. Он даже хотел проводить Марину домой, но потом вспомнил Гальку, сундук и... не посмел.

17

У него было благородное имя — Виктор, что значит «победитель», но это, пожалуй, лишь сильнее подчеркивало мрак его жизни.

Как сложилась эта жизнь, никто уже не мог установить. Давно ушло в прошлое то время, когда отец Виктора Бузунова вдруг не явился домой и, как потом оказалось, был арестован и сослан на Колыму. Был он человек дикий, исподлобья смотрящий и неизвестно откуда появившийся. И что скрывалось за его каменным взглядом, никто толком не знал: говорил он мало и то спьяну, когда затянет в винном угаре: «Бывали дни, гуляли мы, теперь гуляйте вы...», а потом ударит кулаком по столу и изречет неожиданную, подводящую, видимо, его крупные счеты с жизнью высокопарную фразу: «Жизнь складывается из ничего» или: «Нет человечества, есть вечные враги». Он был всем недоволен: власть плоха, колхозы плохи, жизнь плоха — все плохо, кругом нехорошо! Но в действительности ему никакого дела не было ни до власти, ни до колхозов, и жизнь он понимал с одной только единственной стороны: «урвать» — как можно и где можно, где законно, где незаконно, где заработать, где подработать, а где своровать.

И жена его не знала, где он работает, сколько получает, она знала только то, что он приносит. Была она глуповата, бесхозяйственна и по-животному ленива, варила одну похлебку или одну кашу, что полегче, попро-

ще,— лучше лишний часок полежать, поспать. Оставшись без мужа, она подумала, что так же можно будет полеживать и дальше. Но оказалось, что нельзя, и она обозлилась, стала жестокой и тоже по-животному грубой. У нее стали собираться какие-то люди, пьянствовать и безобразничать; иногда по ночам они приносили чемоданы, узлы. Между этими людьми вспыхивали вдруг ссоры и драки, заставлявшие мальчика забираться под кровать. Он вообще никому не был нужен, а если и нужен, то для разных непотребных дел: мать посылала его на рынок за мясом, посылала, конечно, без денег и ругала, если он приходил ни с чем, гости гоняли его за папиросами, за водкой.

Так из Виктора получился сначала Витька, «настырный», «чертенок», «гаденыш», а затем его окутала тлетворная атмосфера, царившая в их «дворе», к нему прилипла унизительная кличка «Крыса». А он и действительно походил на крысу — с длинным и острым носом, со стесанным, точно втянутым внутрь подбородком и маленькими злыми глазками. Витька сначала обижался на эту кличку, лез в драку, но законы «двора» жестоки; обида вызывала смех, драка — отпор, и Витька так и не смог сбросить с себя обидной клички. Постепенно он свыкся с нею, но обида превратилась в злобу. Это была злоба на все — на маленькую полуподвальную комнату с подтеками на стенах, на руки в бородавках, на драное, вечно без пуговиц пальтишко, на скрипучую кровать со скомканным, грязным одеялом, на пьяную мать, на ее осовелых гостей, на грубую и темную компанию, державшую в руках их «двор», и на все страшное непотребство его жизни.

Когда мать, приведя гостя, отсылала сына «погулять», ребята, и прежде всего Сенька Мясников по кличке «Мясо», поднимали его на смех, говоря такие обидные вещи о нем и о его матери, которые он не мог выносить. Витька бросался на обидчиков и, получив в ответ хорошего «леща», плевался, кусался, а потом бежал домой и, неистово барабаня кулаками в запертую дверь, кричал: «Долго вы там?» К тумакам Мяса присоединялись тогда подзатыльники и ругань матери, и в душе Витьки поднималась такая неистребимая злоба и ненависть, от которой все кипело в нем. Но он был маленький — и что значили тогда его злоба и ненависть?

Вокруг него катились могучие волны большой жизни: что-то строили, что-то создавали, разбивали парки, скверы, заменяли булыжную мостовую асфальтом, проводили метро, отражали фашистские атаки под Москвой, салютовали победам, но все это оставалось за пределами его темного мирка. Один только раз, когда в домоуправлении появился новый управляющий, инвалид Отечественной войны, над неспокойным подвалом нависла угроза: приходили обследователи, что-то расспрашивали, записывали, и во дворе стали говорить, что Витькину мать выселят из Москвы, а его самого возьмут в детдом. Витька испугался. «А кем же я без матери буду?» — пронеслось у него в голове, и когда снова пришли обследовать, он стал плакать и выдумывать про мать небывало хорошие вещи. А мать, осмелев, тоже не хотела отдавать сына ни в какой детдом.

— Попадется — берите! — говорила она.— А сама не согласна, не отдам!

Дело затянулось, а потом управдома перевели в другое место, и все заглохло.

Шли годы. Мясо со своей компанией «завалился» на грабеже квартиры, а Витька подрос и сам стал старшим во дворе. Теперь уже он грозил кулаками и немедленно пускал их в ход, если его не слушались. Теперь уже он стал законодателем и главным судьей во всех дворовых делах, но кличка, когда-то данная ему, так и осталась за ним — Крыса.

Витька во многом старался подражать своему «крестному», но человек он был другой, и все у него получалось тоже по-другому. Мясо был сильный, здоровый и наглый, но наглость у него странным образом сочеталась с туповатым добродушием и как будто бы даже беззлобием. У Витьки не было ни добродушия, ни силы. Вместо этого у него были злоба и исступленность. Давая задание какому-нибудь мальчугану, он сжимал его рукой за шею, а колючие глазки его впивались в притихшего мальца. «Не сделаешь, получишь «леща». Понятно?» — грозил он. «Понятно»,— тихо повторял за ним лишившийся воли малец и выполнял все, что приказывал Крыса. Все знали: если Крысу разозлить, он может избить, может убить, и его все боялись — никто не любил, но все боялись.

В разговоре он щурил глаз, кривил губы, подмигивал

и подмаргивал, цыкал сквозь зубы тонкой струйкой слюны, показывая этим верх своего пренебрежения ко всему, что для людей было обязательно и свято. Прядь мягких, пышных волос, составлявших единственную гордость Витьки, спадала до самых глаз. Он откидывал их резким и злым кивком, но через минуту волосы опять лезли в глаза, вызывая новое и такое же злое движение. Создавалось впечатление, что и носил-то он этот чуб для того, чтобы поддерживать в себе злобу. Боялась его теперь и мать. Теперь уж не она била сына, а он ее. Теперь не он, а она бегала за папиросами и за водкой для него, теперь он вытягивал у нее деньги.

— А ты кривобокого-то привела задаром, что ли? Попробуй не дай мне денег!

И она давала: займет, а даст.

— А что с него спрашивать? — смиренно говорила она.— Парень!

И никто ее не жалел. И его не жалели.

Работать Витька не стал: поступил куда-то один раз, но прогулял, поругался и ушел; потом еще раз поступил, но что-то украл и «сел», затем освободился, но опять «сел», и теперь вот снова вышел на свободу по амнистии. Жил он без прописки, то появляясь, то исчезая, то снова появляясь, развязный, наглый, вызывая страх у одних и скрытое восхищение у других, таких же, как он, для которых он был своего рода воплощением бесстрашия, силы и дерзости. Особенно возросла его темная «слава» после того, как он где-то и за что-то «получил ножа» и пролежал несколько недель в больнице.

«Слава» эта утвердилась среди самой озорной и распущенной части молодежи, заселявшей окрестные дворы, и Витька Крыса сам старательно ее раздувал: явно преувеличивая свои «подвиги», он бахвалился, что «все пересылки изъездил, все колонии и все видел и все испытал. Житюга горькая, зато веселая, живем, пока живется,— днем живем». И тогда вокруг него собрались ребята, большие и маленькие, тоже видавшие уже виды и «начинающие», только впервые, может быть, прислушивающиеся к непонятным словам блатного жаргона и рассказам о приключениях и преступлениях, об отчаянных ребятах и красивых, бесшабашных девчонках, о таинственной «малине» и тюремных порядках, которые пришлось повидать неутомимому рассказчику.

Ребята слушали его, раскрыв рты, особенно когда он среди нормальной речи станет вдруг заикаться и представит пьяного, прямо настоящего пьяного, или начнет «психовать»,— тогда у него как-то невероятно вывертывался язык и из перекошенных губ начинала бить пена.

Но никто во дворе не знал, что приключилось с Витькой на самом деле.

После очередного «дела» он утаил какой-то чемодан — не сдал его в общий котел. Среди воров он оказался вором. За это он был вызван на «свой» суд в Сокольники, но, испугавшись, не явился. Рука мщения, однако, нашла его, и однажды ночью в переулке возле Ново-Девичьего монастыря он «получил ножа».

Из больницы вышел отщепенец, изгой, одинокий шакал, воющий в ночи. Тех, кто жил по нормальному закону человеческой жизни, не признавал он, а все прежние компаньоны, жившие по волчьим своим «законам», перестали признавать его. Но в одиночку нельзя жить даже крысам, и Витька стал присматриваться к той беспутной или не нашедшей еще пути молодежи, которую можно было найти в окружающих дворах,— нельзя ли из нее подобрать себе «сявок».

Двор!.. Не очень ясное, но емкое слово — квадрат среди домов, пространство и в то же время общество, его частица, подвижная и бесформенная, место отдыха и безделья, детских игр и драк, помоек и сушки белья, место встреч и пересудов, бесед и склок, место цветочных клумб и потайных углов, место смешения цветов и запахов, светлого и темного, яркого и серого, красного и черного, чистоты и смрада — одним словом, уже не место, а понятие. Здесь может встречаться и пересекаться то, что по-разному живет по разным номерам квартир, лестницам и подъездам, и пересекаться иной раз совершенно неожиданно и бесконтрольно. Это — стихия, которой еще нужно овладеть.

Витька Крыса вырос в этой стихии и знал все ее тайные силы и законы, идущие со времен Мяса и, может быть, более ранних его предшественников. Знал он и ребят — конечно, тех, которые его интересуют,— одних хорошо знал, других хуже: кто как относится к деньгам, к девочкам, кто куда клонится и кто на что годен. И одним из первых, на кого он обратил внимание, был Вадик.

Витька помнил его еще маленьким — белобрысым, белоглазым и краснорожим «пузанком» в коричневой ци-

гейковой шубке, помнил по мамаше, которая то и дело выглядывала из форточки, как скворец, и приставала к сыну то с одним, то с другим. Сын отвечал ей как сын: «Ладно, мамочка! Хорошо, мамочка!» А когда форточка захлопывалась, ругал ее нехорошими словами. Примитивному уму Крысы это показалось интересным, и он стал обучать Вадика ругательствам, какие знал. Потом он посылал его по разным своим поручениям и видел, что тот готов расшибиться в лепешку. Витька милостиво нохваливал его, и за пухленький подбородочек, за розовые поросячьи щечки дал ему прозвище «Свиная Тушенка».

Помнил Витька и дворовые ссоры и драки из-за каких-то ребячьих выдумок, из-за какого-то шалаша — «штаба». И хотя Вадик Свиная Тушенка громче всех тогда шумел и кричал, но в драке он был жидковат, и Витьке как-то пришлось даже от нечего делать помочь ему и всей его компании отбить нападение враждебного лагеря — ребят с другого, соседнего двора. В этой драке он столкнулся с одним невысоким, но крепким пареньком, который напролом шел на штурм ребячьего «штаба». Тут-то и вмешался тогда Витька и помог отбить эту нахальную атаку, но отчаянный паренек с дерзкими глазами и длинным носом упорно стоял и против него.

Витьке это понравилось.

— Дерешься ты сильно! — похвалил он его.— Только нос у тебя... как паяльник!

Так и стал Генка Лызлов «Паяльником».

Теперь Витька их снова встретил, и опять в драке: Вадик завел стиляжью прическу и узкие брючки — «дуды», а Генка с криком «бей стиляг!» набросился на него. И тогда Витька предложил Вадику: «Давай «мазу» держать!» Это значит — поддерживать друг друга и во всем помогать. А Вадику попадало не от одного Генки, и «маза» с всесильным Витькой Крысой была ему выгодна,— теперь можно было ничего не бояться и на улице чувствовать себя как дома.

А это всегда и было скрытой пружиной в поведении Вадика: выгода. Он с детства рос сластеной. Получив бутерброд, он сначала слизнет масло, а хлеб запрячет куда-нибудь за тарелку. А когда папа требовал, чтобы он доедал хлеб, он морщил нос и жалостливо поглядывал на маму. Он знал: мама обязательно заступится. Если же мама пихала ему в рот ложку с рыбьим жиром, то он погляды-

вал на отца. Тогда между родителями начинался спор, а Вадик под шумок убегал.

Так постепенно он научился хитрить и лавировать между отцом и матерью,— кто больше пообещает, кто больше даст и кто поменьше потребует. Ради этого он готов был пойти на ложь, на фальшь и обман, да это ему и не стоило большого труда и душевных трагедий: мелкий проказник и еще более мелкий трусишка, он способен был врать, не краснея и невинно глядя в глаза. Живя с детства в атмосфере неугасимой войны между отцом и матерью, периодами чередовавшейся с приступами умиленных ласк и поцелуев, Вадик давно заметил, что он играет в этой борьбе какую-то важную роль: если папа к нему добр, то мама — наставительно сурова, если мама проявляет слепое доверие, то папа — усиленную строгость. А если два авторитета сталкиваются, авторитет вообще исчезает.

Приноравливаясь к положению, Вадик старался извлекать из него свою выгоду. Если мама отказывала ему в чем-то, он обращался к папе и получал то, что хотел. Если папа запрещал ему идти куда-то или что-то делать, он прибегал к маме, и та — в пику папе — с подчеркнутой лаской гладила его по головке и разрешала, и Вадик чувствовал, что ласка эта была в пику папе: «Вот какая я добрая, а он злой». Особенно если он «употребит» слезы. Это Вадик тоже заметил: слезы действуют — и стал «употреблять» их довольно часто.

Заметил он, что действует и ласка, прежде всего на маму, которая больше ругалась, но зато больше говорила о ласке, о любви. Когда нужно было добиться чего-нибудь очень большого и важного, Вадик целовал ее в нос или в подбородок.

Заметил Вадик и еще одно обстоятельство — здоровье. Это был один из постоянных пунктов в спорах между папой и мамой: папа считал, что Вадик должен закаляться, а мама утверждала, что его нужно лечить. Побеждала обычно мама, и потому — как Вадик помнит себя — он всегда лечился, принимал противный рыбий жир и витамины. Но и из этого он наловчился извлекать выгоду, особенно когда стал ходить в школу. Если ему надоедало делать уроки, он жаловался, что у него болит голова, и мама немедленно отправляла его на улицу дышать кислородом. Если ему не хотелось идти в школу, он заявлял, что ему больно глотать, и мама срочно укладывала его в постель.

На этой почве между мамой и учительницей шла долгая и упорная борьба. Отец пытался примирить жену с учительницей, но не такова была мама и не таков был папа, чтобы из этого могло что-либо выйти — у Брониславы Станиславовны округлялись глаза, и она обрушивала на папу артиллерийский залп своих доказательств.

— У него аденоиды, а она на это не обращает внимания,— говорила мать Вадика про учительницу.— Она даже не знает! Уверяю тебя, она даже не знает, что аденоиды закрывают носоглотку и мешают нормальному питанию мозга. Они вообще ничего не знают и не имеют никакого снисхождения к детям, а только требуют, требуют и требуют!

Учительница измучилась с этой не в меру умной мамой и, наконец разгадав и ее и сыночка, сказала ему:

— Никакой ты не больной и не нервный. Ты просто лентяй!

Вадик немедленно передал это маме, и она, разъяренная, побежала ругаться с учительницей. Ругалась она в вестибюле школы, при всех, ругалась громко, по-домашнему, не замечая, что Вадик в это время смотрел из-за колонны на свою учительницу и нагло улыбался.

С возрастом возник вопрос о деньгах. Недостатка в них не было, но аппетит приходит во время еды, и когда нужно было выманить их, Вадик стал применять все — от жалобы на плохое здоровье до поцелуев. Только детские слезы оказались теперь уже полным анахронизмом, и вместо них он стал применять более сильно действующее средство — грубость. И то когда нужно. Нет, люди его не считали грубым. Он был в меру вежлив, в меру нагл, вернее, когда нужно — вежлив, когда нужно — нагл и только когда нужно — груб.

Так вот, пожалуй, и сложился этот характер — человек, которому нельзя верить — ни его слову, ни взгляду, ни поцелую, потому что все в нем может оказаться фальшивым и низменным. У другого за ворохом глупостей и несовершенств есть какая-то искорка, стремление, порыв. У этого ничего — ни заветной мечты, ни стремления. Он считал, что только он один существует на свете и все на свете должно служить ему. И даже не считал — это просто само собою разумелось.

Может быть, и остался бы Вадик таким вот мелким, но не зловредным себялюбцем, если бы не «маза» с Крысой.

Нельзя сказать, что Вадик не воровал до тех пор. Конфеты или детские походы с Антоном в чужие чуланы за лыжами и столярным клеем. Понемножку воровал Вадик и потом — у папы, у мамы, у обоих вместе, но делал все это ловко и хитро, а если и возникали подозрения, то на сцену выступала та самая вражда сторон, которая так часто выручала Вадика.

Один раз Вадик украл в квартире. Для сбора платы за электричество и другие коммунальные услуги в коридоре был повешен мешочек, в который каждый клал свою долю, а кто последний, тот должен был нести собранные деньги в банк. Вадик и вытащил из сумочки приготовленные для банка деньги. В квартире началась большая и долгая склока из-за взаимных подозрений и обвинений, а Вадик слушал и посмеивался.

Но на этом тоже можно было бы остановиться... если бы Вадик не посмеивался. Легкодумный, он не задумывался ни над жизнью, ни над собой, ни над будущим. Не задумался он и тогда, когда Витька Крыса впервые предложил ему обобрать пьяного.

— Все равно пропьет! — сказал тогда Крыса.

И Вадик согласился: конечно, пропьет! А о том, плохо это или хорошо, он не задумался.

И вот как-то так получилось: ничего, кажется, не было общего между заброшенным, заруганным Витькой-гаденышем и окруженным заботою краснощеконьким Вадиком, сыном директора клуба и бывшей артистки, а сошлись они на общем и недобром деле.

А тем временем у Вадика совсем расстроились дела в школе: учиться не хотелось, а само собой ничего не делалось.

— А на кой ляд тебе учиться,— сказал ему Витька, и Вадик бросил школу. Для папы с мамой он сочинил версию: хочу работать, чтобы поскорее приносить пользу родине. На самом деле он меньше всего думал о работе и родине: он делал вид, что ищет работу, и использовал это для объяснения своих отлучек из дома. Через кого-то из своих знакомых отец хотел устроить его на завод, но Вадик и здесь нашел отговорку: нужно работать по интересу, а меня интересует телефонная связь. По этому поводу произошла очередная схватка между папой и мамой, но никто из них не знал, что это совет, который дал их сыну Витька Крыса.

— Если идти, то знаешь куда? В монтеры, на телефонную станцию. И работа легкая, и... понимаешь? Будешь работать по квартирам, а там уж сам соображай.

Одним словом, Вадиком можно было вертеть во все стороны.

Генка Лызлов — наоборот, крепкий, дерзкий. «Хорош урчонок будет! Шустрый хлопец!» И упрямый: помирить его с Вадиком стоило Витьке большого труда. «Не люблю стиляг!» Но ничего, сошлись...

Через Генку Витька притянул еще Пашку Елагина, вздорного и задиристого, но тоже «подходящего» парня, а через Вадика как-то сам собой примазался этот бабушкин внучек, Антон. Правда, хотя он, пожалуй, и впрямь цыпленок, но раз замарался, никуда не уйдет. А может, и сгодится еще.

Так Витька Крыса собирал вокруг себя своих «сявок».

18

«А где тут мед намазан?»

Вопрос этот, возникший у капитана Панченко при первом знакомстве с Антоном, не забылся: у оперативных работников ничего не забывается. Не забылось и то, как упорно не хотел Антон называть своих дружков-товарищей и как попробовал он тогда удержать от этого и мать: «Мама! Я запрещаю!» Обратил внимание на такое обстоятельство и майор, начальник отделения милиции, когда капитан Панченко докладывал ему о случившемся.

— А вы здесь ничего не усматриваете?.. Группы нет? — спросил начальник, выслушав его сообщение.

— Пока не замечено,— ответил Панченко.

— А может, плохо замечаете? Парень ездит с Красной Пресни к Девичьему полю. В самом деле — зачем?

— Говорит: к бабушке.

— А не слишком это горячая любовь к бабушке?.. А кто этот Вадик? Он у нас не на учете?

— Нет.

— Займитесь.

— Слушаюсь, товарищ майор.

Вместо своей обычной, серебристого цвета каракулевой шапки Панченко надел кепку и пошел по адресу, который назвала Нина Павловна.

Там, во дворе старого, обреченного на слом дома пожилая женщина натягивала веревки, развешивала белье. Панченко заговорил с ней, спрашивая, где живет какой-то несуществующий человек, а тем временем по незаметной уже для самого себя привычке держал под наблюдением весь двор. И тогда он увидел, что из-за угла сарая за ним тоже наблюдают две физиономии: одна — кругленькая, пухленькая, нагловатая, другая... Капитан Панченко успел заметить только острый нос, острый подбородок и дерзкое выражение лица. Чтобы лучше запомнить все это, он не удержался и кинул в ту сторону лишний взгляд. Явная ошибка: физиономии моментально исчезли.

— А вы за белье не боитесь? — сказал капитан Панченко. — А то вот ребята какие-то высматривают.

— Нет, это наши. Так — шляются! — ответила женщина.

— А чего ж они шляются?.. Делать нечего?

— Не знаю... Один, кажется, работает, а другой... Кто их разберет? Школу бросил, а работать... А на что ему работать, когда папа-мама есть?

— Что ж это за папа-мама? — не очень ловко спросил Панченко, вопрос этот насторожил женщину, и она недоверчиво покосилась на него.

Пришлось капитану показать свое удостоверение, и женщина, продолжая развешивать белье, рассказала ему о семье Вадика.

— Не жизнь, а одна видимость. Бесправный и безвольный муж и хитрый сын, а она умничает. Муж, видите ли, ее «со сцены снял», жизнь погубил, а сама с кухни не выходит. «Кастрюльная особа»: питание и витамины. У нее на каждый суставчик свой витамин есть, помешалась на этом. Вот и едят друг друга. Самоеды!

Поговорил потом Панченко и с дворником, и с управляющим домом и выяснил: да, Вадик с самой осени не учится и не работает, ну, а что делает, — разве за ним усмотришь?

Пришлось вызвать самого Вадика. Он явился аккуратно в назначенное время, предупредительно постучал в дверь, скромно вошел, вежливо раскланялся:

— Разрешите?

— Разрешаю. Входи!

— Здравствуйте!

— Здравствуй, сынок! Здравствуй! Садись!

Капитан Панченко узнал сразу: конечно, это один из тех двух, которые подсматривали из-за сарая, — то же круглое, пухленькое и нагловатое лицо. Вадик встретил его взгляд, не потупился и не отвел глаза и так, не моргнув, выдержал весь разговор: школу он бросил потому, что учителя плохие и ученье не дается, да и не всем нужно быть Ломоносовым, а пользы родине он больше принесет, если будет работать.

— Почему же не работаешь? — спросил Панченко.

— Да ведь работу найти нужно! — снисходительно улыбнулся Вадик.

— А ты в детскую комнату обращался?

— Нет.

— В райисполком, в комиссию по трудоустройству обращался?

— Нет.

— Тогда мы дадим тебе направление. Хочешь?

— Пожалуйста. Только... — замялся Вадик.

— Что «только»?

— По направлению могут куда-нибудь ткнуть. Знаете, сколько у нас формализма. А я хочу по душе работу найти.

— А к чему же твоя душа лежит?

— Представьте себе: это очень трудно сказать. И то хочется, и это хочется. В нашей жизни так много интересного!

Панченко чуть усмехнулся, вглядываясь в белесые, несмущающиеся глаза Вадика.

— Ну, и чем же ты занимаешься? Что делаешь? — спросил он.

— Да так... Вот ищу работу... А потом так... Дома!

— А товарищи?

— Товарищи?.. А какие товарищи? Ребята!

— Ну, какие ребята-то?.. Ты говори, говори, не стесняйся!

Капитану Панченко очень хотелось спросить про того, второго, остроносого, который тоже прятался за сараем, но он не спросил. Он не знал и никак не думал, что и о посещении им двора, и о разговоре с женщиной давно уже знает Витька Крыса.

А Вадик скромненько сидел на стуле и называл фамилии своих старых школьных товарищей, с которыми

полгода не встречался, назвал Антона и новое для капитана имя Смирнова. Панченко смотрел на него и думал: верить ему или не верить? Но не верить никаких оснований не было, придраться тоже было не к чему, и, запомнив на всякий случай адрес Сени Смирнова, он отпустил Вадика.

Обо всем этом на другой же день Вадик рассказал Витьке Крысе.

— Нужно потише играть, — решил Витька. — А с Генкой вы раздеритесь!

Почти в то же время у Витьки появилась другая забота: та самая соседка, которую на пирушке у Капы он грозился «укоротить», подала заявление в милицию — жаловалась на Капу, на частые сборища у нее. Пришел участковый и стал расспрашивать Капу о ее занятиях и о житье-бытье. Капа объяснила, что недавно у нее был день рождения и она его праздновала. Но участковый предложил ей предъявить паспорт и по паспорту установил, что родилась она совсем в другой день. Капа не смутилась и на ходу заменила день рождения именинами.

— По религиозному, значит? — участковый пытливо посмотрел на нее.

— А разве нельзя? По-религиозному! — игриво улыбнувшись, ответила Капа.

Но улыбка не оказала на него никакого действия.

— И что ж, у вас каждую неделю именины бывают?

— А кто сказал — каждую неделю? Кто сказал? — перешла в наступление Капа. — Соседка? Да она...

Соседка оказалась и такой, и сякой, и разэтакой, и даже удивительно, что милиция до сих пор держит ее на свободе.

Участковый все выслушал и спокойно сказал:

— Я вас предупреждаю, гражданка, имейте в виду! Будете нарушать порядок — привлечем к ответственности!

Капа о приходе милиционера немедленно сообщила Витьке. Он ночевал у нее иногда, она «наводила» его — сообщала, где и чем можно «поиграть», и кое-что прятала после «игры». Теперь нужно было найти другое место. И тогда Витька вспомнил про Антона: живет в другом районе, на отлете, — вот тут он и может пригодиться.

И вот к Антону неожиданно нагрянул Вадик. Он поболтал о том о сем, а когда собрался уходить, спросил:

— Мы с тобой друзья?

— О чем разговор? Конечно, друзья! — ответил Антон.

— Намертво?

— Намертво.

— А тайну хранить умеешь?

— А ты думаешь!

— Ну вот тебе залог дружбы, подержи у себя.

Вадик сунул Антону в руки дамские часики и, прежде чем тот успел что-либо сообразить, простился и ушел.

19

Залог дружбы!

Что это за часики и откуда, Антон сразу догадался и спрашивать не стал. Он старался об этом не думать: хорошо ли, плохо ли? Антон не задавал себе этих вопросов, а если они и возникали где-то в тайниках души, он их подавлял. Что бы там ни было, но слово есть слово и дружба — дружба. Они, товарищи, показали свою дружбу на деле и не оставили его в беде из солидарности! Как он может теперь выдать их тайны? Ведь у него так мало друзей. А что может быть теперь дороже дружбы! Об этом так хорошо говорилось во всех книгах, которые он читал, во всех кинокартинах, которые он видел, и это так отвечает той тоске по дружбе, которая таится в его душе, и его давнишней мечте: отдать за друга голову. Пусть в меня стреляют, а я буду знать, что я товарища выручил!

С такими мыслями Антон положил часики в свою тумбочку и утром пошел в школу. Но во время урока он вдруг подумал: а ну-ка мама надумает убирать комнату и наткнется на чужие часы! С трудом дождавшись большой перемены, без пальто, без шапки он побежал домой. На тревожный вопрос Нины Павловны он ответил, что забыл тетрадку, а мама, как нарочно, стояла здесь же, в его комнате, и ему очень долго пришлось искать эту мифическую тетрадку, прежде чем, улучив момент, он сумел схватить часики. Он унес их с собой в школу, но они не давали ему покоя, жгли карман.

Придя домой, Антон спрятал часики под матрас, а через полчаса подумал: вдруг мама задумает переменить простыни — и тогда... Антон поспешно достал часы из-

под матраса и положил их на свою полку между книгами, но и это место показалось ему ненадежным. Он оглядывал свою комнату, ставшую вдруг удивительно маленькой, и не знал, куда деть порученный ему «залог дружбы».

Много позже, в откровенной беседе с одним писателем, который старался разобраться в его жизни, Антон очень подробно говорил об этих часиках. Писатель упирал на историю с велосипедом и считал, что первое падение должно было особенно запомниться ему. А для Антона велосипед, туманный вечер, звук отдираемой доски были всего лишь сильным впечатлением, случайно ворвавшимся в его жизнь и так же внезапно ушедшим. А «залог дружбы» ему пришлось пережить как первое преступление.

По мере того как он менял одно место хранения часов на другое, у него вместе со страхом росло ощущение неправильности совершаемого. Пусть он не украл, но теперь он с каждым часом все яснее сознавал, что принимает участие в мерзком деле. Нет, об измене «дружбе» он не думал, и если бы кто-нибудь ему сейчас предложил прийти к маме, отдать часы и все рассказать, Антон посчитал бы это подлостью. Но мысль о том, что он делает что-то недозволенное, не давала ему покоя, хотя слово «преступление» еще не возникало.

Так прошло несколько дней, прежде чем Вадик не позвонил ему и не сказал, куда нужно привезти оказавшийся таким тяжелым «залог дружбы».

Своими переживаниями Антон с ним не поделился, но сам задумался. Нет, об измене опять речи не было, и Антон знал, что если Вадик привезет ему что-то еще, то отказаться он не сумеет. И тогда само собой у него мелькнуло: уехать бы! Но куда? Это неопределенное намерение мелькнуло и исчезло так же внезапно, как возникло.

Но вот так же внезапно, после очередной ссоры с мамой, у него возникло сомнение: любит ли он маму?

Это был очень сложный и трудный для Антона вопрос. Да и вообще все вопросы почему-то были трудные, и они с самого детства, как помнит себя Антон, сплошной вереницей возникали один из другого. Где папа? Что значит «смотался»? Почему смотался?

На все эти «почему» у Антона не было ответа, он не

переставал втайне от всех мечтать об отце, о том времени, когда он вернется назад. Но отец не возвращался, и в душе мальчика росла большая обида на него — и за себя и за маму.

А мама была такая красивая, добрая и в то же время такая печальная, и с такими глубокими, тяжкими вздохами она целовала сына, когда укладывала спать. Антон всей силою своей души цеплялся за маму, и однажды, услышав такой вздох, он крепко-крепко обнял ее за шею и сказал:

— Я от тебя никогда-никогда не смотаюсь.

И вдруг мама, которая так крепко прижималась тогда щекой к нему и заплакала, сама «смоталась» и уехала. Куда? Зачем? Она сказала — на работу, за границу, в Германию. А зачем в Германию? Разве нельзя работать дома?

Антон спрашивал об этом бабушку, у которой остался жить, дядю Романа, который иногда к ней заходил, бабушка вздыхала, дядя Роман говорил что-то о необходимости и долге, но Антон мало что понимал. Мама все-таки вполне могла бы, как и прежде, работать и жить дома. И, словно в подтверждение своих мыслей, Антон слышал разговоры в коридоре, на кухне, во дворе, где всезнающие соседки обсуждали любые вопросы жизни.

— По заграницам ездит, а родное дитя бросила, как кошка.

И вот уже жалостливая рука тянется к вьющимся волосенкам Антона и сочувственный голос говорит:

— Сиротка!

Мотнув головой, Антон стряхивает назойливую руку, но еще одна капля обиды, незаметно для соседок, незаметно для бабушки и тем более для далекой мамы, откладывается в сердце мальчика.

Но нет! Зря соседка говорила свои жалостные слова: мама приехала! Приехала она совсем другая — довольная, веселая и еще более красивая. Антон ее и не узнал сразу. И совсем она показалась чужой, когда утром оделась в голубую пижаму с плетеными белого шелка накладными петлями и стала разбирать чемоданы, которые привезла с собою. В комнату под разными предлогами заходили соседки, то одна, то другая, каждая охала, ахала и восхищалась то фартуком, вышитым бисером, то игрой света в сиреневых сережках, то дамской

сумочкой необычайного фасона. А в кухне они все потом обсудили и все решили по-своему.

Особое возмущение вызвала пижама, первая и единственная пока в этом старом московском доме: жены увидели в ней покушение на своих мужей, старухи — на самые основы нравственности. В результате Нина Павловна получила злое прозвище «Фрау».

Антон все слышал, видел, что и бабушка хотя и молчит, но смотрит на мамину пижаму поджав губы. Ему самому этот наряд тоже не нравился, и потому, когда мама вынула из большого ярко-желтого чемодана клетчатый костюм и с довольной улыбкой прикинула его на Антона, он принял подарок без удовольствия. Но потом Антон представил, как он выйдет во двор, к ребятам, и как они поразятся необычайностью его нового костюма. А вместо этого они подняли его на смех, сравнили с каким-то героем из последней кинокартины и обозвали фашистом. Антон убежал домой и, чуть не плача, стал срывать с себя злополучную обновку.

— Не хочу я твои фашистские моды носить!

Все это были мелочи, но они нагромождались одна на другую.

Когда мама получила комнату, Антону очень не хотелось уезжать от бабушки. Новая комната была большая, но длинная и узкая, как пенал, а главное — пустая и неуютная. И жизнь в ней была тоже неуютная: учился Антон в первую смену, утром, а вечером мама уходила на работу, он оставался один и ложился спать, не дожидаясь ее прихода.

Неуютно было и во дворе: ребята все новые, незнакомые. Верховодил среди них мальчишка с непонятным прозвищем «Зонтик» — тоненький, маленький, но большой хвастун и забияка. Видимо, прикрывая свою слабость, он брал наглостью и лез со всеми драться. Пристал он и к Антону.

— Стукнемся?

— Стукнемся! — Антон был на целую голову выше Зонтика и решил не сдаваться.

Но Зонтик оказался хитрым и напористым: он сразу же ударил Антона сначала в один глаз, потом — в другой. Антон разозлился и, почти ничего не видя, стал молотить кулаками по воздуху. А кругом стояли ребята и гоготали.

Этот смех был обиднее всего, и Антон потом горько плакал, уткнувшись в подушку, один, у себя в комнате. Он не мог заснуть и дождался, когда вернется мама, а она сказала:

— А ты не будь размазней. С маленьким мальчишкой не мог справиться. Нужно уметь постоять за себя.

Жаловаться маме он больше не стал, зато научился драться.

И еще у Антона была обида на маму — за папу номер два. Хорошо помнил он поздние возвращения мамы по воскресеньям, когда никакой работы нет, и ее наряды, и пряный запах духов, и звонки, и письма, и первый неожиданный визит Якова Борисовича как-то поздним вечером. Антон хорошо заметил тогда, как сначала мама удивилась, потом обрадовалась, а затем указала глазами на него, Антона.

— Ничего, он парень хороший, — сказал Яков Борисович и дружески протянул Антону руку.

Антон лег в кровать, накрылся одеялом и притворился, что заснул, напряженно прислушиваясь к тому, о чем говорит мама с незнакомым гостем. Ничего особенного он тогда не узнал. И только теперь, после встречи с Галькой, все стало понятным и обнаженным. И по-новому объясненное вторжение Якова Борисовича в их жизнь и все порожденные им вопросы и обиды стали от этого еще больней и обидней. В конце концов Антон не мог себе дать отчет — любит ли он маму и за что.

И тогда сама собою возникла мысль об отце.

«Ну хорошо! Он далеко. Он не захотел жить с мамой, у него другая семья, дочка Шурочка, — Антон это понял из разговоров бабушки. — Но ведь он остается моим отцом! Моим отцом!»

Это привычное человеческое слово наполнилось вдруг для Антона совершенно новым, особым и необыкновенно глубоким смыслом. Отец! Вот с кем бы теперь поделился Антон, вот кому открыл бы он душу. Мама — что? Мама — женщина. Разве можно быть с нею до конца откровенным? И разве может она разобраться во всем? Чуть что — грустный вид и слезы. То ли дело — отец! Мужчина!

Вот хотя бы этот последний визит Вадика, эти маленькие дамские часики...

Пожалуй, нет. Об этом он не стал бы говорить и с отцом.

Полный этих тревог и раздумий, Антон зашел как-то опять к бабушке и от нечего делать стал разбирать старые семейные фотографии. И вдруг с пожелтевшей любительской карточки на него глянуло лицо — длинное и худощавое, с тонким — маленькой горбинкой — носом и тревожно взметнувшимися бровями.

Папа! Отец!.. Да и волосы такие же, как у него, Антона, взлохмаченные, встрепанные, буйные.

— Это кто? — спросил Антон бабушку.

— Это... это твой папа,— немного замявшись, ответила бабушка.

— А он где? — весь напрягшись, спросил опять Антон.

— Если не перевели куда, то в Ростове.

Решение созрело мгновенно: он едет к отцу. Он иначе не может, и никакая сила его не остановит. И как он до сих пор не подумал об этом!

20

С утра скопилось много дел, и Нина Павловна, принявшись наконец за уборку комнат, увидела на столе Антона записку:

«Мама! Меня не ищи. Взял у тебя триста рублей, больше из дома ничего не взял».

«Меня не ищи!..»

Уронив щетку, Нина Павловна бросилась к телефону и позвонила Якову Борисовичу.

— Ну и точка! — после минутной заминки ответил вдруг голос в трубке.

— Какая точка? Что значит — точка? — не поняла Нина Павловна.

— А то, что этого надо было ожидать. От него всего можно ожидать. Это только ты не видела.

— А ты что, рад этому, что ли? — вскипела Нина Павловна.

— Ну, знаешь ли... По таким вопросам на работу мне прошу не звонить. Это разговор для дома! — Яков Борисович повесил трубку.

Нину Павловну это потрясло: конечно, она сказала чепуху, но как он мог повесить трубку, не дать никакого совета, не принять участия... А может быть, и не такую уж чепуху она сказала?

Звонить второй раз было невозможно, и, пометавшись по дому, Нина Павловна побежала в школу. Это было, конечно, бессмысленно, но разве легко совершать осмысленные поступки, когда на тебя сваливается этакое событие?

В школе, дождавшись перемены, она старательно избегала встречи с Прасковьей Петровной и высматривала в кишащем учениками коридоре знакомых ей товарищей Антона. Сначала на глаза ей попался Володя Волков, но, как будто не заметив ее, побежал по лестнице на следующий этаж. А потом она увидела Степу Орлова. Он шел окруженный ребятами, но Нина Павловна поманила его пальцем, и Степа подошел к ней.

— Послушайте... — нерешительно сказала она. — Позовите, пожалуйста, Шелестова.

— Антона? — удивился Степа. — Его нет в классе.

— Нет?

Совсем растерявшись, Нина Павловна поехала к бабушке. Бабушка сначала тоже ахнула, а потом стала вспоминать последнее посещение Антона и его расспросы об отце.

— Неужели к нему уехал?.. Ну, так и есть: к отцу! — решила старушка. — Видно, сладко живется мальчишке! Вы что его — совсем заели, что ли?

Нина Павловна была у нее единственной, а потому и немного балованной дочкой. В семье было еще три сына, ребята все разумные, работящие и дружные, служившие большой и подлинно мужской опорой матери после смерти отца.

Они были старше Нины Павловны и, подрастая один за другим, шли на работу, помогая матери вытягивать остальных, и только последняя, Нина Павловна, отчасти за счет братьев, могла после школы пойти в вуз. Из подвижной, живой и бойкой девочки она выросла к тому времени в интересную девушку с независимым и несколько своенравным характером. Может быть, по этой своенравности она и пошла в Институт иностранных языков. Братья, все рабочие, самостоятельные, семейные люди, были против этого: учиться, так учиться чему-нибудь настоящему, «на инженера». Но избалованная ими же Нина Павловна любила настоять на своем. И настояла.

Настояла она и потом, когда, не кончив института, «выскочила» замуж, когда вдруг так же неожиданно разошлась с мужем и когда после нескольких лет одинокой жизни сделала выбор, которого никто из всей семьи не одобрил — Яков Борисович почему-то не приглянулся никому.

Так постепенно у Нины Павловны испортились отношения со всей семьей, вернее — со всеми братьями, и только бабушка в поисках примиряющей середины всегда искала для нее какие-то оправдания. Прожив всю жизнь с одним мужем, а после его смерти — честной, в бесконечных трудах вдовой, старушка не понимала и не оправдывала разводов, как заразу, распространившуюся среди молодого поколения. Но что тут поделаешь? Видно, новые люди хотят по-новому жить, а она старая и чего-то в этом новом не понимает. Не понимала она и Нину Павловну, но жалела и потому охотно взяла внука к себе.

«Что ж она смолоду непривязанной бобылкой останется. Может, кого и найдет!»

Поэтому бабушка мирилась с тем, что выбор у Нины Павловны затянулся, как примирилась и с тем, на кого он в конце концов пал. Яков Борисович ей не понравился, как не понравилась, кажется, и она ему. Но что же поделаешь: жить им. Ей только было жалко внучка. Она редко бывала в новой семье, но по тому, что видела и слышала, по тому, каким неприкаянным чувствовал себя Антон, она поняла — настоящей семьи не получилось. И вот — пожалуйста!

— Отца, видно, нужно было искать ребенку, а не мужа себе, — выговаривала она Нине Павловне. — Да и самой о нем не забывать. А то замиловалась, видно, а мальчишку забросила. А много ль им надо? Ребята чуткие, они все понимают, по-своему, а понимают.

Ехать к Роману после такого разговора с матерью Нина Павловна не решалась. Если уж старушка заговорила так — что скажет он? Но положение было безвыходное. Нина Павловна в конце концов собралась к брату: пусть выругает, но посоветует, что делать? К несчастью, Романа не было дома, он оформлял документы для отъезда, зато жена его, Лиза, оставив все хлопоты по сборам, приняла самое горячее участие в делах Нины Павловны.

— А почему вы с бабушкой решили, что он уехал к отцу? — сказала Лиза.— Из его разговоров? Да мало ли!.. От разговоров до поездки далеко. Да и куда он поедет? Зачем?

— А куда он мог деться?— совсем растерялась Нина Павловна.

— Я не знаю, но я бы... Я бы обратилась в милицию,— сказала Лиза. — Даже если он к отцу уехал, все равно! А может, еще что случилось? Может, его ребята затянули? Разве так не бывает? Может, они с него и деньги потребовали? У них это бывает. Нет, дело нешуточное, я бы пошла в милицию.

И Нина Павловна пошла в милицию, к Людмиле Мироновне, в детскую комнату.

21

Капитан Панченко не очень верил адресу Сени Смирнова, который дал ему Вадик, но все-таки решил проверить: может быть, Сеня Смирнов и есть тот остроносый, который был тогда с Вадиком за сараем.

Капитан Панченко пошел по указанному адресу и там, в домоуправлении, установил: действительно в квартире номер три живет Семен Смирнов. Отец его — токарь, мастер одного из крупных московских заводов, мать тоже токарь, на том же заводе, работает в ОТК, у них два сына, семья здоровая, хорошая, крепкая.

— А как бы побывать у них?— спросил капитан Панченко.

— Ну что ж, пойдемте!— сказал управляющий домом.— У них как раз ремонт нужно производить. Назовем вас техником.

Пошли. И, к счастью капитана, вся семья была в сборе, в том числе старший сын Семен. Но он оказался вовсе не тем, которого видел в компании с Вадиком капитан Панченко: у этого мясистый нос, такие же мясистые щеки, губы, подбородок и все лицо крупное, но мягкое и благодушное.

«Интересно!— подумал Панченко.— Почему же Вадик назвал одного и не назвал другого? Интересно!»

Тем более нужно было установить фамилию того, остроносого. Очевидно, если Сеня Смирнов знает Вадика, он должен иметь представление и о других его прияте-

лях. А что он не будет путать и скрывать — в этом капитан Панченко почему-то был уверен: семья Смирновых ему понравилась, и сам Сеня вызывал у него доверие. Для Смирновых Панченко решил остаться техником, а Сеню попросил вызвать в детскую комнату.

Но все оказалось сложнее, чем он рассчитывал: Сеня очень разволновался, даже заплакал и сначала ничего не хотел говорить. Лишь когда работник детской комнаты успокоил его, Сеня по приметам назвал остроносого Генкой Лызловым, потом, опять разволновавшись, просил его не выдавать. Упомянул он и еще одного, какого-то чубатого, но фамилию его скрыл, упорно утверждая, что не знает ее.

Пришлось вызвать Генку Лызлова, и вот капитан Панченко всматривается в его острые, колючие глазки.

У Вадика все проще: подчеркнутая вежливость, и взгляд, и речь — все выдавало слишком явную и примитивную хитрость. Генка больше помалкивает и точно сам тебя изучает пристально и зорко. И ведет он себя в высшей степени независимо.

— А что, я не могу с ребятами гулять? С кем хочу, с тем и гуляю. Чубатый? Какой чубатый? Не знаю!.. Вадик? А-а, этот стиляга? Я ему вчера морду набил.

— За что же?— спрашивает капитан Панченко.

— За то, что стиляга! Им всем морды нужно бить.

— Так вы ж с ним друзья-приятели.

— Какие приятели? Кто это вам такую липу напел?

Панченко смотрит в глаза Генки в надежде поймать в них искорку, которая изобличала бы скрытый ход его мысли. Но никакой искорки нет, и Генка без всякой заминки начинает называть фамилии совсем новые, не связанные с тем кругом людей, которые сейчас интересуют Панченко: какой-то Валерик Северов, Лешка Коротков.

— А ты откуда их знаешь?— спрашивает Панченко.

— Учились вместе,— охотно рассказывает Генка.— Они в нашем доме живут: Валерик в пятой квартире, а Лешка Коротков на втором этаже, в девятой.

Панченко ничего не записывал, но все запомнил,— необходимо проверить и это. И обязательно нужно побывать у Генки, познакомиться с его матерью, Надеждой Егоровной. И вот найден случай, и они разговаривают, и Надежда Егоровна смотрит на гостя напряженным взглядом.

— Отчего он такой у меня? Жизнь, значит, такая, оттого и такой.

Она рассказывает о своей далекой молодости, о муже, погибшем на фронте, и показывает фотокарточку.

— Вот он!

На карточке красавец с двумя треугольничками в петлицах, рослый, с открытой, жизнерадостной улыбкой, она ниже его на целую голову, пухленькая, в матроске, с мечтательным, немного томным выражением лица.

Теперь лицо ее туго обтянуто тонкой желтоватой кожей и резко выступают острые скулы. Вместо томной мечтательности в глазах какое-то горячечное, почти исступленное напряжение, словно человек идет по канату и боится сорваться.

Генке не было еще года, когда отец ушел на фронт, и больше они его не видели. Он был артиллерист, сержант и погиб в исторической битве на Курской дуге, погиб вместе со своим орудием и всей его прислугой, но не пустил немцев в тот овражек, который воплощал тогда для него всю Россию.

Мать с сыном эвакуировались, потом вернулись; но комната, в которой они жили, оказалась занятой каким-то директором магазина, и пришлось потратить немало сил, чтобы получить новую.

— Горя было много.— Губы Надежды Егоровны сохли, и она облизнула их языком.— Сначала сыночка брала с собой на работу. Начальство узнало — запретило. Стала оставлять дома. Приготовлю ему поесть, оставлю ведро для своих нужд и запру. Зиму так прожили, а весной он вылезет в окно и бегает во дворе с ребятами, а как мне приходить — опять через окно и домой. Соседи сказали мне, я ругать его стала, а он глянет так на меня: «А ты сама посиди попробуй!» Дерзкий такой был, нечего говорить, с детства дерзкий. И взгляд у него такой, пронзительный. И на ласку он не чувствительный,— хоть бы ее и не было. Это и в детском садике о нем воспитатели говорили: сурьезный мальчик, неласковый.

— В детский садик, значит, все-таки устроили?— спросил Панченко.

— Устроили. А там тоже мученье — дрался. Так, говорят, всеми и вертит, все верх хочет взять: туда пойди, то сделай; все разбойники, а он атаманом обязательно

будет; все партизаны, а ему командиром быть. За игрушки особенно дрался: «Мое!» А подрастать стал — в материальную сторону дело уперлось. Ведь я как живу? Я всю жизнь работаю. Сейчас я кастеляншей в больнице работаю. Живем — не голодаем и босыми не ходим, а лишнего нету: чего там говорить — экономика тесная. А парню хочется лишнего. Как всем! А на лишнее и деньги лишние нужны. Я говорю: «Откуда ж я наберусь, сынок!» — «А я что — из глины вылеплен? Чем я хуже других?» Парень гордый, а положение тесное.

Все, о чем говорила Надежда Егоровна, могло быть правдой, но капитан Панченко не всегда верил людям на слово — профессия научила. Да и многовато что-то жаловалась мамаша: другим пришлось испытать тоже немало, но все пережитое куда-то отступило, ушло, забылось, и наверху оказалось что-то другое: и сила, и свет, и бодрость. А здесь наверху — вся боль прошлого и обида на жизнь. И потому, найдя случай, капитан Панченко решил все это еще разок проверить — поговорил с соседкой, и та рассказала то, о чем умолчала Лызлова.

— Известно, мать — кривая душа, и на правду тоже, как на солнце, во все глаза не глянешь,— сказала соседка.— Ну, а ржавое железо золотить — тоже не годится, не люблю я этого. Это все правильно: живет Надя нелегко, а сына все равно нужно воспитывать в честности, потому — честь дороже любого богатства. А он, бывало, еще из детского садика ленточки какие-то приносил, игрушки. Я ей скажу: «Надя, нехорошо это!» А она готова глаза выцарапать: «А тебе какое дело? Ты чего в чужие дела нос суешь?» Вздорная она женщина, нехорошая. Потом, помню,— в школе уже он учился,— пошел в лавку, приходит: «Мам, а мне кассирша лишний рубль дала».— «Ну и ладно! Это тебе в школу на завтрак». Разве это дело? Какое же это воспитание? Вот и пошло: дальше — больше. У меня что-то взял, и взял-то пустяк — пузырек какой-то, брошку дешевенькую, а знаете поговорку: пятачок погубил. Вот так и у них. Потом он у матери стал тащить. А под конец-то и совсем от рук отбился.

— Что... на сторону пошел?— попытался уточнить Панченко.

— Чего не знаю, того не знаю,— уклончиво ответила соседка.— А только ниточка-то — она так и вьется:

учиться бросил — ладно! Так ты работай, матери помогай, государству пользу приноси.

— А разве он не работает? — насторожился Панченко.

— Работает...— неопределенно как-то ответила соседка.— А что ему работа? Он так и говорит: «Мартышкин труд! Другие и без работы, а в макинтошах разгуливают». Макинтоши ему покоя не дают: у других есть, а у него нету. Стиляг этих самых страсть как не любит. Да и всех... Он себя, я считаю, над всеми людьми поставил...

«Штык-парень! — думал капитан Панченко после всех этих разговоров.— И мы, кажется, выходим на группу...»

— А какая же это группа? Дел-то за ними нету! — сказали ему товарищи по работе, когда он поделился с ними своими мыслями.

Дел за этой группой действительно пока не числилось, но здесь капитан Панченко расходился с некоторыми своими товарищами, считавшими, что незачем возиться с ребятами, за которыми ничего нет. В ответ на это Панченко в обычной своей шутливой манере говорил:

— Был бы дождь — грибы вырастут... Ребята шустрые, долго зря табуниться не будут!..

За шуткой этой скрывалась его сокровенная мысль: нужно не допускать до преступления и предупреждать его тогда, когда оно еще не совершено.

Поэтому он вопреки всему решил не выпускать из вида своих «сынков» и, в частности, съездить на место работы Генки Лызлова.

Исчезновение Антона заставило его еще сильнее задуматься о всех этих вопросах. Главное, почему сбежал Антон? Для Панченко было не так важно, куда он сбежал, а важно — почему сбежал?

22

Поля, леса, опять поля и степи, и на всем — снег, снег. Белый, с мягкими синими отсветами, он лежит до самого горизонта и вправо, и влево, и впереди, и позади. И таким странным кажется неожиданный след человека от железной дороги через поле вот к тем, в снега, как в меха, закутанным елям. Кто, куда и зачем шел?.. Или вдруг — сани, настоящие деревенские сани-розвальни, и

куча бидонов, наваленных в них как дрова, и заиндевевшая лошаденка, и такой же заиндевевший старик в овчинном тулупе... Машина, груженная сеном. Она стоит у шлагбаума и ожидает, когда пройдет поезд, а чуть подальше — другая, порожняя. С ней что-то случилось, и шофер в ватнике копается возле колес. А кругом — безлюдье и неоглядные дали. С войлочного неба в открывшуюся прорезь глянуло солнце, хлынули потоки света, и все вдруг засветилось, заиграло, заискрилось. Минута — и все опять померкло.

Антон лежит на верхней полке и смотрит в окно на всю эту красоту, на эту тишину и безмолвие, и жизнь начинает казаться ему удивительно простой и ясной, а все его тревоги и волнения — выдуманными. Но гудит паровоз, стучат колеса, мимо окон вагона один за другим проскакивают телеграфные столбы с мохнатыми от инея проводами, и снова в голове Антона теснятся мысли: зачем он все-таки едет, что его там ждет, в этом Ростове? А поровоз гудит, колеса стучат, и телеграфные столбы проскакивают мимо окон. Тишина и безмолвие сменяются плотными сгустками жизни: дымят заводы, шумят города, пылают во тьме ночной печи Донбасса, высятся пирамиды терриконов, бегут между горняцкими поселками желто-красные, совсем московские автобусы, и вот Ростов, трубы «Сельмаша», и пригороды постепенно превращаются в город.

Только теперь Антон понял, как опрометчиво он пустился в это путешествие, не зная адреса, не ведая того, как примет его отец, а главное — не представляя, что, собственно, ему от него нужно. Но Антон все равно хотел видеть отца и говорить с ним, просто видеть и говорить.

Довольно легко установив через справочное бюро адрес отца, Антон с трепещущим сердцем направился на проспект Буденного.

Дверь открыла ему девочка лет десяти, с таким же узким и тонким лицом и тонким, с горбинкой, носом, как у отца.

— Шурочка?— спросил Антон, угадав эти знакомые черты.

— Да,— растерянно ответила девочка.— А вы откуда меня знаете?

— Ты с кем там разговариваешь?— спросил из ком-

наты густой женский голос и вслед за этим — более строго и требовательно: — Отец, выйди посмотри!

В переднюю вышел мужчина — ну, конечно, тот же нос, те же фамильные черты, только морщины, обидные складки и морщины делают его почти стариком.

— Молодой человек, вам кого?..

У Антона перехватило горло, он стоит и молчит и смотрит на это лицо, измятое морщинами.

— Вы, очевидно, не туда попали.

— Отец!

И вдруг лицо просияло — и глаза, и брови, и даже морщинки — все лицо.

— Антошка!

Отец бросился к Антону, крепко прижал к груди, и так, обнявшись, они долго стояли, забыв о Шурочке, не догадавшейся даже захлопнуть открытую на лестницу дверь, о выглянувшей из кухни женщине, сначала удивленной, потом вдруг помрачневшей и наконец рассердившейся.

— Ну что стоишь? Закрой дверь-то! Зима! — недовольно сказала она Шурочке.

От ее голоса отец встрепенулся, как бы опомнился.

— Варюша! Это Антошка, сын. Проведать вот приехал...

Радость в его голосе с каждым словом блекла и меркла, и в конце концов сквозь нее вдруг пробились жалкие, извиняющиеся нотки.

— Ну что ж!.. Милости просим! — процедила Варвара Егоровна.

В ее тоне не было ни радости, ни привета, только — сухая вежливость, и отец уловил это.

— Ну, проходи, проходи! — сказал он смущенно. — Раздевайся!.. Вот хорошо, брат, что ты в воскресенье приехал, сегодня ведь воскресенье. А то на работе меня не сыщешь.

Сели к столу, и за столом та же старающаяся заполнить пустоту разговорчивость отца и немногословная, скупая сдержанность Варвары Егоровны. Молчала и Шурочка, но Антон несколько раз ловил на себе ее пристальный и очень заинтересованный взгляд. Мать тоже заметила эти взгляды и строго сказала:

— А ты ешь скорее и сходи в магазин. Ешь! Нечего глаза таращить!

Отец говорил о своей работе, о новой модели кукурузного комбайна, над которым он сейчас на заводе работал, о кукурузе вообще, о начинающемся переломе в развитии сельского хозяйства, но ничего не спрашивал о маме, а только один раз мельком поинтересовался:

— Ну, а как ты живешь?

— Ничего.

— Как учишься?

— Хорошо,— уклончиво ответил Антон.

Ему очень хотелось закурить, но он не решался это сделать ни здесь, за столом, ни после завтрака, когда отец вынул портсигар и спички. И только когда они вышли на улицу и пошли смотреть город, Антон достал из кармана пачку папирос.

— Куришь? — спросил отец.

— Курю,— коротко ответил Антон.

Разговаривать по душам уже не хотелось. Антон решил ничего не рассказывать ни о своих обидах, ни о своих претензиях к маме. Наоборот, теперь он собирался даже вступиться за маму, если отец из-за каких-то своих старых счетов попробует ее за что-то осудить и в чем-то обвинять. Но отец тоже ничего плохого о Нине Павловне не говорил, и защищать ее не было нужды. Антон не мог скрыть, конечно, того, что она вторично вышла замуж, и все свое недовольство сосредоточил на Якове Борисовиче.

— Меня учит, о горизонтах жизни, о высшем человеческом девизе говорит, а сам... Самосуй проклятый!

— Что, что?— удивился отец.

— Это не я, это кто-то из его товарищей назвал его по телефону — самосуй. А он... Знаешь, папа, он не обиделся, он даже рассмеялся. Маме даже похвалился: «Вот черти, говорит, как придумали!» А что: ведь есть такие люди? А, папа?

— Есть! Которые дорожку перед собой сами прокладывают и во все дыры пролезут и с мылом и без мыла. Есть такие!

Они сели на лавочку в сквере, откуда открывался широченный вид на Дон и заснеженные задонские дали, но все это сейчас для них почти не существовало, и отец, поджав под лавочку ноги, продолжал горячо и взволнованно:

— И хитрые и изворотливые, и ничего они на своем пути и никого не пожалеют, все сметут! Есть! И своего

ничего не имеют: ни души, ни мнения, с завязанными глазами живут. Скажи: иди туда — пойдет, поверни на сто восемьдесят градусов — тоже пойдет. И говорить что угодно будет. Что думать — это дело его, а скажет — всегда что требуется, и всегда в точку попадет, как в тире. Я с одним с таким срезался: еле сам на ногах устоял.

— А устоял? — участливо спросил Антон.

— Товарищи поддержали. Ну ничего, выстоял. А вообще это самое последнее дело, если человек глядит вдоль, а живет поперек.

— Вот и он такой же! — обрадовавшись меткому слову, подхватил Антон. — Ну, вот он получил квартиру. Он уже вторую квартиру получил, в той его старая семья осталась. А почему же он бабушку не взял? Ведь дом у нее знаешь какой, его сломают скоро. А почему же нельзя было бабушку взять? Все соседки говорили, что он возьмет. А она, как узнала, что он против, сама потом не пошла. Говорит: «Хоть и плохонький, а все свой угол, и лучше я тут век скоротаю, чем у какого-нибудь шишкаря из милости жить». А с дачей... Ты знаешь, что он с дачей делает? Он получил участок и сговорился со своей сестрой. А у нее... Я не знаю, как это было, одним словом, у нее дом от родителей по наследству был. Он и сговорился с ней вместе строиться. Его участок, ее дом. А теперь он хочет ее с этого участка... ну, я не знаю, выписать, что ли? Одним словом, чтобы он один хозяином был.

— Уделистый мужик! — усмехнулся отец. — Ну, а с тобой он как?

— А что он мне? Никак! Деревяшка! Вот только противно, когда учить меня принимается.

— А мама?..

— Мама? — переспросил Антон, готовый, видимо, сгоряча выплеснуть что-то еще из своих переживаний, но запнулся и, почувствовав в вопросе отца какую-то теплую ноту, сказал другое, совсем нечаянное: — Папа! Ну почему ты не стал с нами жить?

Отец растерялся, часто-часто заморгал и опустил голову.

— Не нужно об этом говорить, Антон!.. Ты меня, конечно, прости, я виноват перед тобою, но... Одним словом, прости!.. А маму ты люби. Она хорошая!

— Папа! Устрой меня тут где-нибудь! — воскликнул, почти выкрикнул в ответ на это Антон. — Ну, где-нибудь!

— Антошик!.. Ну где же?.. Как? — еще больше растерялся отец и, спрятав глаза, опять зачастил, как утром за столом: — Ну, я подумаю, подумаю, посмотрю...

А ночью, когда легли спать, Антон слышал приглушенный, но от этого, пожалуй, еще более гулкий голос Варвары Егоровны.

— Зачем он приехал? И ты тоже хорош — свои грязные хвосты в семью несешь.

— Да чем я несу? — так же шепотом оправдывался отец.— Он сам!

— В том-то и дело: он сам, а ты не сам! У тебя своя семья есть, у тебя дочь есть. Ты видел, какими глазами она на него смотрела? Она ничего не знала о нем, о твоей прошлой жизни, ты для нее папа! А теперь?.. Что она теперь думать будет? Какой разлад ты внес в ее душу?.. И как ты сам в глаза ей смотреть теперь будешь? Тебе нужно было сразу отрезать, отрезать — и все: никаких сыновей у меня нет, вы ошиблись адресом, молодой человек! Вот как ты должен был ответить. А ты раскис: «Сыночек».

— Тише ты! — попытался остановить ее супруг.

— А чего мне таиться? Я дома! Я семью свою храню. И ты не выдумывай! Никаких этих устройств не выдумывай! Пусть едет откуда приехал. Я знать ничего не хочу!

Утром, собираясь на работу, отец совсем уже не смотрел в глаза Антону, а Варвара Егоровна рвала и метала.

Антону все было ясно. Он простился с отцом, а потом пошел на вокзал. На ближайший поезд, скорый, Кисловодск — Москва билетов не было. Но Антон больше не хотел ждать и забрался на буфера между вагонами.

Поезд тронулся и стал набирать скорость, холодный ветер поддувал под пальто. Антон почувствовал себя самым несчастным и никому не нужным человеком на свете и заплакал.

23

Но Антон был неправ в своих горестных думах, там на ветру, на буфере скорого поезда Кисловодск — Москва. Кроме мамы и бабушки, кроме Прасковьи Петровны, капитана Панченко и Людмилы Мироновны, кроме Степы Орлова и на этот раз тоже обеспокоенной Клавы Ве-

седовой, был еще один человек, который очень тревожился о его судьбе. Это — Марина Зорина. Как и почему это получилось, она и сама не могла дать себе отчета. Они были разные, настолько разные, что могли бы идти по параллельным, нигде не пересекающимся линиям, и вот почему-то эта параллельность нарушалась.

Марина вступила в тот возраст и в ту полосу жизни, когда человек готовится быть человеком, формирует характер. Только у одних это совершается в хаосе и борьбе, в ошибках и страданиях, а у других личность растет, как дом, кирпичик по кирпичику, по ясному, светлому плану. Может быть, это даже не планы, а предчувствие, стремление, взлет, на ходу принимающий форму плана. Так и Марина: по своему характеру и складу она была полна широких и самых, кажется, неограниченных стремлений и к строгой планомерности, и к горячей, неукротимой деятельности, и ко всему красивому и доброму. И почерк у нее ясный, четкий, буковка к буковке, и твердый порядок в тетрадях, в книгах и в отношении к урокам, и ко всяким школьным обязанностям, и к производству, к труду, который тогда только входил в школу.

Немалую роль в этом деле сыграли родители, особенно отец, занятый, но и всегда доступный, а главное — необыкновенно чистый и честный. Марина даже не могла подобрать слов для своего отношения к папе. Ему нельзя было не верить, и перед его светлыми, не то голубыми, не то сероватыми глазами она сама не могла лгать.

Но еще большую роль в формировании этих ее настроений сыграла «Комсомольская правда». Это была самая любимая газета Марины, она выписала ее на второй день после своего вступления в комсомол, и с тех пор в каждом номере ее она находила что-то интересное, родное себе и близкое. Она даже завела особую темно-синюю папку с серебряным тиснением и наклеила на ней надпись: «Слова и дела». Здесь она собирала вырезки из «Комсомольской правды» и из других газет о людях большой жизни и высоких дел: о восстании на броненосце «Потемкин», о Цулукидзе, о Щорсе, о Сергее Чекмареве, Мусе Джалиле и многих других. Здесь же нашли свое место программа вахтанговского спектакля «Олеко Дундич», и фотокопия картины «Взятие Зимнего», и снимки советского лагеря в Артеке и первых палаток на целине, и билет в консерваторию на Героическую

симфонию Бетховена. Сюда же, в эту заветную папку, она складывала и свои собственные «заметки» о разных случаях жизни, и письма чехословацкого студента, с которым она завела переписку, и первые, пока еще никому не ведомые опыты стихотворчества. Но особенное впечатление произвела на Марину прошедшая в «Комсомольской правде» дискуссия о том, как стать хорошим человеком. Она собрала и подшила все номера, в которых печатались материалы этой дискуссии, и сплошь исчеркала их красным карандашом. И прежде всего она старалась понять и разобраться, что же в ней, в самой Марине, соответствует тому, о чем пишут корреспонденты газеты, и что не соответствует.

Старалась понять Марина и свое, так удивлявшее ее теперь — по здравом рассуждении — отношение к Антону. Что за глупость действительно! За то, что Антон не пошел провожать ее после новогоднего вечера, даже обиделась! Да почему и откуда она вообще взяла, что он должен был ее проводить? Такой грубиян и невежа, и что от него можно ждать ? А все-таки обидно: все пошли компаниями, от компаний потом, вероятно, отделятся парочки, а она при выходе из школы замешкалась, потому что в темноте, в толпе ребят, ей почудилась долговязая фигура Антона. Но это оказался кто-то другой, и вот она идет домой одна, как самая последняя дурнушка.

И неужели весь новый, начавшийся в эту ночь год будет такой тоскливый?

Постепенно обида улеглась, и девушка попыталась во всем разобраться.

Выросшая в тихом, образцово дисциплинированном классе образцово дисциплинированной женской школы, она хотела понять тех, кто внес в их класс, в их жизнь совсем другое начало и другой дух. И среди этих носителей другого, «мушкетерского» духа она скоро выделила Антона Шелестова. Толик Кипчак — это просто мальчишка, способный поддакивать и подхихикивать кому угодно. Сережа Пронин был непонятен — «мушкетерский» дух в нем как будто бы стал выветриваться после того, как Антона перевели в другой класс, и Сережа начал превращаться во что-то другое, не очень приятное. Антон же казался Марине смелым, независимым, во всяком случае оригинальным, хотя в то же время вызывал возмущение.

Верхом его дерзости был тот случай, когда он обругал Марину. Не помня себя от негодования, она отвела его тогда к директору и торжествовала. Это была победа их «девчоночьего» духа над тем, что принесли мальчишки, победа порядочности над грубостью. Но она никак не ожидала того, чем это кончилось. Перевод Антона в другой класс она приняла как величайшую несправедливость. Она хорошо слышала тогда окрик директора: «Марина! Вернись!» Но она не вернулась, она не могла вернуться, потому что в душе у нее все дрожало: «Как я теперь глаза на него подниму?» И она спорила с Верой Дмитриевной, спорила с комсоргом, старостой и со всеми, кто считал, что перевод Антона полезен для оздоровления класса.

— А для чего?— горячо возражала она на все их доводы.— Выталкивать тех, кто не нужен... А кто же их будет воспитывать?

Но ничто не помогло, и Марина почувствовала себя в чем-то виноватой перед Антоном. Они много раз встречались после этого в коридорах школы, в очереди у гардероба, и ей иногда хотелось подойти к нему и что-то сказать, объяснить. Но Антон как будто бы ее не замечал, и она не решалась.

И вот этот случай, прогремевший на всю школу: радиогазета с сообщением о проступке Шелестова в кино. Хулиганство, дебош, милиция... Марина выслушала эту новость с тем же двойственным чувством — возмущения и своей вины. Она шла по залу, и издали ей бросилась в глаза высокая фигура Антона. Она видела, с каким отчаянным выражением лица, высоко неся свои пышные волосы, он шел навстречу ей. И вдруг... И вдруг он заметил ее,— да, да, ее!— остановился, и отчаянное выражение у него сразу исчезло и уступило место полной растерянности. Но это было одно мгновение: Антон резко повернулся и пошел от нее, через весь зал — от нее!

«Какая глупость!»— в ту же секунду мелькнула у Марины трезвая мысль, но сердце, непослушное девичье сердце, стояло на своем: *от нее!* Он испугался! Ему *перед ней* стало стыдно!

Потом Марина узнала, что сразу после этого Антон ушел из школы.

Но все это, очевидно, было действительно глупостью и наивной девичьей романтикой. Антон продолжал почти

не замечать Марину. Правда, теперь он здоровался, но здоровался мельком, кивком и тут же отводил глаза. Стороной и очень осторожно она узнавала, как живется ему в новом классе, и продолжала горячо спорить с теми, кто говорил о нем как о чужом и постороннем. Как человек может быть чужим? А если он чужой, так его нужно сделать своим. Степа правильно говорит: за человека нужно бороться!

На новогодний вечер Марина пришла без всяких особых планов. Она немного удивилась, встретив Антона, и невольно, не давая себе отчета, следила за ним. Она видела, как он пригласил Римму Саакьянц, как на лице его мелькнула после ее отказа смутная тень, с какой небрежной, «онегинской» улыбкой слушал он потом монтаж о человеческой мечте. А когда Марина увидела, как к расшумевшейся компании подошел Степа Орлов и как с раздувающимися ноздрями навстречу ему поднялся Антон, Марина почувствовала, что назревает скандал, и вдруг сразу подбежала к Антону и пригласила его танцевать. Как и почему? Теперь она сама об этом с удивлением думала. Она даже не могла понять, почему она теперь об этом думает, что ей Антон и зачем? И все-таки клубок мыслей, намотавшихся вокруг этого имени, все рос и не выходил из ее головы.

А может быть, сказывалось здесь и самое простое, наивное девичье тщеславие? Разговоры о мальчишках начались ведь еще с седьмого класса, а в прошлом, восьмом, острый интерес к ним вдруг вспыхнул с самой неожиданной силой: кто они? Что они? Как они? Завязали коллективную дружбу с мужской школой, устраивали вечера, ходили вместе в театр, спорили о том, какая должна быть дружба и обязательно ли она должна переходить в любовь?

Мальчишки!.. Какое многоемкое еще год назад слово, сколько мыслей, сколько чувств и предчувствий оно таило в себе, сколько споров, ссор и разговоров порождало оно в прошлогодней девичьей школе. И вот они здесь, рядом, совсем не те, какими они представлялись, в чем-то лучше, в чем-то хуже, а в чем-то все-таки непонятные, чудные: одни очень важные, переполненные собственным достоинством, другие — поразительно дурашливые. Эти почему-то интересовали Марину больше. По своему отношению к мальчикам девчата резко разделились тогда

на три группы: «поклонницы», «презренницы» и «которым все равно». Среди «поклонниц» особенно выделялась Римма Саакьянц, она ходила в вызывавшей всеобщую зависть дорогой и нарядной шляпе, затевала в классе диспуты о том, в чем красота мужчины, или, усаживаясь за парту, вдруг томно вздыхала: «Ох, девочки! Как целоваться хочется!» Весь класс с замиранием сердца следил, как она мучила Юрку Немешаева, хорошего мальчишку из той школы, с которой была установлена дружба: обещает выйти на улицу и не выйдет, а из окна наблюдает, как он часами простаивает против ее дома.

Марина относила себя к «презренницам». У нее были строгие мать, отец, а главное — старшая сестра, которая командовала младшей, считая ее девчонкой. А Марина и действительно была девчонкой, и если бы не разговоры в классе, она и не думала бы еще ни о каких мальчишках. Эти разговоры, особенно рассказы Риммы Саакьянц, заставляли ее с тайным интересом прислушиваться к тому, что эти рассказы раскрывали. Задевали ее и снисходительный тон Риммы, и пренебрежительное пожатие плеч, и особенно то, что Римма назвала ее даже как-то «синим чулком» и сказала, что в наше время быть такой просто смешно. Но, несмотря на все это, Марина продолжала оставаться горячей поборницей чистой дружбы, совсем не обязательно переходящей в любовь.

Такой же «презренницей» Марина считала себя и теперь, после слияния школ, и ей было противно, когда половина девочек из ее нового класса влюбилась вдруг в Володю Волкова, ей были противны слова — «свой мальчик», «мой мальчик», которые звучали иногда в девичьем шепоте. И в то же время ей было не то обидно, не то неловко, что у нее нет «своего мальчика», у других есть, а у нее нет!

Антон как-то заполнил эту пустоту. Конечно, это — не то. Ну, какой это мальчик? Разве он может быть другом? Он совсем несознательный. И в то же время в нем было что-то такое, что заставляло думать о нем. Вот и обидел он ее, не проводил, вот и не подходит к ней, сторонится, посматривает — она часто ловит его взгляд на себе,— а сторонится.

И вдруг совсем неожиданное: Шелестов убежал из дома.

Что это значит?

24

Вернулся Антон так же неожиданно, как и исчез, вернулся совсем поникший, еще более замкнувшийся, обескураженный, и так неуместен был насмешливый, почти издевательский тон, которым встретил беглеца Яков Борисович:

— А-а!.. Отыскался!.. Червонное золото, видно, и в воде не тонет, и в огне не горит.

— Подожди, Яков Борисович! Я тебя очень прошу, подожди! — взмолилась Нина Павловна.

Яков Борисович ушел в свою комнату и хлопнул дверью, подчеркнув этим, что не желает больше принимать ни в чем никакого участия. Но это была только отсрочка.

Оставшись наедине с Антоном, Нина Павловна стала расспрашивать его о том, где он был, но сын отвечал на все коротко и упрямо:

— Ну, к отцу ездил... Ну, съездил, и все... Захотелось, и все!

— А как же так можно? — спросила Нина Павловна.— Захотелось, и все... Как же так можно? Ничего не сказал!..

— А если б сказал, ты что — отпустила б меня, что ли? — вскинул на нее глаза Антон.

Нина Павловна не хотела обострять вопроса и переменила тон:

— Ну ладно!.. Съездил, и ладно! Сейчас покушай и иди к ребятам узнать об уроках. Тут Степа о тебе беспокоился, несколько раз заходил. И с Прасковьей Петровной пришлось разговаривать... Вообще... Ну ладно, ладно!

Когда Антон, наскоро перекусив, пошел к Степе Орлову, разговор между супругами вспыхнул снова. Выплыло все, что накапливалось месяцами, все недоговоренное, нерешенное, все скрытые обиды и претензии. А скрытое хуже явного, и подавленное, всплывая, лишь удваивает свою силу. И вот Нина Павловна вспоминает ноту радости, ну, может быть, не радости, а облегчения, которая прозвучала у Якова Борисовича, когда она сообщила ему об исчезновении Антона.

— Что за глупости! Мало ли что тебе может показаться! — возмутился в ответ Яков Борисович.— Ну,

а если говорить откровенно, конечно, у нас что-то не так получается. Совсем не так, как мечталось!

— Да, в этом ты прав: совсем не так, как мечталось,— вздохнула Нина Павловна.

— А почему? Ну почему, Нина? Ведь я так люблю тебя. Ты понимаешь, я с тобой пережил то, чего не было в юности. И я уверен, что у нас все шло бы хорошо, все было бы великолепно и безоблачно, если бы не это привходящее обстоятельство.

— Какое привходящее обстоятельство?— встрепенулась Нина Павловна.

— Ну... ну, ты же понимаешь!..— замялся Яков Борисович.

— Нет, ты скажи: какое привходящее обстоятельство? Антон? Так это же мой сын!.. И что же ты хочешь? Чтобы я?.. Я и так его забросила, я его совсем забросила и... и мне тоже мечталось, если хочешь знать! Мне мечталось встретить богатую и щедрую душу, мне мечталось почувствовать руку друга, мне мечталось найти в тебе помощь и поддержку. А ты...

Но такова уже логика ссоры: сделав одну ошибку, человек пытается тут же, на ходу, выпутаться из нее и вместо этого делает другую, бо́льшую, за ней — третью и, наконец, совсем теряет голову. Так и Яков Борисович — ничего не мог возразить на упреки жены, но ответить было нужно, этого требовала логика ссоры, и он сказал:

— А что я?.. Что я мог сделать? Я его встретил готовенького. А что можно сделать, если перед тобой законченный лентяй и лодырь? И к тому же еще бандит и вор.

— Яков Борисович! Что ты говоришь?— Нина Павловна вскинула руки, точно защищаясь ими от кнута.

— А что?..— Яков Борисович не мог уже остановиться.— Из дома красть, у родной матери, на это не каждый вор способен.

В это время Нине Павловне показалось, что хлопнула входная дверь. Она выглянула в переднюю, но там никого не было, и она, обернувшись в дверях, со сдержанной, но глубокой болью произнесла:

— Кому ты говоришь? Ты матери это говоришь. Жестокий ты человек!

Если б она знала, как быстро в это время, не чувствуя

ступенек под ногами, сбегал по лестнице Антон! Степу Орлова он не застал и хотел было зайти к Володе Волкову, но вспомнил, что его мама была против их встреч. Тогда Антон решил вернуться домой и оттуда позвонить Володе по телефону. А открыв дверь, он услышал громкий разговор родителей и прежде всего все покрывающий баритон Якова Борисовича. Антона ударили слова, сказанные во всю силу этого баритона: «Бандит и вор».

Кровь хлынула в голову Антона, и он уже не слышал, что ответила мама. Вдруг мелькнула мысль, что его сейчас могут застать и подумать, что он нарочно стоит тут и подслушивает. Антон выскочил на лестницу. Но его могли заметить и здесь, красного, взволнованного, с растерянными, ничего не видящими глазами, и он бросился вниз по лестнице, как бы стараясь убежать от преследующих его страшных слов.

Слова эти вызвали в нем, однако, не раскаяние и не стыд, а злость.

Бандит? Вор?.. Ну и что ж! Ну и ладно! Пусть буду бандитом и вором, если тебе так хочется!..

Неужели все-таки бандит и вор?..

Сумрачный вечер, туман, треск отдираемой доски в переулке и хруст новенькой бумажки,— но этого никто не видел, это прошло и сошло, и ничего подобного больше не будет; дамские часики — он только подержал их три дня, выручил товарищей: дружба за дружбу, из солидарности! Триста рублей — да! Другое дело! Было! Но разве мать не дала бы ему трехсот рублей, если бы он попросил? Чтобы съездить к отцу, к папе... Конечно, дала бы. А если бы не дала, то потому, что его, самосуя, побоялась бы!

Так Антон опять показался себе ни в чем не повинным, а в его душе опять осталась только обида. И когда он пришел домой, то на тревожный вопрос матери, где он был, с новым приступом злости ответил:

— А тебе что?

Нину Павловну обидела эта грубость, до крайности обидела,— ведь только что она из-за Антона всерьез поссорилась с мужем. Она не могла простить ему то, как он выразился о сыне, ее сыне,— этого он, конечно, не посмел бы сказать о своем собственном сыне. И вдруг Антон, за которого она так горячо вступилась, отвечает ей такой неблагодарностью!

У Нины Павловны сами собой полились горькие, безнадежные слезы.

— Тоник!.. За что? Ну почему ты такой? Ведь я же твоя мама! Тоник!

У Антона от всего этого на один миг дрогнуло сердце, на один миг! Но он вспомнил подслушанный разговор, и все закрылось в душе, захлопнулось, и Антон зло отстранил потянувшиеся к нему руки.

— Ну иди! Не мешай! Я буду уроки учить.

Никаких уроков он не учил и даже не пытался разобраться в том хаосе, который творился у него в душе.

И, как нарочно, через несколько дней позвонил Вадик:

— Выйди, возьми «кишки».

Это было условлено: «кишки» — значит, вещи, которые нужно спрятать. Почему их нужно прятать, Антон не спрашивал.

Был поздний вечер, и Антон уже собирался ложиться спать, но теперь ему захотелось погулять.

— Куда же ты? Кто в десять часов гуляет? — спросила мама.

— У меня очень болит голова. Я немного пройдусь.

— Но только немного!

— Ну, хоть пять минут! Десять!

Антон думал, что Вадик опять принес часы и взять их действительно будет делом пяти минут. А Вадик притащил какой-то сверток: показаться с ним домой было нельзя.

— Ты на чердаке спрячь. На чердаке лучше всего! — посоветовал Вадик.

Но идти на чердак сейчас, ночью, было тоже невозможно. В поисках укромного уголка Антон обошел весь двор и остановился у небольшого недостроенного корпуса, который зиял пустыми окнами и дверями рядом с их домом. Антон зашел туда и спрятал сверток в груде строительного хлама.

Утром, по пути в школу, он заглянул туда и увидел, что все на месте, идя из школы, заглянул еще, удостоверился, что опять все в порядке. После обеда Антон пробрался на чердак. К счастью, дверь была не заперта, и Антон долго бродил там в полутьме, спотыкаясь о балки. Наконец за трубой он нашел укромный уголок. Место было удобное, и, улучив время, он спрятал туда сверток. А через несколько дней по звонку Вадика он, так же

прячась и изворачиваясь, взял его и передал дожидавшимся за углом дома Вадику и Генке Лызлову.

Так и пошло: звонок — «возьми кишки», и Антон идет «прогуляться». Когда к телефону подходила Нина Павловна, то Вадик рекомендовался школьным товарищем Антона, и сообщники некоторое время говорили об уроках. Но среди прочих слов Вадик опять упоминал «кишки», и Антон с разрешения матери шел «узнать», что задано по химии. Один раз, когда он выходил с чердака, его заметила женщина из пятьдесят восьмой квартиры, с верхнего этажа.

— Что тебе там нужно?— спросила она.

— Мы там голубей разводим,— соврал Антон, и женщина, успокоившись, пошла по своим делам.

А потом Вадик предложил ему еще одно хитроумное дело.

— Ты понимаешь?..— И глаза его уже заранее смеялись тому, что он хотел сказать.— Мы приголубили одни богатые часы, понимаешь, швейцарские, и мне хочется, чтобы моя мамаша купила их. Для меня!

— Ну и что?— не понял Антон.

— Я скажу, что их по дешевке продает Олежка Валовой, а ты подтверди. Ладно?

— Ладно!— согласился Антон быстро, согласился не думая, «из солидарности», а потом спросил:— А если она не поверит?

— Поверит!— ответил Вадик.— Она у меня дурная.

Так и сделали. Бронислава Станиславовна не могла устоять перед уверениями Вадика и его сыновним, таким детски милым поцелуем в нос и, поверив Антону, как бы случайно оказавшемуся у них, выложила двести рублей. Антон получил из них тридцать. А потом, сидя за столиком кафе, они рассказывали об этом своим ребятам, и все, как Вадик любил выражаться, «дико смеялись».

25

Сообщить Людмиле Мироновне о возвращении Антона Нина Павловна, конечно, не догадалась. Тем не менее дня через два Антон получил приглашение зайти в детскую комнату. Кроме Людмилы Мироновны, там оказался коренастый черноволосый человек в штатском. Антон

не сразу вспомнил, где и когда он видел его, и только по девичьим ямочкам на щеках да по слову «сынок» узнал в этом человеке капитана Панченко. Капитан, правда, сначала больше молчал, а говорила Людмила Мироновна, но по тому, как он внимательно слушал, было видно, что и ему интересно, куда и зачем ездил Антон.

— Ну хорошо, ты был у отца. А зачем?

— Ну как — зачем?.. Странный вопрос...— отвечал Антон.— Повидать захотелось.

— А почему?— продолжал допытываться капитан Панченко.— Почему раньше не хотелось, а теперь захотелось?

— Мне и раньше хотелось, да так как-то...

— Что значит «так как-то»?.. Сидел-сидел — и вдруг поднялся и полетел. Как птица!

— И родителям ничего не сказал,— добавила Людмила Мироновна.— Почему не сказал-то?

— А что говорить? Разве они отпустили бы?— ответил Антон.— А мне обязательно нужно было поехать.

— Почему «обязательно»?— ухватился за это слово Панченко, но Антон недоуменно повел плечами.

— Опять двадцать пять! Говорю, повидать захотелось! Родной ведь он мне!

На лице капитана Панченко, при всей его выдержке, мелькнула смутная тень разочарования. Узнав о побеге Антона, он, несмотря на свою занятость, заинтересовался им и мысленно постарался все проанализировать. Семейные обстоятельства и простую любовь к путешествиям он отбрасывал как слишком элементарные и для него неинтересные мотивы. Он хотел смотреть глубже: может быть, Антон пытался скрыться от каких-то опасностей, угрожавших ему со стороны его дружков,— так бывает!— или, совершив преступление, пробовал ускользнуть от ответственности,— так тоже бывает! Для себя капитан даже стал «примеривать» к Антону некоторые отмеченные перед тем преступления. Но преступления эти к нему «не подошли», и вообще вся версия капитана Панченко рушилась, и дело сводилось, как уверяла Людмила Мироновна, к обыкновенным семейным неладам.

Но какой-то внутренний голос не позволял капитану Панченко успокоиться, и он по-прежнему считал компанию заинтересовавших его «сынков» группой. Все дело

в том, на какой стадии организованности находится эта группа и чем она занимается. То, что за нею не числилось дел, приводило его к мысли, что это не просто кучка распоясавшихся юнцов — такие бывают дерзкими, но глупыми и неопытными и потому очень скоро заканчивают свой «поход» на скамье подсудимых. Здесь другое: во главе этой группы должен стоять кто-то очень опытный и хитрый. Но это тоже была версия, не имеющая пока никакого фактического подтверждения.

Один раз такое подтверждение готово было обнаружиться, оно почти находилось в руках у капитана Панченко, но ускользнуло. В темном переулке за банями ограбили девушку. «Почерк» был знакомый: ребята окружили ее и сняли золотое кольцо и серьги.

— Заметили ли вы кого-нибудь?— спросил девушку капитан Панченко.

— Не знаю... Разве тогда до того было!.. Да и темно! — ответила девушка.— Один, пожалуй, померещился — чубатый такой.

Чубатый!.. Второй раз встречается он с этим словом и пытается «примерить» к нему всех, кого знает.

Капитан Панченко решил провести опознание. Он вызвал Антона, Вадика, Генку Лызлова и среди других предъявил их потерпевшей. Но девушка растерялась и ничего не могла решить. Об Антоне она прямо сказала: «Нет, не он. Не видела». На Генку Лызлова посмотрела более внимательно, но тут же решительно тряхнула головой. При взгляде на Вадика у нее в глазах блеснула испуганная искорка, но Вадик неожиданно улыбнулся, и девушка в замешательстве отвела глаза, а потом замахала руками:

— Не знаю, не знаю!.. И вообще я ничего не хочу и ничего мне не нужно — ни кольца, ничего!.. Это так противно!

Капитан Панченко заметил блеснувшую было в глазах девушки испуганную искорку и очень убеждал ее отнестись сознательно и помочь следствию в раскрытии преступления. Но девушка упрямо трясла головою и ничего больше не хотела говорить.

Но искорка все-таки была! Ее не занесешь в протокол и не предъявишь в виде улики, но она была!

— А если бы мы показали вам чубатого, вы бы его опознали?— спросил Панченко.

— Не знаю!.. Не знаю! Я ничего не хочу знать! — решительно ответила девушка. — Мне противно!

Противно! Как будто бы ему, веселому и добродушному украинцу, капитану Панченко, очень приятно копаться в этой грязи и искать затерянные концы правды? Но разве не важно отыскать эти концы, чтобы, ухватившись за них, вытянуть и всю правду? А попробуй найди их, когда одна отмахивается руками: мне противно! — а другая в этот же день прибежала с великими претензиями: почему вы беспокоите моего мальчика? Это прибежала Нина Павловна, когда выпытала у Антона, зачем его вызывали в милицию.

— Вы что же, моего сына грабителем считаете, что ли?

— А откуда это видно? — отвечает капитан Панченко. — Нам нужно было кое-что установить и проверить, и мы можем...

— Но почему для этого нужно тревожить честных людей и ставить их в такое унизительное положение?

— Повторяю: мы можем, мы имеем право вызывать кого угодно и никаких отчетов в этом давать не обязаны.

А вот затерянные концы правды совсем было вынырнули на поверхность. Просматривая журнал записей о происшествиях по отделению, капитан Панченко обнаружил знакомую фамилию Лызлова. Геннадий Лызлов — да, тот самый! Вместе с компанией подгулявших друзей он был доставлен в отделение милиции за отказ уплатить шоферу такси деньги. Они взяли такси и, после бесцельного катания по Москве, дали шоферу направление за город. Шофер отказался и потребовал, чтобы они расплатились и освободили машину. Ребята стали скандалить, не хотели платить, тогда шофер подвез их к постовому милиционеру, а тот доставил всю компанию в отделение милиции. Там Генка Лызлов взял всю вину на себя и обещал уплатить шоферу все.

Все это было бы ничего, если бы не одно обстоятельство: среди этой компании был один с паспортом, но без московской прописки и без права проживать в Москве. Это — Виктор Бузунов, двадцати шести лет, дважды судившийся и нигде не работающий. Виктор Бузунов — это кто же такой?.. Уж не тот ли чубатый?

Капитан Панченко разыскивает участкового, который в тот день дежурил по отделению, допытывается у него и

узнает: да, очевидно, тот самый — чуб свисает по лбу и лезет в самые глаза, и тогда парень зло встряхивает головой. Но дежуривший по отделению участковый взял с него подписку о выезде из Москвы и отпустил на все четыре стороны, и вот теперь его снова ищи-разыскивай...

26

Когда Антон после своего возвращения пришел в школу, он встретил Марину, поздоровался с нею, но опять не подошел. А у нее тоже не хватило решимости самой заговорить с ним. Но потом ей уже не хотелось ни подходить, ни разговаривать. Побег Антона окончательно довершил то романтическое ее представление о нем, которое наметилось раньше. И даже как будто еще больше приподнял Антона. У него что-то есть! И по какой-то своей собственной, девичьей логике она считала: тем, что есть, он прежде всего должен был поделиться с ней, с Мариной. Неужели он не чувствует, как она много думает о нем, как она хочет понять его и, может быть, в чем-то помочь? Ну что ж, дело его! Конечно, мальчишки — зазнайки, они стараются рисоваться перед девочками кто как может. Это она знала из разговоров подруг и из своих собственных, хотя и не очень богатых наблюдений. Но зачем рисоваться, когда лучше просто и естественно относиться друг к другу?

Стараясь не отстать от подруг, Марина тоже пыталась по-своему рассуждать о любви, но слово это всегда произносила с запинкой. Сама для себя она думала, что вообще говорить о любви нельзя, можно любить, но как можно говорить о любви? Не переставая считать себя «презренницей», Марина с замиранием сердца смотрела в кино сцены любви, стараясь понять смысл этого волнующего слова. Но и эти сцены она оценивала по-своему. Ей не нравились, например, затяжные, показанные крупным планом поцелуи, которые к тому же хулиганы-мальчишки норовят сопровождать сочным звуком. В этих поцелуях ей виделось что-то кощунственное, нельзя ведь целоваться при всех. И, наоборот, ей очень нравилось, когда девушка прижмется к груди своего любимого, просто так, без поцелуя, возьмет и приникнет — в этом было столько нежности, столько преданности и доверия, столь-

ко безграничной, но чистой, настоящей любви, что у Марины начинало щекотать в горле или появлялось неотвратимое желание так же прильнуть к чьей-то широкой и сильной груди.

Марина считала, что в любви рисоваться нельзя, — человека нужно любить таким, каков он есть. А у них с Антоном... Что у них? У них даже дружбы не получается. Для нее он просто как кроссворд, который хочется разгадать, а у него к ней даже и такого интереса нет. Вот с ним что-то стряслось, что-то большое и тяжелое, а он молчит, даже не подходит, никакой ему не нужно дружбы, и никакого ему дела до Марины нет. А разве не могла бы она помочь? Разве не могла бы она что-нибудь посоветовать ему, подсказать или хотя бы просто облегчить горе?

Вот почему Марине ни о чем уже не хотелось спрашивать Антона. Она даже старалась не думать о нем, — что ей в конце концов нужно от этого неорганизованного и невежливого мальчишки, совсем из другого класса и из другой, можно сказать, жизни? У нее хорошие папа и мама, хорошая жизнь, хорошие думы, цели, настроение, хорошие отметки, и что ей до Антона? Пусть живет как знает.

Марина занялась уроками, писала домашнее сочинение о «Войне и мире», готовила доклад к комсомольскому собранию и только недели через две после возвращения Антона сумела выбраться на каток. И на каток ее вытянула подружка Женя Варская: «А то придет весна, и все кончится».

На катке они встретили мальчиков из своего класса: Сережу Пронина и Толика Кипчака, бывших «мушкетеров». С Толиком каталась Женя Варская. Она была красивая, бойкая и на недостаток внимания со стороны мальчиков не жаловалась. Но она не упивалась этим, как Римма Саакьянц, наоборот, зорко, а чаще чуть насмешливо присматривалась к сменяющимся возле нее «рыцарям», и от нее-то Марина и черпала главным образом свои познания о мире мальчиков.

Болтая с Толиком, Женя краем глаза следила и теперь за тем, как ведет себя с Мариной Сережа Пронин, и потихоньку посмеивалась, находя в его поведении много общего с тем, как он вел себя с нею самой в прошлое воскресенье.

А Марина, ничего этого не замечая, каталась с Прониным, разговаривала с ним о разных вещах и, между прочим, кое-что порасспросила об Антоне Шелестове. Она немного смутилась, когда Сережа предложил проводить ее домой, но разрешила. Пронин взял ее под руку, и, когда она хотела высвободить свою руку, он ее крепко сжал. Это был первый знак внимания, который она видела со стороны мальчика. Только темнота скрыла ее румянец и волнение. Так, под руку, они дошли почти до дома. А когда она стала прощаться, Сережа вдруг с силой притянул ее к себе и поцеловал. Марина сначала растерялась, потом стала делать отчаянные попытки освободиться, но сильные руки Сережи, как клещи, сдавили ее хрупкое тело. Наконец она вырвалась и со слезами в голосе закричала:

— Уходи! Ты гадкий! Гадкий! — и потом, уже издали, крикнула еще раз: — Отвратительный!

Марина даже не заметила, как исчез, словно растаял в темноте Пронин, и долго не могла войти в дом: ей казалось, что все знают и на лице ее написано, что она сейчас целовалась с мальчиком. Она долго не спала в эту ночь и, вспоминая прошлогодние рассказы Риммы Саакьянц о поцелуях, думала: «И чем ей такая гадость нравится?»

А когда на другой день Марина встретила Женю Варскую, она по глазам поняла, что Женя все знала и все угадала.

— Ну, как тебя вчера наш Тюня провожал?

— Какой Тюня? — не поняла Марина.

— Несмышленыш ты, Маринка! — улыбнулась Женя. — Это кто с первого провожанья начинает объясняться, лезет с поцелуями и вообще пускает руки в ход.

Марина густо покраснела от этого и почему-то опять подумала об Антоне.

«Вот еще какие ребята бывают. А Антон вот даже и провожать не пошел, и никакого внимания. Значит, что же он?.. Кто же он?..»

Марина почувствовала, что он стал для нее лучше и ближе.

И вдруг она попала к Антону домой, попала совсем неожиданно и для него, да и, пожалуй, для самой себя.

Прасковью Петровну побег Антона очень встревожил. Узнав, что в школу приходила Нина Павловна и разыс-

кивала сына, Прасковья Петровна в тот же вечер пошла к Шелестовым. И разговор этот окончательно подтвердил сложившееся у нее раньше убеждение о крайнем неблагополучии в их семье. Когда Антон вернулся, она пыталась вызвать его на откровенность и как-нибудь примирить с семьей. Но ничего этого ей не удалось. Антон совершенно замкнулся и не хотел говорить на эту тему. Что с ним делать? Из «прикрепления» к Антону Володи Волкова ничего не вышло, ну, значит, нужно было искать что-то еще, и давно нужно было искать. А она вот забыла! На какой-то момент забыла об Антоне — ах, если бы он у нее был один! — и упустила, и вот опять что-то произошло, и нужно снова что-то предпринимать.

Прасковья Петровна потолковала об Антоне со Степой Орловым. Она вообще за последнее время поближе присмотрелась к Степе и полюбила этого немного неуклюжего увальня. Пусть он увалень, пусть он медлителен и у него маловато инициативы, но он сердечный, отзывчивый мальчик, и если берется за что, берется с душою.

В тот же день Степа пошел к Антону и просидел у него целый вечер. Антон встретил его неприветливо, но Степа постарался на это не обратить внимания, и они разговорились. Сначала речь зашла о Володе Волкове, и Степа старательно убеждал Антона, что он зря на него обижается, что Володя хороший парень, а если много сидит за книгами, то как же не сидеть? Не помучишься, не научишься. И он вовсе не зубрит, а учит и много читает, и ходит на лекции в планетарий, и даже сам сделал в детском астрономическом кружке доклад о межпланетных путешествиях.

— А человек это такой, — убежденно закончил Степа, — решил быть астрономом, — значит, будет. Он, может быть, и на самом деле членом-корреспондентом какой-нибудь академии сделается.

— А я моряком буду, — разоткровенничался Антон. — Люблю путешествия.

Заговорили о путешествиях, и Антон поделился со Степой своей мечтой — пойти после окончания школы в мореходное училище и плавать, смотреть разные земли, бороться с бурями, а потом, может быть, высадиться на каком-нибудь необитаемом острове, самому ловить рыбу и жить вдали от людей.

— А что тебе одному на острове делать? — рассудительно спросил Степа. — Подумаешь, Робинзон какой! Да и островов таких больше не осталось.

Потом заговорили о последней кинокартине и артистах, которые в ней играют. А Степа был большой театрал. Правда, он не мечтал быть артистом и после школы собирался в университет на исторический факультет, но в школьном драмкружке был самым горячим энтузиастом. И, как только зашла об этом речь, он, хлопнув Антона по плечу, сказал:

— А знаешь что? Записывайся к нам. Мы как раз начинаем новую постановку. У нас и Маринка Зорина будет играть.

Антон насторожился, но глаза Степы смотрели просто и бесхитростно; а у Антона вдруг появилась тяга к людям, к товарищам, и он согласился:

— Ладно, приду!

Однако первую же репетицию он пропустил.

— Ну, такие нам не нужны! — сказал по этому поводу руководитель кружка.

Но за Антона решительно вступился Степа Орлов, его поддержала Марина, они обещали выяснить все и твердо договориться с Антоном. Тут же после репетиции они пошли к нему, но дорогой Степа посмотрел на часы и охнул — по какому-то неотложному делу ему нужно было срочно бежать домой.

— А ты иди! — сказал он Марине. — Что тут особенного? Иди! И скажи со всей решительностью. И от моего имени скажи.

И действительно, что тут особенного? Марина набралась смелости и пошла.

Дверь ей открыла Нина Павловна. Она сначала удивилась, а потом очень приветливо заулыбалась.

— Тоника нет дома, а вы заходите.

— Да нет! Зачем же? Вы передайте ему...

— Ничего я передавать не буду. Я вас очень прошу — заходите!

Это был приятный сюрприз для Нины Павловны. После возвращения Антона и разговора с Прасковьей Петровной она изыскивала все, что только возможно, все пути, чтобы сблизиться с сыном. Нина Павловна стала покупать билеты в театр, ходила с Антоном в кино, в Третьяковскую галерею, и визит Марины оказался для

нее новой возможностью: «Антон не такая уж грубятина, а хорошая девочка может облагородить и смягчить его».

Нина Павловна старалась что-нибудь осторожно выпытать об Антоне, а Марина, не раздеваясь, смущенно сидела на краешке стула и не поднимала глаз. Она сама не знала, зачем она здесь сидит и что ей еще нужно. Все, что необходимо было сказать, уже сказано, а она все сидит, и собирается уйти, и никак не поднимется с места. И вот дождалась — щелкнул замок, и Нина Павловна, выглянув в переднюю, сказала:

— Ну вот и Тоник!.. А у тебя гостья!

А гостья вскочила, красная, как свекла, и единым дыханием выпалила:

— Драмкружок — это самый крепкий и сплоченный коллектив... Должен быть... Там все от одного зависят, и никаких подмен. Ну вот... Это Степа велел тебе передать. Ну вот... Да! А почему ты не пришел? Где был?

— Дела! — коротко ответил Антон.

— Дела? — переспросила Марина, как бы взвешивая краткость и отчужденность этого ответа, и вдруг сразу подобралась и посуровела. — Ну, а это тоже дела. И если ты не придешь на следующую репетицию, тебя просто исключат. До свиданья!

Марина коротко простилась с Ниной Павловной и вышла.

— Что же ты ее не проводил? — спросила Нина Павловна.

— А разве это так обязательно? — ответил Антон, и Нина Павловна не поняла, что это значит.

Потом она вздрогнула: ей показалось, что от Антона пахнет водкой.

— Антон, поди сюда, — сказала она.

— Зачем?

— Дыхни! — Нина Павловна уцепилась за него, но Антон резко дернул плечами и, уйдя в свою комнату, щелкнул замком.

27

На двух репетициях Антон был, а на третью не явился. Руководитель кружка вынул из бокового кармана авторучку и, ни слова не говоря, вычеркнул фамилию Шелестова.

— Ну и ладно! — безучастно ответил Антон, когда на другой день ему об этом передал Степа Орлов.

— И что ты за человек? — покачал головой Степа. — Непонятный ты человек.

Но, верный слову, которое дал Прасковье Петровне, он продолжал ходить к Антону и заниматься с ним по математике. Антону нравился и его спокойный, немного флегматичный характер, и то, что Степа не сердился, если Антон чего-нибудь не понимал. И поговорить можно было с ним о разных вещах, не то что с Володей Волковым — об одной математике, и поговорить просто так, по-товарищески, — с ним вообще было теплее. Может быть, и привязался бы он к Степе, если бы это было раньше, если бы не начала действовать в полную меру сила, которая тянула его в другую сторону.

Антон не замечал, — он осознал это много позже, — но каждое соприкосновение с Вадиком и всем этим растленным, извращенным миром оставляло в его душе след, иногда большой, иногда маленький, но одинаково тлетворный: то разговоры на том воровском блатном жаргоне, который непонятен всем остальным, нормальным людям, то карты или доза «шнапс-тринкена», то новая встреча с Галькой, то рассказы о разных занимательных вещах и знаменитых ворах, то философствования Крысы об идеале жизни — пожить, попить, что твое — то мое, а что мое — не твое; то целый урок черного ремесла — как «психовать», изобразить пьяного или заику, что нужно делать, что знать и уметь, как схитрить, вывернуться, а в крайнюю минуту идти на все.

Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнет пистолет.

И когда Крыса сказал однажды Антону: «Хватит тебе «кишки» прятать, пора в дело идти», у него перехватило дух. Вот оно! Смесь щемящего страха и дурманящего волнения была в этом «оно». Ни злости к людям, ни корысти у Антона не было, он не интересовался деньгами и никогда не спрашивал, куда идут те «кишки», которые он прятал. Он брал то, что изредка давал ему Вадик, не задумываясь, много это или мало и как распределяется все остальное. И когда он думал теперь о предстоящем деле, его привлекало другое: как это делается? Азарт, игра в опасность, фальшивая романтика: кто-то будет

сопротивляться, кто-то будет преследовать, гнаться за ними, совсем как у Конан-Дойля... Антон старался настроить себя на все это и подготовиться, чтобы не ударить лицом в грязь перед товарищами. И вот уже в аптеке куплен медицинский скальпель за три пятьдесят — оружие! — и гадость кажется доблестью, дурное и страшное — геройством. И вот позволено себе пройти по улице этаким удальцом — шапка набекрень, воротник поднят: «Вот я какой! Нельзя, а я делаю!..»

И вот Крыса назвал свою компанию шайкой «Чубчик», и Антон, не моргнув, дал прижечь свою руку горящей папиросой — клятва!

Иногда против всего этого поднимался неистребимый голос совести и где-нибудь в переполненном троллейбусе Антону казалось, что все на него оглядываются, подозрительно смотрят. Но на смену этому приходила не то безнадежность, не то такая же безнадежная решимость, и Антон старался тогда затолкать непокорную совесть на задворки души, чтобы не пищала, и принимал самый независимый и гордый вид.

И настороженность — что́ мама заметила, что́ не заметила? И хитрость: в кармане лежат полученные от Вадика два рубля, а когда пошел в кино, спросил деньги у мамы да еще сдачу припес, чтобы не было подозрений.

— Дай на дорогу.

— Возьми в буфете.

— Нет, дай сама.

Вот он подчеркнуто старается «уложиться в режим» и, приходя домой, спрашивает:

— Я не опоздал?

Но вот нельзя было не опоздать, и тогда, как сказал бы Вадик, приходилось «применять грубость». А у мамы от этого слезы и слезы.

— Топик! Ну, Тоник! Я прошу тебя: остепенись! Неужели ты хочешь попасть под какое-нибудь страшное колесо?

— Не пугай ты меня никакими колесами. А как ты стала меня прижимать — хуже всяких колес, как в тюрьме!

— Ты еще не знаешь, как в тюрьме-то!

— Я не знаю, другие знают.

— Кто?.. Тоник! Откуда у тебя все это? Господи!

Подозрения все чаще заползают в душу Нины Павловны и становятся все страшнее.

Вот Антон собирается на каток.

«Да какой же сейчас каток? — думает Нина Павловна. — Зима кончается. Оттепель».

Она по-своему завязывает шнурки на его конькобежных ботинках. Антон приходит поздно вечером.

— Ну что ж, был на катке?

— Был.

— Катался?

— Катался.

Нина Павловна смотрит на ботинки и видит — шнурки как были завязаны ею, так и остались. Обманывает!

Кончилась зима, отшумели весенние ручьи, все заблестело кругом и засветилось, только в сердце у Нины Павловны, глубоко запрятанный, как лед в погребе, таился холодок тоски и страха. Но она старалась прятать все — и холодок, и свои подозрения, и когда однажды Нину Павловну попросила зайти Людмила Мироновна, та в ответ на ее расспросы сказала:

— Ничего!.. Кажется, все в порядке. Третью четверть закончил без двоек.

Узнавала она тревожные вести и от Прасковьи Петровны, но тоже пыталась их приглушить и объяснить все по-своему.

— Нина Павловна! Что это девочки о вашем Антоне говорят: он нес бутылку водки.

— Нет, Прасковья Петровна! Нет! Что вы! Разве я не мать своему сыну? А нес он боржом. Этот случай я помню. Я сама его посылала.

Господи! Хоть бы как-нибудь дотянул до экзаменов!

Сейчас Нина Павловна старалась всячески сблизиться со школой. Только теперь она поняла, что это ее первый друг и союзник. Чуть не каждый день она ходила туда, разговаривала с учителями. Она стала работать в родительском комитете, — ходила с обследованиями, согласилась быть председателем первомайской комиссии, организовала стенную газету для родителей.

И все же тревожное ощущение того, что Антон куда-то катится, все растет и растет. Вот он читает книгу со страшным названием «Банда Теккера», рисует пистолеты, кинжалы и тянет свое бесконечное: «Бродяга я-а... Бродяга я-а-а». Конечно, в этом, может быть, нет ничего

страшного, но зачем ему «Банда Теккера»? Зачем какие-то другие пестрые книжки с черными масками на обложке? И откуда они у него? Неужели опять от Вадика?

Вот у него оказалась перевязанной рука.

— Что у тебя?

— Да так... болит.

Заставила снять бинт, обнаружила круглую гноящуюся ранку.

— Почему это? Откуда?

— В химической лаборатории кислотой капнул.

Верить или не верить? Но разве можно ничему не верить? Так можно совсем оттолкнуть сына.

Но вот в воскресенье, во время обеда, появился парень в кожаной куртке, пьяный, растерзанный, с набрякшими мешками под глазами и устроил на лестнице дебош. Антон бросил обед, взял этого парня под руку и повел его, заботливо поправляя ему кепку на голове. Нина Павловна оставила немытой посуду и тоже пошла вслед за ними, села с другой площадки на трамвай, вслед за ними сошла и, прячась за выступы домов, следила, куда они пойдут. Но никакие предосторожности не помогли, Антон увидел ее.

— Все шпионишь? — с перекошенным от злобы лицом сказал он. — Уходи! Уходи, или я тебя знаешь что?..

— Это мой товарищ, друг! — объяснял он потом, по возвращении, когда со всей силой отчаяния Нина Павловна старалась что-нибудь узнать. — Ты понимаешь? Друг! И как же я мог бросить его в таком состоянии? Нужна фамилия — пожалуйста! Валовой. Олег Валовой! Только ты не выдумай чего-нибудь! Дружбу эту тебе не порвать, не старайся!

Но еще больше Нина Павловна почувствовала силу этой страшной дружбы в следующее воскресенье. Накануне приходил Степа Орлов и звал Антона ехать со всем классом на литературную экскурсию в Абрамцево, в усадьбу Аксакова.

— Там, говорят, Гоголь свои «Мертвые души» читал... — соблазнял Степа Антона. — А потом Репин жил, Васнецов «Аленушку» где-то там написал.

Но Антон отказался, объяснив, что ему нужно ехать с мамой на дачу. А Нина Павловна и Яков Борисович

действительно собирались за город — нужно было заняться кое-какими весенними работами, а главное — увезти Антона.

Услышав об экскурсии, она стала уговаривать его поехать со всем классом в Абрамцево, но Антон не поддавался:

— Что я там не видел? Подумаешь!

И вдруг утром он заявил, что ему куда-то зачем-то нужно идти и потому на дачу он ехать не может.

— Я должен! Ты понимаешь? Я должен! — исступленно твердил он, и Нина Павловна почувствовала в этом что-то действительно страшное.

Вне себя она упала перед Антоном на колени, уцепилась за его рукав, но Антон оттолкнул ее. Возмущенный Яков Борисович, пытаясь удержать, обхватил его обеими руками, но Антон ударил его ногой в живот и, вырвавшись, хлопнул дверью.

Мать потеряла власть над сыном, а сын — над самим собой.

Позднее Нина Павловна не могла простить себе, что тут же не побежала за Антоном, не остановила, не вернула его. Как она могла думать о своем самолюбии, когда от нее уходил сын? Это она почувствовала сразу, как только пришла в себя, — Антон ушел. Совсем ушел! Пусть даже вернется он, но все равно ушел!

Нина Павловна вскочила и бросилась на лестницу:

— Антон!

Молчание лестничной клетки испугало ее, и она побежала вниз.

На следующей площадке ей встретилась седая женщина из пятьдесят восьмой квартиры.

— Вы что? Сына зовете? — спросила она. — Я его сейчас у выхода встретила.

— А вы его знаете?

— А как же? Я, кстати, давно вам хотела сказать: он по чердакам что-то лазает. Сказал о каких-то голубях, а там никаких голубей нет.

Не дослушав, Нина Павловна побежала на улицу, но Антона уже не было. Там шли люди, каждый по своему делу, каждый, вероятно, со своими радостями, горестями, заботами, но сын словно провалился сквозь землю. У бабушки Антона тоже не оказалось. И Вадик тоже недавно куда-то ушел, а куда — Бронислава Станиславовна не

знала. Нина Павловна, вернувшись к матери, повалилась на диван и зарыдала.

— Беда, беда! Предчувствую: беда!

Старуха растерялась и семенила возле дочери.

— Грехи!.. А ты его сюда больше не пускай. Вадик знаешь какой стал... Совсем никуда парень стал.

— А что же вы раньше-то? — упрекнула ее Нина Павловна. — Как же вы раньше-то не заметили? Почему не сказали?

— Глупа! Стара стала! — бормотала в свое оправдание бабушка.

Они долго сидели и думали. И тогда Нина Павловна решила: пойти к Людмиле Мироновне. Она все поймет и поможет. Это было очень тяжело — идти в милицию и заявлять там о своем собственном сыне. Но это было нужно. Нина Павловна чувствовала, что она совсем изнемогает в борьбе за сына, что одна она бессильна в этой борьбе и ей нужна чья-то твердая и умная рука. Но Людмилы Мироновны не оказалось, а ни с кем другим говорить не хотелось.

Нина Павловна поехала домой, а там, на лестнице, она вспомнила седую женщину из пятьдесят восьмой квартиры и ее слова о чердаке. Нина Павловна поднялась на чердак, в полутьме перелезала через балки, стукнулась обо что-то лбом, вся вымазалась. Ей было страшно, но она делала отчаянные, может быть, героические усилия, чтобы что-то найти и пролить свет на судьбу своего сына, и ничего не нашла.

Было поздно. Все было поздно.

28

Теперь окончательно! Теперь Антон почти ненавидел свою мать. Ну чего она лезет? Он все равно неисправимый. Он все равно теперь с «ними», ну и что из того, что с ними? Ладно!.. А она всюду лезет, шпионит да еще выдумала истерики закатывать.

Так он старается настроить себя сейчас, по дороге в условленное место на Девичьем поле. Он должен! Как она не понимает, что он должен! Все за одного, один за всех! В кармане у него медицинский скальпель за три пятьдесят, — он идет на дело!

Первое «дело» было три дня назад в парке культуры. Провел их туда Генка Лызлов через какой-то двор и узкую дыру в заборе и, вынув что-то из-за пазухи, похвалился:

— Дуру достал.

«Дурой» назвал он остов старого браунинга без курка и, конечно, без патронов, но Генка играл им в руке, как настоящим оружием.

Он повел всю компанию в глубь Нескучного сада. Шли россыпью, чтобы не обращать на себя внимания, но по условному свисту все должны собраться вместе, к Генке и Вадику. Антон и Олег Валовой увлеклись разговором и ушли вперед. Антон услышал свист, и, обернувшись, он увидел, что Генка и Вадик сидят на лавочке с какими-то двумя парнями. Он думал, что они просто встретили своих знакомых, но Олег сказал:

— Пошли! Свистят!

Но не успели они подойти, как все было кончено — парни сняли висевшие у них через плечо фотоаппараты и передали Вадику, а Генка убрал свою «дуру» в карман.

— Все в темпе, — усмехнулся Вадик.

— Теперь сидите здесь и ждите, пока я свистну, — приказал он тем, незнакомым, а своим повелительно бросил: — Айда!

Свистеть Вадик, конечно, не стал, а, проводив свою компанию тем же путем из парка, усмехнулся:

— Вот дурни!

Антон даже удивился. Никто не защищался, никто их не преследовал, и вообще все получилось необыкновенно просто, даже смешно: двум здоровым ребятам показали болванку, скомандовали «снимайте», и они отдали свои собственные фотоаппараты, сказали «сидите», и они остались сидеть как дурни... Интересно, до каких же пор они сидели на той лавочке? И все это среди бела дня, в парке, где люди могут показаться из-за любого поворота в любой момент. Антон даже толком и не разобрал, что произошло, и ни в чем, по существу, не участвовал — все случилось само собой.

Теперь они ехали за город. О том, зачем ехали, не говорили. И об этом действительно как будто бы забылось, когда ребята сошли с поезда и, пройдя поселок, вышли на край большой луговины, обрамленной кустарником, переходящим дальше в лес. День был теплый, по-

настоящему весенний, радостный, и молодая, еще полностью не одевшая землю трава сверкала тем неповторимым весенним блеском юности и чистоты, которого не увидишь потом ни в июле, ни в августе. И небо было такое же чистое, безмятежно-спокойное, без единого облачка, и ребята, пожалуй, и в самом деле забыли, зачем они приехали. Они шли луговиной, шлепали по лужицам еще не высохшей весенней воды, собирали первые весенние цветы — цветы были низенькие, коротконогие, букеты из них не получались, да букеты и не нужны были им, но все-таки это были цветы, а цветы всегда доставляют радость.

Только один раз Генка насторожился, заметив одинокую фигуру молодого человека с книгой в руке. Он вышел из кустарника и, углубившись в чтение, медленно направился к поселку. Генка Лызлов указал на него Вадику, но в это время с другой стороны послышались переборы баяна, и на тропинку высыпала большая группа молодежи. Когда гуляющие скрылись, а песни и девичьи голоса утихли, молодой человек успел подойти к поселку.

— Пошли дальше! — скомандовал Генка.

Антон заметил, что Генка последнее время стал играть в их компании главную роль. Витьки Крысы, например, не было ни в прошлый раз, ни в этот, а всем руководил Генка. Его жесткий, повелительный тон, дерзкий взгляд, брови, сходящиеся вдруг злым узлом на переносье и говорящие иной раз сильнее всяких слов, заставляли ребят слушаться его.

Миновали кустарник. Чтобы испробовать скальпель, Антон вырезал себе палку. Вышли к небольшому, очевидно, искусственному озеру. Берега его заросли черемухой, ярко выделявшейся своей ранней, зеленой листвою на фоне только начинающего пробуждаться леса.

— Купаемся! — предложил кто-то.

— Какое ж сейчас купание?

Вадик полез пробовать воду. Генка уже разделся и бросился в пруд. Он точно разбил громадное зеркало, и тысячи брызг, как стекляшки, посыпались от него в разные стороны, сверкая на солнце, а отражения черемух, смотревшихся в это зеркало, зашатались, замелькали и раздробились на куски.

Антон тоже разделся и, глядя на других, бросился в пруд. Вода обожгла его, как кипяток, сердце захоло-

нуло. Антон чуть не вскрикнул, но удержался и поплыл. Однако долго оставаться в воде он не мог и, стуча зубами, вылез обратно. Скоро вылезли один за другим и другие ребята, расположились на берегу, греясь на солнце.

В это время за озером шевельнулся кустарник. Шли двое — молодой человек и девушка. Антон видел, как сразу насторожился Генка, переглянулся с Вадиком и, ни слова не сказав, стал одеваться. Другие оделись тоже и двинулись вслед за Генкой, огибая озеро. Антон приотстал, у него вдруг задрожали руки, и шнурки никак не цеплялись за крючки ботинок. Но он догнал остальных и пошел вместе со всеми, углубляясь в кустарник. Он видел, как на них оглянулась девушка и что-то шепнула своему спутнику, тот тоже оглянулся, но они продолжали идти не ускоряя шага. Потом часть ребят вместе с Генкой обогнали их, зашли вперед и, внезапно повернувшись, двинулись им навстречу, остальные во главе с Вадиком подошли с другой стороны.

Первое, на что Антон обратил внимание, когда они окружили свои жертвы, была девушка. Глаза у нее голубые, словно небо, большие, окаймленные густыми ресницами. Отсветы недавнего, еще не потухшего счастья боролись в них с выражением зарождавшегося страха, боролись, но не меркли, точно она не верила и не могла, не хотела поверить, что может быть на земле зло, когда только что все кругом было залито потоками солнца, света и радости.

Молодой человек был плотный, кряжистый, немного нескладный, но, похоже, сильный и уверенный в себе. Увидев себя окруженным, он остановился и обвел изучающим взглядом компанию.

— Что надо?

Генка опять вынул свою «дуру», в руках Пашки Елагина блеснул сапожный нож с обмотанной дратвою рукояткой.

Молодой человек сделал движение, чтобы освободиться от державшей его под руку девушки, но та уцепилась за него еще крепче.

— Лесик! Не нужно!

Молодой человек все-таки освободил руки и, приняв оборонительную позицию, кинул девушке:

— Беги!

— Держите девку! — в ответ на это крикнул Генка и бросился на молодого человека.

Девушка вскрикнула, с ужасом глядя на завязавшуюся борьбу, но Олег Валовой приказал:

— Молчать!

Девушка закрыла лицо руками.

— Смотри за ней! — сказал Валовой и тоже кинулся в схватку.

Антон вынул свой скальпель и, не зная, что им делать, стал строгать вырезанную раньше палку.

Через несколько мгновений схватка с молодым человеком была кончена, — Пашка Елагин сильным рывком сорвал с него часы. Тогда Вадик подошел к девушке и, улыбаясь, указал на ее часы.

— Битте!

Девушка недоуменно вскинула на него глаза, безмолвно сняла свои маленькие часики и протянула их Вадику.

— Вот за такой красоткой я бы поухаживал, — сказал он, раскланиваясь. — Счастливого плавания!

Молодой человек сделал движение, чтобы вступиться за девушку, но вся компания уже бросилась в кусты. Побежал и Антон, раздвигая корявые, усыпанные распускающимися почками пахучие ветви. Но ему почему-то захотелось обернуться и еще раз взглянуть на девушку с голубыми глазами. Обернувшись, он увидел, как она упала на грудь молодого человека и заплакала, а молодой человек бережно обнимал ее плечи и, видимо, успокаивал. И словно молния в ночной и страшный час озарила для Антона все: как гнусно то, что они делают!

29

К Вадику Антон после происшествия за городом не ездил, зато Вадик звонил несколько раз. Но Антон отговаривался то болезнью, то неотложными делами, голос Вадика напоминал ему развязное «битте», и испуганный взгляд девушки с голубыми глазами, и руку молодого человека, бережно обхватившую ее вздрагивающие плечи.

А Степа Орлов, как нарочно, рассказал об экскурсии в Абрамцево и об одной истории, которую узнал от экс-

курсовода. Аксаков очень любил собирать грибы, но был уже болен и слаб и мог гулять только по аллеям парка. И, чтобы сделать приятное старику, Гоголь собирал грибы и расставлял их вдоль аллей, по которым прогуливался Аксаков. Тот скоро разгадал его проделки, но, чтобы тоже сделать ему приятное, не подавал вида, что все понял.

— Вот, брат, оказывается, — закончил свой рассказ Степа, — хорошо делать людям хорошо!

Так совесть, совсем было загнанная в подполье, выбралась оттуда и осветила для Антона все. Может быть, это и не был пока полный и подлинный свет, но одно было ясно: то кособокое и нелепое представление о жизни, которое начало складываться в таком же нелепом и кособоком сознании Антона, вдруг пошатнулось. Он, может быть, и не задумывался еще над тем, что значит жить без цели, без смысла или ставить себе цели, недостойные человека, и создавать себе мимолетные, низменные и такие же недостойные радости за счет других. Может быть, и само звание, назначение человека были недоступны его незрелому еще уму. Но одно вдруг Антон открыл вслед за Степой: как хорошо делать людям хорошо.

И дома ему стало жаль маму, он видел ее осунувшееся лицо, тревожный взгляд и спрашивал, не нужно ли сходить в магазин или еще как-нибудь помочь. Иногда ему хотелось все рассказать ей, но было страшно. Да и ни к чему,— слезы пойдут, а толку не будет. Ведь все равно больше ничего этого не повторится: «буду исправляться!»

В школе Прасковья Петровна тоже заметила в нем перемену к лучшему. Она только не видела одного — что Антон старается не смотреть ей в глаза.

Когда в школе был объявлен воскресник по озеленению Москвы, Антон встал раньше обычного. Он спорил с мамой, что надеть, разыскал в конце концов старый лыжный костюм и тапочки и, наотрез отказавшись взять с собой какой-либо завтрак, пошел на воскресник. Школьники должны были разбить сквер на месте недавно снесенных бараков. Антон работал охотно — рыл ямки для деревьев, таскал носилками землю и вообще делал все, что требовалось. На руках у него появились водяные мозоли, слегка болели плечи, и очень хотелось спать, но на душе было легко и радостно.

Антон много раз сталкивался с Мариной. Она была бригадиром, и Антон видел на ее лице смесь озабоченности и большого, тоже радостного оживления. Одета она была в черные сатиновые шаровары и старую вязаную кофточку. На голове сначала был клетчатый платочек, но он скоро сбился, и тогда ее золотистая головка засветилась, как подсолнечник.

Антон украдкой бросал в ее сторону быстрые взгляды, она чувствовала их и отвечала короткой улыбкой.

Работа наконец кончилась. На пустом и неприветливом месте обнаружились вдруг аллейки, дорожки, клумбы, и было приятно сознавать, что все это дело твоих рук и что в недалеком будущем здесь зазеленеют голые сейчас кусты и зацветут цветы.

Перед тем как расходиться, ребята сговорились вечером пойти в кино: начнутся экзамены, тогда будет не до этого, а сейчас — самое время. Антон решил присоединиться к той компании, в которой была Марина. Придя домой, он наскоро пообедал и стал собираться, надел новый костюм, галстук.

— Куда это ты? — спросила Нина Павловна.

— В кино, с ребятами, — ответил Антон.

— С какими ребятами?

— С какими... Из школы! — по старой привычке попробовал обидеться Антон.

— И девочки будут?

— И девочки будут.

— И Марина? — улыбнулась Нина Павловна.

— Не знаю. Может быть, будет, — с подчеркнутой небрежностью сказал Антон.

— Так тебе деньги на один билет давать?

— Давай на два, — улыбнувшись, в свою очередь, ответил Антон.

Он действительно взял два билета и ходил около кино, поджидая Марину, а заметив ее, пошел ей навстречу.

— Я опоздала... Не знаешь, билеты есть? — раскрасневшись от быстрой ходьбы, спросила Марина.

— Пожалуйста! — эффектным жестом Антон протянул ей два билета.

Марина признательно посмотрела на него и покраснела.

— Ну, какой ты молодец! Вот спасибо! Сколько стоит?

— Об этом не спрашивают, — ответил Антон.

— Почему? — удивилась Марина. — Нет, я так не согласна.

Она знала, что многие из девочек вовсе не прочь пойти за счет мальчика на каток, в кино, заглянуть с ним в буфет да еще так, чтобы он угостил «горяченьким» — кофе с пирожным или какао, не задумываясь над тем, откуда у мальчиков могут быть такие деньги. Марину всегда возмущало это, и потому сама она избегала ходить в кино, если в компании были мальчики. Так и теперь: она хотела сама заплатить за свой билет.

— Я так не согласна! Я так не пойду.

Антону очень неловко было брать у нее два рубля. К тому же она дала три, а у него не оказалось сдачи, но в то же время поведение Марины ему понравилось. В компании Вадика и его друзей обычным было «шикануть», щегольским жестом вынуть из нагрудного карманчика сотенную бумажку и на глазах у девушки небрежно протянуть ее буфетчице. И девушки ели и пили, иногда даже зная происхождение этой роскошным жестом протянутой сотенной, и без угощения никуда не стали бы ходить с ребятами. У Вадика на этот счет была даже своя, вычитанная из какого-то иностранного романа теория: чтобы покорить женщину, нужна настойчивость, а чтобы удержать ее, необходимы деньги. Но эта теория, очевидно, не всегда действовала, и тогда Вадик с раздражением жаловался:

— Тратил-тратил на такую дуру, а она не хочет встречаться.

Было в этой компании и другое, совсем уже гадкое: «батоны» — девицы, которые все расходы, наоборот, брали на себя. Так это было с Галькой Губахой, которая, чтобы привлечь Антона, попробовала соблазнить его угощением. Но об этом не хотелось и вспоминать.

И он ни о чем не помнил сейчас и ни о чем не думал, кроме одного: что он пошел в кино с Мариной, с настоящей, хорошей девочкой, и она пошла с ним, и, чтобы покончить с расчетами, они, смеясь, выпили в буфете по порции томатного сока.

И все было хорошо, и настроение было хорошее, и Антон уже заметил понимающий взгляд Жени Варской. Девчонки такой народ — пройдешься с кем-то без всякой мысли, а они уже шушукаются и посылают вслед ехид-

ные улыбочки. Вредный народ и недоброжелательный! Но Антону сейчас не было до Жени никакого дела, — они вместе с Мариной смотрели картину «Сельский врач» и вместе вышли из кино.

— Ну как? — спросила Марина.

— Ничего.

— Как «ничего»? — удивилась Марина. — Такие люди! Настоящие русские люди!

— Кино! — небрежно бросил Антон.

— Что значит «кино»? — загорячилась Марина. — А в жизни разве таких нет? И почему ребята бывают так настроены? Идеал: ха-ха! Мечта: ха-ха! Книги: ха-ха! Нет, правда, почему появилось столько стиляг, что прямо противно смотреть?

Марина была не из тех девочек, которые тараторят, выпуская тысячу слов в секунду, но и не из тех, которые требуют, чтобы их забавляли. А с Антоном она вообще чувствовала себя очень свободно и продолжала говорить то, что думала, что хотелось сказать — о книгах, о Горьком, о том портрете его, на котором он точно хочет вынуть сердце свое, подобно Данко, и дать людям.

Антон не знал, не помнил этого портрета, а когда припомнил, то почувствовал, что не понял его. Для него это было просто изображение, и оно ничего не сказало его сердцу. Он смущенно молчал, и Марина наконец заметила это. Разговор прервался, и наконец наступило то многозначительное молчание, из которого рождается либо отчуждение, либо близость. Они подходили к Горбатому мосту, прошли вдоль решетки детского парка имени Павлика Морозова и свернули туда. Свернули как-то само собой и само собой сели на лавочку. Теперь молчала и Марина, это была ее первая прогулка наедине с мальчиком, при луне, которая здесь, вдали от фонарей, по-настоящему, как луна, светила из-за кружева ветвей, только-только начинающих одеваться в весеннюю зелень.

— А ты что больше любишь: весну или осень? — спросила она.

— Я?.. — неопределенно пожал плечами Антон. — Не знаю.

— То есть как не знаешь? Тебе что?.. Все равно? — Глаза Марины сверкнули лукавством.

— Почему «все равно»?.. — смутился Антон. — А так как-то.

— А я почему-то люблю осень.

В лесу меня все привлекает —
Шорохи, груздя хруст,
А мысли вдруг наполняют
Какой-то восторг и грусть.
Красиво в лесу осеннем...
Так часто тянет туда
Бродить и бродить бесцельно,
Идти, не зная куда.

— Чьи это? — спросил Антон.

— А как ты думаешь? — Марина рассмеялась. — Мои.

Антон ничего не ответил и помрачнел.

— Почему ты такой невеселый? И почему ты со всеми как ежик? Почему ты не вступаешь в комсомол?

— А кто меня туда примет? — глухо ответил Антон. — И нельзя меня туда принимать.

— Ну, какие ты глупости говоришь! Почему нельзя? Ты какой-то чудной, стараешься показать себя хуже, чем ты есть. Я тебе уже говорила это. Помнишь?

— Да разве я могу этого не помнить? — горько сказал Антон. — Только на самом деле все наоборот, Марина!

Марина вспомнила Сережку Пронина, его сильные, нахальные руки и тот противный поцелуй, почти на виду у всех. А этот — сдержанный, не навязчивый, даже какой-то понурый, потупившийся, сидит и молчит. А считается хулиганом! Вот он полез в карман, вынул папиросу и нервно стал ее мять. Марина посмотрела на него, на папиросу и вдруг почувствовала какое-то *свое* право: она взяла из рук Антона папиросу и разорвала ее.

— Ладно?

— Ладно! — кивнул Антон. Потом вынул всю пачку и подал Марине.

Марина разорвала эту пачку пополам и бросила ее куда-то назад, за лавочку.

— Да! Только все наоборот, Марина! — глубоко вздохнул Антон. — Как бы мне самому хотелось казаться лучше, чем я есть! Но ведь не спрячешься. Люди раскусят.

Марина не понимала такого самоунижения, но оно ей нравилось, оно только подтверждало ее мнение об Антоне: разве может подлинно плохой человек так стыдиться своих маленьких, в конце концов, недостатков?

— Ну, пусть! Хорошо! — сказала она. — Но ведь люди не рождаются хорошими. Они воспитываются.

Антон вдруг резко и решительно выпрямился.

— Наоборот! Люди рождаются хорошими, а потом портятся.

— Так это какая хорошесть? — возразила Марина. — Это — детство! Хороший тот, кто сознательно хороший!

— А может быть, тоже наоборот? — с еще большей горячностью спросил Антон. — Сознательно хорошим каждый может стать, если себя заставлять и следить за каждым шагом. А если не уследишь? Хороший тот, кто от души хороший, сам! А кто настраивает себя...

— Так что? Не нужно и настраивать?

— Нет, почему? — Антон пожал плечами и, снова ссутулившись, замолчал.

И Марине вдруг стало жалко его.

— Тебе, очевидно, очень трудно жить, Антон? — тихо спросила она.

— А жить, очевидно, вообще трудно! — не поднимая головы, ответил Антон.

— Что у тебя? — Марина положила руку на его рукав.

Этот жест потряс Антона, все загорелось в нем, и заговорила, кажется, каждая жилочка. Он глянул на эти пальчики — маленькие-маленькие, тоненькие-тоненькие — и готов был разреветься, разрыдаться и все рассказать. Но разве это возможно! Это значит — потерять все и сразу! Как можно?

Он взял себя в руки и неопределенно ответил:

— Так... До́ма!

— Я немного слышала, — сказала Марина. — Это, вероятно, очень тяжело. Я не знаю... Я не испытала. У нас дома благополучно. У меня хорошие бутя и мутя... Прости! Это я папу с мамой так называю.

— А у меня... — Антон махнул рукой и отвернулся.

— А ты расскажи, легче будет! — опять тронув его за рукав, тихо проговорила Марина.

Антон воодушевился, он рад был тому, что хотя бы эту тяжесть он действительно сбросит со своей души... Он рассказал о своей поездке в Ростов, о встрече с отцом, о подслушанном ночном разговоре и своих думах на буфере вагона и только о слезах умолчал, но зато, взглянув на Марину, увидел, что она плачет. И он вдруг

почувствовал, что это самый родной, самый близкий для него человек, но... И опять это проклятое «но»!

И все-таки хорошо! И луна, такая большая и круглая! Тепло, тишина и даже покой. Хорошо! Антон и не предполагал никогда, что может быть так хорошо на душе. Точно ничего не было. Ничего, ничего!

Так и остался этот вечер в его душе один-единственный, как святыня. И когда они расставались, Антон глухо, но в то же время с какой-то торжественностью сказал:

— Марина! Я никогда ни с кем так не говорил! Ты такая хорошая!

— Ну какая я хорошая? — смутилась Марина. — Я вот в десятый класс перехожу, а не знаю, кем буду. И то интересно, и то интересно, а решить не могу.

— Решишь и будешь,— с той же торжественностью сказал ей Антон. — Ты — не я!.. Можно тебя попросить, Марина?

— Можно! — поддаваясь его торжественности, тихо ответила Марина.

— Подари мне свою карточку. Хорошо?

— Хорошо.

— А знаешь что? Приходи к нам телевизор смотреть! — оживился Антон. — Как-нибудь. А? — добавил он уже нерешительно.

— Хорошо. Приду! — твердо сказала Марина и твердо знала, что придет.

И пришла и принесла свою фотокарточку. И, заглянув на ее оборотную сторону, Антон прочитал: «Где память есть, там слов не нужно».

И вот они сидят рядом и смотрят по телевизору новую заграничную картину, а сзади сидит мама и улыбается, и так все хорошо и спокойно. И тогда в передней раздается звонок.

Нина Павловна сделала движение, чтобы пойти и открыть дверь, но Антон быстро вскочил и совершенно для него новым, ласковым жестом тронул руку матери:

— Сиди. Я открою.

Это было очень трогательно. Пустяк: легкое прикосновение и тон! Нина Павловна уже не помнила того времени, когда сын говорил с ней так. От мальчика особой ласки не дождешься, да и не надо — на то мальчик! Но простой человеческий тон, тон дружбы и доверия — что

ей еще нужно? Обрадованная, Нина Павловна осталась спокойно сидеть и смотреть, что происходит на экране телевизора.

Антону тоже не терпелось посмотреть, что будет дальше с героями фильма, он, быстро щелкнув замком, распахнул дверь и остановился как вкопанный: перед ним стояли Вадик и Генка. И что-то в улыбке одного и колючем взгляде другого было такое, от чего Антон еще больше оторопел и сжался.

— Ну, вот и он! — сказал Вадик. — Подожди-ка минутку.

— Мне нельзя. У нас гости. Мне нельзя.

Антон услышал свой голос и чувствовал, что звучит он растерянно, и видел, как недобро усмехнулся Генка Лызлов. Антон вышел на лестницу и, прикрывая дверь спиною, прошептал:

— Я потом приду. Сейчас нельзя.

— Приходи в воскресенье в семь вечера туда же, на Девичку, — коротко, по-деловому сказал Вадик.

— Туда же?.. — ссохшимися губами переспросил Антон.

«Туда же... За тем же... — быстро, как в вихре, неслось у него в голове.— Значит, за тем же! Значит, опять!»

Он молчал, оглушенный этим вихрем мыслей, и не знал, что ответить.

— Не знаю... Мне некогда.

— Трусишь? — со своей нехорошей улыбочкой спросил Вадик.

— Да нет, ребята! Что вы? — прислушиваясь к тому, что происходит за дверью, быстро заговорил Антон. — Зачем? Я не трушу. А только... Нет, ребята! А может, не стоит? А? Ведь попадемся!

— Значит, трусишь! — не спуская с него своих колючих глаз, бросил Генка.

— Нет, нет! Я не боюсь! А только...

Он запнулся, не зная, как выразить то, что он хотел им сказать, а они поняли все и без слов.

— Значит, в воскресенье, в семь! — жестко, но все же пытаясь сохранить на своем лице тень дружеской улыбки, подтвердил Вадик.

Антон хотел сказать, что нет, он все равно не придет, что лучше не ездить и им, но... Но в это время на пе-

реносье Генки Лызлова угрожающе сошлись брови, и он, как никогда угрожающе, сказал:

— Не выйдешь — на нож станешь!..

Много позже Антону пришлось столкнуться с человеком, который напомнил ему этот страшный и, может быть, решающий момент. Много позже этот человек рассказал ему свою историю, как затянула его такая же мертвая петля и как он решил вырваться из нее, вырваться хотя бы ценой жизни. Он рассказал, как бывшие дружки его тоже «поставили на нож» — затянули куда-то в темный угол и судили его за измену, как приставили к его горлу нож, как сделали этим ножом надрез по горлу и как он сказал тогда себе в эту последнюю минуту: «Ну что ж! Ну и умру! Ладно!» И, точно почувствовав эту непреклонную решимость чести, дружки дали ему по шее и отпустили. Все это рассказал потом Антону один видавший виды человек, но это было много позже.

А сейчас Антон увидел взгляд Генки Лызлова и испугался. А в это время за дверью послышались мамины шаги. Спорить было некогда и нельзя.

— Хорошо! Хорошо! — сказал Антон, лишь бы они ушли, лишь бы отвязались. И, быстро юркнув обратно в переднюю, захлопнул за собою дверь.

Да, это была мама.

— Кто это, Тоник?

— Ребята. Гулять звали, а я не пошел, — ответил Антон.

— Вот и хорошо, сынок. Молодец! — проговорила Нина Павловна и поцеловала его.

30

Антон думал, что он действительно отговорился от своих дружков, отвяжутся и забудут. В школе у него кончились занятия и начинались экзамены, и он, решив наверстать упущенное, спокойно сидел и занимался, когда ему по телефону позвонил Вадик.

— Значит, в воскресенье, в семь.

— У меня экзамены, — ответил Антон.

— Ха! Экзамены! — усмехнулся Вадик. — Ты просто трус!

— Ну что ж! Пусть буду трус!

— Смотри не пожалей! А по-товарищески знаешь, что тебе советую: брось-ка ты эту романтику разводить. Серьезно тебе говорю! Как друг!

Но так мало было дружеского в этом совете «друга», что Антону после этого разговора ничего уже не шло в голову.

Под предлогом, что ему нужно взять у Степы Орлова какую-то книгу, он пошел прогуляться и развеяться, ходил бесцельно, в неясной, но тяжелой тоске, и в тоске этой ноги сами собой привели его в знакомый переулок, к знакомому дому, возле которого недавно он прощался с Мариной. Тогда, при прощании, она назвала номер своей квартиры, и по этому номеру он нашел дверь, за которой живет Марина. Он постоял, поднес палец к звонку, но позвонить не решился и стал спускаться с лестницы, но потом вдруг вернулся, бегом через две ступени, с ходу, решительно нажал кнопку звонка. Послышались шаркающие шаги, открылась дверь, и Антон увидел женщину, удивительно похожую на Марину: те же тонкие надломленные брови, золотистые волосы и тот же свет в лице.

— Марина дома? — сразу смутившись, спросил Антон.

— Марина? Дома, — ответила женщина и повернулась в глубь квартиры. — Марина! К тебе!

Марина вышла в домашнем халатике, и на ее лице, при виде Антона, вспыхнула смесь удивления и простодушной радости.

— Антон! Вот хорошо. Проходи!

Марина провела его в свою комнату и, тоже немного смутившись, сказала:

— Вот мы тут и живем... с сестрой.

Антон попробовал на ходу придумать, зачем он пришел: что-то он не понимает в алгебре, нужны статьи о Чехове... Но потом обнаружилось, что он даже не знает толком, какие вопросы у него есть по алгебре, и вообще показался Марине каким-то чудным.

— Что у тебя? — спросила она сочувственно.

Антон молча махнул рукой.

— Дома опять?.. А знаешь, мне твоя мама понравилась, — живо сказала Марина. — Она только грустная.

— Это твоя тумбочка? — желая переменить разговор, спросил Антон.

— Да, моя, — ответила Марина. — А ты почему догадался?

— Так, — пожал плечами Антон, но тут же добавил: — По Зое!

— Да, я ее люблю! — проговорила Марина. — Я ее очень люблю! Я иногда закрою глаза и пытаюсь представить: пожертвовать собой!.. Не на словах, не с трибуны, а на самом деле!.. Ты смог бы?

— А ты? — спросил Антон.

— Не знаю!.. А в этом самое главное: на деле! Помоему, об этом часто говорят те, кто как раз не способен ни на какой подвиг.

— Глядят вдоль, а живут поперек. Это правильно! — живо согласился Антон, вспомнив слова отца, сказанные там, в Ростове, на лавочке.

— Слова и дела! — с таким же ответным оживлением продолжала Марина. — Вот я собираю... Только это — чур — секрет! Для тебя только. Ладно? Я собираю случаи, когда люди на деле, — ты понимаешь? — на деле показывают себя. Смотри!

Она вынула из тумбочки свою заветную папку с серебряным тиснением и, перелистывая стопку газетных вырезок и каких-то своих заметок, повторила:

— Смотри!

— А это что? Стихи? — спросил Антон, заметив там же короткие строки стихотворений.

— Ну это так, чепуха! — засмущалась Марина. — Ты смотри сюда: есть вот такие люди на свете... Ну, как бы это сказать? Ты на последней выставке был?.. Ну, на художественной выставке?

— Нет.

— Почему? Очень интересная выставка! Там есть один скульптурный портрет: камень, глыба, и из нее вырастает голова рабочего. Вот так и здесь: есть такие люди — из единого куска. Ты меня понял?

Антон ее понял, но на лице его бродили, однако, такие смутные и непонятные ей тени, что Марина убрала свою папку и ни с того ни с сего указала на фотографию, приколотую кнопками над ее тумбочкой.

— А это наша баскетбольная команда, прошлогодняя, девчачья. Мы тогда первое место по району заняли. Вот я. Вторая слева. Узнал?

Зашла мама — «мутя», вспомнил Антон, — и предло-

жила чаю, но Антон отказался и, спохватившись, стал прощаться. Он быстро ушел, и Марина так и не могла ответить на вопрос мамы: зачем он приходил?

А Антон шел полный, кажется, еще большего смятения, томившего его душу. «Слова и дела». Вот она какая!.. А он?.. Ну что же? Как же ему быть? Как поступить? На что решиться?

И, словно нарочно, Антону бросилась в глаза табличка: «Народный суд такого-то участка». И зачем она попалась ему на глаза, эта случайная табличка? Антон зашел и попал в зал, где ожидали объявления приговора. На скамье подсудимых, под охраной двух милиционеров, сидели трое. Около дверей толпились и шушукались молодые парни, сверстники, а может быть, товарищи подсудимых. Через некоторое время судья объявил приговор, по статьям таким-то и таким-то подсудимые осуждаются на такие-то и такие-то сроки. И тогда один из подсудимых, с бычьими большими глазами и таким же бычьим лицом, обернулся в зал и крикнул:

— Уберите Бобика!

Антон понял, что это значит, понял, что Бобик — это кличка кого-то, кто за какие-то провинности должен быть убран, а приказ предназначен кому-то из тех парней, которые шушукались в коридоре.

И тогда вспомнился Витька Крыса и рассказы, которыми он пичкал собравшихся вокруг него юнцов, вспомнилась и песня, которую он пел на вечеринке у Капы.

...Я буду безжалостно мстить...

Только теперь дошел до Антона страшный смысл этой песни. Тут он действительно струсил и в воскресенье в семь был в условленном месте на Девичьем поле.

По правде сказать, он думал, что все будет так же легко и опереточно, как прежде, но получилось все совсем иначе.

На этот раз ехали поздно, под вечер, и Антону стоило большого труда оправдаться перед мамой в этой отлучке.

Теперь с ними ехал сам Крыса и, увидев Антона, сказал:

— Ну что, цыпленок, дрожишь? Только смотри: слегавишь — найдем где хочешь. У мамки под юбкой найдем! Это уж верней уголовного кодекса.

Антон молча выслушал этот наказ, но ему теперь было все равно: все равно ничего не сделаешь и ничего не поправишь. И все его планы о новой жизни оказались пустыми. И тот вечер у памятника Павлику Морозову ушел куда-то, точно приснился, и Марина...

Ах, если бы она знала!

Но теперь это все в прошлом. Все равно! Антон даже не интересовался, куда они едут.

Сели в метро, доехали до Комсомольской площади и, выйдя к Ярославскому вокзалу, услышали голос диктора:

«Поезд до Загорска отправляется с третьего пути в двадцать часов девять минут. Остановки...»

— Айда на Загорск! — скомандовал Крыса.

Билетов, конечно, брать не стали и, смешавшись с густой и торопливой толпой разъезжающихся по дачам москвичей, направились к поездам.

Когда они садились, поезд уже трогался, и у Антона мелькнула мысль — остаться! Пожалуй, он каким-то невольным движением выдал себя, — Пашка Елагин взял его за локоть и придержал. Поезд тронулся.

Народу было много, и ребята остались на площадке. Антон стоял, наполовину высунувшись из открытой двери, и глядел на проносившуюся мимо него Москву. Прогромыхали стрелки, проплыло мимо старое круглое депо, и замелькали окраины: бараки, крытые толем деревянные сараи с кирпичиками на крышах, чтобы ветром не сорвало, и новые большие дома, облицованные розовым камнем. Вдали из-за крыш и домов возвышались купола и шпили сельскохозяйственной выставки, а над ними висело почти по-летнему сухое и знойное солнце. Оно было уже совсем низко и, цепляясь за шпили, за фабричные трубы, за кромку далекого леса, склонялось к горизонту. Антон следил за ним глазами и рассчитывал, где оно сядет. Куда они ехали и зачем, об этом не думалось и не хотелось думать, просто хорошо было подставлять свое лицо ветру и чувствовать стремительное движение поезда. И не сразу Антон заметил, что рядом с ним, ухватившись за другой поручень, стоит девушка. Прищурившись, она тоже смотрела на солнце, ее тонкие волосы развевались на ветру, и на руке, державшейся за поручень, блестели золотые часы.

Золотые часы!.. Антон вздрогнул от мысли, которая у него вспыхнула, как выстрел. Золотые часы!

Антон отвернулся, чтобы не видеть ни девушки, ни ее часов, а потом вообще отошел от двери.

Неужели уже привычка?

Люди на остановках постепенно сходили, и ребята прошли в вагон, сели, и Антон заметил, как Крыса профессиональным взглядом присматривался к пассажирам. Мимо бежали дачные поселки, один за другим, почти сталкиваясь друг с другом. Потом они стали перемежаться лесами, а потом пошли леса... Поезд прогремел по мосту — в темноте сгущающегося вечера мелькнула речка, поросшая ольшаником,— и стал замедлять ход. Женщина, пожилая, одетая в серый хороший костюм, сняла с полки красивый чемоданчик и пошла к выходу. Чемоданчик был из желтой тисненой кожи, с солидными блестящими застежками. Крыса мигнул ребятам, и вслед за ним все они поднялись и вышли из вагона.

Антон прочитал надпись на станционном павильоне: «Абрамцево».

Абрамцево!.. Где-то здесь, по словам Степы Орлова, за сумрачным еловым лесом и за тихой рекою Ворей, находится музей, то самое имение Аксакова, куда неделю назад ребята всем классом ездили на экскурсию. Он тогда не поехал, поехал совсем в другое место, и вот теперь судьба все же привела его в Абрамцево...

Размышления Антона прервал Вадик:

— Пошли!

Пошли. Женщина в сером костюме не спеша стала переходить через рельсы. Тогда вся компания прибавила шагу и обогнала ее. С противоположной платформы лесенка вела на узкую дорожку, дорожка — на мостик через глубокий, пахнущий черемухой овраг, и за мостиком начинался лес. Здесь дорожка двоилась: одна, более ясная и торная, шла прямо, а другая, почти незаметная, уходила налево. Крыса повел всю компанию прямо по торной дороге с тем, чтобы потом, по своей тактике, резко повернув назад, окружить намеченную жертву.

— Мы с ней здесь займемся, а ты оставайся там,— сказал Крыса Антону. — С поселка прикрывать будешь.

Но расчеты грабителей оказались неверными. Повернув назад, они не встретили намеченной жертвы и только потом, в просветах между деревьями, заметили фигуру, шагающую по другой тропинке. Крыса немедленно повел

свою шайку туда, наперерез медленно идущей женщине. Антона, оставшегося на торной дорожке прикрывать операцию, никто об этом не предупредил, и он стоял с захолодевшим сердцем и всматривался в темноту. Вокруг него толпились суровые, сумрачные ели, обступали его, теснили, тянулись к нему своими косматыми длинными лапами, словно задумали задушить его и не выпустить больше из своих объятий. И только кое-где сквозь мрачные толпы этих заговорщиков просвечивали малиновые краски зари, чистой и ясной, мирной и мечтательной.

И тут, среди этой тишины и покоя, раздался крик, внезапный, как взрыв, и страшный, как зов смерти. Антон никогда не думал, что в человеческом голосе может быть заключено столько ужаса. Этот ужас, разметав тишину, наполнил собой все — и лес, и мечтающий в свете вечерней зари мир, и потрясенную душу Антона. Он понял все, закрыл руками уши, постоял в оцепенении секунду-две и побежал. Куда? Он не знал. Он натыкался на деревья, путался в кустарниках, падал в какие-то ямы, перепрыгивал через ручей, карабкался по крутому склону оврага, попал в грязь, потерял кепку и сзади себя все время слышал — нет, не тот, замолкнувший уже, хотя и с прежней силой звучащий в его душе крик, а громкие человеческие голоса, собачий лай, признаки того, что где-то и что-то совершалось.

Овраг вывел Антона к реке. Он узнал: это та река, которую они проезжали перед Абрамцевом, — Воря! Вот мост! Его нужно перейти. Но вдруг здесь стоит часовой, или сторож, или влюбленная пара. Ведь мост — совершенно открытое место, а разве можно ему теперь идти по открытому месту?

Как вор, — да нет, он теперь уже был не только вор, — Антон, пригибаясь, почти ползком, перебрался через мост и пошел по железнодорожной линии, готовый в любой момент свернуть и кубарем скатиться с высокой, крутой насыпи. Впереди маячил зеленый глаз светофора, своим мертвенным светом он освещал путь, отражаясь в накатанных рельсах, как звезда в пруду. Но ведь это тоже свет! А разве можно ему теперь показаться на свет?

И, словно нарочно, вдали вспыхнуло непонятное зарево. Оно росло, разгоралось, и вдруг от горизонта за-

светилась какая-то струна, и потом брызнул свет, почти белый, слепящий глаза. И тут же от него побежали вниз тоже горящие полосы — рельсы. Провод и рельсы... Шел электропоезд. Он вынырнул из-за перевала и несся теперь на Антона, озаряя его всего с головы до пяток, и некуда было укрыться от него, и нельзя спрятаться.

Антон добежал до мачты для подвешивания проводов и прижался, приник к ее железной решетке, прислушиваясь, как с грохотом мчится на него поезд. Он вспомнил вдруг Анну Каренину в ее предсмертном томлении, но это ему показалось таким страшным, что он еще сильнее вцепился в холодное железо мачты.

Прогремел поезд, и опять все объяла тьма. И во тьме Антон шел, спотыкаясь о шпалы, шел опять к огням, которые светились впереди. Это была платформа, похожая на Абрамцево: кругом лес, а среди леса — платформа с надписью: «55 километр». На платформу Антон заходить не стал, боялся. В стороне, в кустах, он дождался поезда и потом сразу юркнул в вагон.

Опять мелькали за окном платформы, входили и выходили люди. Они читали газеты, книги, смеялись, вели разговоры.

Один, очевидно, охотник, ехал с собакой, и среди сидевших рядом мужчин завязался разговор. Кто-то стал рассказывать, как он застрелил свою собаку и как она бегала, прыгала вокруг него перед этим, точно чувствовала, что ее ожидает. Тогда дремавший до этого старичок открыл глаза и спросил:

— Ну и что? Застрелил?

— Застрелил.

— Ну, на это тоже сердце нужно иметь.

По вагону прошел милиционер в малиновой фуражке. Медленным шагом он шествовал вдоль лавочек. Он ни на кого как будто бы не смотрел, но именно это показалось Антону особенно подозрительным.

«Ищут!» — пронеслось у него в голове.

Антон весь сжался и приник к окну. Одним только уголком глаза он следил за милиционером и видел, как важно, не меняя шага, прошествовал он через весь вагон и ушел в следующий.

А впереди, за окнами, загорались спасительные огни. Москва!

Как тесно! Кругом не то народ, не то сгрудились какие-то чемоданы... Да, чемоданы! Они давят и жмут, и нечем дышать, и некуда деться. Они громоздятся все выше и выше, вот-вот упадут, уже валятся, и тогда... Откуда их столько? Зачем?.. Антон выставляет вверх руки, пытаясь удержать падающую на него громаду, настоящую гору, потому что это, оказывается, не чемоданы, а камни, и эта гора навалилась на него всей грудой и дрожит как от землетрясения. Руки Антона немеют, пытаются все это удержать и не могут: все сразу рушится и несется на него с грохотом, сверкая огнями, разгораясь, раскаляясь и превращаясь в пылающий шар, ослепительный, как золотые часики. А кругом крики и лай собак. . Да нет. Каких собак? Это одна собака, большая и красивая, как серый волк, на котором по глухому еловому лесу скачет Иван-царевич с прижавшейся к нему царевной. Собака лает и прыгает вокруг Антона и пытается лизнуть его в самые губы, а он поднимает ружье и целится в нее. И тогда какие-то чудища обступают его и охватывают своими длинными и мохнатыми, точно еловые сучья, лапами и жмут, жмут, жмут, и сдирают с него кепку, и опять уже нечем дышать, и Антон совсем задыхается, всеми силами старается сбросить со своих плеч вцепившиеся в них лапищи и, обессилев от страха, кричит:

— Не хочу! Не надо! Не хочу!

Но лапы продолжают держать его за плечи и начинают трясти.

— Тоник! Сыночка! Ты что?

Антон открывает глаза и видит склоненное над собой лицо матери. Чтобы проверить себя, он напряженно всматривается и убеждается — да, мама! Но он тут же вспоминает обо всем и закрывает глаза.

— Страшный сон приснился! — говорил он, делая вид, что хочет спать.

На самом деле он лежал до самого утра почти без сна, весь расслабленный и обессиленный, точно избитый. Он дождался, когда отправился на работу Яков Борисович, и только после этого решил проявить признаки жизни. И тогда к нему подошла Нина Павловна.

— Антон! Почему у тебя брюки в глине?

Антон посмотрел на нее долгим, мучительным взглядом и вдруг быстро-быстро, рывком поднялся.

— Не спрашивай, мама!

— Как же не спрашивать? Тоник! В чем дело?

Теперь Антон взял ее за плечи и, глядя в глаза, сказал:

— Мама! Я повторяю, ничего у меня не спрашивай. Ничего! И никого ко мне не пускай. И больше за меня не бойся!

Нина Павловна тоже всмотрелась в глаза сыну, в самую глубину их, и поняла: это очень серьезно. Никогда она не видела у него такого осмысленного взгляда и не слышала такого тона, как в эту минуту. И она почувствовала: натянулась какая-то душевная струна, натянулась до крайности, и если она пережмет, все лопнет и превратится бог знает во что.

— Хорошо! — проговорила она тихо, почти шепотом.

Нина Павловна не знала — самообман это, или желание успокоения, или действительно у ее сына произошел перелом, но она не могла не видеть, что Антон стал совсем другим — спокойным и послушным.

Он сел за книги, почти не отрываясь готовился к очередному экзамену. Теперь уже Нина Павловна посылала его погулять вечером, хоть на полчасика, но Антон упорно отказывался, а выйдя по необходимым делам, очень скоро возвращался домой. У Вадика он по-прежнему не бывал, и даже бабушка, заглянув в отсутствие Якова Борисовича проведать их, попеняла, что внучек ее совсем забыл. Антон сделал попытку улыбнуться, но промолчал, а когда он вышел, бабушка спросила:

— Что это он стал какой-то сумной?

— Занимается много, — ответила Нина Павловна. — Целыми днями.

— Ну, слава богу! — сказала бабушка. — За ум взялся!

Нина Павловна не хотела делиться с ней своими сомнениями и муками, чтобы не расстраивать, да и чем старуха может ей помочь? Нина Павловна замечала и рассеянность, и грусть, и задумчивый взгляд Антона, и то, что сын мало ест и очень много курит.

— Послушай, Тоник! Тебе ведь пачки не хватает на день. Это же страшно вредно!

— Ну и что?

— Это сушит мозг.

— Ну и что?

— Ты вот и ночью перестал спать. Это все от куренья.

— Ну! От куренья! — чуть заметно усмехнулся Антон. — А правда, говорят, если принять несколько таблеток люминала, можно уснуть и не проснуться?

— А зачем тебе это? И вообще, что с тобой, Тоник?

— Так, мама. Думаю.

— О чем?

— О жизни.

— Что? Что ты думаешь? — Нина Павловна сделала еще одну попытку вызвать сына на откровенный разговор. — Тоник! Ведь я — мать. А мать — это друг, и судья, и советчик, и, может быть... спаситель.

Антон метнул на нее короткий взгляд, но тут же отвел глаза.

— Не много ли?.. Бывают, по-моему, вещи, от которых никто не может спасти.

— Ты о чем? Тоник!

— Да просто так. Вообще!

— Тоник! Может, тебя отколотили?

— Ну! Кто меня может отколотить?

— Может, с Мариной поссорился?

— С Мариной?.. — Антон помедлил немного и сказал: — Да, поссорился.

— Почему, Тоник? Она чудесная девушка.

— Нет, мама! Мы с ней совсем разные люди!

Нине Павловне показалось, что именно здесь и может лежать причина дурного настроения сына.

— Почему? Ну что за трагедия в таком возрасте? — спросила она.

— А разве обо всем можно говорить, мама?

Антон очень грустно посмотрел на нее, так грустно, что у Нины Павловны защемило сердце. Может быть, что-то произошло, что-то было и оборвалось?.. Марина была первым увлечением Антона, в этом Нина Павловна была совершенно убеждена, а в таких случаях все бывает так сложно и тонко, и слишком далеко залезать в душу тогда, пожалуй, не следует.

А Антон действительно поссорился с Мариной. Он вообще не представлял, как он может встретиться с нею теперь, *после этого*. Ведь она — *настоящая* девушка.

Шли экзамены, расписание в их классах не совпадало, и Антон долго с Мариной не встречался. Один раз она позвонила по телефону, но Антон говорил с ней очень коротко и сухо. Марину, видимо, эта холодность обидела, и она повесила трубку. Потом он увидел ее в школе, он спускался по лестнице с четвертого этажа. Марина поднималась вверх. Он сделал вид, что не заметил ее, и через третий этаж прошел другим ходом.

Наконец они совершенно случайно столкнулись на улице. Антон успел к тому времени провалиться по математике, и Марина об этом уже знала. Забыв все свои недоумения, она участливо обратилась к нему:

— У тебя что, плохо?

— Ну, плохо!.. — неприветливо ответил Антон. — А тебе что?

Марина оторопела.

— Какой ты злой!

— Ну и что? — еще грубее ответил Антон. — Да и какое тебе до меня дело? Хватай свои пятерочки, а мы уж так. Уж как-нибудь...

Из недоумения вырастала обида.

— Ну, дело твое!..— повторила Марина.— Я думала...

— Мало ли что ты думала! Я тебе наговорил там, в парке... Всякой всячины наговорил, что было и чего не было, а ты и подумала. Тебе просто жалко стало меня, вот ты и вообразила. А я... Не нуждаюсь я в твоей жалости! И ни в чьей жалости не нуждаюсь! Ни в чьей!..

Последние слова Антон уже выкрикнул вслед Марине, потому что она молча повернулась и пошла, постукивая каблучками, высоко неся свою золотистую голову, и ему вдруг стало страшно и одиноко. На самом деле ему так хотелось, чтобы его кто-то пожалел, кто-то понял, и посочувствовал, и сказал доброе слово. Он так хорошо помнил, что Марина поняла его и посочувствовала, сказала хорошее, доброе слово там, в парке, и, может быть, поняла бы она его и теперь, если бы он окликнул ее и рассказал все, и не ушла бы от него, и он не остался бы один здесь, на краю тротуара. Но он тут же решил: так и надо! Он и должен остаться один!

Решил и не окликнул Марину.

Антон вздрогнул: возле него, у самого тротуара, прошелестев шинами об асфальт, резко затормозила маши-

на, и у нее тут же распахнулась дверца. У Антона сжалось сердце, и он быстро отскочил в сторону.

— Какой же вы нервный, молодой человек! — смеясь, сказала молодая женщина, вышедшая из машины.

Но Антон не смутился, а скорее обрадовался. Только теперь он вспомнил одну итальянскую кинокартину, в которой подъезжает машина, распахивается дверца, в нее быстро заталкивают жертву, и все: по улице несется машина, такая же, как все, как тысячи.

Другой раз Антон испугался, услышав за спиной топот ног. Оказалось — мальчишки, гоняются друг за другом.

Страх!

Он особенно усилился, когда приехала встревоженная бабушка и сказала, что арестовали Вадика. Теперь все! Теперь уж совесть умолкла, теперь душу захватывал страх и заглушал все.

Хоть бы прошло! Хоть бы прошло! Больше никогда и ничего! Только бы прошло, миновало!

...Вот Антон смотрит в окно и видит, что напротив стоит милицейская машина, густо-синяя с красным околышем, и у него опять похолодело сердце. Что ей тут нужно? Когда она подошла? Может быть, сейчас по лестнице уже поднимаются *они* и вот-вот раздастся звонок? Но звонка нет, и, выглянув снова в окно, Антон видит, что машина исчезла.

...Вот он остался дома один, сидит за книгами, готовится к последнему экзамену. И вдруг — звонок! *Они.* И мамы нет! Как же без мамы?.. Антон разувается и босиком крадется к двери, прижимается к ней ухом и слышит: там кто-то есть! Стоит! Дышит! Антон тоже стоит, но не дышит, старается не дышать. Проходит минута, другая, и тот, кто за дверью, уходит. Антон слышит его шаги по лестнице. Ушел!

...Антон приходит домой, и мама сообщает:

— Тоник, тебя спрашивали.

— Кто?

— Не знаю. Он не сказал. Какой-то молодой человек в плаще.

— Парень?

— Нет, уже взрослый. Он сказал, что зайдет еще.

Когда наконец кончились экзамены, Антон встретил Женю Варскую, и она сказала ему, что Марина на сле-

дующее утро уезжает в пионерский лагерь. Зачем она сказала? Может быть, проводить? Нет, нет! Пусть едет! Поскорее пусть едет! И ему нужно ехать. Мама собирается к переезду на дачу, но что значит дача? Это совсем рядом, почти Москва, а ему нужно ехать куда-то далеко-далеко, может быть, бежать. Куда бежать? Как?

Антон слышит по радио очередной очерк о целинных землях, о трудностях и радостях, о трудах и победах.

Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная...

Антон идет в райком комсомола, он хочет ехать на целинные земли, он согласен на все, он не боится никаких трудностей, он... У него берут заявление, ему предлагают заполнить анкету и говорят: ждите ответа. Он ждет, он считает дни, он начинает собирать вещи...

А между тем, точно моток ниток, запутанный и перепутанный, где-то терпеливо разматывалась и разматывалась ниточка, обнаруживались концы, и она вела за собой чью-то пытливую мысль, чей-то пристальный и неотступный взгляд.

Человек, творя зло, оставляет следы — отпечатки своих ног на земле, отпечатки рук и на вещах, потерянную кепку, портсигар, выпавший в пылу борьбы, оторванную пуговицу... Борьба со смертью, которая в течение многих дней шла на больничной койке, кончается победой жизни, врач разрешает потерпевшей говорить, и все становится значительно яснее. Остается проверить то-то и то-то, и — вот оно! — идет возмездие. Начиналось все с шутки, с детской игры и было сначала игрой, шалостью, озорством, потом разнузданностью, хулиганством, глупым бахвальством,— я все могу, и мне все нипочем! — а, наливаясь и развиваясь, приводит к тому, что человек перестает быть человеком. И тогда приходит возмездие.

К Антону возмездие пришло, когда он мирно спал. Ночью раздался в передней звонок, и мама, шлепая туфлями, пошла отпирать дверь. Когда *они* вошли, Антон уже одевался, он все понял.

— Тоник! — с ужасом смотрела на него мама.

— Ну?.. Что я говорил тебе? — сказал появившийся в дверях Яков Борисович.— Какой негодяй вырос!

Все сразу рушилось. Все! Ни сына, ни мужа.

Когда увели Антона, Нина Павловна без сил упала на диван. Мыслей не было. Было ощущение бездны, поглотившей весь мир. И из этой бездны раздался вдруг голос:

— Что ты со мной сделала?

Нина Павловна сначала не поняла, кто это говорит, потом открыла глаза и увидела Якова Борисовича. Он стоял над нею в своей нарядной пижаме и с негодованием смотрел на жену.

— Ты понимаешь, что ты со мной сделала? Ну разве теперь могут утвердить мое назначение?

Какое назначение? Ах, да!.. Недавно Яков Борисович пришел с довольной и многозначительной улыбкой.

— Ну, я, кажется, в чины пошел. Сегодня был один «высоковольтный» звонок — метят меня в начальники главка.

Нина Павловна вспомнила все это и все поняла. И тут же в памяти всплыли слова, которыми он только что напутствовал Антона: «Какой негодяй вырос!» Нина Павловна быстро поднялась с дивана и смерила взглядом стоящего перед ней человека. Он был, как всегда: крепкий, красивый, мужественный, и глаза его горели неподдельным огнем возмущения.

Ни слова не сказав, Нина Павловна еще раз смерила взглядом стоящего перед ней человека и ушла в освободившуюся теперь комнату Антона.

И думала она теперь только о сыне. Сначала она надеялась, что все это — недоразумение, страшный сон, который приснился ей в тяжелую, полную кошмарами ночь, но когда она побывала в милиции и узнала, в чем обвиняется Антон, Нина Павловна совсем растерялась. Как идет жизнь! Было время, когда она казалась сплошным розовым туманом, и даже трудности, которые встречались в ней, казались случайностями и перешагивались, словно дверной порог. Даже неудачный первый брак и последующие годы одиночества ощущались Ниной Павловной как те же пороги, через которые нужно шагать, чтобы жить дальше. Но насколько, оказывается, трудно жить, когда возникают вопросы, и раздирают тебя, и обступают со всех сторон: человек начинает думать — так ли я жил? Теперь нужно

было многое для того, чтобы жить, и без этого уже нельзя было жить.

А понять все очень трудно. Ведь разбираться сейчас приходилось одной. На бабушку случившееся несчастье подействовало так, что говорить с ней о всех этих вопросах не было никакой возможности,— она очень ослабла, одряхлела, много плакала и вздыхала.

— Грехи!

С каким бы удовольствием Нина Павловна послушала сейчас колкие нотации брата Романа, но он был далеко, и письмо, которое он наконец прислал, никаких нотаций не содержало. Наоборот, оно было очень теплое, с участливой припиской Лизы и немного грустное.

«Это, конечно, несчастье для всех — и для него, и для тебя, и для всех нас. Недорабатываем мы чего-то! Ох как недорабатываем!»

Но за видимой мягкостью тона Нина Павловна слышала упреки, которые бросал ей Роман раньше: «Неправда жизни! Фальшь! А жизненная неправда разлагает, она растлевает душу».

Но сейчас Роман спрашивал, чем он может помочь сестре в таком тяжелом ее положении, и обещал, если нужно, приехать и помочь. Работай, Роман, делай свое главное, большое дело, а уж мы тут как-нибудь.

Советоваться с Яковом Борисовичем никак не хотелось, и он тоже молчал, зато неожиданно, совсем неожиданно приехал первый муж. О случившемся ему написала, оказывается, бабушка, и он бросил все, пошел даже на размолвку с женой и приехал. Нина Павловна была очень тронута этим, и они пережили несколько теплых минут, грустных, но по-человечески теплых.

Пусть лицо дорогого когда-то человека перепахано морщинами — ранними что-то морщинами! Пусть и она, конечно, не та, другая, пусть легла между ними непроходимая уже грань, но что было, то было: и радость, и счастье, и высокий трепет души, чистый до звона, и вешняя полнота жизни, и солнце! И не хотелось уже ни вспоминать того, что произошло впоследствии, ни сводить запоздалых счетов, просто было бесконечно жаль ту промелькнувшую пору, и звенящую чистоту души, и чувство, которое не вернется, но которое было и которое они не сумели сберечь.

Теперь эти близкие когда-то люди говорили уже не о себе, они говорили о сыне, о всех последующих, поздних

ошибках, но за всем этим стояло сознание той, первой, большой и, может быть, самой главной ошибки — ошибки в любви. А очевидно, это совсем не так просто — любить. Нужно уметь любить, а любя, мучаясь и ошибаясь, нельзя забывать о ребенке, которого принесла любовь. Но что значат теперь эти думы, это — лирика!

За лирикой пошла проза — адвокат и деньги, много других практических вопросов, и бывшие супруги расстались — дороги у них все-таки были разные.

А потом раздается нерешительный звонок, и в дверях появляется Прасковья Петровна.

— Я, может быть, не вовремя?

— Что вы, Прасковья Петровна! Голубушка!

— Я к вам как мать к матери, как человек... и как учительница!

Они обнялись и заплакали, и то, что вспомнили они и вместе пережили в эту минуту, было важнее всех бесед и разговоров.

— Я не нахожу себе места,— сказала наконец Прасковья Петровна, когда пришла пора бесед и разговоров.— Ведь я тоже что-то недоделала, что-то недоглядела. Правда, пришел он ко мне на изломе. Чего я за несколько месяцев могла добиться? А что-то могла! Должна была сделать, а не сумела... Упустили мы с вами мальчишку...

А вот приходит письмо-треуголочка. Антона перевели в тюрьму, и он оттуда пишет свое первое письмо: «Мама! Ты не расстраивайся, старайся обо мне забыть, так как я совершил нехорошие дела. Мама, если ты придешь на суд, то не плачь, меня нечего жалеть. Я сам до этого дошел и сам должен отвечать за все. Мама! Если судьи меня на суде поймут, я стану честным человеком, а если не поймут, то мы с тобой больше не увидимся».

А потом, очевидно, после больших колебаний, было приписано: «Звонила ли тебе Марина?»

Охватив голову руками, Нина Павловна ходит по комнате, как в клетке. Она только теперь поняла, что самое дорогое, единственное, что дала ей жизнь,— это Тоник, сын, какой бы он ни был. И в том, что произошло, во всем этом ужасе виноват не он.

«Нет, нет! Виновата я! Я! Для чего я жила? Для кого я жила? Это расплата за мою жизнь, это расплата за мое отношение к сыну. Это расплата!»

Бессонные ночи и полные тревожных хлопот дни. В этих хлопотах приходилось встречаться с другими родителями, товарищами по несчастью — хлопотали вместе, думали вместе, плакали вместе и расставались хорошими знакомыми и даже друзьями, спаянными единством забот и дум.

С фамилией Валовой у Нины Павловны связаны были очень неприятные воспоминания. Это он, Валовой, приходил тогда в таком отвратительном виде, это именно его Антон пошел провожать, бросив праздничный обед, а она выслеживала их, прячась за уступами домов. И куда они пошли тогда и о чем толковали, и не с этого ли все началось? Одним словом, Валового Нина Павловна считала одним из развратителей ее Тоника и к его матери заочно чувствовала самую глубокую неприязнь.

С такой неприязнью она и поздоровалась с нею, когда та, остановившись в дверях, назвала свою фамилию. Это была женщина с энергичным, скуластым лицом и таким же энергичным прищуром глаз. Одета она была в строгое темно-синее платье с белым кружевным воротничком.

«На учительницу похожа!» — подумала Нина Павловна.

А Серафима Андреевна и в самом деле была учительница в школе рабочей молодежи. Она, в свою очередь, считала Антона Шелестова совратителем своего Олега, а потому разговор у них сначала не клеился, но потом наладился и затянулся до поздней ночи. Горе сближает!

И в этом разговоре Серафима Андреевна сказала, что делом их ребят заинтересовался какой-то не то корреспондент, не то писатель и ходит по домам и что-то выспрашивает и беседует со всеми родителями.

— Вот это я не люблю, всех этих фельетонщиков,— сказала Нина Павловна.— Лезут в чужую жизнь, копаются, а потом что-нибудь переврут и ославят на весь мир! И что ему надо?.. Не люблю!

Поэтому она довольно холодно ответила, когда раздался телефонный звонок и кто-то, назвавшись писателем Шанским, попросил разрешения зайти и поговорить о заинтересовавшем его деле группы подростков.

И, точно предчувствуя или зная наперед ее сомнения, голос в трубке мягко сказал:

— Вы не беспокойтесь. Это не корреспондентский налет, не погоня за эффектными происшествиями, это жела-

ние понять и разобраться. По-моему, это наше общее желание!

Нина Павловна замялась. Фамилию Шанского она слышала, хотя книг его, кажется, не читала. К тому же голос и тон, которым говорил писатель, чем-то подкупил ее, и отказать она не решилась.

Это смутное впечатление подтвердилось, когда писатель пришел и поздоровался и еще раз извинился — скромный, немного застенчивый и даже как будто бы флегматичный. Так же застенчиво и флегматично, несколько сбивчиво он еще раз объяснил цель своего посещения, и Нине Павловне показалось сначала, что он сам не знает, что ему надо. Но это только показалось, потому что когда завязался разговор, то в спокойном, внимательном взгляде писателя вдруг зажегся, наоборот, очень беспокойный огонек, зажегся и, разгораясь с каждой фразой, с каждым новым вопросом, уже не потухал, превращаясь в огонь большого и ненасытного интереса,— не было, кажется, вопроса и не было стороны жизни, которая не интересовала бы этого дотошного человека, хотя порой, казалось, они не имели никакого отношения к происшествию с Антоном. А то вдруг он сам бросит какое-нибудь замечание или разразится целой тирадой, и тогда окажется, что он совсем не флегматик, а очень горячий, чересчур, может быть, горячий человек, болеющий о трудных и нерешенных вопросах.

И Нина Павловна сама удивлялась потом, как могла она колебаться? Как можно было остерегаться того, кто по самому назначению своему является другом людей? Почему не подумать вместе о том, о чем в одиночку думаешь и день и ночь, чем сама мучаешься и болеешь? Захотелось поделиться с ним, и посоветоваться, и излить душу, и они просидели и проговорили целый вечер, и Нина Павловна, не таясь, рассказала ему всю свою жизнь.

33

С большими сомнениями и внутренним трепетом приступил писатель Шанский к этой своей новой теме.

Возникла она как будто бы неожиданно, из откровенного письма-исповеди, которое ему случайно пришлось прочитать в одной редакции. Писал человек, который, пройдя через большие ошибки и скамью подсудимых, по-

пал в Воркуту в заключение, строил там шахту, добывал уголь, а потом за свой честный труд был амнистирован. Но, получив свободу, по собственной воле остался жить в Воркуте. И вот, много передумав и перечувствовав, он написал письмо, большое письмо на нескольких страницах о всей своей жизни и ошибках своих и прислал в редакцию с просьбой напечатать — «чтобы другим было неповадно».

Как электрический ток, потрясло писателя Шанского это письмо — настолько сложен был клубок проблем, которые переплетались здесь, и так интересен: «Вот тема!» Но, возникнув, она тут же испугала его: «Как можно? Такая тема! Да разве я сумею? Разве я смогу?» Больше года отмахивался он от нее, как от надоедливого комара, а она знай себе жужжит и жужжит, и вьется вокруг, и не дает ни покоя, ни возможности заняться чем-либо другим.

И «дожужжала»! Она захватила его и уже больше не выпускала, она повела его в жизнь, в самые глубокие глубины ее, она ставила перед ним вопросы, которые вскипали и сталкивались, как атомы, и, сталкиваясь, порождали новые вопросы и неожиданную, не по возрасту энергию, на которую он даже не считал себя способным.

Много споров и с друзьями и с самим собой пришлось выдержать при этом писателю Шанскому.

— А зачем тебе это? — спрашивали его одни.— Неужели больше не о чем писать? Подумай только: сколько мусору ты наберешь себе в душу.

— Мусору? Да, много! — соглашался писатель.— А что же с ним делать-то, если он есть? Лапки отряхивать? Белые перчатки надевать? Или глаза закрывать, как делают любители благополучия: как-нибудь куда-нибудь он денется, этот мусор, а я буду половики стелить. Нет! Только нерадивая хозяйка заметает мусор в угол и прикрывает веником. А настоящая хозяйка чистоплотна, соринки в доме не потерпит.

— Но это не предмет искусства,— говорили другие.— Эта тема вне прекрасного. Вдохновлять может только величественное!

— А ниспровержение низкого во имя величественного?

— Но в этом можно утонуть.

— Утонуть можно и в море,— отвечал писатель.— Если ты пловец, умей выплыть, а не ловить рыбку на прибрежной мели.

И это был не простой каламбур, потому что надо было действительно плыть и выплыть, избежав «ничьей», подстерегающей писателя в обманчивых водах мелкотемья и мелкодумья. Это так страшно, когда есть все — и сюжет, и все достоинства, а книга может быть, может не быть, и ничего от этого не изменится в жизни. А книга обязательно должна что-то менять, что-то ниспровергать и что-то утверждать, она должна быть двигателем жизни и «решителем всех важных современных вопросов», как писал в свое время «неистовый Виссарион».

«Отчаянная голова!» — подсмеивались над Шапским друзья-приятели, а «отчаянная голова», оставшись один, ходил по своей рабочей комнате и думал, ходил и час и два и думал, шел по улице и думал, ехал в метро и думал, сидел на собрании и думал, и никуда нельзя было ни уйти, ни уехать от этих дум, и ничего уже другого нельзя было писать, потому что писать можно лишь «по должности гражданина».

И когда перед его мысленным взором встал тот комплекс проблем, который он почувствовал в письме из Воркуты, и когда он пробовал распутать его, и разобраться в причинах и следствиях, и сопоставить все это с великими целями и головокружительными планами и делами эпохи, он почувствовал на своих плечах бремя. Он не мог уже теперь ни успокоиться, ни умереть, пока не решит этих вопросов, пусть даже не решит и до конца не разберется, но хотя бы поставит их в фокус общественной мысли и заставит думать о них и думать, потому что не думать об этом нельзя.

Мы идем к солнцу, но дорога к нему не однопутна. Это прежде всего изобилие, материальные основы основ. Но это — и чистота человеческих душ, и высота целей, и благородство характеров. Без этого тоже коммунизма не может быть! Путь к солнцу лежит и через сердца людей!

— Значит, нужно создавать эти сердца! Нужно воспламенять их, как Данко! — говорят ему друзья-приятели, и писатель снова ходит и час и два и думает. Конечно, воспламенять! Конечно, создавать Человека, его духовные качества! Без этого писатель — не писатель. Но воспламенять можно истиной, а дорога к истине тоже не однопутна. Как в математике: бывает доказательство прямое и бывает — от противного, но оба — доказательства. Истина многогранна.

Шанскому вспоминается один из его прежних героев, чистейшей души паренек.

— На меня оказал влияние не столько Кошевой, сколько Стахович и Мечик,— признался он в откровенной беседе.— Я боялся походить на них!

А вот девушка, ученица десятого класса. Как она сама говорит о себе: «В голове у меня мальчики и ветерок во все стороны». И вот наступает минута, и она со всей искренностью восклицает: «А знаете что!.. Напишите обо мне, чтобы таких, как я, не было!»

И — новые вопросы, новые поиски и мысли. Воспитание — активный или пассивный процесс? И объект воспитания не является ли в то же время субъектом? И можно ли воспитывать на одном подражании? Можно ли обучать мыслям и не учить мыслить? Где граница между убеждением и внушением? И в чем заключается моральная сила человека — в пассивном следовании добру или в активном сопротивлении злу? И не крепче ли будет тогда человек, если он увидит и одну сторону жизни и другую и, увидев и приняв участие в жизни и приложив к ней свои руки, обдумает все и решит: это мне нужно, а это — не нужно, а вот тот план, по которому я буду строить себя! Разве не преодоление является главным пафосом жизни?

Истина многогранна! Чтобы строить и бороться, нужны люди сильные, мужественные, убежденные в правоте великого дела, люди смелой, большой и красивой души,— это Шанский хорошо понимал и глубоко чувствовал. И он с жадностью брал — где черпал, где выискивал — все высокое, честное, чистое, на чем зиждется наша советская жизнь и что нужно утвердить и прославить. Но утверждение вырастает из отрицания, движение — из отталкивания, сила — из преодоления. И, утверждая все лучшее, честное и передовое, нужно так же горячо ненавидеть все злобное, низкое, бесчеловечное, ненавидеть и активно бороться с ним.

Вот после всех этих споров, дум и сомнений писатель окончательно укрепился в своей тёме.

«Ведь оттого, что мы не скажем чего-то или умолчим о чем-то, оно не перестанет быть. Оно уйдет вглубь и примет искаженные, извращенные формы,— торопливо записал он в блокнот промелькнувшую мысль.— И мы не можем жить на свете, а мрак запереть куда-то на замок.

Нет таких замков! Не изобретены! Мы должны победить этот мрак в себе самом, победить силою своего света и изгнать его из нашей жизни, потому что коммунизм — это свет без мрака».

Теперь уже не тема владела писателем, а он ею. Теперь в милиции он был своим человеком и, параллельно судебному, вел свое, писательское следствие, ходил по домам, по семьям, школам — он изучал и исследовал, доискиваясь до корней и осмысливая то, что возможно осмыслить.

И первое, что он вывел из своих наблюдений,— значение разных неустроенностей в жизни, в семейной жизни прежде всего. До этого он их почти не замечал — он жил и видел жизнь вокруг себя в ее весеннем, радостном разливе, видел труд и усилия, большие достижения и счастье. И семьи... С заботой матери и умным, направляющим взглядом отца.

...Мать заметила, что сын что-то прячет у себя за щекой. Конфета! Первая нечестность сына! Ужас! Но она подавила его, и потом они долго обсуждали с отцом наедине — как быть? И вот вечерний чай. Мать и отец берут по одной конфетке, а сыну дают две, три... «Может быть, хочешь еще?» — «А почему у вас по одной?» — «Нам достаточно. А ты же ведь берешь тайком? Зачем же тайком? Бери сколько нужно». Сын покраснел до слез. Это стало ему уроком на всю жизнь.

Так, очевидно, рождается счастье и мир, и честность. Что это — умение? Опыт? Талант?

А вот Шанский пришел к Нине Павловне и слушает, и всматривается в нее внимательным и острым взглядом, и силится понять трагедию, которая развертывается перед ним: мать упустила сына и вдруг поняла, что она его упустила. Имея право на что-то и личное, и, может быть, понятное и неизбежное, она чего-то не сумела: что-то сочетать и связать, не сумела любить, не сумела жить, не сумела воспитывать — погнавшись за одним счастьем, она упустила другое, и вот теперь терзает и казнит себя и не находит места.

А вот он у Серафимы Андреевны, учительницы школы взрослых, с энергичным, скуластым, как у монголки, лицом. Она рассудительней, чем Нина Павловна, пожалуй, умнее и тверже. Она тоже прошла через разрыв, через семейную драму, но это получилось иначе.

— В молодости я была идеалисткой,— рассказывала Серафима Андреевна, когда преодолено было первое смущение.— И на все у меня был безмятежный, совсем безоблачный взгляд. Жизнь — это радость! И в семье, я считала, человек должен жить также светлой и радостной жизнью, и не понимала тех, кто мучается, живет и мучается. Зачем тогда жить? И мужу своему я себя отдала.. Душу. Ну, знаете... Растворилась! Поверила. Полюбила. Ждала ребенка. И тут... Ах, как много нерешенного в жизни!

— А именно? — насторожился Шанский, испугавшись, что с этим лирическим восклицанием иссякнет вся откровенность собеседницы.

Но опасения его были напрасны: Серафима Андреевна вздохнула и повела рассказ о своей жизни.

— Был он хороший, как мне казалось, человек. Вы не поверите, как изумительно правильно он обо всем говорил и каким изумительным он оказался подлецом! Нет, не по-женски я это говорю, нет. Он мне не изменял. Но когда — ах, какое же это трудное было для меня время! — арестовали моего отца, вина которого перестала потом быть виной и которого вскоре освободили, но именно в тот тяжелый момент, когда я разбитая сидела и не знала, как жить, и муж, мрачный, как туча,— я думала, он за меня переживает. Я сама переживала за него и не хотела быть источником его несчастий. И тогда, сама не знаю как, вырвалось у меня малодушное слово: «Хоть кончай с собой!» И вдруг я вижу: мой муж посветлел. «Только, знаешь, говорит, оставь хорошее письмо». Я как сидела, так вот, обхватив голову руками, как подняла глаза на него — и сразу прозрела: подлец! За себя дрожит!

Через полчаса у меня начались схватки, преждевременные роды. Так родился мой Олег. Я лежала на больничной койке и думала: должна я жить с подлецом или нет? И тут во мне заговорила мать — я хотела сыну сохранить отца. А он ходил ко мне каждый день, просил прощенья, и... я осталась. Но для меня он оставался подлецом и чувствовал это и мстил за это. А комната — восемь метров, вся, как говорится, сценическая площадка, даже шкафом разгородиться нельзя. И комната была моя, я мужа, как говорят в деревне, во двор приняла, мне в одну зиму несколько раз пришлось быть в суде — это он после развода старался выселить меня с сыном из этой

конуры. Может быть, я здесь виновата? Очевидио! Очевидно, я должна была оставить подлеца в своей комиате, а сама по-другому строить свою жизнь...

— А дальше? — ие скрывая уже своего нетерпеиия, спросил Шанский.

— Дальше?.. Через восемь лет он иашел себе вторую жену, с площадью. Для меия это был праздник. Я осталась одна! И билась я все время одна! Но я была рада этому одиночеству. Я думала: вот теперь я все сделаю и всю себя отдам сыну. И отдала. То есть то, что оставалось у меня от работы. А что у меня оставалось? Я в двух школах работала. Вот это только и видел у меня сын — труд и труд, бесконечные тетради и книги и опять тетради. Я его никогда не обманывала и ии в чем не соврала. Он ие видел у меня постороннего мужчины. Ну что еще?.. Излишеств ие было, но все, что нужио было, он имел. Сыт, одет, обут, деньги открыты. Я верила! И думала, что иа мою душу он откликнется также душой. И вот...

Внутренняя сила и горячность, с которой говорила все время Серафима Андреевна, вдруг куда-то исчезли, и вся она — точно вынули из нее стержень — поникла, опустилась, и по щеке ее, первая за весь вечер, покатилась одинокая слеза.

— Теперь иам говорят: родители не усмотрели, родители недосмотрели. А можно ли усмотреть за человеком? — упавшим голосом, как бы подводя итог своим мыслям, а может быть, и всей жизни, продолжала Серафима Андреевна.— Нужно воспитать его, чтобы ои сам не мог делать того-то и того-то. Нужны какие-то внутренние тормоза, твердый порядок жизни. Сопротивляемость к злу и активность к добру — вот что нужио воспитывать. А у нас, видно, получилось другое. Что-то, зиачит, оборвалось у мальчишки, пошатнулись какие-то устои — вера в человека, в добро, справедливость, и все поползло, и человек лишился этого самого иммунитета, и, встретившись со злом, он ие смог противостоять ему. Я так думаю, сама так объясияю. Ведь должна же я себе чем-то объяснить этот ужас! Я-то не учила его этому! Ведь я-то всю жизнь в труде прожила, сама на чести всю жизнь строила и его этому учила, иа одно только хорошее иаталкивала, а он свериул в другую сторону. Почему?

«Почему? — думает и Шанский, идя по пустеющим уже вечерним улицам Москвы.— Вот две матери. Одиа

погналась за своей синей птицей, другая отказалась от всего, не изменила ни мужу, ни сыну, а встретились на одной дорожке. Почему?»

Ему вспоминается слышанный где-то рассказ. К одному многодумному человеку пришли отец и мать со своим ребенком на руках и говорят: «Научи, наставник, как нам воспитать своего сына, пока не поздно».— «А сколько времени вашему сыну?» — спрашивает наставник. «Полгода»,— отвечают родители. «Поздно!»

А может быть, так же и здесь? Поздно! Преступление ведь не возникает просто и сразу, оно растет, подготавливается часто на протяжении очень длительного времени, стечением очень многих и сложных условий и обстоятельств.

...А вот другая история, другая жизнь и судьба, только в противоположность той начатая в слезах, оконченная в слезах и вся омытая слезами. А вопрос все тот же: где я ошиблась?

— Ведь как думаешь-то? Думаешь: живешь и живешь как живется, и все как будто правильно живешь, а оглянешься — получается все совсем неправильно. А в чем? И не найдешь.

Слезы, слезы...

— Отец у нас умер рано, а вскорости и мать. И остались мы две девчонки — я и Маша. Та вышла замуж, вступила в колхоз, я подалась в Москву, училась — сначала грамоте, потом на шоферские курсы определилась. Кончила курсы — стала работать шофером на военном складе. И приглянулся мне там солдат. Ну, известное дело, девичье дело — глупое. Ула́стил! Вот я и думаю: тут я, видно, ошиблась. Конечно, тут! А подумаешь еще раз: как жить, если людям не верить? Как любить, если не верить тому, кому открылось сердце? Ну, одно слово, ошиблась! Солдат отслужил свое, поехал на родину — на Волгу. Сказал — приеду, возьму. Не приехал, не взял. Я поехала, когда родился ребенок. Приезжаю — незваная, нежданная, а у него там своя жена, своя семья. Я повернулась — и назад, в Москву. Осталась у меня одна горькая моя радость — Павлушка, и думала я, что с этой радостью проживу всю жизнь. Дали мне угол в бараке, так я и жила. Работала шофером. Закусила я губы и решила не сдаваться в жизни, так, с закушенными губами, и жила, ни на кого не смотрела.

И опять слезы, и опять усилие сдержать их, и виноватая улыбка от бесплодности этих усилий.

— А в гараже работал у нас слесарь. Тихой такой парень, непьющий, негулящий. И холостой. Я о нем не думала, а он, видно, мои закушенные губы приметил. Ну и известно... Начал с машины — машину мою чаще стал осматривать, а через машину и на меня взгляды кидать. И никак он ко мне не приставал, не охальничал, а прямо завел разговор: давай жить. Я на него только глазами повела и пошла, ничего не ответила. Через неделю — опять. Я опять молчу. Перестала я тогда совсем верить людям. А он не отстает, и чувствую я: по-хорошему. Ну и у меня хорошее слово родилось к нему. «А ты знаешь, кто я? Я — с ребенком».— «Знаю».

«Нет, Федя, — первый раз я его именем назвала, — парень ты молодой, холостой... хороший, и нечего тебе свою жизнь ломать. Найдешь ты себе молодую тоже, настоящую девушку, «нетроганую».— «А ты, говорит, для меня и есть настоящая».

Слезы опять набежали на глаза, но не вылились. Минута, скомканный платок — и все улеглось, успокоилось.

— Дрогнуло у меня сердце, но виду не подала, еще крепче губы закусила. А он уж прямо: пойдем расписываться. Пойдем и пойдем! Ну что — тут я, может, ошиблась? Может, и нужно было мне так всю жизнь с закушенными губами прожить? Теперь думаю — может, и нужно было бы! Вырастила бы я своего Павлушку одна, и остался бы он моей радостью в жизни. А я вот... Понемногу стало размокать мое сердце, и согласилась. И то не сразу. Нет, не сразу. Расписались мы с Федей и разъехались: я в свой барак, он — к себе домой. Проверить!.. А жил он с отцом, матерью, с братьями, и боязно мнэ было в их дом идти. Стариков боялась — старообрядцы они были, из купцов, крепкие, черствые люди, себе на уме. И тут все ихнее было: буфет, шкаф, иконы — все ихнее, моего — ничего. Боязно!

Глубокий вздох и долгое молчание.

— Месяца через полтора подъезжает к нашему бараку машина, выходит из нее мой Федя и говорит: «Давай грузиться!» Ну, тут я и слова не сказала,— значит, твердо! Стали мы жить вот в этой самой комнате, с этим вот буфетом, шкафом, все как есть. Жили хорошо, и за себя я до сих пор на него не в обиде, а со стариками по-

лучилось то, чего я страшилась. Тут в них, я считаю, старое купецкое нутро сказалось. Особенно у старухи. Стала она меня поедом есть: ты свертела моего сына, ты загубила его молодую жизнь, ты такая, ты сякая, ты разэтакая. «Ишь на чужое готовое добро пришла, раззарилась! А что ты принесла? Щенка своего в подоле притащила». Одно слово — ведьма, какие в сказках кровь пьют. Я бы еще ничего, выдержала. А с меня она и на Павлушку лютость свою перенесла. «Постреленок, дьяволенок» — ничего другого он от нее и не слыхал. Ну, как тут быть? Тут я, может, ошиблась? Может, нужно было нам уйти от стариков? А куда?.. Хоть погибай, а живи! А тут опять забеременела. Что с этим поделаешь? Тоже ничего плохого в этом нет, если жизнь у нас с Федей как жизнь, если бы не старики. И стариков никуда не денешь, коли они не помирают. Сами живут, а нам жить не дают. Ну и надумала я отослать Павлушку к сестре своей Маше, его тетке. Детей у нее не было, стал он для нее утешением, и ему с ней было хорошо. И думала я: подрастет — возьму. Только думала я одно, а получилось другое.

Опять—вздох, и платок, поднесенный к глазам, и дрогнувший голос.

— Человек — не дубок и не пшеничка какая-нибудь. Он растет и думает, и сердечко у него тоже по-своему чувствует. Так и Павлушка. Привезла я его, когда учиться пора подоспела, а старуха все живет, злобствует. Пожил он недели три и забунтовал. Не хочу тут жить, хочу к тете Маше! Побились, побились — отправили назад. Еще несколько лет он у нее прожил. Потом она овдовела, приехала с ним в Москву, стала у нас жить. Жили как жили, а только вижу: к ней он и ластится и целует ее, а я попробую приласкать — он как ежик. Отстраняется! А мне обидно — мое дитя, а сторонится. Ну по себе посудите: обидно! Стала я его на свою сторону склонять — одно куплю, другое куплю. Брать берет, а сторонится. Заболела я, легла в больницу — пришел он ко мне, проведал, посидел на табуреточке, как полагается. А тетя Маша попала под машину, и ее тоже в больницу отправили — не пошел. Говорит — страшно! К матери не страшно, а к ней страшно! А как тетя Маша померла, он сначала точно пришибленный ходил, а потом задурил. Задурил и задурил! И учиться не стал, и дерзким таким сделался — слова не скажи. А мы люди ведь простые, неученые. Федя смотрел-

смотрел и попробовал его ремешком. Ну как еще сына учить? Без острастки нельзя! А получилось совсем подругому: Павлушка его за руку хвать — и укусил. Отец из себя вышел. Ну и пошло у нас с тех пор невесть что: отец хочет переломить его, а тот не сдается и сделался совсем как звереныш. И со школой нелады: ему школа не далась, и он школе не дался. Бросил школу, а лет нету, на работу никуда не берут — что делать? Ходила я с ним... И куда только я с ним не ходила! И на фабрику, и на завод, и в райсовете все пороги обила. Говорят разные слова, а толку нет: то по годам не подходит, то по классам, то ростом, говорят, мал.

Ну, нашелся у Феди знакомый сапожник. Попоили его раза два — принял Павлушку к себе учеником. Только учить он его стал и тому, чему нужно, и тому, чему не нужно,— сначала за водкой посылал, а потом и пить приучил. Так мой Павлушка, не собрав разума, в люди и пошел. И в чем тут моя вина и где я оплошку в жизни сделала, не знаю. Думаю, голова на три половинки раскалывается, а не знаю. Не найду.

Эту историю рассказала Шанскому Анна Михайловна, мать того самого Павла Елагина, который шел по делу как самый дерзкий после Генки Лызлова преступник, который пустил в ход в абрамцевском лесу свой сапожный нож и который с тем же ножом задержан был недели через две в пьяной драке — с чего, пожалуй, и началось окончательное раскрытие всей шайки.

— И что он эти две недели делал — и рассказать невозможно,— продолжала Анна Михайловна.— Бился, как муха в клею. Пьяный каждый день, и ругался, и плакал, и с отцом подрался, и в окно чуть не выбросился, штаниной только за что-то зацепился и повис, ну его и вытащили. Совесть бунтовала. А потом, как попался в драке, сразу все и выложил, чтобы, значит, с души сбросить. Я так понимаю. Он такой, он к преступлению негодный, в нем хитрости никакой нет. И теперь ему все одно не жить. Погиб парень — они его прирежут, эта шпана!

Шанского покоробило, как просто и обыденно сказано было это жестокое слово, а подумав, он и сам сказал себе: «А может быть, да! Может быть, и прирежут!»

Так, одна за другой, открываются человеческие судьбы и горести, как будто бы из одних горестей состоит мир. Но такая уж выдалась тема — «кулисы жизни», как выразился один работник милиции в разговоре с писателем Шанским. Кругом жизнь как жизнь и счастье как счастье, а тема берет тебя и поворачивает в эти «кулисы», и чужие горести и думы становятся твоими собственными, и нет тебе ни покоя, ни отдыха, пока не разберешься в этих сложностях жизни. Они возникают вдруг, даже будто бы совсем из ничего, при совершенно безоблачных горизонтах.

Отец — высокий, статный, рассудительный. Мать — аккуратненькая, белокурая, с кудряшками и, по всему видно, тихого, скромного нрава. Он — токарь, она — токарь. На заводе подружились, на заводе слюбились, женились, на заводе до сих пор вместе работали, он — мастером, она — контролером ОТК. Настоящая, полная, завидная семья, каких тысячи,— жить бы ей, как всем, да жизни радоваться, а у нее тоже грех: их сын, Сеня Смирнов, тоже участвовал, оказывается, в одном деле, одинединственный раз, но участвовал. И вот теперь мать бросила работу и тревожными глазами смотрит на заглянувшего к ним писателя.

— Мне прокурор сказал: берегите, мамаша, второго сына. Но как беречь? От кого беречь? Кругом люди как люди, и как им в душу влезешь? А ведь он тоже подрастает, ему тоже пятнадцатый год, и неужели пройдет год-два — и опять стукнут в четыре часа утра и у меня заберут второго? — Она хватается за виски и смотрит перед собой остановившимся взглядом.— Ой, как лихо! У меня точно камень над головой висит и кровь стынет. Я иногда хожу по комнате как дурная и не знаю, что делать. Боюсь каждого мальчишки, зашедшего к сыну, каждого разговора. Если в десять часов его нет, меня колотить начинает. Я всего боюсь, потому что я ничего не знаю — отчего это? Вот говорят — родители виноваты. Ведь он при мне закурить себе ни разу не позволил, ни выругаться. Он был и нянькой у меня, и домоседкой, и помощником был. Каждое лето он в пионерский лагерь ездил, премии получал и за поведение и за спорт, комсомольцем стал, и вот комсомольцем в такое дело попал. Почему это?.. Почему же я-то? Ну подождите, почему же я-то не стала ни воровкой, ни спекулянткой? А ведь как мы росли? Мы

в самый голод росли. А жили в революционном духе, приподнятом. И на комсомольских собраниях сидели, и собрания были интересные, и не затирали ни одного вопроса, ни бытового, ни производственного, и не замазывали, и все рассматривали со всех сторон. И вся красота была в этом — все решали по душе, по совести. Так почему же сыну-то моему привилось плохое? Нет! Что ему привилось, я не верю. Он просто попал под возрастное брожение и был с ними только один раз. Но почему же он в этом-то одном разе ошибся? Всю жизнь он в наших руках был, а как оторвался, так сорвался. Я считаю, его Пашка Елагин спутал. Больше некому.

— А у самого голова где была? — вмешался молчавший до сих пор отец.— Не задумываются ребята, вот что! Жизнь все время видят, как розовое яблочко, с румяного бока, как луну — все одна сторона светится. А в жизни-то все есть.

— А у Пашки,— румяная жизнь, что ли? — возразила мать.— Одна старуха чего стоит — упырь!

— А наш? — не соглашался отец.— Чего он плохого видел? Ничего не видел. И дома все хорошо, и в школе все хорошо, ну, значит, все хорошо. А когда все хорошо — и думать не о чем. Подвернулось одно — дай попробую! Подвернулось другое — дай попробую! А что к чему — не знает, что можно, чего нельзя — не знает, что будет за это самое «нельзя» — тоже не знает. Все думают — с ними в бирюльки играют. Вот и доигрались! А если б знали, что к чему, да притягивали бы их побольше к работе...

— А учиться когда? — не согласилась снова мать.

— А труд не ученье? В труде человек крепче на ноги становится, а не то что... Привыкли готовым пользоваться!

Познакомился писатель Шанский и с «другой половиной луны» — жизнью Генки Лызлова, но это нагромоздило только новые вопросы. Вот пришлось ему покопаться в материалах о детской преступности в старой Москве: там все было проще — голод, нужда, нищета, Хитров рынок, его дикая, полуживотная жизнь. «На преступный путь их толкнули две страшные силы — холод и голод»,— читает он в большом, на полтысячи страниц, исследовании «Дети-преступники».

У нас все другое — жизнь другая, люди другие, дух другой, у нас «улица» даже другая, и Генка Лызлов был

и сыт, и одет, и обут, и не за куском хлеба он поехал в Абрамцево.

— Так в чем же дело? Если не нужда, то что же? Может быть, ошибка матери, которая приняла первую игрушку, принесенную Генкой из детского садика? Или пестрые книжечки, которые доставал где-то Вадик? «Купецкая» жестокость в старообрядческом доме Пашки Елагина? Витька Крыса, уходящий корнями в какую-то прошлую темноту жизни, может быть, в Хитров рынок, этот «вулкан преступности», как он назван в том же исследовании? Или что-то еще, нераскрытое? Или низменность побуждений и целей, животное начало, победившее человека? Или все вместе взятое, целый узел, клубок?

Шанский ищет ответа в книгах, в беседах с криминалистами и не находит. Он говорит с одним, с другим, с третьим — с учителями, родителями, рабочими, мужчинами и женщинами, старыми и молодыми, говорит со всеми, кто думает и болеет о том же самом, у кого живая душа и беспокойное сердце, не способное ограничиваться видимостью жизни. И каждый говорит что-то свое, замеченное и передуманное,— о семье и школе, о среде и школе, о школе и обществе, о баловстве и труде, о комсомоле и о том, как же все-таки у семи нянек получается дитя без глаза?

34

Суд...

Вот и настал этот решительный и страшный день. Вернее — дни, потому что продолжался суд целую неделю. И целую неделю Нина Павловна прожила в состоянии неимоверного напряжения,— все нервы завязались где-то в одном узле, под самым сердцем, и вся душа, вся жизнь ее ушла в этот узел. Ее даже не тронуло то, что Яков Борисович отказался идти на суд — все его опасения оказались напрасными, он получил назначение и поехал теперь знакомиться с порученными ему «объектами». Нина Павловна этому была даже рада,— что расклеилось, не склеить заново.

Лучше одной! Если все это нужно вынести перед своей совестью и лицом народа и пережить все, начиная с наголо стриженной головы Антона,— лучше одной!

Нина Павловна представляла его с той пышной, немного причудливой шевелюрой, которая делала заметным Антона среди многих и многих ребят. А теперь — почти голый, туго обтянутый кожею череп, с неожиданно выступившими на нем какими-то углами, буграми и шишками, и обнаружившиеся вдруг неестественно большие уши, и растерянный, а в один момент даже испуганный взгляд.

Этот момент поразил Нину Павловну в самое сердце,— когда подсудимых под конвоем вели по коридору в зал суда. Кругом толпился народ — родные, свидетели и просто любопытные, всегда и всюду жадные до разного рода зрелищ, и каждого подсудимого проводили сквозь это множество глаз поодиночке под охраной двух конвоиров с винтовками.

— Как настоящих преступников! — приглушенно сказал чей-то жалостливый, полусочувственный голос.

— А кто же они? Они преступники и есть! Злодеи! — сухо ответил ему другой.

Антона все не вели, и каждый раз, когда в конце коридора открывалась дверь, Нина Павловна напрягалась, подготавливая себя спокойно встретить сына.

Но шли другие, все стриженые и худые, с заложенными за спиною руками, одни понурые, другие — с подчеркнутой и, по всей видимости, напускной развязностью и жалкой, через силу, полуулыбкой. И вот наконец открылась дверь, и появился он, Антон, ее сын. Он ступил в коридор и, очевидно испугавшись людей, растерянно остановился, лицо его искривилось, и в глазах мелькнул тот самый незабываемый взгляд, который всю ночь потом не давал покоя Нине Павловне. Задержка была совсем маленькая, чуть заметная, но шедший сзади конвоир строго прикрикнул, как Нине Павловне показалось, даже толкнул Антона, и тот пошел, ссутулясь и опустив голову, крепко сцепив за спиною руки.

— Тоник! — окликнула она его.

Антон вздрогнул, оглянулся, но Нина Павловна не была уверена, разглядел он ее в толпе или нет,— послышался опять окрик конвоира, и Антон пошел дальше, в зал суда, на скамью подсудимых.

Скамья эта расположена была слева от судейского стола за высокой загородкой, из-за которой торчали только головы тех, кто должен был теперь ответить за содеянное людям зло. Возле барьера стояли три конвоира и зорко

следили за каждым движением ребят. Тут же, возле барьера, сидели адвокаты, напротив — прокурор, а в центре, на высоком помосте, за столом, покрытым зеленым сукном, под портретом Ленина,— судья, средних лет женщина в строгом, темно-синем костюме, и два заседателя — мужчина, очевидно, рабочий, тоже строгий, немного напряженный, и молодая интересная девушка с изящной, подобранной фигуркой и таким же изящным, точно нарисованным личиком. Ее пышная, со вкусом сделанная прическа и каждый день меняющиеся кофточки — лиловые, оранжевые, зеленые, тонкие и великолепно сшитые — находились в явном контрасте с тем, о чем здесь шла речь. Председательствующая задала, однако, тон строгости в самом начале процесса и провела его до конца. Она была умная женщина, с характером, много видевшая перед собой разных судеб, людей и трагедий, и Нина Павловна, вглядываясь, старалась понять ее. Напрягая все силы, чтобы сохранить выдержку и спокойствие, Нина Павловна так волновалась в душе, что строгий голос судьи, ее пристальный взгляд и решительный поворот небольшой, гладко причесанной головы казались ей выражением крайней казенщины и бездушия. Такой все равно! Она осудила уже, вероятно, не один десяток людей и много раз слышала и правду и ложь, честность и подлость, раскаяние и хитрость, видела слезы подлинные, людские, и слезы фальшивые, разыгранные с настоящим артистическим талантом. Перед нею закон, и ей, конечно, безразличны судьбы этих щипаных, жалких галчат, в которых превратились здесь грозные в прошлом забияки.

По мере того как разворачивался процесс, эта настроенность Нины Павловны против судьи исчезала.

Взять хотя бы этого отвратительного человека с крысиным лицом и вмятым подбородком. Все родители говорят, что он самая главная фигура во всей компании. Но посмотрите, как он скромненько сидит в самом углу и какими невинными глазами смотрит вокруг себя. А каким тихим, безобидным голосом он рассказывает историю своего ранения: как он где-то и когда-то шел вечером по набережной Москвы-реки, услышал крик девушки, бросился ей на помощь и за это «получил ножа». И мать, доподлинно знавшая историю своего сыночка, сидит здесь же и помалкивает, и ребята, особенно Вадик и Генка Лызлов, явно стараются его выгородить: он везде оказывается

случайно, он ничего не делал, ничего не совершал, ни к чему не подстрекал, а наоборот, предупреждал и отговаривал. И адвокат, защищающий Витьку, хватается за эти показания и пытается превратить своего подзащитного в агнца невинного. Нине Павловне понравилось, как судья насторожилась при этом, как глянула на адвоката и подала ему сердитую реплику, как стала вгрызаться в отношения, которые были между членами шайки. Она задавала вопросы одним, задавала другим, и тогда бледнело участие Генки Лызлова, который упорно брал на себя роль главаря, и постепенно на первое место выдвигался Виктор Бузунов, по кличке Крыса.

Если бы судья проявила такую же принципиальность и к Антону! Если бы она обратила внимание, как он жалок сейчас в своей спортивной курточке, со своей стриженой, угластой головой, большими ушами и кашлем. Конечно, он ходил с «ними», он принимал участие в этих ужасах, о которых так обстоятельно рассказывает Вадик, он жал руку Крысе, считал своим товарищем Генку Лызлова и стоял на страже, когда Пашка Елагин, на лице которого вспыхивают теперь ярко-красные пятна, пырнул ножом женщину. И, конечно, их нужно осудить!

Но неужели судья все-таки не поймет, что Антон совсем не ровня Крысе, Генке, даже Вадику, этому когда-то забавному карапузу, а теперь такому отвратительному цинику. Подумать только: продать собственной матери ворованные часы, продать для себя, а деньги, полученные от матери, пустить в воровской котел. Даже Бронислава Станиславовна, при всей своей куриной слепоте по отношению к сыну, не вынесла тяжести такого обмана, вскрытого еще на предварительном следствии,— она слегла в постель. А Антон... Ведь он ни разу не взглянул на людей, пока сидит на этой скамье позора. И даже свои показания он давал нагнув голову и потупив глаза; он рассказал и о Крысе, и обо всем, что было, и о том, чего, может быть, даже и не было. Ну, конечно! Его, глупого, втянули, сбили, запутали эти ужасные дружки-товарищи, а он говорит, что сознательно пошел на такие дела.

— Интересно было знать, как это делается,— сказал он, не поднимая головы.

— Романтика? — заметил заседатель, тот строгий мужчина, рабочий.

— Не знаю... Может быть!..— чуть слышно проговорил Антон.

— Ну и что же? Романтично получилось? — иронически спросила судья.— Понравилось?

— Да! — ответил Антон.— До случая на озере.

Он рассказал о девушке, упавшей на грудь молодому человеку, и обо всем, что он в связи с этим пережил.

— Да, но вы потом поехали в Абрамцево! — заметил прокурор.

У Нины Павловны замерло сердце, и она чуть ли не с ненавистью посмотрела на него.

Прокурор невысокого роста, с палочкой. У него розовые щеки и седые, бобриком стриженные волосы, совсем не строгие, а наоборот, детски наивные голубые глаза и колодочка разноцветных орденских ленточек на груди. Он кажется таким добрым и мягким; так почему же он своим напоминанием об Абрамцеве старается сейчас сбить то явно благоприятное впечатление, которое произвел рассказ Антона? А он смутился, молчит. Ну чего он, глупый, молчит?

— Да... Поехал...— преодолев это смущение, чуть слышно проговорил наконец Антон.— Смалодушествовал.

— А может быть, вы и теперь малодушествуете? — впилась в него взглядом судья.

— Нет! — Антон, кажется, впервые поднял на нее глаза.— Нет! Теперь я твердо говорю: это низко!

Нина Павловна видит, как потеплело лицо у одного заседателя, рабочего, как живо блеснули глаза у девушки в лиловой кофточке, и только взгляд судьи был такой же острый и взыскательный. Только бы она поверила! Лишь бы она взвесила все это, разобралась и поняла, эта строгая женщина в темно-синем костюме и с гладко причесанной головой!

Нина Павловна всматривалась в ее лицо, вслушивалась в интонации голоса, стараясь уловить за видимой официальной строгостью какие-то человеческие или, может быть, женские, даже материнские нотки. Ведь есть у этой женщины своя семья и свои дети! И какой же это неимоверный труд! Конечно, она судила не один десяток людей, но, может быть, и не один десяток оправдала. И в этом последнем решении: виновен — не виновен, осудить или оправдать, заключается такое бремя, которого не несет в себе ни одна человеческая профессия. Судьба

человека и судьба общества! И все это нужно взвесить на хрупких весах совести.

С такой же болезненной чуткостью вслушивалась Нина Павловна и в показания свидетелей. Поэтому она с неприязнью слушала слова директора школы Елизаветы Ивановны о том, как трудно ей и как сложно, как многолюдно в школе и многосменно и как она при всем том «освоила детский контингент», собранный из разных школ. А когда председательствующая попросила ее быть ближе к делу, она стала чернить Антона, всячески подчеркивая его грубость, дерзость и очень трудный, совершенно дефективный характер.

Нина Павловна разволновалась от этого до крайности и успокоилась, когда выступившая вслед Прасковья Петровна сказала совсем другое.

— Это характер скорее сложный, чем трудный. Но разобраться в нем я, к стыду своему, может быть, не успела, а вернее, чтобы не оправдывать себя, не сумела. А разобраться нужно было, как нужно, на мой взгляд, сделать это и теперь.

И все, что говорила она дальше, было скорее анализом, чем обвинением, скорее раздумьем, чем обидой.

Нина Павловна боялась за бабушку, за то, что она может наговорить в своих показаниях, она даже вообще была против того, чтобы старушка шла в суд! Но бабушка не хотела и слышать никаких уговоров и пришла, и когда стала перед судейским столом, то прежде всего заплакала. Трясущимися руками она полезла в карман, потом в рукав, в старую клеенчатую сумочку и никак не могла найти затерявшийся где-то платочек и не могла остановить непослушных слез.

— Вы что же, свидетельница, плакать сюда пришли,— строговатым тоном попыталась остановить ее председательствующая, но, по всему видно, для порядка.

— Ведь я ему бабушка, товарищ судья! — ответила старушка.— Ведь я его вот каким помню! — Она нагнулась, показывая рукой, каким маленьким помнит она Антона.— Ведь он такой красивый мальчик был, курчавый, а теперь...— Она посмотрела на стриженую голову Антона и заплакала еще больше.

Судья нетерпеливо повернулась в своем кресле с высокой, увенчанной государственным гербом спинкой, но остановить еще раз старуху не решилась. А бабушка гло-

тала слезы и непослушными, дрожащими губами добавила:

— И нежный он был, как колокольчик.

— Хорош колокольчик! На большую дорогу вышел! — уже совсем строго перебила ее председательствующая.

Это замечание сразу отрезвило старушку, слезы ее неожиданно высохли, а в голосе появилась твердость:

— Нет, граждане судьи! Это уж вы поверьте мне, как бабушке. Ведь всех больных кошек с улицы он, бывало, в дом перетаскает. Уж я его ругала, ругала... И рисовал он, бывало, все зайцев. Зайцы — солдаты, зайцы — офицеры. Машину рисует — на нее тоже зайцев сажает. А что деньги... Ну, никогда-то он не гнался за ними. Собирал он марки. А потом бросил. Непостоянный он был, чего греха таить, то за одно возьмется, то за другое. Но вот охладел он к маркам, мог бы продать, а он так просто, за здорово живешь, вот этому самому с вертучими глазами отдал, подарил, а тот продал по пять рублей за штуку,— бабушка указала на Вадика.— Опять я Антошку за это поругала, а он — в слезы. Нервный он был, самолюбивый и непоседа — страсть! Бывало, слушает сказку, пусть самую интересную-разынтересную, а все равно и руками и ногами дрыгает. Я ему, грешная, иной раз, бывало, руки свяжу — ну, посиди ты хоть минутку-то спокойно!

В напряженную тишину зала неожиданно врывается смех — улыбаются заседатели, адвокаты и сидящий среди них писатель Шанский, смеются в публике, смеются подсудимые и смотрят на спрятавшегося за барьер Антона. Только судья сохраняет на лице спокойствие и стучит карандашом по графину с водой. А бабушка, остановив поток своих воспоминаний, горестно вздохнула:

— И что с ним случилось — никак я ничего не пойму!

Но что значит бабушка со всеми ее слезами и наивностями, что значат все страхи и волнения самой Нины Павловны по сравнению с тем, что выпало на долю пострадавшей? Она вошла в зал, стараясь держаться прямо и гордо, хотя следы пережитого лежали совершенно явственно на ее измученном лице, с больным, горячечным блеском в глазах, и глухой кашель, то и дело прорывавшийся из ее груди, говорил о том же самом. Особенно он стал душить ее, когда она, ответив на все необходимые вопросы, стала рассказывать о том, что случилось с ней в Абрамцеве.

— Я всегда была трусихой, но здесь... Здесь я стала обороняться. Когда раздался треск сучьев под их ногами, когда блеснул нож и мне тихим, подлым голосом было сказано: «Молчать!» — я не захотела молчать. Я стала сопротивляться. Меия потом называли неразумной: из-за чемодаиа рисковать жизиью...

Глубокий кашель прервал опять ее речь, ио женщииа подавила его явным усилием воли.

— А я не чемодаи защищала, к которому они тянули свои руки. Я...

До сих пор женщина говорила тихо, медленно, и вся ее невысокая фигура выражала удручеииость и внутреииюю боль. Но тут оиа выпрямилась, стала больше, и голос ее приобрел неожидаиную силу:

— Я сына своего отдала на защиту своей земли. Почему же я не могу свободио ходить по ней? Почему я должиа прятаться, молчать и отступать перед злой силой, которая топчет эту землю? Я плакала о сыие, я считала себя несчастиейшей матерью из всех матерей, я завидовала тем, кто встречал после войны своих близких живыми и здоровыми. А теперь я горжусь! Лучше потерять сына, чем вырастить его таким — вором, насильником и врагом людей. Достойнее!

Зал замер, безмолвио слушая то, что говорила эта выросшая у всех в глазах женщииа.

35

Какая это изнурительиая гимиастика чувств — надежда сменялась отчаяиием, стыд — возмущением, горе — неизвестно откуда возиикающим тупым безразличием. И Антои был так близко — несколько шагов — и в то же время бесконечио далеко: нельзя перекииуться ни словом, ии полсловом. Одии за другим выходят родители, свидетели, потерпевшие и рассказывают, что и как было. И Ниие Павловие, когда пришел черед, тоже пришлось отчитаться во всем и покаяться. И все постепеино выясняется — возникает достоверная картина. Теперь — слово за прокурором.

На всем протяжении процесса Нина Павловна смотрела на него со смешаиным чувством симпатии и педоумеиия. Обвииять!.. Какая ужасиая профессия! И как может это делать такой добрый на вид человек с детскими,

наивными глазами, так мило разговаривающий в перерывах с писателем Шанским?

И, словно отвечая на эти недоумения, прокурор начал свою речь негромким, мягким голосом, в котором лишь постепенно стали проявляться и крепнуть твердые и жесткие ноты. Он говорил об общественном значении этого процесса, далеко выходящем за пределы зала суда. Он говорил о родителях, которые, оберегая детей от насморка, не уберегли их от преступления. Он говорил о школе, где пятерка и погоня за процентом часто заслоняют то, что происходит в душах детей. Он говорил о комсомоле и о тех случаях, когда живое общественное дело может превращаться в форму, в план мероприятий и, еще хуже, в равнодушие к человеку. «Мы тебя не примем, потому что у тебя тройка по физике».— «Ну и пожалуйста! Я и без вас обойдусь!» И парень обходится и идет на улицу, где его ждут «ловцы человеческих душ». Он говорил о важности системы взаимосвязи, контактов и о том, как при отсутствии этих контактов в образовавшуюся щель прорывается враг.

— Таковы основные причины того, чем мы здесь занимаемся,— подвел итоги своему исследованию прокурор.— Но причины — не оправдание. Иначе получится, что виноватых нет. Причины объясняют, но объяснение не снимает ответственности. Лишь в малом возрасте оно может считаться оправданием, и то — в какой-то степени! Но наступает момент, когда человек должен перешагнуть через все причины, преодолеть их, когда человек должен быть нравственным вопреки всем причинам, условиям и влияниям. На то он человек! И тогда он в полной мере отвечает за все, что свершил: за отсутствие сдерживающего начала, за распущенность чувств и мыслей, за пренебрежение к общественным законам и нормам морали, за доморощенный нигилизм, за циничное равнодушие к жизни, за циничный интерес к преступлению, за лжеромантику и лжедружбу, за стремление веселее пожить, погулять за счет тех, кто трудится. Не будем за причинами забывать о последствиях. Слишком много зла приносят люди, подобные тем, которые смирно сидят сейчас на скамье подсудимых. Слишком велик гнев народный против них!

Прокурор переступил с одной ноги на другую, опершись на палочку, продолжал:

— Кого из нас не потряс вид потерпевшей и кого не тронули ее слова: «Я отдала сына на защиту родины, почему же я не могу свободно ходить по ней?» И вот на нее, мать погибшего солдата, нападают насильники, позорящие ту землю, ради которой пролита солдатская кровь. Там полчища, изгнанные нашим народом, здесь — жалкие одиночки, таящиеся в народе. И я недаром ставлю их рядом, потому что богатые и жулики — это две главные разновидности паразитов, как сказал Ленин, потому что те, кто сидит перед нами на скамье подсудимых, это последние представители, последние носители той идеи насилия и паразитизма, на которой до нас зиждился весь мир. Ленин предупреждал нас, что капитализм умер, но труп его будет смердеть. И он смердит и смрадом своим отравляет наш воздух. Вот почему не должно быть пощады тем, кто смердит.

И дальше, разобрав шаг за шагом все обстоятельства дела, «фактическую сторону» и «доказательную сторону», роль каждого из обвиняемых, прокурор сформулировал свои требования. Нина Павловна перепутала все, что он говорил об остальных. Она запомнила только Сеню Смирнова, которому прокурор предлагал вынести условное осуждение. Но ее поразил срок, который он требовал для Антона: пять лет заключения.

— Вот вам и наивные глаза! — растерянно сказала Нина Павловна, когда в перерыве встретила адвоката, защищавшего Антона.

— А как же? Прокурор! — спокойно сказал тот.— Ну ничего! Мы его за этот прокурорский тон и зацепим. Проникновенности мало!

И зацепил.

— Я с большим удовольствием, можно сказать, с наслаждением выслушал проникнутую высоким гражданским пафосом речь представителя государственного обвинения.— Адвокат слегка поклонился в сторону прокурора.— Но я позволю себе подойти к делу с другой стороны, в той мере, в какой это касается моего подзащитного. Мы имеем дело не с голым фактом и не с абстрактной категорией преступления,— перед нами живой человек, молодой человек, и для нас далеко не безразлично, что он собой представляет и, следовательно, каковы перспективы его дальнейшего развития и его судьбы.

Адвокат, полный, грузный, с усталым лицом и неболь-

шой бородкой клинышком, перевел затрудненное от возраста дыхание, как бы готовясь к большому и серьезному сражению.

— Я позволю себе поставить вопрос о личности человека,— продолжал он,— о ее основе и, так сказать, внешнем, поверхностном выражении. Вот мы выслушали здесь такие душевные показания бабушки моего подзащитного. «Нежный, как колокольчик!» И я ей верю! И мне больно, что этот нежный когда-то, мягкой души мальчик, со всеми его кошками, марками, зайцами, мог так огрубеть, чтобы дойти до преступления. Но огрубел ли он? Чтобы разобраться в этом, нужны тонкость и проникновение, чего товарищ прокурор, при всем моем уважении к нему, надо сказать, не обнаружил.

Адвокат сдержанно улыбнулся и опять слегка поклонился в сторону прокурора.

— Не обнаружила этого, к сожалению, и директор школы. И мне кажется, что более права классная руководительница, когда говорит, что это характер скорее сложный, чем трудный. Я бы добавил еще: путаный, а может быть, еще больше: изломанный. Вдумаемся сначала в диалектику чувств. Оскорбленная нежность может превратиться в обиду, неосуществленная мечта о хорошем — в неверие в это хорошее, а поиски необычного могут привести к вывиху и извращению. И всмотримся теперь в жизнь моего подзащитного.

Это было жестоко, со стороны адвоката это было очень жестоко: все, за что терзала теперь себя Нина Павловна, о чем думала в долгие бессонные ночи, все это сказано вслух, при всех. Инстинктивно она закрыла лицо руками, но тут же отняла их, готовая принять, все что будет сказано.

— Семья. Мать и отец, папа и мама — это первые два авторитета, на которых для ребенка зиждется мир, зиждется вера в жизнь, в человека, во все честное, доброе и святое. И вот все рушится! Мальчик тоскует об отце, но обманывается в этой мечте так же, как в мечте о матери. Тот, кто приходит на смену отцу, не ослабляет, а усиливает душевный разлад, олицетворяя фальшь, таящуюся в жизни. Все идет вкраcкос — самые основы, опоры, на которых держится нравственный мир формирующегося человека.

Кстати, о возрасте. В развитии человека есть несколько переломных моментов, и трудно сказать, который из

них самый важный. Но переход от детства к юношеству — это, пожалуй, самая шаткая, потому и самая трудная ступень: познание себя и мира, становление характера, выработка мировоззрения, воли, постановка целей и идеалов, нравственная оценка жизни, людей, себя и определение своего отношения ко всему окружающему. Подросток мужает, становится взрослым. Становится, но еще не стал. Все на переломе, все на распутье. Жизнь сложна, запутанна, противоречива, в ней нужно разобраться, но так еще мал жизненный опыт, так слаба еще критическая оценка и самого себя, своих возможностей, своих прав и обязанностей. Юность самонадеянна. Она так жаждет больших дел и свершений, героизма и романтики, она так безгранично верит в свои силы. Я все хочу и все могу! И потому все, что мешает и сдерживает, — долой! Все, что помогает и потворствует,— да здравствует! Главное — самостоятельность! Главное — независимость! Главное — утверждение личности, пусть на неправильной, пусть на ложной основе, но утверждение!

И вот здесь-то ее и поджидают опасности. Можно пойти туда, а можно свернуть совсем и совсем не туда. Так свернул и мой подзащитный. Это факт, это установлено судебным следствием, признано им самим, и юридического спора здесь нет. Шелестов заслуживает наказания. Речь идет об отношении к личности: как далеко зашла гниль? Захватила ли она основы личности или коснулась только ее поверхности? Этот вопрос, к моему удивлению, и не был поставлен представителем государственного обвинения.

Новый поклон в сторону прокурора, но уже без улыбки. И вообще усталость постепенно исчезала с лица адвоката, оно становилось сердитым, почти злым, и весь он как бы загорался скрытым боевым огнем.

— Я утверждаю второе: душа его не подернулась пеплом. Шелестов — не примитив, ему не просто нужны выпивка и деньги, а я хочу верить, что они ему вообще не нужны и низменные побуждения ему чужды. Я хочу верить, что Шелестов — это хаос, из которого рождается человек! Процесс этого рождения осложнился, и искривился, и затянулся, а он и вообще не укладывается в метрические сроки и не завершается с получением паспорта. Паспорт в кармане, а в голове дурь! Все неустроенно, все неулаженно и зыбко. Куда идти? Зачем идти?

К чему стремиться? Да и нужно ли стремиться? Не у всех ведь сводятся счеты с жизнью, и не у всех она получается по таблице умножения. Так и Шелестов. Он искал себя и не нашел и запутался в этих поисках. Он искал друзей и не нашел, а кого нашел, в тех ошибся. И вот они сидят перед нами — поникшие, жалкие, потому что за ними нет правды, нет дружбы, за ними нет чести и высоты тех идеалов и целей, которыми одухотворено все наше советское общество. Каждый из них имеет свой характер и свою судьбу, и дело суда оценить каждого из них. Я же говорю о своем подзащитном — Антоне Шелестове, шестнадцати лет от роду. При ясности наших больших общих дорог он начал петлять по глухим, болотным тропам, которые и привели его в трясину. Он заблудился, но не испортился. Я верю в него и призываю к этому вас, граждане судьи. Осудить ведь легче всего, и куда труднее поверить в человека и в его будущее! А потому я выражаю свое несогласие с требованием прокурора и прошу применить к моему подзащитному условную форму наказания. Дадим ему надежду и выход!

Не успела Нина Павловна в следующем перерыве пожать руку защитнику за его речь, как уже слышится возмущенная реплика:

— Адвокат-то распинается! Из бандита ангела пресветлого сделал, страстотерпца несчастного. Колокольчик нежный! Тьфу!

— Тыщи! — коротко отвечает на это чей-то другой голос, пренебрежительный.

Нина Павловна вспыхивает:

— Какие тыщи?

— Какие?.. Обыкновенные. Отвалила небось ему без счета, вот и старается.

Хмурый человек холодными глазами смотрит на нее.

— А как же тогда защищать можно? Родители в довольстве живут, с квартирами, с дачами, а сынок грабить идет. Сами от народа отшатнулись и своего сына паразитом сделали.

Нина Павловна не то со смущением, не то с возмущением резко повернулась и пошла, но и спиною своею чувствовала холодные, как ледышки, глаза хмурого человека.

А разговоры вспыхивают то здесь, то там, а когда суд удалился в совещательную комнату, они, в ожидании приговора, разгораются в целые дискуссии.

— Ну что им нужно было? — слышится в углу беспокойный, взволнованный голос.— Ничего не понимаю!

— А что тут непонятного? — отвечает с соседнего диванчика другой.— Сказано — пережитки капитализма.

— «Пережитки, пережитки!» — еще больше волнуется первый.— Вот и будем твердить, потому что сказано! А почему живут эти пережитки? И сколько они будут жить? Почему носителями этих пережитков оказываются самые молодые, у которых и родители выросли в наше, советское время? Они учились в наших школах, читали нашу литературу, слушали радио, они были членами нашего общества, почему же все это прошло мимо них? Об этом думать нужно!

— Гуманности много! — ответил третий голос, на этот раз недовольный и злой.

— Как это — гуманности много?

— Очень просто. Ну вот посадят их, всю эту шушеру, что сейчас из-за загородки, как телята, выглядывают. А вы думаете, они долго отсидят? Там зачеты, перезачеты, амнистии-разамнистии. Раз-два — и готово, здрасте-пожалуйста, принимайте гостей — выпустили!

— Ну, значит, так надо, если выпустили. Там на это начальство есть.

— Вот они так и смотрят. Освобожусь! И наглеют от года в год, потому что видят сочувствие к себе. А какое может быть сочувствие к этой плесени нашей жизни? Это же трутни! И на кого они руку поднимают? Я, к примеру... Я свой путь проложил собственноручно, и жизнь моя, скажу вам, не легкая была — и сейчас у меня мозоли на руках. А они ко мне в карман норовят. Да если я поймаю в своем кармане чужую руку, я пальцы выломаю и глаза повыколю. Отвечать только за таких стервецов не хочется. И никакой к ним ни жалости, ни сочувствия не должно быть. Была бы моя власть — повесить бы одного, другого на виду у всех или отрубить по одной руке, как, говорят, в иных странах делали, так они вдругорядь не полезли бы!

— Оттого-то, видать, тебе и власти не дают! — врезался в разговор женский голос, задиристый.— Рубака какой нашелся! А может, он ошибся, парнишка-то? Может, из него потом человек сделается, если его к народу повернуть?

— Повернешь их. Жди!

— А чего не повернешь? Медведей и тех учат. Мышка дрессированная по проволоке бегает. А человек чем хуже?

Нет, милок! Грудных детей нужно держать в строгих руках, это верно, но с любовью, без зла, как хорошая мать, справедливо и с умом-разумом.

— Да с разной там моралью да уговорами! — не сдавался «рубака».— А с ними нужно: раз — и готово! Запичужить их куда-нибудь, куда ворон костей не заносил. В Сибирь! Богатств там — пруд пруди, только работай, помогай родине. Вот и пусть едут, осваивают!

— А что? Это товарищ правильно говорит,— вмешался еще один голос.— Почему наш цвет, наши лучшие девчата и ребята хотя бы на целину едут? У меня, к примеру, дочка поехала. Почему они там живут в палатках и мирятся с разными невзгодами, а эта гниль прохлаждается тут в Москве, потому что хочет жить и веселиться? Я считаю неправильным это, и весь юридический кодекс нашего закона по-другому повернуть нужно.

— О-ох, господи! — раздается не то старческий вздох, не то зевота.— И ничего-то мы не повернем, и ничего-то мы не сделаем. Говорим-говорим, а ни к чему наши разговоры не приведут: жизнь, как она идет, так и идет.

— Это почему же мы не повернем и не сделаем? — снова врезался в разговор тот голос — женский, задиристый.— Все мы можем повернуть и все сделать, если, конечно, не будем сложа руки сидеть и на разные там пережитки все сваливать. Нам не сваливать на них нужно, а приглядываться: чем они у нас держатся? В каких таких щелях хоронятся? И вытаскивать все на солнышко, как шубы весной, чтобы моль не ела. Да и к своим нажиткам присмотреться не мешало бы.

Так тысячу проблем успели обсудить люди, пока в совещательной комнате решалась судьба подсудимых. Писатель Шанский переходит от одной группы людей к другой, прислушивается к разговорам, спорам, стараясь не вмешиваться в них, а схватывать их в естественном течении. Только изредка, когда разговор грозит иссякнуть, он подает какую-нибудь острую, иногда умышленно спорную реплику, на которую не может не ответить та или другая сторона. Эти разговоры для него тоже очень важны — они как-то и в чем-то, может быть, сумеют помочь в решении навалившихся на него вопросов. Кто из спорящих прав, кто — не прав, в этом нужно еще разобраться, но и то и другое одинаково интересно и важно, потому что это думы народа.

Нина Павловна видит все это и слышит, но точно сквозь туман. Все помыслы ее устремлены туда, в совещательную комнату: там, может быть, тоже идут споры, потому что уж долго что-то перерыв затянулся, и секретарь суда давно уже поглядывает на ведущую в эту комнату, никому сейчас не доступную дверь.

Наконец: «Суд идет!»

Все встали, и началось чтение приговора. С замиранием сердца слушала Нина Павловна громкий, четкий голос судьи, изложение сущности дела, всех доказательств и обоснований, что, казалось, и не нужно было читать,— все ясно, все доказано, и никаких больше надежд.

— ...Смирнова... освободить из-под стражи!..

Ничего больше не запомнила Нина Павловна — кого на сколько осудили, не заметила она и одобрения, которым отозвался зал на приговор,— ждала она только одну-единственную фамилию и услышала: «Три года заключения в детской трудовой колонии».

Все узлы, в которые все это время были связаны нервы Нины Павловны, вдруг лопнули, все завертелось, куда-то полетело, и Нина Павловна сама не почувствовала, как у нее вырвался крик, и сама не узнала своего голоса. Но по тому, как обернулись все к ней, она поняла, что это крикнула она. А главное — отчаянное лицо Антона, перекошенное в болезненной гримасе. Нина Павловна испугалась и крепко зажала рот обеими руками.

И вот последний миг — опять коридор, опять конвоиры, и опять сквозь строй человеческих глаз проходят уже не подсудимые, а осужденные, опять по одному, с заложенными за спину руками.

Нина Павловна заняла теперь место в самом первом ряду, у выходной двери. Она не могла себе простить своего крика, и перед нею неотступно стояло перекошенное лицо Антона. И теперь она собрала все силы и, когда Антон шел, улыбнулась ему и помахала рукой. Плохо, однако, удалась ей эта улыбка, или Антон не поверил ей, но, проходя мимо нее, он крикнул:

— Мама, не плачь!

Дверь хлопнула, все кончено!

Больше сдерживать себя было незачем.

Часть вторая

1

Все кончено!

Пока Антон был в милиции, в камере предварительного заключения, теплилась втайне какая-то надежда, самообман, порождаемый звучанием слова,— предварительное, значит, все-таки не совсем настоящее заключение, и, может быть, настоящего-то еще и не будет. По крайней мере, такая мысль мелькнула у него, когда он, стоя у окна камеры, заметил нацарапанную на подоконнике какую-то надпись. Надпись была затерта, но затерта небрежно, и Антон сумел разобрать: «Здесь сидел Юра Кравчук и ждал...» Дальше шло изображение тюремной решетки.

Антону тоже захотелось оставить след о себе в этом грустном месте, и он по старой «вольной» привычке стал шарить по карманам. Но в карманах ничего не оказалось — ни карандаша, ни ножа, ни гвоздя, ничего — все было изъято. Обозленный, он отломал крючок от ботинка и начал было царапать свою мемориальную надпись. Но тут-то снова пришла обманчивая мыслишка: а может быть, еще тюремной решетки и не будет! — слишком легко и мирно плавали в воздухе белые пушинки июньского тополевого семени.

Но при первом же допросе, едва лишь Антон попробовал что-то «забыть» и от чего-то отказаться, он увидел, что все уже известно и доказано и отпираться нет никакого смысла. Обидней всего было то, что, когда он говорил подлинную правду, ему не верили, а когда сгоряча дал честное слово, даже усмехнулись.

— Честь ты свою потерял, и нечего о ней разговаривать. Ты факты выкладывай!

И капитан Панченко, который участвовал в этом допросе, повел тогда своею черной бровью.

— Вот, сынок, какие пироги-то получаются!

И так изо дня в день. Антона водили на допросы, на очные ставки и, посадив против него Вадика или Генку Лызлова, спрашивали: «Знаете ли вы сидящего против вас гражданина?» Антон покорно называл имя и фамилию сидящего против него гражданина и отвечал на все вопросы. Потом его возили на место происшествия, и он показывал прудик, поросший черемухой, кустарник, теперь уже покрывшийся сочною, пышной листвой, и дорожку в Абрамцево и рассказывал, как было дело. И потому надежда на то, что тюремная решетка может его миновать, была, конечно, самообольщением. Вот его привели в парикмахерскую, и парикмахер, пощелкивая машинкой, с сожалением посмотрел на шевелюру Антона.

— Эх, прическа у парня богатая. Жалко резать!

Но прошла минута, и прическа эта лежала на полу, во прахе, попираемая ногами сердобольного парикмахера.

Потом — фотографирование, в профиль, анфас, разные измерения, а затем угрюмая шутка привычного к своей невеселой профессии человека:

— Ну, теперь давай на рояле поиграем!

Это — снятие отпечатков пальцев.

Все это было унизительно, стыдно и страшно. И все говорило, что он — арестант. А в довершение ко всему — тюрьма.

Везли его туда ночью, в наглухо закрытой машине — «черном вороне», «воронке́», как прозвали ее пассажиры, для которых она предназначена, и Антон только по приглушенным звукам, доносившимся извне, да по редким остановкам у светофоров чувствовал, что вокруг него Москва, люди, жизнь, хотя и ночная, но все-таки жизнь. А когда машина совсем остановилась, он, выйдя из нее, увидел совершенно пустынный двор, высокие стены, окна с решетками и понял: все, все кончено — он в тюрьме!

С таким ощущением конченности Антон провел всю эту страшную ночь. Страшного в ней, по существу, ничего не было: его вымыли и, как положено, конечно, обыскали,— «колющее, режущее есть? Химия?» — и работники тюрьмы просто выполняли свои обязанности, когда, не доверяя словам, пробовали на сгиб каждую складку и шов одежды. Но для Антона все это было так же унизительно, стыдно и страшно, как и раньше, когда его стригли, фото-

графировали и заставляли «играть на рояле». Только теперь все это тонуло в общем ощущении безнадежности, которое его охватило. Он исчез как человек, он затерялся, он растворился в этом потоке процедур и формальностей, а когда они были окончены, он сидел на лавке согнувшись и ждал, куда его отправят дальше. Вернее, сам он ничего не ожидал — все было безразлично, но ему просто еще не подыскали места, и он должен был сидеть здесь на лавке и ждать. Потом дежурному кто-то позвонил, и он, указывая глазами на Антона, сказал караульному:

— В детское.

Антону велели заложить руки назад и повели по гулким коридорам, через двор, опять по коридорам, по каменным, истертым подошвами ног лестницам, через множество железных или решетчатых дверей, и каждая дверь была на замке, и каждая захлопывалась тут же за спиною Антона с холодным, металлическим звуком. Железо!.. Камень и железо! Даже лестничные проемы были затянуты железными сетками.

Наконец конвоир подвел его к другому военному, как Антон впоследствии узнал, «корпусному», старшему по корпусу, и передал ему Антона с рук на руки. Тот пошел с ним дальше, по длинному пустому коридору, вдоль которого были расположены, как казалось Антону, бесконечные двери. Потом «корпусной» достал из кармана ключ и открыл одну из этих дверей. «19» было написано на этой двери.

Камера! Антон вошел и остановился.

— Стелись вот здесь! — сказал «корпусной», указывая на свободное место.

Потом дверь, хлопнув, закрылась. Антон оглянулся и в открывшемся «глазке» встретился со взглядом своего провожатого.

Всё!

Антон оглядел камеру. Когда он раньше думал о тюрьме, ему рисовались низкие мрачные своды, темнота, капли воды, падающие с потолка, голый камень и плесень, покрывающая стены, как в кинокартине «Пармская обитель». А перед ним была комната, окрашенная светло-зеленой масляной краской, с белым потолком и широким окном, забранным двойной решеткой. Посреди комнаты стоял стол с двумя скамейками, а по бокам — настилы на толстых железных стойках, с переплетом из широкого по-

лосового железа — нары. На нарах спали люди — каждый на отдельном матрасе, каждый под своим одеялом.

Антон еще постоял, обвел все глазами, не решаясь двинуться с места, когда раздался вдруг глухой, сипловатый голос:

— Ну, проходи, проходи! Чего стал-то?

Вслед за этим рядом с тем местом, которое было указано Антону, из-под одеяла поднялась тоже стриженая, толкачом, голова.

— Устраивайся, не бойся! Нас тут восемь рыл, девятым будешь. Комплект!

Антон разостлал выданную ему раньше постель и лег, закинув руки за голову и глядя в потолок. Мыслей не было. Сил не было. Слез не было. Было только ощущение бесконечной усталости и безразличия.

— А меня Яшка Клин зовут. Слыхал? — спросил сосед.

— Нет,— безучастно обронил Антон.

— Знай! — Яшка Клин многозначительно помолчал.— По фене бóтаешь?.. Э, да ты совсем сосунок! Ну, говоришь, что ли? — пояснил он в ответ на удивленный взгляд Антона.

— Нет,— с тем же безразличием ответил тот.

— Кем живешь-то?

— Не знаю. Я первый раз.

— Хлопцем будешь жить. А за что подзалетел?

— Вор я! — как бы подводя итоги прошлому, решительно сказал Антон.

— Вор? — усмехнулся Яшка.— Шавка ты, а не вор. Ты еще подрасти, чтобы вором-то называться!

Антон повернулся к соседу и только теперь как следует рассмотрел не по летам одутловатое лицо и мешки под глазами. А Яшка глянул презрительным взглядом и продолжал:

— Вор?.. Ты думаешь, что такое вор?..

И пошло дикое, дурманящее голову бахвальство о жизни и «прелестях» преступного мира, мира, который обречен уйти, но который этого не хочет, сопротивляется и, сопротивляясь, создает свои понятия, и нормы поведения, и «кодекс чести». И тогда Антон почувствовал, что это, пожалуй, и в самом деле целый мир, обособленный, сложный и злобный, и затягивающий, как тянет пропасть, у которой нет дна. «Идейные» и «безыдейные» воры...

Антон услышал это и поразился. Оказывается, кто просто ворует — по ошибке, легкомыслию или случайности,— это, по тем понятиям, «шавки», «безыдейные», обыкновенный, никчемный народ. Настоящий вор — это звание, это—«вор в законе», имеющий свою «воровскую идею» — насилие. Жить за счет людей, за счет общества и всеми средствами, вплоть до ножа, поддерживать друг друга в этих целях. На этом построены все «законы» и «правила», что положено и не положено, что является «подлостью» для вора — целая система угроз и условностей, от формы одежды до нормы поведения: вор не должен работать, жениться, служить в армии и петь гимн.

Правда, впоследствии Антон усомнился в том, чего наслушался здесь, затем разуверился и возненавидел этот «мир» — слишком много споров велось о том, что «положено» и «не положено», слишком много толкований разных «законов» и «правил» и слишком много вражды и гадости он увидел и почувствовал, для того чтобы верить в какие-то «идеи», в какое-то единство и организованность этого «мира». Взять хотя бы дикое, чудно́е «колесо», о котором с таким упоением рассказывал Яшка Клин,— деление на «масти», группировки, которые грызутся, враждуют между собою опять-таки вплоть до ножа — какое же это единство?

Но все это было потом, а пока он со смятенной душою слушал россказни Яшки и думал о том, как жить теперь и как ему быть.

Так началось знакомство Антона с тем миром, о котором рассказывал когда-то Витька Крыса и что было «азбукой» по сравнению с «наукой», открывавшейся перед ним здесь, в изуверских речах нового соседа в эту первую тюремную ночь. С замиранием сердца Антон внимал рассказам Крысы, веря и не веря и, уж конечно, не допуская, что все это может когда-нибудь относиться к нему. И вот — свершилось: и четыре стены, и решетка в окне, и «глазок» в двери, и параша, и вывод «на оправку» два раза в день, и щелканье замков, и совсем рядом «настоящий», хотя и совсем еще мальчишка, «вор в законе».

И оказалось, что самое страшное — это не начальники и не «чекисты», как заключенные зовут всех надзирающих за ними, и не решетка, и не замок, и не правила режима, вывешенные на стене,— «заключенным разрешается», «заключенным запрещается», «заключенные

обязаны»,— и даже не карцер («тюрьма есть тюрьма, а не место для свидания с девушками» — как любил говорить один из наиболее строгих надзирателей). Самое страшное, оказывается, это своя же братия. Зло, загнанное в четыре стены, старалось и здесь быть злым, бродило в собственном соку и изыскивало способы насилия над человеком, сильного над слабым, наглого над жертвой своей наглости.

Это Антон почувствовал уже утром, когда Яшка Клин, ночью показавшийся чуть ли не другом, заставил его вместо себя вынести парашу, так как ему это почему-то «не положено». Это Антон почувствовал, когда тот же Яшка предложил ему снять ботинки и вместо них отдал ему свои, рваные. Это он почувствовал, когда, получив от мамы передачу, половину ее вынужден был отдать Яшке. Это он почувствовал и когда пришлось согласиться сделать «наколки», татуировку, и помешала только вошедшая воспитательница.

Это он чувствовал во всем; постепенно впитывал в себя, привыкал и смирялся с тем, что вместе с «феней», вместе с «наколками», картами, песнями и бесконечными россказнями незаметно входило в него и так же незаметно заслоняло и отодвигало куда-то назад «тот», нормальный мир человеческих отношений, и проступал превратный и искаженный, как в кривом зеркале, с дикими кличками вместо имен, мир мрака и подлости, изуродованного языка и извращенных понятий и чувств.

2

Неволя!

Антон стоит у окна и смотрит на клочок ясного синего неба, перечеркнутого переплетом решетки. Он старается представить, что делает сейчас мама и что вообще делается там, на воле: идут люди куда хотят, делают что хотят, ребята гуляют с девчонками, танцуют в парках, катаются на лодках, смотрят кинофильмы. Здесь ребят тоже водят в кинозал — показывают старые, давно виденные картины. А интересно, какие новые фильмы сейчас идут?

Антон стоит, а сзади голосистый Санька Цыркулев поет песни. Это — второй сосед Антона по нарам. Сын слепых — и отца и матери,— он убежал от родителей, пустился путешествовать, был на Кавказе и в Хабаровске, в Ташкенте и в Киеве, успел за разные дела третий раз

попасть в тюрьму, всего навидался, наслушался и узнал бесконечное множество тюремных песен. Общительный, безобидный и никогда не унывающий, он любит рассказывать, а больше сочинять разные истории, любит петь и получил в камере прозвище «артист Малого театра». Песни его страшные, и трогательные, и отвратительные — о разгуле и ночных «делах», о тоске по родине, по матери и по любимой и снова о тюрьме, о Севере и о побегах,— и одно в них тесно переплетается с другим, и одно переходит в другое.

И опять загуляла, запела братва,
Только слышно баян да гитару,—

и сразу — иное, совсем противоположное:

Знаю, радость моя впереди,
Грязь я смою и грубость запрячу,
И прижмусь к материнской груди,
И от счастья тихонько заплачу.

И снова: «Брызги шампанского», «Парень в кепке и зуб золотой» и страшные «Картины мести», а за ними опять песня, которую хочется петь и запомнить:

Звезды ярко в решетке искрятся,
Грусть на сердце младого красавца;
Он не весел, не хочет смеяться,
Про свободу он песню поет.

Мне теперь, дорогая, обидно!
Ни тебя, никого мне не видно,
Предо мной твои пышные кудри,
И любовь в твоем сердце горит.

Багровеет заря, мне не спится,
Сердце птицей на волю стремится,
Исчезают последние звезды,
Пропадают с рассветом мечты.

Антон слушает и чувствует, как у него самого щекочет в горле. «Пропадают с рассветом мечты...»

Пусть сейчас ясный день и светит солнце на синем небе, но песня заставляет видеть последние звезды и багровые отсветы зари. Песня позволяет уйти, улететь из этих каменных стен в не подвластное никаким замкам царство мечты и воспоминаний. И среди этих воспоминаний самым теплым, самым нежным оказываются парк, памятник Павлику Морозову и душевный разговор на

лавочке. Марина... Как все это далеко и невозвратимо! И недостижимо, как это синее, ясное небо!

...И, может быть, в это же самое время на то же небо смотрит Марина. Только что ушел от нее Степа Орлов. Как он узнал, что она сегодня, два часа назад, приехала из пионерского лагеря, ведомо только ему, но он узнал, и пришел, и рассказал, что произошло с Антоном, рассказал и удивился: как изменилась в лице Марина!

«Какой она хороший товарищ! Кто ей Шелестов! Чужой мальчишка из другого класса. А как близко она приняла его несчастье к сердцу!»

Наивное, но милое неведение доверчивых людей!

Разговор не клеился, и Степа скоро ушел, и вот Марина, широко распахнув окно, смотрит на небо и думает. Она не хочет думать об Антоне, но не может: вопреки всему, несмотря даже на встречу на улице, когда Марина обиделась и ушла, возмущенная и улыбкой Антона, и его такими оскорбительными, циничными словами: «Я наговорил тебе в парке, что было и чего не было, а ты и вообразила».

Как он мог! И как он смел затронуть это!

Ведь тот вечер в парке для Марины оставался святым. Она именно так и представляла себе потаенные минуты, когда решается судьба душ: нет ни поцелуев, ни ласк, нет даже слов, и в то же время близость, полная, до замирания сердца, когда души смотрят друг в друга, как две звезды. И в тот вечер ей показалось, что она именно так заглянула в душу Антона и разглядела в ней то, чего никто не замечал, увидела его совсем не таким, каким он был для всех,— увидела Антона мягкого и послушного. Эта покорность покорила тогда ее. Марина вспомнила Ольгу Ильинскую, пытавшуюся спасти Обломова; тургеневскую Наталью, зовущую Рудина вперед, от слов к делу,— об этом так хорошо говорил на уроке Владимир Владимирович, учитель литературы: о любви действенной и активной, о любви самоотверженной, заставлявшей русских женщин идти в Сибирь, на каторгу вслед за любимым человеком.

Все это переплелось у нее со своими собственными мыслями и представлениями о любви. А о любви она думала в сокровенном своем «тайная тайных», хотя и считала себя «презренницей».

И эти думы и смутное томление души вылились у нее как-то в стихотворные строки, которым она, подумав, дала название: «О самом хорошем человеке».

Все равно ты рядом со мною,
Даже если одна хожу,
И с тобой все равно весною
Я цветы у окна посажу.

Все равно (хоть тебе не известно),
Услыхав с перемены звонок,
Ты со мной в коридорах тесных,
Пробегая, спешишь на урок.

Ты со мной, если я на экзамен
Непременно «со страхом» вхожу.
Даже вместе со мною замер,
Пока в строчки билета гляжу.

Ты гуляешь со мною вместе,
Тоже видишь красивый закат,
На аллейке — в любимом месте —
Слышишь серебряных волн перекат.

Мы ведь вместе с тобой мечтаем
Коммунизм построить скорей
И гордимся, когда читаем:
«Век космических кораблей».

И хотя я тебя не знаю,
Пусть ты только в мыслях живешь,
Все равно о тебе мечтаю,
Верю — ты меня тоже ждешь.

В «Комсомольской правде» она как-то читала о девушке, которая трем сиротам заменила родную мать, и в своих разыгравшихся мечтах Марина готова была пойти тогда и на это: выйти замуж за какого-нибудь вдовца с тремя-четырьмя детьми и помочь ему в его тяжелой доле. Высоту и жертву, чистоту и святость связывала Марина с тем, что называла любовью.

Вдовца заменил в тот вечер Антон Шелестов, и после прощания с ним Марина не спала почти всю ночь, глядя в темноту широко открытыми глазами. Помочь ему и поддержать, выпрямить и, может быть, спасти — разве это недостаточно возвышенно для того, чтобы во тьме этой ночи самой себе сказать сокровенное слово «люблю»? И вдруг... И вдруг эта грубая фраза, улыбка и небрежный тон! Как он мог? И как он смел дотронуться до всего это-

го и развеять в прах? И насколько правильно сказано: приобрести друга трудно и за целый год, а потерять можно в одну минуту.

В гневе и возмущении решила тогда Марина уехать в пионерский лагерь вожатой. Она трудилась так, чтобы все забыть — и гнев, и возмущение, и самого Антона, и вечер в парке, и бессонную ночь. Она водила ребят в туристические походы, работала с ними на колхозных полях, стыдила тех, кто пытался отлежаться и отсидеться в кустах, кто не умел чистить картошку, не хотел мыть посуду, кто ныл и стонал от первой царапины или занозы,— все это она стремилась преодолеть своим убежденным и искренним словом.

— Ребята! Это же нужно! Вы понимаете? Надо!

И она переламывала и лень, и неспособность, и чистоплюйство, и одновременно училась сама, многое узнавала — и как хлеб растет, и чем он пахнет, и как нужно доить корову,— а вечерами пела песни с колхозными девчатами, сочиняла частушки и плясала «русскую». И тогда ей казалось, что и Антон, и вечер в парке, и разговор на улице — все в прошлом, и неизвестно, было ли это на самом деле. Но когда затихал лагерь и засыпали ребята и ночная предательская темнота окутывала Марину, тогда оказывалось, что все было и все живет еще в ее сердце.

...И вот она стоит у окна, стараясь скрыть свое волнение от матери, и думает, думает... Она не поверила сначала тому, что узнала, а поверив, ужаснулась, и из ужаса, из содрогнувшейся до самых основ души сами собой, неведомо как, родились новые строки:

Помнишь, как Саша Матросов
Грудью свой полк защитил?
Помнишь, как немец в морозы
Зою босую водил?

Помнишь, как мальчик Тюленин
Насмерть под пыткой стоял?
Дешево, Шелестов, дешево
Жизнь ты свою променял!

3

Чем дальше Антон находился в тюрьме, тем больше сменялось вокруг него людей — и сильных, и слабых, и страшных, и жалких, и несчастных, и омерзительных.

Каждый по-своему относился к положению, в которое он попал, и каждый, тоже по-своему, находил в тюрьме свое место. Антон одно брал у них, другое отвергал, стараясь найти и для себя что-то свое в этой новой, открывшейся перед ним жизни. Но одну встречу он, кажется, не забудет до конца своих дней.

Во время прогулки обитатели девятнадцатой камеры на специальном, «прогулочном» дворе играли в футбол. Разгоряченный, Антон выпил холодной воды, а вернувшись в камеру, стал возле открытого окна. От этого или от чего-то другого у него подскочила температура, и его положили в медицинский изолятор.

В палате, где он лежал, было несколько ребят и один взрослый, лет двадцати пяти, франтоватый и наглый, в очках, а наутро в ту же палату привели и еще одного — сурового человека лет сорока.

Вошел он в палату молча, молча лег и за весь день не произнес ни одного слова. Антон сначала с любопытством, а потом со страхом смотрел на его крепкую угловатую фигуру. Поражали глаза этого человека, глубоко запавшие, черные, как угли, не то дикие, не то больные, смотрящие куда-то внутрь и до того напряженные, что глядеть в них было страшно, словно в колодец. И руки... Антон не сразу рассмотрел их, а рассмотрев, не мог оторвать от них взгляда: все пальцы на них, кроме больших, были укороченные, точно обрубленные на один сустав, и заканчивались вместо ногтей бесформенными рубцами, Много повидавший за последнее время разных, совсем необычных людей, Антон решил, что это, должно быть, какой-то самый отъявленный, самый отпетый из всех отпетых головорез.

К вечеру первый, который помоложе, в очках, собрав вокруг себя ребят, стал поучать, что «вор должен соответствовать своему значению» и «жить по диалектике». Старые правила воровского закона — это все чепуха, старо. Культура не та, и вор не тот, ему тоже нужно книжки читать, быть умнее всех, быть хитрее всех, всех опутать и обмануть и сбить с толку, уметь, развалясь, посидеть в мягком вагоне и поговорить о жизни и о политике, пустить пыль в глаза, чтобы войти в доверие и сделать то, что нужно. Ребята, слушая его рассказы, притихли. Молчал и тот, которого Антон считал отъявленным головорезом. Он сидел на кровати, опершись локтями на

острые, выпиравшие коленки и крепко сцепив свои короткие, изуродованные пальцы. Только изредка он слегка приподнимал голову и бросал на рассказчика короткие, злые взгляды. Тот заметил их и огрызнулся:

— Чего глазами-то зиркаешь?

— А ты чего шлепаешь? Чего ты шлепаешь? Что внушаешь, поганая твоя душа? — еще раз стрельнув в него коротким, злым взглядом, ответил «головорез».

— А тебе что? Пáдло! — задиристо сказал «культурный», как про себя прозвал его Антон.

— Кто?.. Я — пáдло?

«Головорез» встал и тяжелыми, медленными шагами стал приближаться к «культурному». Он подошел, взял его за плечи и сжал их.

— А ты Егорку Бугая знаешь?.. Не знаешь? Так знай!

Егорка коротко, но сильно ударил «культурного» в подбородок, и тот, к великому удивлению окружавших ребят, лязгнув зубами, опрокинулся на кровать.

— Видал?.. Я тебя, как кутенка, сломаю. Понял? — сказал он, когда тот поднялся и надел слетевшие очки. — А то обзываться еще! Сам ты пáдло лошадиное, а я работяга! Мужик! Видал? — Егорка вытянул свои изуродованные руки. — Я их на работе потерял.

Егор, презрительно смерив его глазами, повернулся к ребятам.

— А вы, хлопцы, не слушайте его бреха. Это я говорю вам, Егорка Бугай, — я к «вышке» приговор имел. Чего смотрите? К расстрелу. Калинин еще помиловал. Михаил Иванович. А теперь я все понял, к чему концы жизни сводятся. Теперь я жизнь с самого начала готов бы начать, с ложки, только бы жить!

С этого и пошло. А потом почти на всю ночь затянулся приглушенный, вполголоса, разговор. И тогда Антон узнал судьбу этого человека с пятью фамилиями, которые он нанизал себе при разных побегах и сменах паспортов. Но все фамилии растворились в одной кличке, под которой он стал известен среди «своих».

Кличку Бугай Егор получил за свою поистине бычью, идущую из глубины его рода силу. Дед его на спор за две четверти водки вытащил воз, застрявший в канаве, когда лошадь села на задние ноги и не могла его вытянуть. На кулачных боях в свое время он был грозой для всей округи, и только одно слово тихой светловолосой

Нюрахи могло смирить его буйный и непокорный нрав. Ради этой Нюрахи дед Бугая бросил хозяйство, дом, отца, который был против их брака, а потом сам же эту Нюраху убил кулаком в припадке ревности. Дед за это пошел в Сибирь, а после Нюрахи осталась дочка — мать Егора. Выросла она у чужих людей, батрачила, бродяжила и, как сам Егор выразился, «нагуляла меня».

Так вошел в жизнь «нагулянный» Егорка. Рос он тоже кое-как и жил кое-как, одним словом, «хватил хлебца с сольцей» и восьми лет от роду «пошел в дело». За одним «делом» — другое, третье, и так потекла жизнь, измеряемая не годами, а сроками, не радостями и человеческими свершениями, а судами и приговорами. Жизнь, все назначение которой — говоря словами Егора — «удобрять землю». Но «удобрять землю» Егору не захотелось. Антон лишь потом понял пути, которыми пришел Егорка к своему решению, а сначала юношу просто поразила картина, как Егор «завязал» — отошел от воровского мира.

— Привели нас на новое место, целый этап. И ко мне сразу двое с ножами: «Масть?» Я — одного в сторону, другого — в сторону, а сам — к стене, чтобы сзади никто не подобрался. Вынул клинок, у меня вот такой был.— Егор показал, какой длины у него был клинок.— И стал. Стою!— Он опять представил, как он с обнаженным клинком стоит, прижавшись к стене, и озирается по сторонам.— «Не подходи! И никаких «мастей» я не признаю. Грызитесь вы как хотите, в законе, не в законе,— я «завязываю». Не вор я больше! Работать буду!» Все ворье на меня уставилось, а я стою, жду. И вдруг вижу, один из нашего этапа выскакивает, становится рядом со мной, второй, третий, пятый. Так нас пять человек и отошло.

В коридоре за дверью послышались шаги, вошла медицинская сестра и сказала, что пора спать. Егор умолк, и все стали укладываться. Но о сне, конечно, никто не думал, и, когда сестра скрылась за дверью, Антон приглушённо спросил:

— А дальше?

— Дальше-то?.. Мужиком стал жить. Тоже масть такая есть, рабочие люди. Работягой хотел быть, свой кусок честно зарабатывать. Думаю: отработаю! Весь свой срок отработаю и выйду. На все четыре стороны выйду,

как человек. Уж очень мне жизнь эта презренна стала. Нет! Мне это больше не климатит. Мне тридцать семь лет, а я вот седею. Не жил, не любил. Ничего не видел и ничего не знаю. Воровать научился, а с людьми жить не умею. Уж очень меня к людям потянуло. И не могу я больше без людей жить. Кто я, на самом деле... Человек я или гнида?

— Задумался?— с ехидцей спросил молчавший все это время «культурный» в очках.

— Задумался!— ответил Егор.— А если б не думы, я бы знаешь кем был? Я бы зверем был, хоть на цепь сажай. И понял я! И мир я ваш понял — хитрый, гадский мир. Хищники вы, самое развратное, дикое племя. Вы на всех и друг на друга.

— Врешь! У нас товарищество!— заспорил «культурный».

— Товарищество?— резко поднялся с кровати Егор.— Волчья жизнь — какое это товарищество? Игра и обман! Чуть ошибся — не жди пощады. Не отыгрался — не жди пощады. Не расплатился — не жди пощады. А отказаться от карт тоже нельзя — закон! Вся жизнь по острию ножа. Господство это, а не товарищество. Кто наглей, кто языкастей, у кого кулак больше, тот и живет. У кого морда здоровее — тот и бог. Я тоже в авторитетах ходил — знаю! И таких чертей видел, что не поймешь и не поверишь. И я тоже мог бы сидеть, не работать, свое воровское достоинство оберегать, а меня кормили бы такие же, как они, эти хлопцы,— указал он на лежавших рядом с ним ребят,— фраеры разные, мужики, и ты, гаденок очкастый, приносил бы мне положенный воровской кусок. А только не хочу я твоего куска. Не климатит мне это! Я человеком хочу быть, как у Горького Алексея Максимыча. И задачу я теперь поставил себе — разлагать их, бороться и малолетку от них оттаскивать. Зачем воровать, когда можно свободно пойти и заработать? Время не то! Я рос — мне податься было некуда, а теперь... Ну ты, к примеру, босяк или домашняк?..— спросил он Антона.— Ну, отец-мать есть?

— Есть,— ответил Антон.

— Дом есть?

— Есть.

— Так чего ж ты, сук-кин сын, на это дело пошел? Чего тебе не хватало? Куда тебя, дурака, понесло? И чем

вы, шкодники, только думаете? Не иначе мягким местом думаете. Не я твой отец, я бы тебе ноги повыдирал да солью присыпал.

— Тебя убьют,—сказал опять со своей кровати «культурный».

— Ничего!.. Я наезженный! Меня, был случай, сонного в бараке скрутили да раз пятнадцать подвесили, на носилках потом унесли, а ничего — выдыбал. Доктор говорит: ну и здоров же ты, мужичок, не гадал я, что ты выбьешься.

— А как это «подвесили»?— спросил Антон.

— Подвесили-то?— горько улыбнулся Егор.— Это, братуха, просто делается. Вверх бросят, а поймать забудут, вниз сам лети. Вот и вся механика. Тут, брат, дело такое. Тайга — закон, медведь — хозяин.

— А дальше?

— Что дальше? Работать стал. Ведь среди них такие идолы есть, руки о тачку не замарают, а зачеты идут, день за три, все на них мужики работают. Только с меня они ничего не взяли. Работал я начистоту — для государства и для себя, чтобы освободиться. И тут вот мне пальцы-то и прихватило.

— А как прихватило? Дядя Егор, расскажи!— сказал лежавший рядом с Антоном парнишка.

— Отморозил! Таскали мы лес на плечах. И взял я одну лесину. Под нее бы трех нужно, а я один взял,— уж очень мне хотелось себя показать. И понес. Обхватил ее вот так пальцами над головой — в замок — и понес. А мороз пятьдесят градусов, так и жгет. Чувствую — пальцы начинают неметь. Нет, думаю, справлюсь. И принес! Пальцы только пришлось укоротить. Ну, обо мне доложили по начальству, вызвали тоже, поговорили, потом направили меня на комиссию, сактировали, как инвалида, и отпустили.

— Отпустили?—переспросил с затаенным дыханием слушавший все это Антон.— А потом?.. Как же ты?..

— Как я сюда-то попал?— понял его Егор.— Вот тут-то я и показал себя, кто я есть. Твердый я или жидкий? И выходит, что я не человек, а мочало, ишак, вонючая из-под капусты бочка, дурак с тарантасовой головой.

Егор замолчал, и никто не посмел нарушить молчание. Все поняли, что совершена какая-то большая ошибка, беда, крушение.

Долго стояла тишина, и сестра, заглянувшая снова в палату, пошла дальше: люди спокойно спят, все в порядке. Но никто не спал, и все ждали, когда переломится что-то в сердце Егора и он без всяких вопросов расскажет, как было дело. А Егор и сам, видимо, уже не мог молчать.

— Эх, хоть раз, да от души. Ладно! Слушайте дальше! Может, и вам это сгодится в жизни... Трудно было после этого. Чего там говорить — трудно. Ни жилья, ни работы. Боятся люди! Да и кто, в самом деле, поверит, что вор раз и навсегда бросил все? Люди видят поверхность жизни, а вглубь мало кто заглядывает... И вот тут я опять грех на душу взял... по новой пошел. Снял я с одной гражданочки пальто. Тут уж прямо скажу — от нужды снял, жрать было нечего. Не удержался. А после этого сразу в Донбасс махнул. От греха! Там тоже долго маялся, а потом нашелся душевный человек, помог. Взяли меня на работу, послали в забой. Вот! Первый день вышел я на белый свет — у меня земля под ногами кругом идет. Думаю: как же я жить буду? А потом посмотрел на солнышко, на людей. Все ходят веселые, радостные, имеют свои дома, «Победы», а я чем хуже? Почему я не могу?.. И стал работать. И пошло! Знаете, хлопцы, нужно полюбить работу, а она тебя полюбит. Пошло! Стал я давать проценты. «А ну, Егор, сколько дадим сегодня?» — спросит, бывало, начальник. «Сколько порожняку будет, Михаил Михалыч!» — отвечу. И не уйду, пока все не сделаю. И зарабатывать стал. Полторы тысячи зарабатывать стал. И бабу нашел. Не бабу, а жену настоящую!

Голос Егора дрогнул, и все поняли, чего стоит ему удержать слезы.

— Главное — поверила! Вот какая она женщина,— сказал Егор, переломив себя.— Рассказал я ей все, ничего не утаил, кроме этого самого последнего пальто, будь оно трижды и четырежды проклято. И дал я ей клятву и сам себе тоже клятву дал, что, если я еще раз нарушу ее, пускай я буду как самый последний изверг повешен на самом позорном столбе и пускай тело мое бросят в самую позорную яму. Боялся я — не поверит. Поверила! И я плакал, и она плакала. А поверила! И стали мы жить. И домик нам тесть из сарайчика приспособил, маленький, вроде времяночки. И верандочку мы к нему приделали.

И стулья завели, приемник. И на курорт со своей Клавой собирались. А видно, ни от чего не уйдешь. Нашло меня это самое пальто, и взяли меня при выходе из шахты, при всем народе, и отправили — а-ля муфу! И получил я опять срок...

И снова молчание, снова тугой, накрепко затянутый узел дум. Жизнь рушилась. У всех на глазах. И ничего нельзя было сказать — ни слова жалости, ни утешения. Нельзя почему-то высказать и осуждения. Как осудить человека, который сам признал себя слабым? Ведь на это тоже твердость нужна!

— И знаете, хлопцы,— вновь прервал молчание Егор,— не признал я этого самого суда. Может, и плохо это, а не признал. Обидно стало. Главное, все понял. Если бы не понял, а то — понял. Все! Все концы жизни. И душа не та стала, не воровская душа. А он, судья, сидит, ногой покачивает, а заседатели носом клюют, дремлют. Одно слово — не признал и объявил голодовку: две недели голодовку держал, пока меня лейтенант тут один, оперативник, тоже хорошая душа, не уговорил снять ее и обжаловать. Вот и жду. Все написал, до донышка. Если отменят приговор, буду продолжать свою жизнь дальше, как человек. А не отменят...

Егор опять лег, накрылся одеялом и замолчал. Молчал долго, и стало казаться, что он заснул. И обитатели палаты стали тоже уже засыпать, когда в тишине он медленно, как бы про себя, закончил:

— А не отменят — убегу из-под всех замков, найду того судью, украду у него ребенка и засуну его в печку.

Никто ни словом не обмолвился на признание Егора — то ли сделали вид, что спят, то ли на самом деле все постепенно заснули. Антон же долго не мог сомкнуть глаз. Он вспоминал теперь, как первоначальное любопытство и скрытый страх перед этим «головорезом» с короткими пальцами у него превращались то в удивление, то в восхищение, то в сочувствие и искреннее желание, чтобы его где-то поняли и отменили так возмутивший его приговор. Никто не видел лица Егора в ту минуту, но какое оно должно было быть страшное! Так кто же он в конце концов? Верить ему или не верить? И как понять его, так много, кажется, выстрадавшего и объявившего непримиримую, казалось бы, войну разного рода «идолам» и

«лбам» и всему их хищному, «гадскому» миру? И что же тогда значат эти невероятные мысли о печке и их содрогающее душу злодейство?

4

Рассказ Егора Бугая был, пожалуй, той последней причиной, которая определила позицию Антона на суде. Адвокат посоветовал ему говорить правду. Но адвокат был из «того», «чистого» мира, а здесь — все другое, другие люди, другие понятия, другие цели и интересы. И главная цель — избежать ответственности или, по крайней мере, уменьшить ее. Об этом велись бесконечные разговоры, давались советы, рассказывались разные истории — как затягивать следствие, как держаться на суде, как прикинуться психически больным или припадочным. Много смеха вызвала история о том, как Санька Цыркулев, тот самый певун, «артист Малого театра», стал изображать на суде короля Индии, смотрел перед собой бессмысленными глазами и спрашивал судью: «А где мои слоны?» А на это судья ему ответил: «У Ильфа и Петрова, в «Золотом теленке».

Перед Антоном тоже стоял вопрос: сознаваться или не сознаваться? Не сознаваться, вообще говоря, было смешно после того, как на предварительном следствии он все сам очень подробно рассказал. Кое-кто из ребят, соседи по камере, с которыми он делился мыслями, очень ругали его за то, что он так легко «раскололся», и теперь он иногда жалел о своем признании. Тогда это был порыв прямодушного раскаяния и безнадежности, а теперь, понаслушавшись и насмотревшись, он тоже начинал думать, что «нехитрый — не человек». И глядя ночью на яркую, тоже заключенную в решетку лампочку, прозванную «солнышком», он иногда задумывался: а нельзя ли и ему изобрести своих «слонов», нельзя ли что-то смягчить в своих показаниях и от чего-то отречься, от чего-то увильнуть и отвертеться? Ребята, принимавшие в Шелестове участие, указывали ему и путь — изменить свои прежние показания, объяснив их тем, что в милиции ему угрожали, вынуждали и даже били. Но Антон на это както не мог решиться.

А потом прибавилось и еще одно обстоятельство. В той же тюрьме, на разных ее этажах, оказались дру-

гие бывшие дружки, а теперь «подельники» Антона, и в том числе Генка Лызлов. Настойчивый и изворотливый, он, при всех строгостях тюремного режима, нашел и здесь пути, чтобы передать Антону свою директиву: «Мазать Крысу!» — значит, всемерно выгораживать его на суде. Антона эта директива испугала. Он думал, что тюрьма и суд кладут конец всему и перед лицом возмездия все равны и все должны смириться. А выяснилось, что и тут опять продолжается скрытая игра и ему, Антону, чужая, злая воля снова навязывает какую-то непонятную и неприглядную роль.

Встреча с Бугаем заставила Антона заново все передумать. Егорка Бугай, пожалуй, больше, чем остальные, больше, чем песни Саньки Цыркулева, открыл Антону всю трагедию этого пути и всю ее глубину, страстную силу порывов и цепкость зла, искреннее желание вырваться из пут и неспособность это осуществить. И нужна какая-то необычайная сила и воля, чтобы преодолеть безысходность этой трагедии и победить ее.

Вот почему Антон решил все-таки на суде вести себя так, как советовал ему адвокат: говорить одну чистосердечную правду.

Суда Антон ждал с трепетом, хотя перед ребятами храбрился. Сколько дадут? В душе таилась, конечно, глупая надежда: может быть, помилуют, может, простят, может, поймут всю искренность его раскаяния!

С трепетом ждал он и встречи с мамой, с Маринкой, если она придет, — ведь он так давно не видал никого, кроме окружающих его «рыл» с их бреднями, ужимками и матом. Антона страстно тянуло к людям, а на суде его испугал сплошной коридор из человеческих глаз. Они все — люди, а он... Он никого не замечал, когда шел с заложенными за спину руками через весь этот бесконечный коридор, не видел даже маму, которая окликнула его откуда-то издалека. Вообще было страшно, стыдно, и хорошо, конечно, хорошо, что Марина на суд, кажется, не пришла.

С трепетом Антон ждал и объявления приговора. Теперь он понимал, что попал в настоящую шайку, и те «дела», в которых участвовал он, были лишь небольшой частью того, что творили Крыса, Вадик и Генка. Знал он и то, какую роль он играл в этой шайке: пусть он мало ходил в «дело», но он давно покрывал. И потому приго-

вора он ждал с замиранием сердца. И когда Антон услышал «три года», у него потемнело в глазах.

— Три года!

— Ну, малый, ты дешево отделался,— сказал Санька Цыркулев, когда Антон вернулся в камеру после суда.— Зима-лето, зима-лето — и сроку нету.

Но это легко сказать зима-лето, зима-лето. Целых три зимы и три лета и три веселых, радостных весны! Три года — это вся юность. Он в нее только вступил, а когда выйдет на свободу, юность будет уже позади. А главное — пятно! Он выйдет с пятном, которого ни в какой химчистке не отчистишь, как ему сказал когда-то дядя Роман. Как давно все было! Да и было ли? Существовало ли вообще время, когда он был на свободе?

И опять новое осложнение и новые страхи. Когда осужденных сажали в машину, Витька Крыса, нарушив все инструкции, кинул Антону:

— Продал, сука? Ты это попомни! Я тебя и на том свете найду! Дотянусь!

Конвоир строго прикрикнул, и Крыса умолк, но слово было сказано и породило у Антона скрытую тревогу. Он достаточно наслышался о тайных связях в преступной среде, законах мести и хорошо помнил сцену, случайным свидетелем которой оказался еще будучи на свободе: «Уберите Бобика!» В душу Антона вкрался страх: а что, если Витька действительно «дотянется» до него из «того» мира? А это и действительно, оказывается, два разных мира: где честность для одного, там предательство для другого, все — иное, все — враждебное. И за то, что Антон рассказал на суде правду и о Крысе, о его затуманенной, но главной роли в шайке «Чубчик», о Генке Лызлове и Вадике, рассказал и то, о чем можно было умолчать, даже о пустынном переулке и украденном велосипеде, о котором до сих пор никто не знал,— за все Крыса может отомстить.

— Смотри! — предупредил его Санька Цыркулев.— У них руки длинные!..

И вот ночью Антон проснулся от нестерпимого жжения в ногах и под чей-то приглушенный хохот заболтал ими. Это — «велосипед», одно из изуверских испытаний для новичков и наказаний для провинившегося: заткнуть ему между пальцами ног кусочки ваты, поджечь их и от души посмеяться, когда он будет «катить на велосипеде».

Сделал это Васька Баранов, испитой и безвольный, совершенно запуганный мальчишка, но, как сказал Антону под большим секретом Санька Цыркулев, заставил его совершить это тот же Яшка Клин. За что?

— Так ты ж своих продал,— разъяснил ему Санька.— А Яшка в воровских правах, он все знает.

— А какие они мне «свои»?— возразил Антон.— Не хочу я этого!

— Ну, так, брат, нельзя! С волками жить — по-волчьи выть. Куда ты денешься?— с полной убежденностью ответил ему Санька Цыркулев.

Все мешалось и путалось, одно сливалось с другим и порождало в душе Антона смятение, угнетенность и обреченность, от которых, кажется, некуда было скрыться.

Может быть, и легче обошлось и прошло, просто перегорело бы это чувство угнетенности, обреченности, прежде чем выросло бы новое сознание Антона. Но судьба сулила ему еще одно испытание.

Через неделю после суда Антону исполнилось семнадцать лет. «Дение рождение» — как в детстве называл он эту дату. И вот такой праздник — в тюрьме! Антон вероятно, и не вспомнил бы о нем, если бы мама, упросив какое-то начальство, не прислала ему поздравление и внеочередную «именинную» передачу. Это тронуло его и в то же время бесконечно взволновало.

Семнадцать лет! Душу наполнила непреоборимая обида. Ведь он бросил! Он все и окончательно бросил! Он больше не хотел встречаться ни с кем из них — ни с Вадиком, ни с Генкой. Он теперь ни за что не пошел бы с ними, не испугался бы никаких угроз. И вот — обрадовались! Преступника поймали! И суд тоже: Антон все выложил, думая, что его поймут, а вместо этого — срок!

Из обиды вырастала злоба на все и вся: на судью, на капитана Панченко, на прокурора, на адвокатов с их красивыми речами — на все! И на стены, решетки, замки, и на «Костяную Яичницу», как заключенные прозвали одного самого сурового и строгого надзирателя, и даже на воспитательницу Раису Федоровну.

Заметив состояние Антона, она как-то подсела к нему и попробовала завести разговор, но Антон неприязненно и даже грубовато оборвал ее попытку:

— А чего вы меня утешаете? Вам, конечно... вам за это деньги платят, чтобы нас уговаривать, а нам от этого что? Нам все равно сидеть.

— А кто же виноват, Антон? И что же теперь поделаешь, если так получилось?

— «Получилось...» — недружелюбно повторил Антон, не зная, что ответить на правду этих слов.— А суд... Он должен был понять, что получилось. Вот если бы он глянул сюда! — Антон похлопал себя по груди и, безнадежно махнув рукою, отошел к окну.

Получилось острое и трудноразрешимое противоречие: моральное сознание — это одно, юридическое положение — это другое, противоречие, видимое только с одного конца,— как разглядеть с другого конца степень сознания и меру твердости, как поверить тому, что зло победило само себя?

Но если не верят тому, что свершилось,— это переживается как несправедливость, а несправедливость порождает бунт: люди, лишенные чести, особенно чутки к вопросам чести, и если они в чем честны, то готовы отстаивать свои права грудью.

Так получилось и с Антоном.

За то время, которое он пробыл в тюрьме, здесь постепенно происходили перемены. В течение многих лет перед этим здесь было все запутанно — потеряны цели, искажены отношения. Были правила, и были инструкции, но инструкции — дело бумажное, и, если нет над тобою настоящего глаза, ты невольно начинаешь мнить о себе больше того, что ты есть. И вот уже возомнил себя полновластным хозяином в этом царстве железа и камня, и люди, отданные законом на твое попечение, превращаются в предметы. Но вот зоркий глаз, как прожектор, начавший прощупывать всю нашу жизнь, проник и сюда. И было сказано: тюрьма — это не четыре стены с замком, там люди, которых нужно вернуть родине честными и трудолюбивыми.

И вот приехала высокая комиссия и ходила по всем корпусам, и даже заключенные прослышали, что начальнику «здорово влетело». И постепенно стали меняться порядки: более строго были отделены несовершеннолетние от взрослых, стали показывать кинокартины, на прогулках давать футбольные мячи и даже начали готовить вечер самодеятельности; введен был ручной труд, изме-

нен порядок дежурств по камерам и порядок питания... Теперь обеды и ужины не раздавали через форточки, а заключенных водили в специальную, заново оборудованную столовую. Теперь уже нельзя было проиграть пайку хлеба или отдать какому-нибудь «идолу», вроде Яшки Клина, целый обед, чище становилось и в камерах.

Однажды, когда обитатели девятнадцатой камеры кончили обедать и пошли к выходу, раздался голос дежурного:

— Задержать!

Кто-то, оказывается, стащил ложку. Зачем она ему понадобилась, трудно сказать. Зачем-то, значит, понадобилась. Но тот, кто это сделал, не хотел отвечать за содеянное: он передал ложку другому, а тот незаметно сунул ее в карман Антону. У него ее и нашли. Антон отказался от нее, а когда ему не поверили, начал ругаться, шуметь и не хотел входить в камеру.

И вот он в штрафном изоляторе, в «трюме». Теперь даже неба не видно — маленькое оконце, забранное толстой, в два пальца, решеткой, упиралось в какую-то облупленную стену, из-за которой скупо пробивался серый свет. Толстые стены, низкие своды, голые нары и каменный пол, железная дверь с «глазком» — и все!

Антон с не остывшим еще исступлением бросился на эту дверь и стал яростно колотить кулаками, каблуками и биться головой. Но железо есть железо и камень есть камень — они безмолвны. Антон бросился тогда на голые, холодные нары и заплакал, завыл, как забитый, загнанный щенок. На место ярости пришло отчаяние: он погибший, окончательно погибший человек, теперь ему никогда ничего не увидеть — ни дома, ни людей, ни улицы, ни цветов. Откуда-то возникли мысли о побеге — куда? Как? Совершенно невероятные мысли! Потом он решил удавиться, но на чем? Как? У него ни ремня, ни полотенца — ничего! И так, в полном отчаянии, совершенно обессилевший, Антон заснул. Спал он тяжелым, мертвым сном, а когда проснулся — точно вылез из-под каменной плиты. И сам Антон лежал, как плита,— ничего не хотелось и ничего ему не было нужно. На душе глухая, беззвездная ночь, сплошной мрак и пустота. И вдруг эта пустота начинает оживать и расцветать, вы-

растают деревья и заполняют все: одни — колючие и злые, и длинные, точно волосы, космы свисают с их сучьев, другие — веселые, ласковые, готовые, кажется, играть и бегать по полянам, третьи — корявые, причудливые, похожие на каких-то сказочных кикимор,— они обступили маму и его, маленького косолапого мальчугана в синей вязаной шапочке с большим помпоном на макушке, обступили и не выпускают. Кругом мрачно, почти темно, но вдруг сквозь этот мрак прорывается сверху солнечный лучик, и тогда листья на кудрявом кустарнике начинают сверкать и светиться точно стеклянные.

От всего этого было бы страшно, если б не мама. Она — здесь, рядом, и ничего не боится. Значит, ничего страшного нет в этом лесном мире. Обнаруживаются даже интересные, забавные вещи — и солнечный луч, перескочивший на мохнатый куст папоротника, и жук, жужжавший над цветком, и вывороченное с корнем дерево, повергнутое в примятую траву, и одинокая пичуга, повторяющая свое бесконечное «пи-и... пи-ии...». А главное — грибы. Они точно ребятишки на елке: разноцветные, нарядные и шаловливые — то спрячутся, то выглянут из-под зеленого листка, то вдруг опять куда-то исчезнут.

— Тоник! Поди сюда! Скорее!— кричит мама.

Антон спешит к ней, спотыкается, падает и опять бежит.

— Смотри, какой гриб!— смеется мама.— Это — подосиновик, красняк.

А гриб и действительно красняк, как Красная Шапочка из сказки: в красном колпачке на макушке.

— А ну, срывай! Сорви сам!— говорит мама.

Антон тянется к грибу, пытается сорвать, но рука скользит, и шляпка, красивая красная шляпка, составлявшая всю красу гриба, отваливается и падает на землю. Антон плачет, а мама целует его и успокаивает:

— А мы сейчас еще найдем. Еще лучше. Мы боровик найдем.

Антон пугается этого немного страшного слова «боровик», но плакать перестает, и они идут с мамой дальше, раздвигая траву, засматривая под каждый куст.

...И за что он мог обижаться на маму? И кого же ему любить, как не маму?

5

В штрафном изоляторе Антон просидел недолго.

Раиса Федоровна была очень удивлена тем шумом, который он учинил,— это так не похоже на Шелестова. А тут коридорный сообщил, что в девятнадцатой камере неспокойно — ребята спорят о чем-то и ругаются.

Раиса Федоровна пошла в камеру. Ребята, как положено, выстроились, и дежурный отдал рапорт. Уже здесь она почувствовала, что у них неладно, а когда разрешила им разойтись, то заметила, как они сели: Яшка Клин у себя на койке, а остальные все вместе, за столом. Ясно было, что между ними что-то произошло.

— Ну, ребята, говорите сразу, что у вас с ложкой вышло? Как?— спросила Раиса Федоровна, применив классический прием внезапности.

— А что с ложкой?— переспросил Яшка Клин.— Какой тут может быть вопрос? Все ясно!

Сказал он это громко и уверенно, с явным расчетом, что авторитетность тона по-прежнему будет принята как команда. Но на этот раз получилась осечка.

— Говори!— сдержанно сказал Санька Цыркулев, метнув взгляд на Ваську Баранова.

Васька заерзал на месте, растерянно посмотрел на Яшку, но сказать ничего не посмел.

— Говори сам!— уже тверже и строже повторил Цыркулев, сверкнув на него глазами.

Цыркулев — рослый и сильный парень, с пробивающимися усиками, Васька — тщедушный, испитой, вся сила его была в том, что он прислуживал Яшке, и теперь ему, видимо, нужно было что-то сказать неблаговидное о своем шефе, на что он никак не мог решиться.

— Говори!— прикрикнул Цыркулев.— Говори, или я тебе морду набью.

— Ну, мы уж как-нибудь без «морды» разберемся,— остановила его Раиса Федоровна. В чем дело, Баранов?

Васька заплакал.

— Ты еще лужи будешь тут пускать, тля?— еще громче крикнул на него Санька Цыркулев.— А что Шелестов из-за тебя в «трюме» сидит, это тебе что? Об этом у тебя слез нету?.. Он ложку Шелестову подсунул, Раиса Федоровна! А заставил его вот этот...— указал он на при-

тихшего Яшку.— И вы как хотите... Вы этого лбину уберите от нас, мы с ним сидеть не хотим, а то мы его сами лечить будем.

Яшка Клин хотел что-то возразить, но тогда зашумели другие ребята, наперебой выкрикивая, что у кого наболело:

— А чего он: «я тебя задушу» да «я тебя задавлю», «садись, поганка, на парашу, ешь там». А какой я поганка?

— Говорит: «я вор». А какой он вор? Он играет под вора, поживиться чтобы за наш счет. Не нужен он нам, уберите, а то плохо будет.

Получилось то, о чем можно было только мечтать воспитателю: расслоение, победа доброй воли над злой. Раиса Федоровна всегда с особенной болью чувствовала недоверчивое, часто враждебное отношение со стороны заключенных ребят. Несмотря на все их грехи, для нее они были ребятами, и она старалась как можно лучше выполнить свои воспитательские обязанности: вела беседы, читала вслух газеты, выдавала книги, шашки, домино, но она приходила и уходила, а ребята оставались там же, за замком, в своей среде и во власти своих предрассудков. При всех стараниях своих она часто казалась тем, ради кого старалась, врагом и обманщицей. По-человечески ей это было очень обидно и горько, и ее заветной мечтой всегда было разбить эти предрассудки и порождаемый ими фронт настороженности и недоверия. Она знала, что всегда в таких случаях нужно искать чье-то злое влияние, идущее, может быть, даже извне, из другой камеры, даже другого корпуса, но обнаружить это влияние неимоверно трудно, а обезвредить — еще труднее.

Так получилось и здесь. Раиса Федоровна слышала не раз пение Саньки Цыркулева и, оценив его способности, хотела привлечь певца в заново создаваемый при тюрьме хор. Санька сначала очень охотно согласился, но на другой день вдруг наотрез отказался, и Раиса Федоровна никак не могла допытаться причины. И только теперь попутно раскрылась для нее и эта загадка. Воспитательница узнала, что тогда, после ее ухода, в камере возник жестокий спор: можно ли участвовать в этом новом деле. Яшка Клин своими тайными путями запросил мнение какого-то Лехи, и тот ответил, что вору участвовать в самодеятельности «не положено».

Теперь все обнаружилось, и против злой, долго давившей их силы ребята подняли бунт. Яшка Клин был переведен на другой этаж, Санька Цыркулев записался в хор, а о Шелестове Раиса Федоровна подала рапорт с просьбой снять с него взыскание. На другой день Антон был выпущен из изолятора.

К Раисе Федоровне он чувствовал теперь больше доверия, и иногда у них завязывались разговоры. И в разговорах Антон высказал ей то, что в последнее время его особенно тревожило: о несправедливости судов.

— Они просто решают: «Есть? Есть!» А почему, как? А разобраться, если...

— Ну что «разобраться»?— спрашивала Раиса Федоровна.— Ну, давай разбираться. Ты хочешь сказать, что преступники не виноваты?..

— Почему не виноваты?— возражал Антон.— Подлыми люди не рождаются, подлые люди вырастают — это, кажется, Горький сказал.

— Но не все же делаются подлыми?— настаивала Раиса Федоровна.— А мало разве людей, у которых дома нехорошо и ребята тоже нехорошие кругом, а они не ошибаются, остаются стоять на ногах? Есть такие?

— Есть,— соглашался Антон.

— А иначе что же получается?— продолжала Раиса Федоровна.— Все виноваты, а я — несчастная жертва судьбы? Так, что ли?.. Общество виновато?.. Неверно это! Человек должен быть человеком всегда, при любых обстоятельствах.

Или речь заходила о тюрьме.

— Зачем малолетку в тюрьму сажать?— спрашивал Антон.— Отпустили бы меня тогда из милиции, я бы что?.. Я бы никогда ничего больше не сделал и на суд бы сам пришел. А то сижу вот тут... Я тут узнал такое, чего я никогда бы не узнал.

— Это верно! Это нам не удается еще!— соглашалась Раиса Федоровна.— Ну, вот поедешь в колонию, там все забудешь — работать будешь, учиться.

— Какая еще колония! Говорят, бывают такие...

— А ты меньше слушай.

Но не слушать было нельзя — о детских колониях шли самые различные слухи. Одни из них почему-то считались «воровскими», другие — «активными», третьи носили совсем неприличный эпитет — в выражениях здесь

не стеснялись. И Антон не знал, что ему желать,— «воровские» колонии пугали своим названием, а у него и так не выходило из головы то, что сказал ему Витька Крыса после суда: «Я тебя и на том свете найду, дотянусь!» Но и об «активных» колониях шло столько разговоров, что становилось страшно — там господствует какой-то актив, от которого тоже радости мало.

Раиса Федоровна старалась и тут успокоить Антона и все разъяснить, но одно дело — Раиса Федоровна, другое — ребята, и Антон опять начинал блуждать в трех соснах. Он, конечно, понимал, что от него ничего не зависит: куда повезут, туда и поедешь, но куда направят и какова там будет жизнь, и как вести себя там — все это было смутно и немного страшно.

...Антон играл с ребятами в домино, когда щелкнул замок, открылась дверь камеры и дежурный выкрикнул:

— Шелестов, с вещами!

Антон быстро собрал свое немудрое имущество и простился с ребятами. Ему объявили, что его отправляют в колонию, как раз в ту самую, которая считалась «активной» и которой его пугали больше всего. Под конвоем, с заложенными за спину руками, его вывели во двор, посадили на машину и повезли. Он опять не видел, по каким улицам его везли, и только по приглушенным звукам снова улавливал дыхание Москвы. На вокзале его посадили в специальный вагон с решетками. Каждое купе было отделено от прохода тоже решетками.

В купе, кроме него, было двое взрослых — один рыжий дюжий детина с горячими злыми глазами, другой — седой, то и дело вздыхавший, благообразный на вид старик — и молодой парень, невысокий, жилистый и развязный. Звали его Мишка Шевчук, по кличке «Карапет», о чем сам он поспешил сообщить чуть ли не с первых слов.

У него была голова как у гоголевского Ивана Ивановича, редькой хвостом вниз, узкий, острый подбородок и большой, широкий, шишковатый лоб. Во всю ширину его прорезало несколько продольных складок, которые могли сходиться и расходиться, как гармошка. Потом обнаружилась и еще одна способность Мишки Карапета: он умел двигать ушами и волосами, и тогда лоб его становился то шире, то уже и клетчатая кепка на его голове ходила точно живая. Нрава он был, очевидно, колючего, как Генка Лызлов, но гораздо разговорчивей, чем тот,

и Антон скоро узнал, что скитания Мишки начались после того, как он убежал от матери, потому что ему надоели ее «морали». Оказалось, что едут они в одну колонию.

— Вот и хорошо! — сказал Мишка.— Значит, вместе упираться будем.

— Как «упираться»? — спросил Антон.

— А ты что, думаешь в «зону» входить? Дурак! Они тебя горбатым сделают.

— Кто — они?

— Бугры.

— Какие «бугры»?

— Э! Да у тебя пыль на ушах! — презрительно сплюнул Мишка.— Актив!.. Ты знаешь, что такое актив? Это когда начальство чай пьет, а бригадиры да командиры управляют и гнут.

— Как «гнут»?

— Э, дубовая голова! Вот приедешь — увидишь, как гнут. Подладишься к командиру — будешь жить, а не подладишься — они тебе покажут. И пайки отнимут, посылки, койки свои заставят убирать, а чуть что — и табуретку могут на голову надеть, и с лестницы в тумбочке спустить.

— Как «в тумбочке»? — не понял Антон.

— А так: затолкают в тумбочку и пустят со второго этажа.

— Как же так? — недоумевал Антон.— А Раиса Федоровна говорила...

— Какая Раиса Федоровна?

— Воспитательница в тюрьме.

— Воспитательница!..— захохотал Мишка.— Дурак, а не лечишься! Нашел кому верить! Они все лапа в лапу живут. Им что? Им только околпачить нас и засадить, чтоб мы не вылезали. Вот они и ловят дураков, вроде тебя. А умные-то... Знаешь, какая у нас в одной колонии веселая пятница была!

— Какая пятница? — не понял опять Антон.

— Говорю, веселая: переворот хотели сделать. Против актива! — пояснил Мишка, заметив недоуменный взгляд Антона.— Ты, я вижу, первач. Первый раз в колонию-то едешь? А я их знаешь... Я их всякие видал. Работать насильно, учиться насильно — а я подчиняться не люблю! Ты слушай! Ты меня придерживайся: упрем-

ся рогом, и все. Не подниматься в зону! Ну, в колонию! Пусть в другую отправляют, без актива!

— У него на это душку не хватит,— пренебрежительно бросил с верхней полки рыжий детина.

— Почему не хватит?— вспыхнул Антон.— Ты думаешь, я...

— Ну и ладно!— сказал Мишка Шевчук.— Тогда давай в карты играть, в «очко»!

— А зачем в карты?.. Я не хочу в карты!— испугался Антон.

— Ну вот! А говоришь: я да я!.. Делать-то нечего!

— Да настоящий вор разве откажется играть! Права не имеет!— заметил опять голос с верхней полки.— А этот, видно, так... мамалыга! Такой и продать может!

Антон весь сжался от этих слов и их недружелюбного, почти злобного тона. Витька, Яшка Клин и этот нелюдимый рыжий детина с верхней полки — все об одном и том же: «продать»! Какое неприятное, настоящее воровское слово! А почему «продать»? На суде Антон рассказал всю правду и иначе не мог поступить.

Антону очень не хотелось играть в карты, но сейчас ему не хотелось ссориться и с Мишкой: едут они все-таки в одну колонию, и как там сложится жизнь — неизвестно, а потому совсем не безразлично, что́ Мишка будет о нем думать.

Стали играть. А рыжий детина, свесившись с полки, заговорил опять:

— А если затащат, что будете делать?.. В зону, говорю, если затащат?

— Убегу!— решительно ответил Мишка.

— Ну и дурак! Куда ты убежишь? Зону держать нужно! В актив не вступай. Никаких активистов не касайся. Живи втихаря и свяжись со своими. Воры в каждой зоне есть. Подбери и действуй. А не выйдет — в камышах сиди... А то — «убегу»! Куда ты дальше России убежишь?

Вот она и продолжается, «тюремная наука». Оказывается, можно «подняться в зону», войти в нее, можно «не подняться», можно как-то «держать зону», а можно «сидеть в камышах». Антон играл в карты, а сам вслушивался в эти разговоры. Он услышал, что «подельники»,

проходящие по одному делу, направляются после суда по разным местам и колониям, и искренне был рад — значит, он не увидит больше своих бывших — будь они прокляты!— дружков и — всему конец! А оказывается, нет, далеко не все, видно, кончилось, не все испытания, и там, в колонии, можно встретить кого-то вроде Вадика, или Генки Лызлова, или Яшки Клина, а значит, и туда могут дотянуться длинные руки Витьки Крысы.

Никуда, никуда, видно, не уйти от этих опутавших его сетей!

Но как же быть? Как жить? Что делать? Как вести себя вот скоро, когда остановится поезд и Антон приедет в колонию с ее «активом», «тумбочками» и «табуретками» и с Мишкой, который едет с ним из прошлого в будущее?

Антон думал и проигрывал, проигрывал и думал, совсем не давая себе отчета в том, как он будет рассчитываться с Мишкой.

И вот — гудок, станция.

— Шелестов!.. Шевчук!.. На выход!

— Ну ладно! Будешь должен,— бросил Мишка, пряча карты.

Пошли на выход, руки назад, опустив голову. Кругом народ. Люди садятся на поезд, сходят с поезда, здороваются, прощаются, целуются, машут руками. Станция небольшая, поезд стоит недолго, и вот опять гудок, и он ушёл, уводя с собою вагон с решетками.

Та же охрана, в форме, с погонами, но без оружия.

И вдруг — команда:

— Опустить руки! Идти вольно.

Это было так неожиданно и так непривычно: вольный шаг, свободные взмахи руки и какое-то новое, «вольное» ощущение.

6

Колония, куда привезли Антона, находилась в одном из городов южной России, до недавнего времени бывшем обыкновенным, ничем не примечательным районным центром с небогатой местной промышленностью. И только с последней весны поля, почти вплотную подходившие к городу с трех сторон, потеснились, уступив место начинающимся большим стройкам. С четвертой, северной сто-

роны к городу подходил лес; мелкий, корявый соснячок разрастался и, веером расходясь на многие километры, превращался в большие настоящие леса с луговинами, болотами и тихими озерами. В озерах водилась рыба, и в специальных питомниках — бобры.

У самой опушки, за рекою, отделяющей лес от города, когда-то был построен женский монастырь. Высокая стена с затейливой башней над входными воротами ограждала эту обитель от «зла мира». После революции монастырь был ликвидирован, а помещения его в разное время использовалось по-разному. Теперь здесь расположилась детская трудовая колония. Об этом, кроме вышек и прожекторов по углам стен, говорила одна деталь: обычно двери запираются изнутри, а здесь ворота были схвачены снаружи двумя большими крюками. Снаружи — потому что «зло» было внутри.

Перед колонией, вернее, перед «зоной», вокруг засаженной молодыми тополями площади с колодцем посредине, расположился небольшой поселок сотрудников, а возле самой стены — длинное деревянное здание — «штаб», управление. Туда и подъехала наглухо закрытая, без окон, серебристого цвета «спецмашина», из которой, озираясь, вылезли Антон и Мишка Шевчук. Тем же свободным, вольным шагом в сопровождении того же надзирателя через небольшой палисадник они прошли в штаб и сели на указанный им в маленьком зальчике диван. Почти напротив была обитая черной клеенкой дверь с табличкой: «Начальник колонии». Антон с опаской посматривал на нее: там скрывалась его судьба. Но «судьба» еще была заперта — о времени Антон представления не имел, но, очевидно, было еще рано, потому что в штабе не чувствовалось никакого движения и только издали доносилось пение строевой песни.

— Ну, так и есть! Шагаловка! — проговорил Шевчук.

Антон ничего не ответил, прислушиваясь, как одну песню перебивала другая, третья, точно один за другим шли взводы солдат.

Ждать пришлось долго. Наконец в коридоре послышались быстрые шаги, и в зальчик вошел невысокого роста военный. Он стал было отпирать обитую клеенкой дверь, но оглянулся и увидел ребят.

— А-а!.. Пополнение?

— Так точно, товарищ подполковник! — вытянувшись, ответил надзиратель.

— Та-ак! — Военный внимательным взглядом окинул ребят.— Ну, здравствуйте!

Шевчук промолчал, а Антон неуверенно проговорил свое «здравствуйте».

— Плохо отвечаете! — сказал подполковник.— Очень плохо! Ну ничего! Научим!

Он прошел в свой кабинет, а Мишка Шевчук развязно спросил у надзирателя:

— Хозяин?

— Подполковник Евстигнеев, начальник колонии,— пояснил тот.

— Понял? — подмигнул Миша Антону. — «Научим!» Знаем мы, как они учат! Сейчас гнуть будут.

Ну, вот и начинается!.. Вагонные разговоры были просто разговорами, а теперь все приблизилось и стало почти ощутимым: «Сейчас гнуть будут». В начальнике колонии, правда, не было ничего особенно страшного: открытое лицо и такие же открытые, веселые глаза, но это был «хозяин», а от «хозяина» всего можно ждать — так внушал Шевчук Антону в поезде.

Непонятно было, как отнестись и к Мишке. С одной стороны, это бывалый парень, который может знать то, чего не знает он, Антон, в этой новой, открывающейся перед ним странице жизни, а с другой стороны, что-то и пугало в нем и настораживало. Одним словом, сумятица в душе Антона была полная.

В кабинет между тем один за другим проходили люди — военные и штатские — и почему-то оставались там. «Значит, заседание будет»,— подумал Антон. А в животе уже начинало подсасывать и урчать — хотелось есть. И вдруг дверь из кабинета открылась, и высокий курчавый военный с гвардейским значком на груди сказал:

— Шелестов!

Антон вздрогнул, поднялся и пошел.

— Ну так смотри! Рогом, рогом упирайся! — скорее угадал, чем расслышал он сзади себя шепот Мишки.

Антон шагнул через порог и остановился: прямо на него из-за большого письменного стола смотрели открытые глаза подполковника. Теперь он был без фуражки и видны были его светлые, соломенного цвета волосы, зачесанные назад. Кругом, вдоль стен, сидели люди —

военные и не военные, те самые, которые сюда входили. Антон растерянно оглянулся и замялся у порога.

— А что нужно сказать? — спросил подполковник.

— Здравствуйте! — тихо проговорил Антон.

— Ну, подойди ближе! — сказал подполковник.— Фамилия?

— Шелестов, Антон Антонович,— как на суде, ответил Антон.

— Та-ак! — подполковник посмотрел в дело Антона, присланное вместе с ним, перелистал его и, подняв глаза, спросил:— Ну, и как же ты теперь оцениваешь то, что с тобой стряслось?

Антон смутился. Себе он отвечал на этот вопрос в тысяче вариантов, на суде сказал перед всем залом, а здесь почему-то не нашел нужных слов. Он помялся и опустил глаза. Курчавый, большелобый военный, как теперь Антон рассмотрел — капитан, который вызвал его в кабинет, хотел было вмешаться, но подполковник быстрым взглядом остановил его.

— Так!.. Ну хорошо! Сколько классов кончил?

— Девять,— ответил Антон.— Только не перешел. Экзамен на осень, по математике.

— Да-а... — в раздумье проговорил подполковник. — А сейчас — конец сентября, занятия идут полным ходом. Так где же мы будем учиться?

— А я... — Антон вспомнил Мишку Шевчука и его напутственный шепот,— я в колонию не поднимусь.

— Вот как? — удивился подполковник.— Это почему же?

— Так... — пробормотал Антон.

— А ну, глаза! — твердо сказал подполковник и, всматриваясь в Антона, повторил вопрос: — Это почему же? Ведь на все должны быть свои причины.

Потом он взял другое, лежащее рядом дело и перелистал.

— Так... Понятно!

Он переглянулся с сидевшим возле стола майором, и тот заметил:

— Тогда уж ты должен сказать: «Не поднимусь в зону». Так ведь тебя учили?

— Так... — тихо ответил Антон.

— Кто? — Антон молчал, и майор повторил вопрос: — Кто учил-то?

— Никто меня не учил, — ответил Антон. — Я сам.

— Все ясно! — сказал подполковник и, обратившись к человеку в темно-синем гражданском костюме, спросил: — Николай Петрович! А что, если нам рискнуть и определить его в десятый класс? Вытянет?

— Так он же в зону подниматься не хочет, — ответил Николай Петрович. — Что ж с ним говорить? Смешно!

— Слышишь? — сказал подполковник. — Директор школы возражает. Резонно возражает. Ничего не скажешь!

Все зашаталось под ногами Антона. Оказывается, все было так близко, почти в руках — попасть в десятый класс... И вдруг... Потрясенный неожиданной потерей этих возможностей, Антон сразу забыл о Мишке и о всех его разговорах.

— Да нет!.. Гражданин начальник!

— А у нас не тюрьма, — произнес подполковник. — У нас обычная форма обращения: товарищ начальник. А зовут меня Максим Кузьмич.

То, что страшный «хозяин», который, по уверению Мишки Шевчука, должен был его «гнуть», оказался обыкновенным Максимом Кузьмичом, совсем обезоружило Антона. Он растерянно молчал, не зная, что сказать и как сказать, как обратиться, а подполковник, окинув его еще раз понимающим взглядом, прихлопнул ладонью «дело».

— Ну, Антон! Давай договоримся: как будем жить? Ты знаешь, что мы имеем право досрочного освобождения?

— В тюрьме объясняли.

— При каких условиях возможно это освобождение?

— Если хорошо вести себя.

— Быть тихоньким, паинькой?.. Так, что ли? — спросил начальник. — Нет, нам не это нужно. Вот когда ты поймешь все, осознаешь, научишься и работать, и вести себя в обществе, тогда пожалуйста! Ясно?

— Ясно.

— Руку!

Подполковник вышел из-за стола и широким жестом протянул Антону руку. Тот нерешительно пожал ее.

— Крепче! Крепче! Вот так! Как насчет школы? Не подведешь?

— Не подведу.

— Ну смотри!.. Определяем тебя в третий отряд, девятое отделение. Это будет твой старший воспитатель, — указал он на того же курчавого военного с гвардейским значком, — капитан Шукайло, Кирилл Петрович. А теперь — в баню!

Антон пошел к двери и вдруг вспомнил, что там ждет его Мишка Шевчук. Он замешкался, и, заметив это, подполковник спросил:

— Что еще?

— А какой «масти» ваша колония?

— А какой тебе надо?

Антон растерянно молчал, а подполковник внезапно нохолодевшим голосом скомандовал:

— А ну в баню! Марш!

7

Едва за Антоном закрылась дверь, подполковник обвел глазами собравшихся. Это была комиссия по приему: старшие воспитатели, директор школы, врач, заведующий производственными мастерскими — по сути дела, все руководство колонии.

— Вот я про это и говорил, — как бы ответил на этот взгляд директор школы. — Какой ему десятый класс? Он только успеваемость будет вниз тянуть.

— Николай Петрович! Как можно? — встрепенулся Шукайло. — Нам разве проценты? Нам парня тянуть нужно.

— Да ведь — кисель! — заметил кто-то в поддержку директора.

— Ну это как сказать! — не согласился опять Кирилл Петрович. — Просто набрался в тюрьме всякой всячины... Явно чужие песни поет.

— И знаете, с чьего он голоса поет? — Подполковник Евстигнеев взял следующее лежащее перед ним дело. — Пожалуйста — Михаил Шевчук! Две судимости, четыре взыскания за нарушение тюремного режима.

— Закономерное явление: тюрьма! — понимающе кивнул майор, сидевший рядом с ним, его заместитель.

— Конечно, тюрьма, — согласился капитан Шукайло. — Только зачем нам эта закономерность нужна? И зачем такую зеленую поросль обязательно через тюрьму

пропускать? Оберегать ее нам нужно от этого! Всемерно оберегать!

— А что же прикажете делать с ней? Миловать? — резко повернулся к нему майор.

— Не знаю! — откровенно признался Кирилл Петрович и еще раз повторил: — Не знаю! Но что-то нужно искать, придумать. А была бы моя власть, я бы это богоугодное заведение взял и закрыл!

— Ну, это чепуха! Фантазия! Анархизм! — отмахнулся майор.

— Фантазия? — вступил в разговор подполковник. — А что в Программе партии записано? «Коренное изменение характера наказания... Чтобы система наказаний была окончательно заменена системой мер воспитательного характера». Конечно, до этого еще нужно дойти, но это никак не фантазия! И если бы, например, такую ребятню, минуя тюрьму, прямо к нам направляли, на место...

— И то не всегда! — заметил Кирилл Петрович.

— И то не всегда, — согласился начальник. — Я уверен, например, что для такого, как Шелестов, достаточно было суда, одного факта суда, и все! Вы заметили, как он смутился, когда я спросил его о прошлом?

— Вот именно! — как бы даже обрадовался Кирилл Петрович. — Кстати, Макаренко, как известно, был против всех этих напоминаний.

— Да, это известно! — перебил его подполковник. — Макаренко считал, что все должно быть оставлено за порогом. Но... но, Кирилл Петрович! Иногда не мешает подумать и самим, без ссылок и цитат. Честное слово! Времена-то меняются!

— А почему должно меняться наше отношение к ребятам? — упорствовал Кирилл Петрович. — Ребята ведь те же!

— Не знаю! — усомнился Максим Кузьмич. — И те же и не те же. Вопросы эти большие, и не здесь их решать, но на учебно-воспитательном совете поговорить о них не мешало бы. Разве наши ребята такие же, как у Макаренко? И уровень другой, и путь другой. Во времена Макаренко — беспризорность, голод, разруха, наследие прошлого. Стихия! У нас — другое. Все — тоньше, глубже, сложнее. Теперь это преступление против нашего настоящего.

— И против будущего, — добавил капитан Шукайло.

— И против будущего! — согласился Максим Кузьмич. — Значит, и относиться к нашим ребятам нужно подругому, и, может быть, не помешает иногда и напоминание. Не простое напоминание. Осознание! Не укор, а оценка! Элемент сознательности, активности в переоценке своей жизни. Так, по-моему!.. И вот этой активности, осознанности Шелестов пока не обнаружил.

— Какая у него статья-то? — поинтересовался майор Лагутин.

— А какое это имеет значение: статья, срок? — ответил ему начальник. — Важна степень преступности и развращенности. У Шелестова все это наносное, и с ним решаем так: все эти песни, напетые тюрьмой, в нем нужно глушить и всю тюремную наволочь счищать. Сегодня же в работу, на строительство клуба. И сразу же в производственную мастерскую. Обязательно!

— В какую? — спросил капитан Шукайло.

— Выясните. И интересы его выясните, и наличие мест. Выясняйте и определяйте. Так же будем решать и со школой. На него нужно активное и энергичное воздействие. Чтобы тянулся, а не раскисал! Вот такую задачу и поставьте перед учителями, Николай Петрович! И вы, Кирилл Петрович, тоже обратите внимание.

— Понятно.

— Поехали дальше. Кирилл Петрович, раз уже сели у дверей, будьте любезны, пригласите Шевчука.

Шевчук вошел с форсом, надвинув на один глаз клетчатую кепку, руки в брюки, с иронической ухмылкой на лице. Он выдержал упорный взгляд подполковника и вызывающе отставил ногу.

— Кепка! — строго сказал подполковник.

Мишка посмотрел на него, как бы не понимая, в чем дело.

— Снять кепку. Стать как положено!

— П-жалуйста!

Шевчук не спеша стащил кепку с головы, чуть-чуть подтянул выставленную вперед ногу, и вдруг уши у него задвигались, как у овчарки.

— Брось паясничать. Не в цирке! Фамилия? — спросил подполковник.

— Там все прописано. Чего зря спрашивать? — процедил сквозь зубы Мишка, и теперь волосы на его голове стали ходить взад и вперед.

Но и это ни на кого не произвело впечатления, а подполковник стал еще строже.

— Изволь отвечать. Фамилия, имя, отчество?

— Ну, Шевчук, Михаил Илларионович. Как Кутузов.

— Похож! — раздался чей-то иронический голос.

— Вторая судимость?

— Ага!

— Что за «ага»?.. Первая за что?

— А я не запоминаю разные варианты.

— Освобожден досрочно?

— Досрочно.

— И опять.

— Как видите.

Пристальным, изучающим взглядом подполковник смотрел на Мишку, а тот, отставив опять ногу, стал блуждать глазами по стенам, потолку, глянул в окно и наконец уставился в пол.

— Подними глаза! — сказал подполковник.

— А у меня такой привычки нет, не выработалась, — ответил Шевчук упрямо, изучая рисунок ковра.

— А знаешь, у кого такой привычки нет? — заметил майор. — У кого совесть нечиста.

— Ну, насчет совести вы пионерам говорите, а нам это нужно как рыбе зонтик. И вообще напрасно время тратите: меня морально не возьмешь!

— А знаешь, что я тебе скажу, Михаил Илларионович! — уже без строгости, а с легкой, не то добродушной, не то шутливой улыбкой сказал подполковник. — Дураков-то не сеют, они сами родятся.

— Понятно! — тоже улыбнулся Мишка. — Ну что ж, с дурака спросу меньше.

— Голова, я вижу, у тебя совсем не так пляшет. Давай-ка лучше о будущем думать, — продолжал подполковник.

— А что о нем думать? Мне только на волю выйти — я себя покажу.

— Ты сначала выйди, а там видно будет, где ты приземлишься, — вмешался опять заместитель начальника. — Есть голова на плечах — одумаешься, а нету — пропадешь.

— А это не ваша печаль, — пренебрежительно ответил Мишка. — У каждого своя голова — как хочет, так и пляшет.

— И кого ты из себя строишь? — все больше вглядываясь в него, спросил подполковник. — Мы ведь всяких видали.

— На том сидите, — усмехнулся Шевчук.

— А как же? На том сидим! Так что ты эти штучки брось. Давай-ка лучше о профессии думать. Какую выбираешь: слесаря, токаря, литейщика? Или, может, строителем хочешь быть? Любую!

— А у меня профессия есть.

— Это какая же?

— Вор.

— И что же ты — всю жизнь думаешь воровать?

— Я на то создан, — с напыщенной важностью ответил Шевчук. — Был вором, вором и останусь и считаю это за гордость.

— Та-ак!.. Ну, а если все будут воровать?

— Все не смогут. Это не начальником в кресле сидеть. На это сила нужна.

— Ты думаешь? — прищурив на него глаза, спросил начальник.

— Я думаю! — точно так же прищурил глаза Шевчук. — И техника нужна.

— Насчет техники — это правильно! — согласился подполковник. — Кто чему учился. А насчет силы... Может, наоборот? Сила нужна, чтобы отойти от этих дел?

— На это подлость нужна!

— А может, тоже наоборот? Как понимать подлость!

— Подлость есть нарушение воровских законов. За это нож полагается.

Сквозь кривую, пренебрежительную полуусмешку, с которой Шевчук вел своей поединок с начальником, блеснуло вдруг что-то исступленное и диковатое, заставившее всех сразу примолкнуть и насторожиться: этим людям, по многу лет работающим в колониях, действительно приходилось видеть всяких, но такие тоже попадались не часто.

— И ничего вы от меня не добьетесь! — все больше распаляясь, продолжал Шевчук. — И в зону я не поднимусь, хоть режьте. Я решил жизнь посвятить преступному миру, а здесь мои враги. Чтобы бугры мне ребра ломали, табуретки на головы надевали...

— А у нас бугров нет, — заметил подполковник. — У нас командиры.

— Ну, все равно бугры. Актив! Не пойду я к вам! Не пойду!

Исступление, сначала лишь блеснувшее у Мишки, разгоралось все больше и больше. Его бледное, испитое лицо стало дергаться, и он, сжав кулаки, напрягся, точно готовый к прыжку. И, кажется, если бы не сидело здесь десять — двенадцать человек, он бросился бы через стол на начальника. А начальник опять смерил его пристальным, сделавшимся сразу очень спокойным, но по-прежнему изучающим взглядом и вдруг сказал:

— А палец где сбил?

Шевчук сразу замолчал, посмотрел на начальника, потом на сбитый палец и уронил кепку, но тут же нагнулся и поднял ее.

— Ногти отрастил! — как будто ничего не заметив, покачал головою начальник. — Ну? В каком классе учиться-то будешь?

— Ни в каком я не буду учиться, — еще больше обозлился Мишка. — И вы эти приемчики бросьте. Не подло́вите!

— А почему зуба нет? — опять, словно не замечая его раздражения, спросил майор.

— Не вырос.

— Будем вставлять.

— Смотрите последние не выбейте!

Шевчук дерзко, с вызовом глянул на подполковника, но на лице его опять не обнаружил ни раздражения, ни гнева.

— А чем заниматься любишь? — спросил начальник клуба. — В футбол играешь, в шахматы?

— В карты играю.

— Ну, в карты у нас играть нельзя.

— А я без карт не могу, инстинкт выработался.

— А проиграешься, чем расплачиваться будешь?

— Я не проиграюсь. Я все время выигрываю.

— Это почему же?

— Секрет знаю.

— Сколько классов-то кончил? — спросил директор школы.

— Четыре класса, пятый коридор.

— А что читал? Что любишь читать?

— Да мало ли их! — пожал плечами Мишка. — Ну, Джека Лондона читал и другие. Про любовь, про войну.

— Про преступления, — подсказал директор школы.
— Ну, это само собой. С убийствами!
— Отец есть? — спросил подполковник.
— Нету.
— Мать?
— Тоже нету. Никого у меня нету.

Больше часа шел этот поединок с исступленным, одичавшим упрямцем, решившим во что бы то ни стало отстоять втиснутую кем-то в его голову напыщенную «воровскую гордость». Люди посматривали на часы, на столе у начальника звонил телефон, и он, взяв трубку, снова опускал ее на рычаг, не прерывая разговора. А Шевчук все стоял и требовал, чтобы его отправили во «взрослую» колонию или в «режимку» — куда угодно, лишь бы не оставаться здесь, во власти ненавистного ему «актива».

— Ну хорошо, Михаил! — решил наконец подполковник.— На сегодня, пожалуй, хватит. Иди поразмышляй!

— Эрудированный товарищ! — покачал головою директор школы, когда Шевчук с тем же форсом, сдвинув на затылок кепку, вышел.

— А может, его и действительно прямо в колонию со строгим режимом переправить? — предложил майор Лагутин.

— Что значит «переправить»? — вспыхнул подполковник. — Не тару, не бочку пустую берем.

— Но у нас их пятьсот человек, — заметил майор. — Мы только что приняли Шелестова, и вот рядом с ним — Шевчук. И если он с самого начала так проявляет себя, зачем нам эту заразу брать?

— Не испытав и ничего не сделав? — возразил опять подполковник. — Как же так? Да из него, может, скорее толк получится, чем из Шелестова.

— Ну, это еще как сказать! — не согласился теперь Кирилл Петрович.

— Не будем спорить! — Максим Кузьмич, взглянув на часы, взялся за лежавшую перед ним фуражку. — Можете, товарищи, идти по рабочим местам.

8

Антон вышел из кабинета в полном смятении. И все, что он чувствовал, очевидно, было написано на его лице, потому что Мишка Шевчук, едва увидев Антона, прошипел:

— Раскололся?.. У-у, дубовая голова! А я горбатым от них уйду, а не сдамся. Меня они не сломают.

Антон ничего не ответил, но когда его повели вдоль большой каменной стены к башне, под которой была вахта, вход в колонию, когда он увидел опять дверь, обитую железом, с таким же «глазком», как в тюрьме, на него снова напала оторопь. А может, Мишка прав? Он много видел и много знает. Может, и действительно так? Что там, за этой дверью с большой железной задвижкой? Как встретят его ребята? Что за ребята? Какие? Что за актив? Бугры!.. Какое зловещее слово — «бугры»!

Но задвижка щелкнула, дверь открылась, закрылась и проглотила Антона со всеми его сомнениями — он вошел в «зону». Перед ним была небольшая полукруглая площадка, посыпанная желтым песочком и обрамленная по-осеннему золотистыми липами. Под деревьями по всему полукружию стояли лавочки, крашеные, со спинками, как в каком-нибудь московском сквере. Прямо против вахты на постаменте возвышался большой бюст Ленина, а по сторонам, также по всему полукружию, — плакаты, диаграммы, лозунги. С этой площадки лучами расходились дорожки, такие же чистые и посыпанные песком. Вдоль дорожек тоже выстроились липы, уже роняющие свою листву, рос багряный кустарник, цветы. Цветов было много, как в парке культуры, и для Антона они были совсем неожиданны здесь, за каменной стеною со сторожевыми вышками и за дверью, обитой железом.

Никаких «бугров» не было. Кругом было почти пусто и тихо. Изредка попадались ребята в костюмах из черной бумажной материи, они шли по каким-то своим делам, и почти никто не обращал на Антона внимания, а если кто и смотрел вслед, то это был обычный любопытный взгляд — новенький?

Здесь же, за липами и цветами, виднелись корпуса — невысокие, одноэтажные, очевидно, старые домики, более новые, двухэтажные строения и большое кирпичное здание, по виду своему напоминающее церковь. Возле этого здания копошились ребята.

В один из корпусов и привели Антона после бани. У входа, развалясь на лавочке, сидел парень в таком же, как у всех, черном костюме. У него были ярко-красные, мокрые губы, румяное лицо и вздернутый нос с широкими, открытыми ноздрями.

— Капитан Шукайло не приходил? — спросил его сопровождавший Антона надзиратель.

— Нет.

— А командир?

— Командир в школе. А что?

— Новенький.

— А зачем командир? Я дежурный! — Парень смерил Антона взглядом и подвинулся, давая ему место. — Садись, малый!

Антон нерешительно глянул на сопровождающего, и тот сказал:

— Ну и что? Ты теперь дома. Садись! А я капитана поищу.

Ребята стали знакомиться — откуда, как зовут, с каким сроком попал в колонию?

Дежурным оказался Илья Елкин, ученик десятого класса. Ему было уже восемнадцать лет, он собирался в колонию для взрослых и был недоволен, что его туда не направляют.

— А тут что? Разве плохо? — насторожился Антон.

— А то хорошо? — ответил Елкин. — Это они говорят только: досрочное освобождение, досрочное освобождение... Для дураков! А я вот два года тяну, и хоть бы год сбросили. То все хозяин прижимал, не хотел на суд направлять...

— На какой суд? — не понял Антон.

— Ну, областной выезжает сюда, по пересмотру, для скидки. А все равно: колония направила, а суд отказал. Они заодно друг с другом, лапа в лапу. А если так — пусть тогда во взрослую отправляют; там, говорят, хоть пожить можно!

— А здесь?.. Здесь плохо? — продолжал допытываться Антон.

— А какая тут жизнь? Работа, школа, туда-сюда, в уборную некогда сходить, всюду строем, с песней, и везде общественники над душой стоят.

— Бугры? — спросил Антон.

— Ну да! Сами выслуживаются, а над нами гонорок свой показывают.

— Гнут?

— Сам увидишь. За каждую двойку наваливаются. А мне эти двойки... Я взял бы и все чернильницы побил к такой-то матери. — Елкин грубо, нехорошо выругал-

ся. — И работа. Видел — клуб строим? Тоже нашими руками.

Картина получилась вроде той, какую нарисовал Мишка Шевчук: и «бугры», которые «гнут», и двойки, за которые «наваливаются». Не хватало табуреток, надеваемых на голову, но, очевидно, Елкин просто боится об этом говорить. «Сам увидишь...»

А главное, исчезала надежда на досрочное освобождение. Может, это действительно разговоры для дураков? Может, и действительно нужно было послушать Мишку, «упереться рогом» и добиться вместе с ним отправки куда-то еще, где лучше? Вот Мишка, очевидно, так и не согласился идти в эту колонию и его отправили отсюда. Антон старался как можно дольше мыться в бане, чтобы дождаться своего попутчика, и не дождался. Значит, и ему, Антону, можно было «упереться» и поехать в другую колонию, без «бугров».

На душе у Антона стало опять очень тяжело и грустно — как он легко верит одним и не верит другим, кому нужно, и как он снова ошибся и упустил возможность отстоять свою судьбу. Да, судьбу нужно отстаивать, а не попадаться, как головлю, на первого червяка. То ли дело Мишка! Вот это да! Это парень.

В таком смятении и застал его капитан Шукайло. Он задержался при затянувшемся разговоре с Мишкой Шевчуком и спешил. Кирилл Петрович быстро вышел из-за угла, когда Елкин рассказывал Антону, как он, Елкин, организовал в колонии хореографический кружок и готовит в нем с ребятами какую-то необыкновенную пляску к предстоящему Октябрьскому празднику в новом клубе.

— А говорят, это не положено — на сцене выступать, — заметил Антон.

— А хрен их знает. Положено — не положено... Теперь эти законы строгость потеряли. А ты меньше слушай. Живи, чтобы тебе легче было. А я люблю петь, плясать. Выйду на волю и знаешь куда пойду? В цирк. Клоуном. Ездить везде!.. У меня вообще нрав такой — веселый, жизнерадостный. А чего унывать?

В это время и появился из-за угла Кирилл Петрович.

— Правильно, Илья! Вот это правильно! — сказал он, услышав последние слова Елкина. — Вот так и нужно

встречать нового товарища. Чего унывать? Ну, рассказал ему о нашей жизни?

— Рассказал. О клубе рассказал, что клуб строим.

— Да-да! — с увлечением подтвердил Кирилл Петрович. — В Октябрьские праздники открывать будем, а сейчас всей колонией работаем. Не видел?

— Видел, — сказал Антон.

— А спальню видел?

— Нет.

— Что ж ты не показал? — спросил Кирилл Петрович у Елкина. — А ну открывай!

Елкин толкнул дверь, и они вошли в спальню.

Спальня удивила Антона. Это было совсем не то, что он ожидал. Все-таки колония, место заключения, и вдруг — крашеные полы и фикусы. Вдоль стен двумя рядами стояли одинаково заправленные кровати, стояли, правда, тесновато, но перед каждой — тумбочка! На окнах висели вырезанные из цветной бумаги занавески, а на стенах и биография Ленина, и пятилетний план, и «Что читать?», и «Обязанности дежурного», и стенгазета.

— А это наши бывшие воспитанники, — указал Кирилл Петрович на разукрашенный лист картона с многочисленными фотографиями. — Вот Травкин Борис, наша гордость. Одним из первых в колонию пришел, ее строитель, на полу еще спали. Работал как зверь. Командиром стал, первым Красное знамя со своим отделением получил, школу с золотой медалью кончил, досрочно освободился, сейчас — офицер Советской Армии. Этот — институт кончает. Этот — трактористом работает, в прошлом году на целину уехал. Этот — на заводе, женился уже, дочка родилась.

Антон смотрел и слушал — и верил всему этому и не верил: слишком много он испытал за последнее время, чтобы принять все за чистую монету с первого слова, слишком много он видел грязи, чтобы сразу поверить людям! А Кирилл Петрович называл новые и новые имена, и за каждым вставала своя судьба — с печалями, успехами и радостями. И эти радости словно отражались на лице воспитателя, немного угловатом и энергичном, и заставляли его светиться. Увлечение помешало воспитателю заметить переживания своего нового воспитанника, а Шелестов постепенно перевел свой взгляд с фотографий на

лицо воспитателя, потом на гвардейский значок, алевший на его поношенном кителе, и спросил:

— Вы в гвардии были?

— В гвардии.

— Танкистом?

— Нет. Авиадесант... А что? Думаешь, это хуже? Ух, брат!..— Но, боясь, видимо, увлечься нахлынувшими воспоминаниями, Кирилл Петрович перешел к другой стене.— А это уголок «Наши заслуги»: Почетные грамоты за спорт, за самодеятельность... А вот наказ родителей. У нас каждый год собирается родительская конференция. Была она и этим летом и вот приняла обращение к ребятам. Читай!

И Антон читает.

«Дети наши! Милые!

Мы живем в Советской стране, стране сознания, в стране культуры, в обществе передовых людей мира. Наше родительское сердце верит, что вы, тяжело провинившиеся перед народом, поймете свои ошибки и сделаете все для их исправления. Мы верим в ваши успехи и в ваши прекрасные мечты на благо нашей любимой родины.

Пусть вас не смущает и не пугает будущее. Ваша жизнь впереди, и много еще хорошего будет в жизни. Но помните, что только честный, настойчивый человек, любящий труд и общество, достоин называться советским человеком. В труде, в учебе, в служении своему народу заключается красота жизни. Легкая жизнь, нечестный заработок — это скользкий путь, который приводит к презрению и изганию из общества. А что может быть лучше, краше, чем любовь и доверие общества?

Желаем вам, дорогие ребята, счастья в будущем, желаем как можно скорее восстановить утерянную вами честь и заслужить гордое звание настоящего советского человека. Ваше будущее в ваших руках».

Эти слова родителей растрогали Антона. Перед ним вдруг как живая встала мама с ее испуганными глазами, с ее вырвавшимся при чтении приговора криком, с кривой улыбкой, которой она силилась скрасить его путь после суда. Углубившись в чтение, он тоже не заметил, как пристально следил за его лицом Кирилл Петрович.

Вот пришел человек, новый и совершенно незнакомый пока воспитанник, уравнение со многими неизвестными.

Что он принес с собою? Что вынес из испытаний, через которые прошел? Самооплакивание, жалость к себе? Или протест, или злобу? Духовный паралич или добрую волю и веру в будущее?

— У тебя кто есть — и папа и мама? — спросил Кирилл Петрович, когда Антон прочитал «обращение» до последней точки.

— Нет. Одна мама! — коротко ответил Антон, и в этой решительной краткости было что-то, заставившее воспитателя насторожиться.

— А ну давай-ка побеседуем! — сказал Кирилл Петрович, усаживаясь с Антоном возле стола, накрытого белой простыней вместо скатерти.

Отослав Елкина, он подробно расспросил Антона обо всей его семье — о маме, о бабушке, о Якове Борисовиче и всех родственниках, об отношениях с ними, о школе и вообще о всей предшествовавшей жизни.

— Так!.. — сказал он, когда все ему стало ясно. — Ну, а теперь поговорим о перспективах.

Кирилл Петрович рассказал о жизни колонии — о школе и клубных кружках, о быте, самообслуживании, об отношениях с товарищами, о коллективе и его принципах.

— А теперь поговорим о производстве... Тебя куда тянет?

— Мне все равно.

— Э, нет!.. Так не выйдет! Ты это безразличие бросай, апатию и все такое. Нужно жизнь брать за рога, за самые рога, и крутить ее в свою сторону. А мой тебе совет: берись за слесарное дело. Это — основа всего. У нас есть хороший мастер, Никодим Игнатьевич.

— Кирилл Петрович! А куда мы его положим? — вмешался неожиданно опять появившийся около них Елкин. — Положите рядом со мной. Сазонов в санчасть лег, койка свободна.

— Ну, об этом мы с командиром отделения договоримся, — уклончиво ответил Кирилл Петрович.

— Не доверяете?

— Кажется, вот и ребята идут, — будто не расслышав, сказал Кирилл Петрович, уловив зазвучавшую вдали строевую песню. — Сейчас, значит, обедать, а после обеда, что ж... После обеда на производство пойдем определяться, а потом — на строительство клуба. Хорошо? — Он положил руку Антону на плечо. — И ты прямо включайся! Ни-

чего, Антон, все будет отлично! Главное, не робей! Сила приходит в борьбе. Пойдем атлетов наших встречать!

Они вышли на улицу. На сердце у Антона стало легче. Опасения и страхи насчет «бугров» и «табуреток» куда-то отодвинулись — уж очень на это не было похоже, и, ободренный, Антон решился наконец задать вопрос, все время вертевшийся у него на языке:

— Товарищ капитан!.. А как этот?.. Другой?.. Мишка Шевчук?

— А зачем он тебе? — спросил Кирилл Петрович. — Знаешь что? Выкинь ты его из головы. Живи сам! И помни, тут тебе тоже не легко придется! К тебе всякие советчики будут липнуть — сам соображай! Сумеешь выстоять, сумеешь взять себя в руки, поймешь, что лучше солому есть, честно заработанную, чем совесть свою продавать,— вот тогда из тебя человек выйдет. А будешь туда-сюда, как некоторые, что теперь, мол, умней буду, не сяду по пустякам, тогда считай — пропал. Понятно?

— Понятно! — тихо проговорил Антон.

На дорожке показалась между тем колонна ребят. Они шли по четыре в ряд, в одинаковых черных костюмах, но не очень стройно; и только заметив старшего воспитателя, шедший сбоку командир, высокий и поджарый, подал команду:

— Но-о-гу!

Отделение подтянулось и, четко выбивая шаг, подошло к своему корпусу.

— На месте! Ать-два! Ать-два! — старательно отсчитывал командир. — Отделение, стой! Ать-два!..

Сделав два последних положенных шага, ребята замерли, а командир, вытянувшись, отрапортовал:

— Товарищ старший воспитатель! Девятое отделение прибыло со школьных занятий на обед.

— Почему шли без песни? — спросил капитан.

— А мы только одну кончили, а другую не успели начать, — ответил командир.

— Смир-рно! — скомандовал Кирилл Петрович. — Товарищи воспитанники! К нам прибыл новый товарищ, Антон Шелестов. Встретим его по-дружески, как всегда. Ясно?

— Ясно, товарищ старший воспитатель! — ответил за всех командир.

— Воспитанник Шелестов! — обращаясь к Антону, так же торжественно сказал Кирилл Петрович. — Займите место в строю девятого отделения.

Антон встал в строй.

Так совершен был обряд вступления его в новую жизнь. Но, как многие обряды, он содержал что-то внешнее и поверхностное, и Антону много еще пришлось пережить, прежде чем девятое отделение стало для него понастоящему своим.

9

Мишка Шевчук размышлял пять дней. За это время начальник каждый день заглядывал на вахту, где эти дни находился новый строптивый воспитанник, или вызывал его к себе. Но Мишка продолжал упорствовать:

— Не хочу. Не нравится. Климат не подходит.

В другой раз опять решительно заявлял:

— Нет. Большевики не сдаются, и я не сдамся.

— Ну и каша же у тебя в голове, — усмехнулся начальник. — Да ты же против большевиков идешь.

— Почему «против»? Большевики сами собой, а я сам собой. Я совсем из другого мира.

— Ах, вот как? А мир, против которого ты ополчился, это какой же? Мир труда и народа. И ты против него? Большевики хотят устроить жизнь как следует, а ты?.. Ты, мало того, мешаешь, ты против идешь!

— Ну ладно! Это вы пионерии своей говорите. А у меня убеждения, и никто меня не может сломить.

— Убеждения!.. Никаких убеждений у тебя нет. Ты просто трус!

— Кто? Я?

— Да! Ты! Ты боишься актива, каких-то «бугров»...

— Боюсь? — на лице Мишки проступила отчаянная решимость. — Да пусть меня только тронут — трое мертвых лежать будут.

— Может, немножко множко: трое-то?

— А вот посмóтрите! Я вам тоже веселую пятницу сделаю.

— Какую веселую пятницу?

— Такую. Обыкновенную.

— Подожди, подожди! О чем ты говоришь? Ты в какой колонии был?

Мишка назвал колонию, и начальник вспомнил, что там именно был какой-то непорядок, отмеченный в свое время в приказе. О нем говорилось и на совещании. Это и была, очевидно, та «веселая пятница». Начальник попробовал расспросить Мишку поподробнее, но тот хитро улыбнулся, — «дураков ищете!» — и разговор снова не состоялся.

Начальник мог ввести его в зону насильно — вызвать двух надзирателей, и они под руки препроводили бы Шевчука в отделение. А дальше? Мишка не из таких, чтобы ягненком идти под руку с вахтерами — он стал бы брыкаться, кусаться, и, пожалуй, двум вахтерам с ним бы не справиться. И какая бы это была картина. И как бы все это подействовало на остальных ребят, да и на самого Мишку: «насилие», «издевательство», «ломают руки», «бьют»!

И начальник опять вызывал его к себе и предлагал сесть в кресло.

— Ну, как твои рога? На хранение у вахтера оставил или как?

Мишка в кресло садиться отказывался и на шутку не поддавался. Тогда начальник заводил окольные разговоры и, слово к слову, опять пытался выудить заинтересовавшую его историю «веселой пятницы». Это казалось ему очень важным и должно было объяснить — что же пугает Мишку, почему он так боится «бугров» и так не верит активу? Что преступники настроены против тех, кто становится на путь исправления,— это естественно; что они стараются вести за собой молодежь — это тоже естественно, но в истории этого дерзкого и как щитом прикрывающегося этой дерзостью парнишки могло быть и что-то личное, свое.

Не первый год работал подполковник Евстигнеев начальником колонии. Без большого энтузиазма принял он, вернувшись с войны, это назначение, пробовал отказываться, но — дело партийное! — пришлось согласиться. А потом втянулся в работу и полюбил, полюбил ребят и эту непрерывную, ни на одну минуту не прекращавшуюся борьбу. Интересно! Интересно принять вот такого ерша, провозиться с ним и год, и два, сколько потребуется, а потом пожать ему на прощанье руку и затем получить от него издалека письмо со словами благодарности.

А разве это не партийный долг и к тому же челове-

ческая обязанность — спасти ребят и свести на нет наши потери? Как на фронте радость победы не снимала в нем боль о погибших, так и тут Максим Кузьмич не мог забыть о потерях. Только потери на войне были невозвратны, а здесь еще можно бороться! Не всех, конечно, удастся спасти, но многие могут быть возвращены в общество. И в этом для него открывалась поэзия его труда: бороться за каждого, в человеке видеть человека, его возможности и его будущее. Отсюда — доверие, иногда, может быть, излишнее, даже промахи, даже ошибки. Но по голосу совести он считал, что лучше лишний раз поверить, чем оскорбить человека недоверием. Максим Кузьмич знал при этом, что доверчивость часто рискованна. И по старой военной привычке он считал для себя обязательным знать противника, соразмерять его силы со своими, угадывать маневры и ухищрения. Вот почему он старался разобраться в тех процессах, которые происходят в преступной среде, старался потому, что отголоски проникали и сюда, за стены колонии,— все стены проницаемы. Проникла сюда, пусть в ослабленном и приглушенном виде, вражда «мастей» и группировок. Отсюда два лагеря: «актив» и «рецидив», а между ними то, что бывает во всяком «между»,— одни склонны туда, другие — сюда, а третьи не прочь увязать одно и другое. И самое страшное — перелицовка, стремление войти в актив, примазаться, чтобы получить какие-то права и преимущества. И самое трудное: распознать, отличить подлинного активиста от «двойника», который хитрит, темнит и ловчит, используя положение активиста в своих личных, а иной раз и темных целях. И самое опасное: проглядеть.

И все зависит от зоркости глаз.

Вот почему подполковник Евстигнеев так настойчиво выпытывал у Мишки историю «веселой пятницы» — чтобы из ошибок товарищей извлечь какие-то уроки. В чем виноваты были ребята и в чем виновата колония? Кто верховодил в активе и кто восстал против тех, кто верховодил? И почему?

Как получилось все, Мишка не знал, да и не думал об этом, но когда он говорил теперь о «змée», который «пиратничал»,— перед начальством представлялся хорошим командиром, а сам бил сапогом по морде, отбирал у ребят вещи и обедал отдельно,— у него дрожал голос.

— Дрова пилить заставят, а пила без зубьев, не берет. А командиры и шестерня, холуи ихние, сидят, на гитаре играют, смеются.

— А воспитатели?

— А воспитатели что?.. Воспитателям лишь бы порядок. Может, не верите?

— Почему же не верю? Верю. Только ты что-нибудь просто напутал.

— И ничего не напутал, говорю как есть,— обиделся Мишка.— А не верите, мне тоже наплевать на это с высокой горки. Вы всегда дружка за дружку стоите. И в колонию вашу я все равно не пойду, не по моему она нраву.

Пришлось снова предложить Мишке пойти и подумать.

Что думал он и что в конце концов надумал, обнаружилось много позже, но тут произошло одно малоприметное обстоятельство, заставившее Мишку неожиданно переменить решение. Караульный, выводя его «на оправку», засмотрелся, и Мишка получил возможность перекинуться несколькими словами с одним оказавшимся рядом пареньком.

— У вас воры есть?

— Есть,— боязливо оглянувшись, ответил паренек.

— Сколько рыл?

— А кто их знает. А ты что — упираешься?

— Ага.

— Входи. «Держать мазу» будем.

— А ты сам-то кто? Какой масти?

Но в это время караульный окликнул Мишку, и он так и не узнал ни «масти» своего случайного собеседника, ни фамилии, ни отделения, в котором его можно искать. Но разговор этот произвел на него впечатление: если один единомышленник попался ему сразу же, с первой встречи, значит, они тут есть, и, продумав всю ночь, Мишка на другой день заявил о своем желании говорить с «хозяином».

Начальник его вызвал сразу и заметил замысловатую ухмылочку, бродившую на лице Мишки.

— Ну, раз сунул рог свой, придется мочить до конца. Вхожу в зону! Давайте договариваться!— сказал Шевчук, всем своим видом и поведением подчеркивая полную независимость.

— А что нам договариваться? — спросил начальник, стараясь разгадать смысл Мишкиной ухмылки. — Будем жить.

— Не будут трогать — буду жить. Я никого не касаюсь, и меня пусть никто не касается. Буду сам по себе жить.

— А как же ты думаешь в коллективе жить и никого не касаться?

— А что мне коллектив? Я — так!

Подполковник усмехнулся.

— Ну и каша у тебя в голове. Ну ладно! Там видно будет! Только я тебе, Михаил Илларионович, вот что скажу: душа у тебя затемненная, очень нездоровым духом пропитанная. Насквозь! Тебе много думать нужно.

Определили Мишку, как и Антона, в третий отряд, к капитану Шукайло, только в другое, одиннадцатое отделение, где воспитателем был Суслин Ермолай Ермолаевич. Шевчука также одели в черный костюм и поставили в строй — он стал воспитанником и как будто растворился в общей массе. Но этого «как будто» хватило только на несколько дней.

10

Туман постепенно рассеялся. Тюремная «наволочь» тоже понемногу сползала: когда Антон по привычке кровать назвал нарами, его остановили: «Какие такие нары?»

Это был его сосед по койке Слава Дунаев. Ему не шло уменьшительное имя: он был высокого роста, плотный, кряжистый, но все его звали — Славик. Он всегда был подтянут, подобран, аккуратно подпоясан и производил впечатление очень домашнего, ни в чем дурном не замешанного мальчика. На самом деле, как впоследствии узнал Антон, Дунаев тоже основательно напутал в жизни. Но все для него, очевидно, было в прошлом и совсем не оставило следа. Круглое, мягкое, с мягкими же пухлыми губами, небольшим, усыпанным веснушками носом и светлыми, не очень заметными бровями лицо его было располагающим и дружелюбным.

Дунаев встретил Антона приветливо. В первый же день, когда после обеда они вышли на строительство клуба, Дунаев с носилками в руках спросил Антона:

— У тебя пара есть? Пойдем со мной.

Антон согласился, и они стали работать вместе — большой и высокий, только что оштукатуренный зал нужно было очистить от строительного мусора, и вереницы ребят шли с носилками взад и вперед, в одну дверь входили, в другую выходили и выносили битый кирпич, обломки досок, стружки и известковую пыль. С непривычки у Антона скоро заболели руки, но Дунаев, видимо, не уставал, и Антону приходилось тянуться за ним. Не обращая внимания на осенний холодок, Дунаев снял даже гимнастерку, и под желтой выцветшей майкой заиграла его мускулистая грудь и иногда были видны края какой-то татуировки. Антону любопытно было узнать, что там изображено, и он всматривался в синие разводы, не решаясь спросить.

— Что подглядываешь? — заметив его взгляды, спросил Дунаев и поднял майку.— Третьяковская галерея.

Во всю ширину груди его красовалась великолепно выполненная татуировка: «Три богатыря».

— Вывести нужно бы, да жалко! — добавил Дунаев.

— Жалко! — согласился Антон.

— Глупость наша,— усмехнулся Дунаев.— А у тебя есть?

— Начал было,— показал Антон синеющую на руке букву «М»,— да воспитательница вошла в камеру, помешала. А потом не захотелось.

— Молодец! — похвалил его Дунаев.— А «М» — это кто ж, девушка?

— Да нет. Какая девушка? — смутился Антон.— Мама! — Хотя на самом деле он и хотел тогда увековечить на своей руке имя Марины.

Так они поработали до ужина, сдружились, и, когда вечером Елкин опять предложил положить Антона рядом с ним, на свободную койку Сазонова, Дунаев сказал капитану Шукайло:

— Нет, Кирилл Петрович, пусть он рядом со мной ляжет.

Сказал он это просто и определенно, как о решенном уже деле, и Кирилл Петрович согласился. Правда, свободных кроватей около Дунаева не было, но он переговорил с командиром, произвели кое-какие перемещения, и Антон лег рядом с Дунаевым. На другой день они опять работали на строительстве клуба, теперь на замесе бето-

на, и Антон впервые узнал, что такое бетон, как он составляется, сколько кладется в него песку, щебня и сколько засыпается цемента. Узнал он, что и цемент бывает разный, разных марок и, в зависимости от этого, бетон по-разному «схватывается».

Вечером в первый день Дунаев провел его по «зоне», все показал, и потом они вместе пошли на стадион.

— А ну, сколько раз подтянешься? — спросил Дунаев, указывая на качающиеся на ветру кольца.

Антон подтянулся пять раз.

— Тренироваться надо, — сказал Дунаев и, разбежавшись, прыгнул через барьер. — В футбол играешь?

— Играю.

— Тебе в баскетбол хорошо, ты — длинный.

Антону захотелось сесть рядом с Дунаевым и в школе, и он даже осмелился попросить об этом Кирилла Петровича — хотя слово «осмелился» не совсем подходит сюда, потому что к воспитателю он проникался все большим и большим доверием.

— Ну, это как классный руководитель, — сказал Кирилл Петрович.

На другой день он зашел в школу. Классный руководитель Ирина Панкратьевна, учительница математики, подозвала Антона, побеседовала с ним и сказала:

— Сидеть ты будешь с другим. Но ничего, не пожалеешь.

Соседом Антона оказался Костя Ермолин. Это был стройный паренек с мелкими чертами лица, с черными и тонкими, точно прочерченными, бровями и грустным взглядом тихих и мягких глаз.

Впоследствии Антон узнал и причину этой грусти. Поздно вечером Костя шел с девушкой, и в темном переулке на них напали хулиганы. Убегая, он пропустил вперед девушку, а сам вынул перочинный нож и, отбиваясь, попал одному из нападавших в грудь. Хулиганы отстали, Костя с девушкой ушли и думали, что все обошлось благополучно. Но через три дня Костю арестовали: оказалось, что раненный им парень умер, и Костя стал убийцей.

На суде адвокат долго спорил с прокурором о пределе необходимой обороны, но окончилось все это для Кости печально — он был приговорен к лишению свободы.

Антон с Ермолиным тоже скоро сошелся. Ирина Панкратьевна на перемене подсела к нему на парту и рассказала Косте, что Антон отстал, хочет догнать и вместе со всеми кончить десятый класс.

— Поможешь?

— Что за вопрос? Конечно! — ответил Костя.— Ты только не стесняйся, спрашивай! — сказал он Антону.

Но Антон, конечно, стеснялся, а то и просто не желал обращаться за помощью, из гордости — ему хотелось все понять самому, и разобраться самому, и догнать самому, без чужой помощи. Прошлые недоработки давали о себе, однако, знать, особенно по математике. Антону вспоминались слова Прасковьи Петровны, когда она в прошлом году уговаривала его, преодолев неприязнь к Вере Дмитриевне, усердно заняться математикой: «Математика — это логическое здание: вынешь одну колонну, и все рушится». Теперь Антон ясно видел, сколько таких «колонн» ему не хватало, как не хватало выдержки, сосредоточенности и умения управлять собой: во время урока он часто ловил себя на том, что мысли его разлетаются, как голуби. Ловил его на этом и Костя Ермолин и укоризненно говорил:

— Ну что же ты? Нужно слушать.

Сбивался Антон и на «самоподготовке», которая проводилась тоже в школе под наблюдением Кирилла Петровича. Но иногда его заменял командир, и тогда было труднее сосредоточиться — ребята больше шумели, и даже сам командир нарушал порядок.

Кирилл Петрович в первый же день привел Антона к мастеру производственного обучения, Никодиму Игнатьевичу. Очень суровый на вид мастер строго требовал повиновения во всем, в каждой мелочи — прийти строем, приставить ногу, доложить, точно по журналу произвести проверку, потом раздеться, получить инструмент, стать на рабочее место, а стал на место — работай, нечего расхаживать, время на ногах разносить! Спросить нужно — подними руку, у мастера тоже ноги есть, сам подойдет... И ходит: сначала пройдет, посмотрит, кто как за дело берется, потом еще раз пройдет и еще, а под конец дня обойдет все верстаки и осмотрит, кто как свое рабочее место убрал.

Ребята иногда ворчали на мастера, но он им ни в чем не уступал.

— Вы не считайте, что это так, пустячок,— говорил он в свободную минуту.— Раз режим, значит, режим. Режим — это все!

Антона Никодим Игнатьевич встретил тоже строгим, взыскательным взглядом и этим сразу ему не понравился. По первой теме — «разметка» — Антон получил задание: на листе толстого трехмиллиметрового железа провести две параллельные линии на расстоянии десяти миллиметров друг от друга.

«Это и дурак сможет!» — подумал Антон и, взяв «чертилку» и масштабную линейку, быстро выполнил все, что нужно.

Никодим Игнатьевич велел ему повторить это еще раз и еще.

— Да что это — забава! — сказал Антон.— Вы мне настоящую работу давайте.

— Делай-ка, делай! — проговорил Никодим Игнатьевич.— И в следующий раз не спорь. Больно прыткий!

Вторая тема — «рубка». Тут в Антоне тоже заговорило упрямство. Никодим Игнатьевич показал ему, как стоять, как держать зубило, куда ударять молотком.

— Ты смотри не куда молоток бьет, а где работа производится, в эту точку...

«Глупости какие! — подумал Антон.— Бить в одну точку, а смотреть в другую».

Он поступил, конечно, наоборот, ударил молотком по руке и стал дуть на больное место.

— Ну, тот не слесарь, кто рук не бил,— заметив это, сказал Никодим Игнатьевич.— Валяй-ка работай!

Так понемногу устраивалась новая жизнь Антона — он записался в библиотеку, научился натирать пол, чистить картошку, делать множество других дел. Не все было гладко — происходили разные события, совершались проступки, и тогда провинившиеся становились на вечерней линейке перед строем и давали объяснения. Но это опять было так не похоже на то, о чем болтал Мишка Шевчук.

Мишку Антон первые дни не видел и уже считал, что тот добился своего. И Антону было интересно — куда направили Шевчука и какую же в конце концов зону он нашел себе по своему нраву? И в то же время Антон был рад, что расстался с этим неспокойным и задиристым парнем. Мишка ехал с ним из одной тюрьмы и был ниточкой, которая связывала его теперешнюю, новую жизнь

в колонии с прошлой, с воспоминаниями о Крысе, Генке Лызлове и Яшке Клине. И вдруг на строительстве, в ряду других ребят, он заметил знакомую клетчатую кепку. Кругом все кипело; одни ребята, наступая друг другу на пятки, шли с носилками, пара за парой, пара за парой, а другие загружали эти носилки мусором. Среди них был и Мишка, но он нехотя, еле-еле двигал лопатой, и его испитое лицо изображало полное пренебрежение ко всему происходящему вокруг. Ребята наконец не выдержали и обругали ленивца, и тогда Мишка бросил лопату и, засунув руки в карманы, пошел прочь. Потом Антон видел его в строю — он ступал не в ногу, с тем же пренебрежением ко всему окружающему, и, заметив Антона, подмигнул ему — и, наконец, в мастерской: Мишка валял дурака, двигал ушами и смешил ребят.

Улучив момент, Мишка подошел к Антону и, снова подмигнув, спросил:

— Ну как, студент?.. Живешь?

— Живу.

— А должок-то помнишь?

— Какой должок?

— В вагоне-то!.. Забыл? Что проиграно, забывать не положено. Не по-воровски!

— А я по-воровски жить не собираюсь! — решительно проговорил Антон.

— О?.. И отдавать не собираешься?

— Почему не собираюсь? Отдам!

— Фуфло задул?

— Не знаю! Не понимаю! — сказал Антон, чувствуя, что этот разговор снова тянет его назад, в болото, из которого он только что выбрался, и, испугавшись этого, еще решительнее повторил: — Не понимаю!

А Мишка вдруг усмехнулся, и в этой усмешке Антону почудилось нечто очень похожее на усмешку Крысы, вспомнился пронзительный взгляд Генки Лызлова тогда, на лестнице.

— «Не понимаю... Не собираюсь...» — передразнил его Мишка. — А как же ты жить собираешься?.. К маме? А у мамы тебя не пропишут.

— Почему не пропишут? — упавшим голосом спросил Антон.

— А почему тебя нужно прописывать? Кому ты нужен? Зачем? Чтобы из-за тебя потом начальник мили-

ции неприятности получал? Их у него и так хватает. А ты думал, тебя там ждать будут,— ухмыльнулся Мишка, заметив растерянность Антона.— С хлебом-солью встречать? Жди! Разевай рот шире, а то подавишься. Они, брат, тебе покажут. Без прописки на работу не возьмут, без работы не пропишут. Понял? Вот и начнут, как футбольный мячик, тебя из конца в конец ногами шпынять. И никуда ты не уйдешь от нас, и никакой тебе дороги нету. Ну, что? Взял в соображаловку? А то «не понимаю»! Дура!

Мишка отошел, а Антон растерянно смотрел кругом, не слышал, как прозвенел звонок, и опоздал на работу.

— Где ты гуляешь?— строго спросил его Никодим Игнатьевич.— Почему не вовремя?

Антон не знал, что ответить, и молча стал к тискам.

«И как все получается? Опять вопрос, и опять неизвестно, что делать. Долг... Какой долг? Разве они всерьез играли там, в вагоне? Так. От нечего делать. И вдруг — долг!.. «Никуда ты не уйдешь, никакой тебе другой дороги нету!» И когда ж это кончится? И кончится ли? Может, и действительно впереди одни мытарства и не будет никаких дорог в жизни?»

Антон опять поранил себе руки, перекосил угольник.

«Долг?.. Черт с ним! Ладно. Расплачусь. Буду отдавать сахар, второе... Не пропаду я без второго. И без сахара не пропаду. Черт с ним!»

За ужином Антон положил в карман полагающийся ему сахар, чтобы при случае отдать его Мишке. А на другой день, в воскресенье, на второе было мясо с картофельным пюре. Антон решил съесть пюре, а кусок мяса тоже незаметно положить в карман. Но как это сделать, когда кругом ребята, все едят и разговаривают и смотрят? Уже все поели, а у Антона в миске остался только этот один нетронутый кусок мяса.

— Чего ты с ним возишься?— спросил Слава Дунаев.

Антон не знал, что сказать. Ему не жалко было мяса, но за то, что приходилось сейчас изворачиваться, его взяло вдруг зло и на Мишку и на себя.

— Кончай обед. Встать!— раздался между тем голос командира, и тогда Антон быстро засунул мясо в рот.

— Отстаешь!— прикрикнул на него командир.— Ты у меня еще в строю чавкать будешь?

Антону стало стыдно перед ребятами, и он, не разжевывая и давясь, спешил проглотить злосчастный кусок мяса.

— Ты что? Должен, что ли, кому? — спросил его шедший рядом с ним в строю Слава Дунаев.

— Нет. Что ты? — соврал Антон и сразу же пожалел, что соврал, подивившись, что Слава угадал его мысли. «А впрочем, ладно! Никого это не касается. И не буду я... Да что я на самом деле? Не буду я Мишке ничего выплачивать. Зачем это нужно? Не буду!»

Потом он обнаружил в кармане вчерашние, замусолившиеся уже два куска сахара и выбросил их.

Ему так надоело бесконечное тюремное томление, бездействие и скука, что теперь все, начиная с утренней зарядки, он выполнял с большим рвением. И постель он старался заправлять, разглаживая каждую складочку и ревниво поглядывая на соседей, чтобы у него было ничуть не хуже, а лучше и ровнее, чем у других.

Поглядывал Антон и на своего командира. Не то грек, не то цыган, тот носил редкую фамилию Костанчи, был суров, неулыбчив и говорил короткими, рублеными фразами, и Антон его побаивался и пытался подавить в душе неприязнь к нему.

— Ты у меня чтоб бегом одеваться! — прикрикнул Костанчи на Антона в первое же утро.

Ну, а как же должен говорить командир, если он командир и обязан подтянуть подчиненного? Должен же он как-то отличаться от остальных ребят? И Антон одевался «бегом», старательно делал зарядку, выносил по распоряжению Костанчи воду из-под умывальника и вообще стремился не получать выговора, ни в чем не отставать и не подводить отделение.

Правда, постепенно осматриваясь вокруг, Антон стал замечать, что не все так стараются и не всех командир заставляет одеваться «бегом», и потому на зарядку девятое отделение иногда выходило с запозданием, но когда он один раз немного замешкался, Костанчи грубо закричал на него.

— Себя показывает, — сочувственно сказал Антону Елкин, а потом нагнулся и почему-то шепотом и не сразу добавил: — И... у воспитателя он любимчик. Понятно?.. Ты только ему особенно-то не давайся. Ты лучше — в лапу.

— Как «в лапу»?— не понял Антон.

— А очень просто!.. Ну, у меня был день рождения, мамаша прислала посылку, ну что мне — жалко! И ему хорошо, и мне спокойнее. А какая мне выгода с командиром ссориться? Зачем?

Что командир иногда «показывает себя», Антон и сам замечал — во время генеральной, или, по ребячьему выражению, «гениальной», уборки он подгоняет и покрикивает, а сам никогда не возьмет тряпки в руку; приведя отделение в столовую, задержит его в положении «стоя», а то и несколько раз повторит команду: «Сесть! Встать! Сесть! Встать!»

А один раз, когда ребята в свободный час сидели в садике, кто с книжкой, кто за шахматами, а командиру потребовалось срочно построить отделение, он молча смахнул у играющих шахматы.

Но все это были редкие случаи, и Антон не придавал им большого значения — так это было далеко от «табуреток» и «тумбочек», которыми пугал его Мишка, и он добросовестно выполнял все распоряжения командира и даже как-то убрал за ним постель.

— Это зачем еще?— строго сказал ему Слава Дунаев.

Антон смутился, почувствовав, что он допустил какую-то неловкость, но ему так хотелось быть образцовым воспитанником, и он не понял своей ошибки.

Как-то после ужина Антона встретил зашедший в столовую начальник.

— Ну как? Привыкаешь?

— Привыкаю, товарищ подполковник,— сказал Антон.

— Какие вопросы?

— Нет вопросов, товарищ подполковник.

— Как питание?

— Ничего.

— А по-настоящему?

— По-настоящему маловато,— смущенно пробормотал Антон.

— Ну, после тюрьмы всегда так. Работа! Кирилл Петрович, запишите его на дополнительное... А чего нос повесил? Ну, выше,— Максим Кузьмич шутя потянул Антона за подбородок,— выше голову!

— Есть выше голову, товарищ подполковник!— по форме ответил Антон и вдруг, неожиданно для самого

себя, спросил:— Товарищ подполковник! А меня потом пропишут? Когда выйду?

— Рано ты о прописке задумался!— усмехнулся Максим Кузьмич.— Рано!

Антон почувствовал, что он опять сделал какую-то оплошность, и расстроился. Но потом все переменилось: на вечерней линейке ему вместе с Дунаевым была объявлена благодарность за хорошую работу на строительстве. Антон, услышав свою фамилию, готов был заплакать — давно он не получал никаких благодарностей, даже забыл, когда и получал.

11

Началось с бани. Когда Мишка Шевчук разделся, все ахнули. Что татуировка обычна в преступной среде — это известно, что многие изощряются в подобной живописи и видят в ней особую лихость — тоже известно. Но то, что оказалось у Мишки, поразило всех, даже самых бывалых и опытных: и грудь, и спина, и руки, и ноги — все было у него исколото сплошь. И полногрудая русалка с рыбьим хвостом, и пронзенное стрелою сердце, и якорь, перевитый толстой цепью, и нож, и бубновый туз, и бутылка водки, и чего-чего только не было на костлявом Мишкином теле. Но две вещи особенно поразили всех. На груди красовалась выполненная славянской вязью надпись: «Нет счастья в мире, ну и шут с ним». Вместо «шут» стояло другое, более крепкое слово, но изречение приобретало от этого только бо́льшую выразительность. А на другом, потаенном месте значилась фамилия заморского деятеля, давшего свое имя одной из пресловутых «доктрин». Это особенно понравилось ребятам, и, когда они разглядели все это, в бане поднялся гомерический хохот.

Любопытства и озорства ради каждый норовил поближе рассмотреть эту надпись. Мишку окружили, Мишку тормошили и тянули в разные стороны. Мишка сначала смотрел волком, потом попробовал смеяться вместе со всеми, затем разозлился и, схватив шайку, принялся размахивать ею направо и налево. Сначала это рассмешило ребят еще больше — они бегали от него, а он гонялся за ними, и получилось неожиданное развлечение. Но Мишку это распаляло все больше и больше, лицо у него

исказилось, глаза засверкали исступленным, наконец совершенно бешеным светом, и он, не помня себя, со всего размаху ударил кого-то шайкой. Тот вскрикнул, схватился за голову, и все ребята мгновенно умолкли. Но через минуту эта тишина разразилась громом.

— Ты что?.. За что? Да кто ты есть?

Чем бы все это кончилось, трудно сказать, если бы не подоспел воспитатель Суслин. Он не видел начала происшествия, но, услышав необычайный шум и крики, вбежал в баню, когда ребята, наступая, окружили Мишку, а тот, размахивая шайкой, озирался, как волчонок. Суслин растолкал ребят и схватил Мишку за руку, но тот дико глянул на него и оскалил зубы. Тогда командир и двое ребят бросились на помощь воспитателю, вырвали у Шевчука шайку и, обхватив его сзади, скрутили руки. Мишка стал брыкаться, и тогда другие ребята подняли его за ноги и за руки, положили на лавку и прижали к ней. Кто-то окатил Мишку холодной водой, он зафыркал, сморщился и, побившись еще немного, успокоился.

Все могло оказаться простым курьезом, если бы не удар, который Мишка нанес одному из ребят. У пострадавшего оказалась рассеченной голова, и его пришлось отправить в санчасть. Начальник вызвал к себе для объяснений и воспитателя и капитана Шукайло.

— Товарищ подполковник, я с хозяйственной комиссией получал белье,— оправдывался Суслин.— А на складе меня задержали — необходимых размеров не хватало.

— Это меня мало касается,— строго выговаривал Максим Кузьмич.— Белье нужно было получить раньше. Но оставлять новичка без присмотра, и такого новичка...

— Но, товарищ подполковник, ребята приняли его неплохо. И он, кажется,— ничего.

— «Неплохо»... «Кажется»... Что за терминология?

Максим Кузьмич смотрел на растерянное лицо, в растерянности своей обнаружившее вдруг крайнюю беспомощность — лицо безликого человека. Видно было, что он очень перепугался — не за Мишку, не за того, с рассеченной головой, а за себя, за взыскание, которое на него может быть наложено. И чем пристальнее Максим Кузьмич смотрел на Суслина, тем больше у того дергалось лицо и дрожал голос.

— Товарищ подполковник! И кто же мог предполагать, что получится такая история с татуировками? — продолжал он свои оправдания.

— В нашем деле все нужно предполагать,— ответил Максим Кузьмич.

Отчитав Суслина, начальник обратился к стоявшему здесь же с виноватым видом капитану Шукайло:

— Кирилл Петрович! Шевчука возьмите под общественный контроль, круглосуточное наблюдение. Только осторожно, чтобы он этого не чувствовал. Ясно?

— Ясно, Максим Кузьмич.

— Докладывайте мне о нем каждый день.

— Слушаюсь, товарищ подполковник.

Но все, что капитану Шукайло приходилось докладывать о Мишке, было малоутешительным: Мишка — анархист, Мишке ничего не нравится — не нравится уборка, не нравится строй («шагаловка»), не нравится линейка («выстроят и начнут мытарить»), он рассказывает всякие сказки о тюрьмах и своих воровских похождениях, пытался сделать из газет карты и организовать игру, грубит, ко всем относится с пренебрежением, даже презрением,— сделаешь замечание, он ухмыльнется и пойдет, будто его не касается.

— Со школой как?

— И слышать не хочет. «А на кой мне ваша школа? Отвяжитесь!»

— Как работает?

— Так и работает! «На кой мне ваш клуб? Привыкли руками заключенных жар загребать».

— А как с дежурствами?

— Пока обходим его. А пора! Не знаю, как быть. Повязку он не наденет.

— Ну, подождите еще.

— Нельзя, ребята ворчать начинают.

— Разъясните. Ну, а если нажимать, что получится? Его, очевидно, пережали где-то, вот он и упирается.

К Мишке были прикреплены двое ребят — один земляк его, а другой в прошлом тоже «упирался рогом» и не хотел «входить в зону», а теперь был в активе, в производственной комиссии. Они старались быть всегда возле него, вели разговоры, рассказывали о жизни колонии. Мишка слушал, иногда ухмылялся, иногда неопределенно

поддакивал, а чаще помалкивал, но когда командир отделения предложил ему папиросу, он отказался.

— На подлянку гнешь?— криво усмехнулся он.— Не согнешь!

При этом он выругался грязным словом. А словом этим на том диком жаргоне называют тех, кто изменил диким «законам». Грубое слово — и по звучанию и по смыслу, и командир отделения обиделся. Вида он не подал, но затаившиеся где-то остатки былых предрассудков вдруг заслонили перед ним его обязанности.

Когда пришло время и Мишка был назначен дежурным по столовой, он, как и предвидел Кирилл Петрович, отказался надеть красную повязку, которую дежурный должен носить на рукаве. Тогда командир вспомнил нанесенную ему обиду и решил проявить свою власть.

— А как же ты будешь дежурить без повязки? Надеть!

— А ты чего рот разеваешь?— взъерепенился Мишка.— Всякая... кричать тут на меня будет!— И опять произнес то же грубое слово.

— Надеть!— вне себя закричал командир.

— Не надену!

— А чего на него смотреть?— тоже возмущенные его упрямством, закричали ребята.— Заставить, и все! Пусть попробует снять!

И тогда произошло неожиданное: Мишка выпрыгнул из окна и побежал. Ребята сначала замерли, а потом спохватились и помчались за ним. Но несколько мгновений, которые они потеряли, дали возможность Мишке завернуть за угол, потом еще за угол, вокруг столовой и далеко опередить преследователей. Через минуту над колонией раздались сигнальные выстрелы. Над вышкой, в укромном углу за столовой, в чистом утреннем небе ясно были видны оранжевые вспышки. Из башни над вахтой, где было караульное помещение, прозванное ребятами инкубатором, мчалась охрана, из штаба, на ходу одеваясь, спешил начальник, его заместитель, бежали капитан Шукайло, Суслин и все, кому по тревоге положено быть на своих местах. Все торопились к столовой, к вышке, с которой были произведены выстрелы.

На расстоянии трех метров от каменной стены шло проволочное заграждение на толстых столбах. Пространство между заграждением и стеною называлось предзон-

ник. Эта мертвая, запретная полоса, по-ребячьи «запретка», была начисто выметена и посыпана песком, чтобы оставался на ней каждый след.

Эту «запретку» и нарушил Мишка. Он подбежал к проволочному заграждению и стал перелезать через него против самой вышки на виду у часового. Часовой, окликнув его несколько раз, открыл огонь в воздух, а Мишка, очутившись в «предзоннике», остановился. Дождавшись там прихода начальника, он тем же порядком, не торопясь, чтобы не порвать штанов, перелез у самого столба через проволоку обратно и вплотную подошел к подполковнику.

— Берите!

В этом и заключался расчет Мишки: нарушение запретной зоны равнозначно побегу, а за побег что-нибудь да полагается. И Шевчук решил, что держать его здесь после такого нарушения, во всяком случае, не станут.

Но подполковник рассудил иначе. Он приказал отвести провинившегося в штрафной изолятор, а потом, вызвав Суслина, выяснив все обстоятельства и продиктовав тут же приказ о вынесении воспитателю выговора, пошел к Мишке.

— Чего ты валяешь дурака? Ну скажи! Давай говорить откровенно!

— А я откровенно и говорю,— возразил Мишка,— и никакого дурака не валяю. Я просто попал в некурящий вагон.

— А чем тебе здесь плохо?

— А что хорошего?— Мишка зло посмотрел на начальника.— Куда пошел? Зачем пошел? Наставили шпионов: я в уборную — и они в уборную. Будто я не вижу. Да и торчать мне тут нечего. Перевоспитать меня невозможно — это дохлое дело. Из меня никогда ничего не получится! А так — на что я вам! Увезите меня, и все. Я жить здесь не буду!

— Нет, будешь! — решительно сказал подполковник.— Я могу отправить тебя в режимную, я могу у прокурора взять санкцию и отдать тебя под суд, а я никуда тебя не отправлю. Будешь жить здесь!

— Не буду!

— Нет, будешь!

— Ну ладно! Я вам дам звону!— угрожающе пообещал Мишка.

...И «дал».

Был совсем поздний вечер, когда подполковник Евстигнеев пришел домой после общей линейки, закончив наконец свой рабочий день. Он снял форменный китель и превратился в простого русоволосого человека Максима Кузьмича, отца семейства. Он умылся и сел с женой ужинать. Дети легли спать, а жена всегда его дожидалась. Они давно пережили тот неизбежный, по-видимому, период, когда чрезмерная занятость мужа порождает разные вопросы и недоразумения. Все было ясно и договорено, и все утвердилось на необходимой степени взаимного доверия и уважения, без которой невозможна нормальная жизнь семьи. Совместные ужины, обязательные, как бы поздно они ни были, служили символом семейных уз.

Супруги сидели и тихо разговаривали о мелких хозяйственных делах, без которых жизнь тоже невозможна, когда тишину семейного вечера разорвал резкий телефонный звонок. Максим Кузьмич взял трубку и услышал взволнованный голос:

— Товарищ подполковник! Докладывает дежурный по колонии. Воспитанник Шевчук, содержащийся в штрафном изоляторе, разбил стекло и осколком порезал себе живот.

— Иду!

— Товарищ подполковник!— Голос в трубке звучал уже иначе.— Вы не беспокойтесь, меры приняты: врач вызван, воспитанник Шевчук направлен в санчасть.

— Иду, иду!

Максим Кузьмич быстро надел китель и, снова превратившись в подполковника, ушел, а вернулся уже в середине ночи, когда жена спала. Но она тут же проснулась и встревоженно спросила:

— Ну как? Что?

— Ничего. Все в порядке.

— Хорош порядок!.. И что ты с ним, с идиотом, возишься? Наживешь ты себе неприятностей. Отправил бы — и все!

— Будем спать, Леночка! Поздно!

— Ну не опасно все-таки?— не успокаивалась жена.

— Нет, ничего!

Рана, которую нанес себе Шевчук, действительно опасности не представляла. Через несколько дней Миш-

ку выписали из санчасти. Начальник приказал привести его к себе и сказал:

— А все-таки я тебя никуда не отправлю. Так и знай!

12

Первую открыточку, коротенькую и деловую, Антон послал маме на другой же день после приезда в колонию: жив-здоров, прибыл на место. Большое, подробное письмо он решил написать ей, когда осмотрится и обживется. Но жизнь в колонии оказалась напряженной, до краев наполненной разными делами и работами, режим строгий, четкий, все по команде, со спросом и рапортом. Те немногие часы, которые по распорядку дня отводились для занятий личными делами, сейчас уходили на строительство клуба, а оставшееся время Антон старался использовать для чтения и дополнительных занятий по школе. День получался таким уплотненным, что Антон, каждый вечер давая себе слово написать завтра маме, каждое утро забывал об этом.

А если говорить по правде, то не брался он за письмо и по другой причине: мысли его заняты были Мариной. Это было сумасшествием, явной глупостью — думать сейчас о Марине. Он обидел ее тогда, в последнем разговоре на улице, сознательно обидел, и она ушла, постукивая каблучками о тротуар и гордо неся свою золотистую, как подсолнечник, голову. И все между ними было кончено. А после произошло так много страшного. Она не пришла на суд... Хотя, конечно, хорошо, что не пришла! Как же теперь можно думать о ней?

Но не думать было нельзя. Думалось! И чем больше Антон старался заглушить в себе эти мысли, тем чаще вспоминалась Марина, и тогда поневоле забывалось, что нужно писать маме. Все было сосредоточено на том — послать ли о себе весточку Марине или нет? Это было мучительно и в то же время так неотступно стояло перед ним и требовало решения, что Антон не мог удержаться: он написал Марине коротенькое письмо, письмо-разведку, в тягостную неизвестность.

А мама ждала, и терзалась, и мучилась: что с Тоником? Почему он молчит и как у него идут дела в колонии?

А дела у Тоника шли своим чередом: расширялись знакомства, познавались люди, устанавливались отношения, уяснялись обязанности — человек утверждался на своем новом месте. На правах первого знакомства с Антоном старался установить дружбу Елкин и называл его по-кавказски — кунаком.

— Я тебя, можно сказать, в отделение принял! — говорил он. — В весь курс ввел!

Антон смутно понимал, что Елкин — парень себе на уме, но выяснил он это много позже. А сейчас Елкин казался ему простым лентяем и балаболкой. Язык у него как на шарнирах приделан — говорит много, но глухо, как в бубен бьет, и при этом брызжет слюной и болтает обо всем, не разбираясь, что можно, что нельзя, что удобно или неудобно. А Антону сейчас хотелось побольше послушать, чтобы освоиться в новой жизни.

Одним словом, он особенно не спорил с Елкиным — кунак так кунак. Но этот кунак очень скоро подвел Антона.

В классе он сидел наискосок от Антона, в соседнем ряду прямо за проходом, и на уроке истории, толкнув в бок, сунул ему какую-то записку. Это оказались грязные стишки про учительницу Таисию Михайловну, молодую и красивую женщину. Едва успев прочитать, Антон услышал шепот Елкина:

— Дальше.

Не зная, как поступить, Антон механически сунул записку Косте Ермолину, а тот совсем растерялся и, не прикоснувшись к ней, испуганно смотрел на учительницу. Свернутую бумажку заметили из другого ряда и, улучив момент, стянули у него. Так и пошли грязные стишки по классу, пока не дошли до Славы Дунаева; тот прочитал и начал медленно складывать бумажку вдвое.

— Дальше! Передай дальше! — слышалось вокруг, но Дунаев, не обращая ни на кого внимания, спрятал записку в карман, а после урока отдал ее командиру, и все ждали, что на вечерней линейке многим придется выходить перед строем.

Но вечерняя линейка прошла, наоборот, довольно тихо: вызывали только двух ребят — одного за брань, а другого за драку, — зато потом в спальне было очень неспокойно. Однако режим есть режим, и если положено ле-

жать в кровати, значит, нужно лежать, но спать никто не спал, и разговоры возникали и здесь и там по всей спальне. И тогда Дунаев, перегнувшись со своей кровати к Антону, сказал:

— Я думал, ты крепче!

— А что?

— Будто не знаешь?

Антон давно понял, что виноват, но попробовал оправдаться:

— Да, понимаешь, как-то так получилось...

— Что значит — получилось? Как сделал, так и получилось.

Антон пробовал объяснить Дунаеву, что, развернув записку, растерялся и хотел поскорей избавиться от нее, потому и подсунул ее Косте Ермолину, но тут же понял бесполезность и глупость своих объяснений. Действительно: как сделал, так и получилось.

— И под чью ты дудку пляшешь? — продолжал между тем Дунаев. — С кем дружить выдумал? Есть пословица: делу время, а потехе час. А у Елкина наоборот получается. Забубенная голова! И хам. Хамит, а сам трус первый. Если его поддержать, он хулиганит, а нет — хвост подожмет и начнет вилять, как пес, — буду помогать дружбу укреплять, а сам на другой день опять какую-нибудь пакость выкинет. Он от костей до мозгов гнилой.

Мимо прошмыгнул Сенька Венцель, маленький и верткий, как угорь, и, прислушиваясь, прошмыгнул еще раз.

— Чего ты тут трешься? Марш отсюда! — прикрикнул Дунаев и, еще ближе придвинувшись к Антону, продолжал: — Мы с этим Елкиным сколько возимся и по-хорошему и по-всякому, а все равно — как со стенкой беседуем. Связался с Сазоновым, и началась ихняя песня дудка в дудку.

— А кто — Сазонов? — спросил Антон.

— А тот, что в санчасти лежит. Пальцы себе растравил, вот и лежит с распухшими руками.

— Зачем растравил?

— Спроси. Тоже во взрослую колонию собирается и всем мозги втирает. Там его будто малина ждет: и школы нет, учиться не нужно, и времени больше, и режим вольнее, в карты хлестаться можно. А тоже общественник был, санитар. А подходит срок к концу, вот и решил оправдаться.

— Как — оправдаться? Перед кем?

— Ну как — перед кем? Перед теми, перед ворами. Чтобы они, значит, простили ему то, что он общественником был. Значит, отбыл парень срок, а ума не набрался. И этого дурака, Елкина, туда же тянет. Ухитрились напиться вместе и по трое суток в трюме отсидели.

В спальню вошел надзиратель, и разговоры сразу умолкли, ребята накрылись одеялами и сделали вид, будто спят. Надзиратель вышел, и снова начались разговоры.

И тогда перед Дунаевым так же неожиданно, как Сенька Венцель, оказался Костанчи.

— Чего вы тут лясы точите?

— А тебе что — холуи твои донесли? — ответил вопросом же Дунаев. — Сам-то чего режим нарушаешь? Чего явился?

— Не тебе мне указывать. Я — командир. А вы тут уткнулись и шепчетесь.

— Ты следи за порядком, где нужно. — Дунаев поднялся с кровати. — Куда записку дел?

— А тебе что? — повышая голос, спросил Костанчи. — Командир решил, — значит, все!

— Нет, не все! — возразил Дунаев. — А командир, по-твоему, кто ж?.. Царек? Что хочет, то и делает? За этим мы тебя выбирали?

Привлеченные спором, ребята поднялись с кроватей, а кое-кто подошел к спорящим, но в это время неожиданно распахнулась дверь, и снова появился надзиратель.

— Что за сборище? Марш по местам!

И опять, точно под порывом ветра, вскинулись одеяла и накрыли моментально спрятавшиеся под ними головы — все спят!

На другой день все было известно Кириллу Петровичу, и на общем собрании отделения пришлось объясняться по поводу стихов.

Командир попытался оправдаться тем, что не хотел лишнего шума и потери баллов из-за глупой записки. Это выглядело довольно убедительно: по всей колонии шло соревнование — и успехи в школах и мастерских, и отношение к старшим и друг к другу, и общий вид и дисциплина, строй, песня, и состояние спален каждый день оценивались при отсутствии замечаний баллом «пять», а за каждый проступок, упущение или небрежность отделение теряло какой-то балл. В конце дня эти баллы под-

считывались, и отделения с наибольшим количеством баллов отмечались на общих вечерних линейках. А потом, на каких-то рубежах, подводились общие итоги — кто идет впереди, а кто отстает.

Этим и хотел оправдаться Костанчи: раз записка никуда не попала, учительница о ней не знала, следовательно, никакой обиды ей нанесено не было, и вообще все осталось между ребятами — зачем терять баллы?..

А приближаются Октябрьские праздники, и будет очередное подведение итогов...

Ребята спорили, но всем спорам положил конец Кирилл Петрович: нельзя зарабатывать лучшее место нечестным путем — командир поступил неправильно.

— И к Шелестову у меня есть претензия, — добавил он потом. — Пора становиться на правильный путь, пора понимать и разбираться, что плохо и что хорошо. Пора!

Антон сразу признал себя виноватым, а Елкин, как и предсказывал Дунаев, дал слово исправиться, обещал помогать и укреплять дружбу.

— Все? — спросил его Кирилл Петрович.

— Все! — ответил Елкин.

— А теперь послушай, что пишет тебе мама! — Кирилл Петрович достал из кармана письмо.

«Здравствуй, дорогой наш сыночек!

Вчера я послала тебе посылочку, чтобы она попала ко дню твоего рождения. Очень жаль, что мы не можем вместе отметить этот светлый день, но я утешаю себя тем, что придет время и мы опять будем вместе.

Одно только меня расстраивает, что ты все-таки нечестно поступаешь со мной. Ты все время писал, что у тебя хорошие отметки, и у тебя все хорошо, и ты даже не куришь. А на днях я получила письмо от твоего воспитателя, и выходит, что все наоборот: ты даже ухитрился где-то достать водки и получил наказание. Выходит, ты пишешь одно, а делаешь другое, выходит, ты опять меня обманываешь. Зачем же ты так поступаешь? И кого обманываешь? Самого близкого тебе человека. Это совсем нехорошо — у меня даже в голове не укладывается. Я никогда никому не врала, и мне страшно как-то становится. Вот когда у тебя будут дети, ты узнаешь, как они дороги и как обидно бывает, когда жизнь так вот нескладно получается.

Но я твоя мама и верю в тебя — ты все сможешь, если захочешь.

О нашей жизни писать, собственно, нечего: работаем, потом приходим и начинаем возиться с домашним хозяйством. У нас сейчас есть пять курочек, за которыми отец любит ухаживать. Только здоровье наше с ним неважное — у папы все время болит спина, радикулит замучил, даже до крика, а у меня нервы совсем не выдерживают и что-то в груди болит, прямо сил нет, такая слабость. Если бы ты знал, сколько здоровья стоили мне твои «развлечения». И сейчас я все думаю, думаю и никак не могу не думать, каждый день жду почту и, если долго нет, начинаю беспокоиться, а когда получаю от тебя хорошее письмо, то радуюсь, как девочка. А письмо воспитателя меня совсем расстроило.

Милый мой Илюшенька! Я очень прошу тебя: возьми себя в руки и послушайся моих советов. Поверь: мать никогда плохому не научит.

Целую тебя, мой милый сыночек.

Твоя мама».

И вот тогда Антон вспомнил, что он еще не написал маме, вспомнил и решил сегодня же приняться за письмо.

13

Письмо Антона принесли Нине Павловне, когда она совсем отчаялась. Много горьких слов было сказано за это время в адрес сына, но она сразу обо всем забыла, когда увидела родной почерк на конверте и кривые строчки письма. Оно было большое и подробное. Нину Павловну потянуло увидеть все воочию, все пощупать своими руками и войти в новую жизнь сына. Тем более что он дальше пишет... Нет, смотрите, что он пишет дальше: «...и на прошлой неделе мне на линейке была вынесена благодарность».

И Нине Павловне захотелось тут же похвалиться, сейчас же, немедленно, и поделиться этой радостью с каждым, кто эту радость разделит: «Смотрите! Антон совсем не такой! Смотрите, какой он на самом деле!»

Но тут она с горечью должна была признать, что скорее рассказала бы об успехах сына посторонним на улице, но с Яковом Борисовичем делиться ей не хотелось.

После горячего разговора с ним она переселилась в бывшую комнату Антона и думала, что все кончено. Сначала так и было — ей не хотелось возвращаться к мужу, а он из самолюбия не позвал, а когда позвал — она не пошла; и супругам грозило превратиться в не очень дружных соседей. Но через некоторое время Яков Борисович пришел к ней, как он сказал, уладить вопрос, и у них состоялся долгий и нелегкий разговор, он что-то прояснил, а что-то, может быть, еще больше осложнил, но во всяком случае, Нина Павловна вернулась в комнату мужа.

Но, вернувшись, она скоро почувствовала, что не в комнатах дело. «Уладив» вопрос, Яков Борисович сразу же забыл о Нине Павловне и ее заботах и развил бурную дачную деятельность, словно в этом была вся жизнь — построенное оказалось плохим и негодным, все нужно было отделывать заново. И Нина Павловна не всегда могла сказать, чем больше занята его голова — новой работой или приведением в порядок дачных дел.

А у Нины Павловны был разгар судебных и «тюремных» хлопот — передачи, свидания, разговоры с адвокатом, с другими родителями — товарищами по несчастью, и она иногда понимала, что подобного рода дела не могут доставлять Якову Борисовичу большого удовольствия. Но куда от этого денешься и куда уйдешь. И ей начинали претить энергия и жизнерадостность мужа и его чрезмерные заботы о приличии, о внешнем благополучии, и вдруг возникло ощущение, что, может, и сама-то она нужна ему только для этого благополучия.

Вопросы росли и назревали, и, словно угадывая их, Антон спрашивал: «А как живешь ты?» В вопросе этом Нина Павловна почувствовала заботу сына о ней и о ее жизни. О Якове Борисовиче он не упоминал. Зато бабушке посвятил несколько строк:

«Как здоровье бабушки? Передай ей привет и скажи, что я ее очень люблю. Пусть она аккуратней ходит, а то поскользнется и упадет».

Ну и как не поехать тут же после этого к бабушке и не поделиться с ней, и как вместе с ней не поплакать еще раз над родными строчками?

— Господи! Хоть бы дождаться! — говорит бабушка. — И ничего я теперь не хочу в жизни: только б его дождаться!

Она ищет платок, чтобы утереть слезы, но никак не найдет. Последнее время она все теряет, без конца ищет и опять теряет. И глаза у нее стали тусклые, и исчез в них тот живой и зоркий свет, который озарял ее раньше и делал совсем не похожей на бабушку.

Ну, а как не поделиться там, где раньше чудились злые вороги и где их совсем не оказалось?

Это Нина Павловна окончательно поняла, когда пришла в отделение милиции, в детскую комнату, к той самой Людмиле Мироновне, с которой так крупно повздорила. Людмила Мироновна предложила ей сесть, а сама продолжала разговор со стоящим перед ней пареньком, которого, видимо, нужно было устроить на работу. И ничего в ней не было ни злого, ни враждебного, а наоборот, что-то очень сочувственное и человеческое. Заканчивая разговор, она взяла телефонную трубку и, выяснив что нужно, сказала:

— Так вот что, Петя. Во вторник в райисполкоме будет заседание комиссии по трудоустройству. Приходи туда с мамой.

— Мама вряд ли придет, — ответил паренек. — Ей очень плохо.

— Тогда приходи один. Комната семь. Я там буду. Обязательно буду. И там мы все решим.

Паренек ушел, а Людмила Мироновна посмотрела ему вслед и сказала:

— Тяжелое положение у мальчишки!

Сказала она это очень просто и доверчиво, как старой знакомой, и Нина Павловна подумала, что она с кем-нибудь ее спутала.

— Вы помните Шелестова? — нерешительно спросила она.

— Антона? — ответила Людмила Мироновна. — Еще бы не помнить! Ведь мы обе здесь — каждая по-своему причем, — обе виноваты.

— От него письмо. Хотите?

Пока Людмила Мироновна читала, Нина Павловна смотрела на ее знакомую вязаную кофточку, на молодое, но показавшееся ей сейчас очень усталым лицо, на белые, точно седые, ресницы, вспомнила, что все это она видела тогда, в первый раз, когда над Антоном только нависала опасность и когда об опасности этой предупреждала эта самая женщина в той же самой кофточке, а она, Нина

Павловна, не послушалась, обиделась и предупреждение приняла за оскорбление. Нина Павловна вспомнила все это и заплакала.

— Ну вот и хорошо! — сказала Людмила Мироновна. — А почему слезы? Откуда слезы?

Она усадила Нину Павловну на диван, села рядом на низенький детский стульчик, приготовленный для каких-то случайных маленьких посетителей, и этим сразу придала разговору тон неофициальности и душевности.

— Так почему же мы плачем?

Ну, что можно сказать, когда всколыхнулось снова все до самого дна — и запоздалое сознание вины, и клеймо, с которым стыдно появляться на улицу: мать преступника!

— Если бы можно было возвращать прошлое!

— Ну и что бы тогда было? — спросила Людмила Мироновна.

— Что бы было?.. — сквозь слезы, переполнявшие глаза Нины Павловны, сверкнул сначала безмолвный и не очень решительный, а потом вдруг совершенно осмысленный горячий луч. — Да я бы... Да всю свою жизнь я бы прожила по-другому! — И потом вдруг она совсем другим, упавшим голосом закончила: — Я так виновата! Так виновата!

Их разговор прервал молодой человек, заглянувший в дверь. Круглолицый, приятный и улыбчивый, он, увидев Нину Павловну, смутился, не решаясь войти.

— Входите, Женя! Входите! — окликнула его Людмила Мироновна.

Женя Скворцов, как потом узнала мать Антона, один из многочисленных общественных помощников Людмилы Мироновны, вошел и, улыбнувшись Нине Павловне, присел на краешек стула. Однажды этот молодой человек привел сюда расхулиганившегося в магазине мальчишку и хотел было с сознанием выполненного долга уйти. Но Людмила Мироновна попросила — «если можно» — довести дело до конца и выяснить: что это за мальчик и почему он болтается по магазинам. А когда Скворцов выполнил ее просьбу, она попросила — «если вам интересно» — «повозиться» с этим мальчиком и помочь ему стать на ноги.

Так молодой инженер стал активистом детской комнаты. Сейчас он «возился» уже с третьим своим подшеф-

ным и по этому поводу пришел теперь к Людмиле Мироновне.

— Вы понимаете?.. Там целый комбинат бытового разложения, — говорил он с еле сдерживаемым юношеским возмущением. — Отец вернулся из заключения, зверь, пьяница. Мать... Ну, нехорошая женщина. А у них двое — мальчишки. Когда отец был арестован, мать устроила их в детский дом, а когда он возвратился, там нашлись умные головы, которые решили: отец есть, мать есть, — значит, полная семья, все в порядке.

— И вернули, — подсказала Людмила Мироновна.

— Да, вернули! — подтвердил Женя. — Но ведь люди-то те же! Папаша берет их, двух мальчишек, за шиворот и стукает лбами, пьяный. А то топором замахнулся. А ребята-то привыкли в детском доме к нормальной жизни. Тут знаете что может быть?.. Старший мне и говорит: «Он замахнулся на меня топором: «Хочешь, я тебя зарублю?» А я подумал: «Если ты меня не зарубишь, я тебя зарублю». Я даже не знаю, что делать, — закончил Женя свой взволнованный рассказ.

— А то и делать! — решила Людмила Мироновна. — К ответственности нужно привлекать. А потребуется — родительских прав лишать будем. А ребят в интернат. Вы напишите все это. Хорошо?

Женя ушел, и она глубоко вздохнула.

— Вот как ему, новому-то, в такой грязи копаться! Всем это не всегда видно, а нам приходится за кулисы жизни заглядывать. Служба! Вот вы винили себя и говорили, что отдали бы теперь жизнь за своего сына. А вполне ли вы уверены, что этого достаточно: отдать жизнь, чтобы выходить своего ребенка? Птице — это понятно. Но человеку... Человеку нельзя ограничиваться ни гнездом, ни птенцом. А рядом?.. А что делается рядом? Как уберечь нам не наших с вами птенцов — у меня, кстати, тоже сынишка есть! — а всех, таких же вот желторотых, глупых и неразумных, но таких же дорогих и близких сердцу ребят? Ведь они тоже наши! Вот ведь задача-то в чем! Нина Павловна! Ведь коммунисты мы!

Нина Павловна начала догадываться, к чему клонит собеседница, а Людмила Мироновна, раскрыв все карты, сказала:

— Вот недалеко от вас живет мальчонка, Володя Ивлев. Школа от него отказывается, мать тоже. Его много

раз приводили к нам за разные проделки. Трудный парень, но в глазенках, понимаете, что-то есть. С ним что-то нужно делать, а что — не знаем. Разобраться нужно, покопаться нужно и понять. Может, возьметесь? Вместо своего-то! — хитровато вдруг улыбнулась Людмила Мироновна.

Эта улыбка показалась Нине Павловне лишней, как и ссылки на «своего» — она поняла уже все и загорелась. Действительно, взять мальчонку и разобраться, и помочь, и предотвратить несчастье. Как она сама об этом до сих пор не подумала? Ведь это такая радость! И в конце концов такая опора: тогда можно будет смелее смотреть в глаза людям.

14

Нине Павловне очень хотелось показать письмо Антона Марине. И для нее это был, пожалуй, самый главный вопрос: как Марина? что думает? как относится к Антону? Антон о ней молчит. А почему молчит? А как важно было бы для него получить письмо от девушки!

У Нины Павловны возникла отчаянная мысль: зайти к Марине домой, поговорить и, кстати, поближе познакомиться с ее родителями. С Екатериной Васильевной Зориной она встречалась не один раз: Зорина была заместителем председателя родительского комитета и фактически вела всю его работу. Муж ее, Георгий Николаевич, был, наоборот, редким гостем в школе — Нина Павловна видела его один раз на школьном вечере, организованном родительским комитетом, где выступали известные московские артисты. Нина Павловна помнила, как Георгий Николаевич — высокий, худощавый человек в пенсне, с седеющими вьющимися волосами и приятным лицом — встал со своего стула и предупредительно посторонился.

Когда у Антона завязалась дружба с Мариной, Нина Павловна узнавала кое-что стороной о семье девочки: семья дружная, ладная, детей, кроме Марины, было еще двое — сестра старше ее и брат помоложе.

— Но самое приятное у них, — говорила жившая в доме Зориных старая знакомая Нины Павловны, — это простота и — как бы это выразиться — демократичность в обращении, что ли, простите за это немного старомод-

ное выражение. Профессор, лауреат — с этим обычно связывается что-то этакое... — словоохотливая соседка сделала неопределенный жест рукой. — А тут ничего подобного: люди как люди. Тут, простите меня, по жене можно судить. Это — как барометр. Иная — муж у нее, понимаете ли, главный «анжинер» какой-нибудь кроватной фабрики, а она, само собою, «анжинерша». Вот и начинается: кто я да что я? Фик-фок на один бок! А Екатерина Васильевна — нисколечко. И сам он такой предупредительный, предусмотрительный, на лестнице встретимся — уступит дорогу, поклонится. Я, грешная, один раз нарочно обронила перед ним сверток, так он поднял и подал. Очень, очень приятные люди! Даже до удивления.

В расчете на эти «до удивления» приятные свойства семьи Зориных и возникла у Нины Павловны мысль зайти к ним и поговорить об Антоне. И хорошо, что прислушалась она к негромкому, но здравому голосу, он подсказал ей: сначала позвонить по телефону.

Она спросила Марину, но вместо Марины подошла Екатерина Васильевна, и в ее голосе Нина Павловна каким-то шестым чувством учуяла настороженность, почти тревогу. Эта тревожная нота заставила и Нину Павловну насторожиться и не назвать себя. Удивившись сама своей изворотливости, она выдала себя за подругу Марины и тут же повесила трубку, а потом не могла понять: как могла явиться ей эта нелепая мысль — идти в дом Марины? Как и о чем могла она говорить с ее матерью?

Нина Павловна не знала, что за несколько дней до телефонного разговора Екатерина Васильевна, вынув из почтового ящика письмо на имя Марины, заинтересовалась почерком. Что такое? Откуда? От кого?

Екатерина Васильевна, может быть, и не поступила бы так, если бы не некоторые предыдущие наблюдения: Маринка была какая-то чудна́я. Екатерина Васильевна несколько раз заговаривала с ней, но Маринка или отмалчивалась, или отвечала неопределенно:

— Что ты, мама? Я ничего!

Главным принципом у них в семье всегда была честность: что бы с тобой ни произошло и как бы ты ни поступил — приди и расскажи. Когда Женька, младший сынишка, семиклассник, сказал, что идет в школу, а сам отправился куда-то с ребятами и вернулся чуть ли не

в двенадцать часов ночи, Екатерина Васильевна сама пошла к директору школы и рассказала об этом.

А тут Екатерина Васильевна чувствовала — дочь о чем-то умалчивает. Поэтому, увидев письмо на имя Марины, мать взяла грех на душу и вскрыла конверт. Письмо было от Антона. Она ужаснулась, встревожилась и в тревоге этой жила все последнее время, утаив случившееся, вопреки всем своим жизненным правилам, даже от мужа, от которого никогда ничего не скрывала.

Нина Павловна пошла в школу. Это тоже была ее сокровенная мысль: показать директору письмо Антона. «Смотрите! Он уже получил благодарность. Почему же у вас он слышал одни попреки?»

Но Елизавета Ивановна в этой школе уже не работала — вместо нее был другой директор, мужчина, и он ничего не знал об Антоне. Зато Прасковья Петровна очень приветливо встретила Нину Павловну, а прочитав письмо Антона, порадовалась за него и обещала обязательно написать.

— Важно, чтобы человек не сломался. Тогда ему ничего не страшно!

И здесь, в школе, Нина Павловна случайно столкнулась с Мариной. Девочка не то разволновалась, не то испугалась этой встречи и стояла перед матерью Антона молча, с широко открытыми и напряженными глазами.

— Вы не писали ему? — нерешительно спросила Нина Павловна.

— Нет! — коротко ответила Марина.

— Может быть, напишете?.. Это его так ободрит, ваше письмо!

— Хорошо, Нина Павловна! Я подумаю!

Марина удивилась сама себе: что здесь думать? И почему вырвалось у нее это дипломатическое, неискреннее обещание? Разве может она писать первая? Да и что писать, когда в душе такая неурядица?

А потом снова начались раздумья и терзания — как все могло получиться?

— Скажи, Степа: ты что-нибудь понимаешь? — спросила она Степу Орлова, когда он опять пришел к ней.

Она сплела пальцы и сжала их до хруста, и Степа почувствовал, что Марине трудно. И он опять подумал: какая она добрая и серьезная девушка. Об Антоне сейчас говорят все: «Вот это отколол», «Никак не ожидала:

такой растяпа и вдруг...», «А жалко парня», «Туда ему и дорога!», «От хулиганства до преступления один шаг!» Но все это мелко и по-обывательски: изрекут и забудут. Разве можно забывать о таких вещах? А вот Марина думает об истории с Антоном не меньше, чем сам Степа.

У него только выражается это иначе: спокойный и медлительный, Степа смотрит на мир как будто бы бесстрастными глазами наблюдателя, но это неверно. Он просто не умеет волноваться по каждому пустяку, но за то, что ему кажется важным, он берется обеими руками. Он пытался ответить на вопрос Марины — как все получилось? — и не знал, что сказать. Для него все по-другому выглядит. Степа — мальчишка, он многое слышал и кое-что знает, а теперь стал ближе приглядываться к жизни «двора» и «улицы».

— Сквозь пальцы мы на все смотрим. На глазах у нас человек тонет, а мы...

Степа не договорил. Он даже не досказал своей мысли. Он хотел поделиться тем, что вывел из своих наблюдений: «Вот говорят: «улица, улица»! А разве мы не можем отвоевать ребят у улицы...» Но получилось, видимо, что-то другое. Сам он не понял, но изменившееся лицо Марины заставило его замолкнуть на полуслове.

— На глазах!.. — проговорила она как бы про себя. — На глазах!

Слова Степы подтверждали тот упрек, который она уже делала себе: у нее на глазах погибал человек. Рядом с нею сидел он, согбенный, понурый, совсем не похожий на забияку-«мушкетера», которым знали его все. Ей пытался он поведать свои полупризнания. К ней пришел домой, неизвестно зачем, чудной, непонятный, не тот, что для всех, и не тот, каким казался в парке на лавочке, а какой-то третий Антон. И когда?.. Когда это было? Так это же накануне! Может быть, совсем накануне, может быть, даже в тот самый день! Может быть, он скрыться хотел у нее! Может быть, он защиты искал! А она... Какой же она друг? Где там — друг: какой она товарищ, если она ничего не заметила и не поняла? И он остался один. Один, как столб среди поля!

Марина ничего не сказала Степе, а Степа ничего не знал, хотя и почудился ему за тоном ее восклицания какой-то другой, не совсем ясный смысл. Но Степа был немного тугодум и не сразу понял, да и мало ли что мо-

жет иногда показаться. Поэтому он зашел к Марине еще раз и еще, потом столкнулся с ней на улице, а когда начались занятия, старался под разными предлогами встречаться с ней чуть ли не на каждой перемене и обсуждать разные школьные дела. Он очень жалел теперь, что они учатся в разных классах, и интересовался ее делами не меньше, чем собственными.

Марину в этом году избрали в классе секретарем комсомольского бюро, у нее прибавилось дел и ответственности, и она охотно советовалась со Степой.

А Степа тоже стал комсомольским секретарем своего, теперь десятого «Б» класса. Получилось это совсем для него неожиданно в самом начале учебного года, когда на первом же комсомольском собрании зашла речь о том, что произошло с Антоном. Тогда все стали искать ошибки — где недосмотрели и чего недоделали? И как-то так вышло, что все ошибки легли на Клаву Веселову, комсорга девятого «Б»: она холодна, она горда, она невнимательна, и вместо нее секретарем комсомольского бюро был избран Степа Орлов. И вот они вместе с Мариной в разных классах, но выполняют одну работу и заняты одними вопросами: как сделать, чтобы комсомол у них в школе был настоящим комсомолом, чтобы кипел и горел и чтобы живая, подлинная жизнь не тонула в аршинных программах показных мероприятий?

Но Марина то и дело возвращается к одному и тому же: как и почему мы упустили Антона?

— Вот ты говоришь, он у нас на глазах погиб. А другие? Может быть, и другие?.. Ну, не в том отношении — в ином. А все равно: ведь хочется, чтобы все были хорошие.

— И во всем! — подсказал Степа.

— И во всем! — согласилась Марина. — Хочется, чтобы вообще люди были хорошие!

И Марина зорче присматривалась теперь к своим товарищам — к девочкам, к ребятам — и задумывалась там, где, кажется, можно было не задумываться. Вот, например, Толик Кипчак. Он отчего-то оставался таким же щупленьким и маленьким, как и во времена своего «мушкетерства» — «пигалицей», как его прозвал Сережа Пронин. Мать у него оказалась волевой женщиной, основательно взяла сына в руки, он остепенился и даже стал усиленно «зубрить» и клянчить отметки. А Марина это-

то не выносила. Где сознательно, где бессознательно она выискивала для себя хорошие примеры, лепила самое себя из разных кусочков, которые тянула со всех сторон: и из интересного урока, и из книги, лекции, из взволновавшего ее симфонического концерта. Особенно много занималась спортом: Марина была недовольна своей тоненькой, хрупкой на вид фигурой. «Как у кисейной барышни!» — говорила она про себя, видя в этом признак слабости, а слабой Марина не хотела выходить в жизнь. Она формировала себя. Она не понимала тех, кто, не думая ни о чем и не тревожась, создает себе из отметки икону и ради «пятерки» готов на все. Она не понимала тех, кто заучивал страницы из учебника литературы, не читая самих книг, кто выписывал цитаты и провозглашал готовые лозунги и не мог думать там, где нужно думать и искать решения.

Не понимала Марина и таких, как Сергей Пронин: комсомолец он или не комсомолец? За лето он так развернулся в плечах и повзрослел, что кто-то из девчат, встретив его после каникул, не удержался от восклицания:

— Сережка! Да какой же ты стал интересный!

— Что вы говорите? Детка моя, как я тронут! — с полушутливой развязностью ответил на это Пронин.

Правда, развязности у него прибавилось, пожалуй, больше, чем «интересности», и, когда Марина что-то в этом духе заметила, Сережа с той же развязной улыбкой проговорил:

— Девочка моя! Да ты совсем у меня стала идэйная!

Когда-то в шестом, не то в седьмом классе, прежней, еще «девчачьей» школы, после крупного семейного разговора с Женькой, младшим братишкой, пойманным учителем за списыванием задачи, Марина решила, что она никогда не будет так поступать. Она даже пробовала организовать группу «за честность» — не списывать самим и не разрешать другим. Группа скоро распалась, но Марина решила не отступать от этих принципов. Однако, когда она не позволила списать задачку Римме Саакьянц, та обиженно фыркнула:

— Подумаешь! Идейная! Как будто я у другой не могу содрать!

Второй раз она услышала нелепый упрек в «идейности» от Пронина, после его грязного, вороваиного поце-

луя и потом, когда Марина выступила против другой глупой поговорки, которую откуда-то принес Сережка: «Теперь учиться не фонтан, все равно на производство идти».

Для него учиться действительно было «не фонтан», и как он рассчитывал получить аттестат зрелости — неизвестно, зато он стал первым организатором разного рода вечеринок. А на возмущение Марины он отвечал той же полушутливой, полунасмешливой фразой:

— Детка моя! Да ты совсем идэйная!

Марина старалась не придавать словам Пронина значения, но они ее обижали.

— Ну что он называет меня так? — жаловалась она Степе Орлову. — Как этикетку какую приклеил, точно это порок. День рождения у Толи Кипчака справляли, так он был против того, чтобы приглашать меня: «О высоких материях опять суждения будет иметь». Это я! «Показать себя старается!» А я нисколечко не стараюсь и ничего не показываю. Я живу как живу, как жизнь понимаю. И если я идейная, значит, и на самом деле идейная, и буду идейной, и хочу быть идейной, для себя, не для показа.

— Идейная без кавычек, — с явным восхищением подтверждал Степа.

— Да, без кавычек! — все больше обозляясь, не заметила этого восхищения Марина. — И без этого глупого «э» — «идэйная». И я не хочу быть такой, как он: на словах одно, а на деле другое. Сам ничего не делает, а выбирает вольную тему для сочинения: «Тема труда в советской литературе». Один глаз на Кавказ, другой — в Арзамас. Не хочу!

Марина и Степа постепенно сдружились, но мысли об Антоне не умирали в сердце Марины, и достаточно было любого случая, чтобы она вспоминала о нем вновь и вновь. Вот они со Степой сидят в кино, смотрят картину «Яков Свердлов», и с экрана раздаются слова: «Там, где кончается борьба за товарища, начинается предательство». И все: вечер испорчен, опять закипело взбаламученное море вопросов, и даже то, что она сидит здесь, в кино, со Степой Орловым, ощущается как предательство. Вот произошла мимолетная, совсем мимолетная встреча с Ниной Павловной. «А как бы ваше письмо ободрило его!..» И снова заходили волны беспокойства от сознания

ответственности за то, что произошло с Антоном. О своих переживаниях она не может говорить ни с мамой, настороженные взгляды которой Марина почему-то стала ловить на себе в последнее время, ни с папой, ни со Степой, но никак не дает покоя это глухое, тревожное чувство. Смягчается оно только одним: Антон не пишет. А разве может она написать первая?

15

Мишка Шевчук не забывал о своей неожиданной встрече с кем-то из своих единомышленников во время «оправки». Пятидневное раздумье на вахте все больше убеждало его, что ни в какую другую колонию он не попадет. Но признаться в этом и уступить, «убрать рога» не позволяла гордость, та самая дикая, «воровская» гордость, которую внушил ему Федька Чума в своих полупьяных поучениях. Отступиться мешал стыд перед «хозяином» и перед самим собой.

Случайный разговор давал ему для этого и основание и оправдание: в колонии есть «воры», они задавлены, бессильны, но рады бы перевернуть порядки, да взяться некому. А почему бы ему, Мишке, не «войти в зону», не отыскать «воров», не перевернуть вместе с ними колонию и не доказать этим свою преданность «воровской идее»?

Эти-то мысли и отражались в его загадочной ухмылке, с которой он на следующее утро вошел к начальнику. Но до конца «мочить свой рог» Мишка никак не собирался. Нужно было найти того хлопца, который уговорил его войти в колонию, и нащупать тех самых, согнутых в три погибели «воров»...

Поэтому в первый же вечер после отбоя, когда все лежали в постелях, Мишка начал рассказывать воровской *роман* «Таинственный прокурор». Роман этот большой, и тянуть его с разными вариациями и дополнениями можно хоть целую неделю, но у Мишки предприятие это сорвалось с первого раза. Сначала его слушали соседи по койке. Пораженные его памятью и живостью изложения, они притихли, и громкий голос Мишки привлекал все новых слушателей. Даже послышался чей-то выкрик: «Громче!» — и Мишка стал вести рассказ на всю спальню. И тогда раздалась команда:

— Отставить!

Вслед за этим поднялся командир отделения Андрей Мальков:

— Эй! Кто там завел волынку? Отставить!

Повествование пришлось прервать, да еще на следующий день выслушать «мораль» от воспитателя. Но Мишка не смирился и стал рассказывать о своих похождениях с Федькой Чумой, а когда кто-то из общественников опять его остановил, он выругался. Надо было стать перед строем. Затем Мишка нарисовал карты и сговорился с одним хлопцем, Сашкой Расторгуевым, сыграть в «очко». За это опять пришлось стать перед строем. А это было хуже всего — поставят и начнут «душу молоть» сами ребята, и даже Сашка Расторгуев «раскололся» в два счета и во всем покаялся на линейке. А потом — работа, школа, самоподготовка, на которой тоже слова вымолвить нельзя, — одним словом, Мишка скоро понял, что он «попал в некурящий вагон», «в пионерлагерь».

Тогда он заметался, попробовал вырваться, но рука у «хозяина» оказалась крепкая: «Никуда я тебя не отправлю!» Чтобы показать себя, Мишка решил выкинуть что-нибудь еще, посильней, чем неудавшаяся операция с животом: проглотить гвоздь или ручку от ложки или вскрыть вены, но из всех вариантов выбрал один, самый крайний.

Максим Кузьмич с утра засел в кабинете, чтобы разобраться с накопившимися счетами, сводками и прочими бумажными делами, без которых, к сожалению, не обходится ни одна самая живая работа. И вдруг к нему, запыхавшись, вошел воспитатель Суслин.

— Разрешите, товарищ подполковник!

— А очень срочно? Я сейчас занят.

— Срочно, товарищ подполковник. ЧП!

— Что за ЧП? — Максим Кузьмич оторвался от бумаг.

— Воспитанник Шевчук рот зашил.

— Как «зашил»? Какой рот?

— Свой рот зашил, товарищ подполковник. Нитками.

— Что за чепуха? — недовольно поморщился начальник, тем не менее поднялся из-за стола и стал одеваться. — Как было дело?

— Не знаю, как было дело, а только я прихожу — мне ребята рассказывают. Ночью он это сделал. И главное — как ухитрился — без единой капли крови. Сейчас

отделение на завтрак нужно вести — не придумаю, как быть.

— Что значит «как быть»? Вести отделение на завтрак, по распорядку. А Шевчука... А Шевчука доставить ко мне!

Максим Кузьмич повесил обратно на вешалку шинель, фуражку и снова взялся за бумаги.

— И сестру медицинскую попросите ко мне! — распорядился он.

Но никакие счета ему уже на ум не шли: он отложил документы и стал обдумывать положение. Прежде всего он решил, что поступил правильно, не пойдя в отделение, как хотел сначала, сгоряча, а остался в своем кабинете. Смешно подниматься и стремглав бежать из-за всякого идиота, как сказала бы его жена Лена. Максим Кузьмич еще не знал подробностей, но ясно было, что Мишка придумал совсем новый и какой-то изуверский ход. Но как бы там ни было, а на этот раз Мишкино упрямство надо было сломить.

Услышав, что ведут Мишку, Максим Кузьмич опять взялся за бумаги и долго не поднимал глаз на вошедших. А когда посмотрел, увидел: губы Мишки были действительно схвачены в нескольких местах, а у левого уголка их болтался длинный конец суровой нитки.

— Ну?.. — спросил Максим Кузьмич, стараясь быть как можно суровее. — Ну, как же мы с тобой разговаривать будем?.. На! Пиши! — Он подал Мишке лист бумаги и карандаш.

Мишка сел к столу и написал:

«Придется вам меня искусственным питанием питать, с другого конца».

Максим Кузьмич прочитал и наложил резолюцию: «Отказать, так как рот я тебе не зашивал».

Мишка в ответ написал свое:

«Ничего! Вы вокруг меня па цырлах будете ходить и гуся подавать».

— На цырлах — это что?.. На носках, что ли? — спросил Максим Кузьмич. — И гуся, значит, подавать?.. А баланду хочешь? Да тебе и баланду нечем есть, ты сначала рот расшей.

Мишка выслушал; в глазах его блеснул упрямый огонек, и он опять написал:

«А помру — вам же хуже будет: отвечать придется».

— За что? — удивился Максим Кузьмич. — Похороним — и все. Знаешь, там, в углу, за стадионом. Только без почестей. У нас бланки есть? — спросил он стоявшую здесь же медицинскую сестру.

— Какие бланки?

— Ну, на умерших! — рассердился на ее недогадливость Максим Кузьмич.

— Нет, — простодушно ответила сестра.

— Как так «нет»? Заготовить немедленно, — строго приказал Максим Кузьмич. — А то он помрет, а у нас бланков нет. Как же так, без бланков?

— Ну, а пока не помер, что с ним делать? — спросил Суслин.

— А пока не помер, в изоляторе пусть побудет, — ответил Максим Кузьмич.

— В каком? В медицинском? — испугалась сестра.

— Почему в медицинском? В штрафном! Пусть подумает!

Мишку опять поместили в штрафной изолятор, и Максим Кузьмич распорядился: надзирателю чаще туда заглядывать, обед принести как положено, дать бумаги и карандаш, о всяких заявлениях Мишки докладывать лично ему, начальнику.

Но заявлений никаких не было: Мишка выдерживал характер. В обычное время ему принесли из столовой обед: котелок щей. Второго — каша с рыбой — находящимся в изоляторе не полагалось. Мишка отвернулся от щей, потом лег на нары и уткнулся носом в каменную стену. А на других, пустующих, нарах сидел дядя Харитон, пожилой уже, давно работающий в колонии сержант, прозванный ребятами за его любимую поговорку «Вика-Чечевика». Он курил трубку и искоса поглядывал на Мишку.

— И несообразный же ты человек, — сказал он наконец. — А небось мать тоже есть... Ждет дурака, небось тоже плачет. А он тут вытворяет... Главное, над кем вытворяет? Над собой вытворяет. Ну, кому ты что докажешь? Все люди как люди — едят, пьют, работают, а он... Эх ты, вика-чечевика! Вот уж дурная голова, не то что ногам, а самой себе покоя не дает. И обед! Ну, что я с обедом буду делать? Стынет!

А обед действительно стыл, и от щей поднималась жиденькая струйка пара. Мишка продолжал неподвижно лежать лицом к стене, и дядя Харитон, то ли от желания

донять Шевчука, то ли просто от скуки, продолжал говорить, постепенно расширяя тему:

— Ну чего, главное, ребятам нужно? Ведь попали вы сюда... Не за хорошие дела попали? Ведь вас за эти дела, ежели по-настоящему, на хлеб на воду посадить нужно, а с вами тут цацкаются. А вы еще кадрили разные выкамариваете. А отцы ваши, матери бьются, работают, и кругом посмотришь: жизнь сейчас по часам растет — то одно строится, то другое. А раз строится — это прибыток, это всему народу прибыток. А вам никакого до этого дела нету — вы только и норовите погулять да повеселей пожить и никакого удержу не знаете. Тьфу!

Дядя Харитон плюнул, выбил трубку и пошел, оставив у Мишки котелок с остывшими щами. Он запер изолятор на два замка — внутренний и висячий и, поднявшись в караульное помещение, принялся играть с другим дежурным сержантом в шашки. Они сыграли одну партию, другую, а на третьей внизу послышался стук — Мишка стучал каблуками в дверь изолятора. Дядя Харитон взял ключи, спустился вниз и отпер опять оба замка.

— Ну? Чего расшумелся?

Мишка протянул ему записку: «Хочу говорить с хозяином».

— У-у, будь ты неладен! — проворчал дядя Харитон. — Пойду доложу.

Но Максим Кузьмич, выслушав его, спросил:

— А рот как?

— Зашит.

— Ну, что ж мне с ним говорить. Пусть сначала рот разошьет, медицинскую сестру вызовет. Так и скажи.

Некоторое время Мишка сидел тихо, и дядя Харитон даже заглянул к нему — все ли в порядке? Потом опять послышались сильные, частые удары в дверь. Дядя Харитон опять отпер изолятор, и Мишка протянул ему записку: «Пришлите сестру».

— Ну вот, давно бы так-то, вика-чечевика! — проворчал дядя Харитон и отправился в санчасть за сестрой.

Когда швы были сняты, Максим Кузьмич приказал привести Мишку к себе.

— Ну? — сурово спросил он, оглядывая его. — За гусем пришел?

На это Мишка ничего не мог ответить — бой был окончательно и безнадежно проигран.

— Ну и знай! — все так же сурово продолжал Максим Кузьмич. — Никаких гусей ты у нас тут не дождешься. Брось валять дурака и начинай работать. Понятно?

Мишка молчал.

— Ты все удивить нас хочешь? — продолжал начальник. — Так мы всяких видали, похлестче видали. Запомни это!

Максим Кузьмич вызвал Суслина.

— Воспитанника Шевчука взять обратно в отделение, поставить в строй и... и заниматься, как положено по распорядку.

16

Скоро Нина Павловна получила еще весточку от Антона и — что ее совсем удивило — письмо от его воспитателя. Кирилл Петрович сообщил, что Антон усердно учится в десятом классе, старается догнать упущенное, чувствует себя хорошо и особых замечаний не имеет. Письмо небольшое и не то чтобы официальное и сухое, а информационное, никаких вопросов оно не вызывало, и только выражение «особых замечаний не имеет» встревожило Нину Павловну: ей хотелось, чтобы в своей новой жизни Антон не получал никаких замечаний. Но все-таки самый факт письма был для нее неожиданностью и сразу расположил ее к воспитателю. А главное, и в его письме, и в письме Антона было сказано, что она может приехать повидаться с сыном.

Первым движением Нины Павловны было — собраться и ехать завтра же, сегодня же, с первым поездом. Но когда она в таком настроении приехала к бабушке, та сразу умерила ее пыл.

— Ну что ты всполошилась, как девчонка? Ему учиться нужно, работать нужно, а ты тут вертеться будешь. Одни волнения — и тебе и ему. Вот будут праздники, к праздникам и поедешь.

Нина Павловна так и поступила: поехала к Октябрьским праздникам.

В поезде она старалась не думать, как будет искать колонию и добираться до нее, а в разговорах с попутчиками всячески стремилась не проговориться — куда и зачем она едет. И вдруг оказалось, что ее соседка по купе направляется туда же, в колонию, и тоже робеет, а перед

самой остановкой нашелся и третий попутчик — человек, уже бывавший в колонии и ничего не боявшийся.

— Доедем и приедем, — сказал он в ответ на все их страхи и сомнения. — Со станции позвоним — вышлют машину, отведут помещение, все по чину, как полагается.

Так и получилось: ехали и приехали и получили помещение — действительно, все как полагается. Только комната для приезжих была уже полна, — не одна бабушка оказалась умной, советуя подогнать поездку к празднику! — и Нину Павловну поместили на квартиру к сотруднику колонии, мастеру производственных мастерских Мохову Никодиму Игнатьевичу. Молодой, но очень суровый на вид и неразговорчивый, с глубокой, нестираемой складкой меж бровями, он произвел на Нину Павловну не совсем приятное впечатление. Зато жена его оказалась очень приветливой. Он ласково называл ее Раюшей и вообще, обращаясь к ней, становился заметно мягче и не казался таким уж суровым. Обстановка у них была довольно скромная, что тут же сочла нужным отметить сама Раюша:

— Вы уж извините... Мы живем — сами видите...

— А что? — вмешался Никодим Игнатьевич. — Живем как живем, хорошо живем. А что диваны и все другое прочее — это дело наживное.

Мало-мальски устроившись, Нина Павловна отправилась в штаб хлопотать о свидании. Она думала, что все будет сложно. Поэтому в кабинет начальника она вошла робко, внутренне сжавшись. Но начальник сразу же написал на ее заявлении размашистую резолюцию и, взглянув на Нину Павловну, сказал:

— Шелестов?.. Ага!

Это «ага», так же как и подозрительная фраза в письме Кирилла Петровича, встревожило Нину Павловну, и ей показалось, что начальник как-то по-особенному всмотрелся в нее. Но это был один миг, а через секунду начальник, возвращая ей заявление, добавил:

— Вы в первый раз? Пожалуйста! А завтра у нас торжественный день. Утром мы вас, родителей, всех вместе соберем и проведем в зону. А вечером пожалуйте в клуб — у нас открытие клуба и подведение итогов соревнования.

Все было не так, как представляла себе Нина Павловна И свидание проходило совсем иначе, чем в тюрьме, —

без тягостного надзора, недоверчивых взглядов и суровых окриков. Оно было длительное, свободное, даже веселое: в комнате собралось много посетителей, каждый со своими подарками, со своим угощением, все разговаривали и даже смеялись — женщина, приехавшая с Ниной Павловной, оказалась большой шутницей. Но встреча с сыном все-таки вызвала у Нины Павловны ощущение некоторой неудовлетворенности. Антон был какой-то чудной, точно он не рад был матери или стыдился и чего-то недоговаривал. И вообще встреча получилась совсем иной, чем представляла ее Нина Павловна: она спрашивала, а сын довольно сдержанно отвечал.

— Ну, как живешь?

— Как яблочко.

— Как кормят?

— Мы сюда не в санаторий приехали отъедаться.

— Работать-то не трудно?

— Я работы не боюсь и не собираюсь бояться.

— А с ученьем?

— И с ученьем тоже.

— Ну, а вообще?.. Жизнь? — допытывалась Нина Павловна.

— А что — жизнь? — так же коротко ответил Антон. — Режим!

Он оживился, когда речь зашла о Кирилле Петровиче, но так же коротко на своем мальчишеском языке сказал:

— Этот — что надо!

Потом постепенно он раскрыл свое определение «что надо»: ошибешься — поругает, и все, а потом не пилит и вообще нотации не любит читать — сказал, и все; не гордый, в шахматы с ребятами играет; и справедливый — подхалимов не любит и вообще «старается»; и сам учится на юридическом факультете.

Оживлялся Антон, когда рассказывал и о товарищах, о ком — тепло и ласково, о ком — с уважением, о ком — со смешком. Потом Нина Павловна познакомилась с ними — и со Славой Дунаевым и с Костей Ермолиным, а Илья Елкин сам представился как товарищ Антона, кунак. Показал ей Антон и Мишку Шевчука и рассказал о нем такие вещи, что Нина Павловна перепугалась.

— А ты что, дружишь с ним? — насторожилась она.

— Что ты, мама? Он такой... Я даже не пойму, какой он. Или он на самом деле себя за героя считает, или фасон держит.

— Смотри, сынок, смотри! Подальше от него!

Вообще Нина Павловна осталась Антоном довольна. Правда, он был такой же стриженый, каким она увидела его в первый раз на суде, но углы и шишки, которые так резко выступали тогда у него на голове, теперь как будто сгладились и, во всяком случае, не так бросались в глаза. И сам он был заметно ровнее и спокойнее, хотя спокойствие это переходило в сдержанность, которая тревожила Нину Павловну.

Своей тревогой она поделилась с Кириллом Петровичем, когда он, познакомившись с нею, сказал:

— Нам с вами обязательно нужно поговорить.

Не утаила и того вопроса, который у нее вызвало его письмо.

— Что значит: «особых замечаний нет»? А неособые? — спросила она.

И тогда оказалось, что, порадовав мать первой благодарностью, которую он получил на линейке, Антон скрыл от нее историю с запиской и то, как ему пришлось стоять перед строем и держать ответ.

— Как же так? — разволновалась Нина Павловна. — Почему же он мне об этом не написал, не рассказал? Да я ему...

— А обойдитесь лучше без угроз! — остановил ее Кирилл Петрович. — Без всяких «я ему». На него вряд ли они и подействуют. Антон не такой человек.

— Не такой? — живо переспросила Нина Павловна. — А какой? Нет, правда, Кирилл Петрович, как вы его понимаете?

— Вы задаете слишком прямой вопрос, — замялся Кирилл Петрович. — Я его недостаточно еще знаю, но... Одному товарищу он, например, показался кислым, и у нас с этим товарищем даже возник небольшой спор. Нельзя ведь воспитывать, не веря в человека. И сила, по-моему, разная бывает: иным она дана, у других она развивается. Бывает, приходят тихонькие, слабенькие, точно сами себе не верят, а потом разгораются живым и очень буйным огнем.

— Может быть, и он разгорится? — с надеждой в голосе проговорила Нина Павловна.

— А почему же? Конечно! Он, например, много читает.

— А раньше он не любил читать. Представьте себе! Он вообще ничем не интересовался.

— Это видно, видно! — согласился Кирилл Петрович. — А сейчас... я и общественное поручение ему думаю по библиотеке дать.

— Вы вовлекайте его, вовлекайте! — попросила Нина Павловна. — А как он вообще?.. Как с товарищами?

— С товарищами он пытается дружить, но еще робко. Вообще видно, что он вырос без коллектива, — ответил Кирилл Петрович.— А коллектив для человека что земля для Антея... Скажите, а как он о колонии отзывается, о жизни?

— Спрашивала я. Он очень коротко ответил: «А что жизнь? Режим!»

— Режим?.. — переспросил Кирилл Петрович. — А как... Как он это сказал? Как относится к режиму? Вы понимаете?.. Потому что режим в наших условиях — все!

То были совсем не пустые слова. О режиме был даже специальный доклад на учебно-воспитательском совете колонии. Режим — это организованность, это — внешний порядок жизни, который отраженно определяет и порядок внутреннего строя человека, умение владеть собой и разбираться в том, что можно и чего нельзя. А ведь в том и заключается искусство жизни — в самоконтроле, в умении пользоваться «можно» и «нельзя». И здесь коренятся ошибки: человек распускает себя и начинает «переступать» через одно «можно», через другое, третье, и эти «переступления» приводят его к преступлению. Человек развязался, как старый веник, и ему все нипочем, все позволено. Распад личности. А в колонии начинают его собирать и заново связывать, вводить в рамки, и прежде всего — через режим, через порядок. И когда все это получится, он с точки зрения организованного уже, упорядоченного человека начинает смотреть на свою прошлую беспорядочную жизнь и переоценивать ее. Вот что такое режим!

Кирилл Петрович не мог, конечно, так полно и последовательно передать все, что говорилось на учебно-воспитательском совете, но Нина Павловна внимательно выслушала его и поняла. Она была очень признательна Ки-

риллу Петровичу за все его советы и хотела в разговоре с Антоном быть мягче, но не удержалась и наговорила ему резкостей. Но Антон, к ее удивлению, не обиделся и не изменил сдержанности, которая и теперь продолжала оставаться для нее непонятной.

Все разрешилось перед самым отъездом Нины Павловны, когда Антону было оказано большое поощрение — он был отпущен вместе с матерью в город. Это было для Антона совсем неожиданно и необычно: ни стен, ни предзонника и никакой охраны. Пусть грязь на дороге, пусть идет неприятный, на лету тающий снег, но вокруг так хорошо и трогательно — и домики с дымящимися трубами, лужи, собака, старательно доказывающая свой собачий характер, колодец, замерзшие георгины и красные гроздья на макушке голых рябин. И люди — они едут и идут и встречаются, как люди с людьми, просто так, не оглядываясь и не обращая внимания на тех, с кем встречаются. Свобода! Хоть на час!

Нина Павловна видела, как Антон смотрит на все, шагая через лужи в своих грубых ботинках и в старом, заношенном уже кем-то бушлате, смотрит и молчит, будто сам не свой. И вдруг, когда они вышли за поселок и спускались среди пустых огородов к холодной, свинцового цвета реке, он упал перед матерью на колени, прямо в грязь, на мокрую жухлую траву и прижался к ее ногам.

— Что ты? Что ты? Тоник!

Нина Павловна схватила сына за плечи, силясь поднять, а он, обхватив ее колени и уткнувшись в них лицом, почти стонал:

— Мамочка! Мама! Прости меня, мама!

— Да что ты, голубчик? Сыночек! Милый! Ну, не терзай ты себя! Не нужно!

— Я же помню! Я все помню!— надрывным голосом продолжал Антон.— Как ты стояла передо мной на коленях. Тогда! Ты хотела удержать меня, остановить, а я... я никогда, я никогда себе этого не прощу!

— Ну зачем ты? Ну зачем ты так? Тоник! Ну, поднимись! Нехорошо так. Поднимись! Давай по-хорошему! Что было, то было. Давай смотреть вперед. Все хорошо будет, Тоник! Будет?

— Будет, мама! Будет!

Антон поднял лицо и, заглянув ей снизу в самые глаза, увидел слезы, бегущие по щекам, и еще горячее,

еще крепче прижался к ее коленям. И Нина Павловна все поняла и была счастлива и улыбалась, не замечая, как слезы текут и текут у нее по щекам и падают на землю, в грязь, на замасленный бушлат Антона.

Потом они были в городе, зашли в кино, пообедали в столовой, выпили чаю с пирожными и обо всем наговорились. Рассказала тогда Нина Павловна и о своей жизни, о работе в милиции, о Володе Ивлеве. Рассказала она и о Якове Борисовиче, о своих сомнениях и потаенных мыслях.

— Может быть, ты осудишь меня, Тоник, а может быть, подумаешь и не осудишь, а только... Ошиблась я, кажется, в жизни, Тоник!

— Уйди ты от него, мама! Уйди! Ну что он тебе? Уйди!

Это было легко сказать и куда труднее сделать, и все-таки было так хорошо: сын становился советчиком. И вообще это был, кажется, самый счастливый день в их жизни.

17

Торжественный день в колонии начался. Родителей собрали вместе и провели в «зону». Ходил там с ними сам начальник, и это, видимо, доставляло ему удовольствие. Как радушный и приветливый хозяин, он показал школу, мастерские, столовую, спальни, а родители слушали, иногда заглядывали под одеяла, в тумбочки, останавливались у стенгазет и заговаривали с дежурными.

— Я думала, они в казематах сидят, а тут...— покачала головой женщина, приехавшая с Ниной Павловной.— Дома будешь рассказывать — не поверят, у нас дома полы-то некрашеные.

Правда, в одной спальне получился небольшой конфуз: в тумбочке, прибранной и покрытой салфеткой, оказалось два окурка. Начальник помрачнел, в глазах его блеснули гневные огни, и он сурово спросил у дежурного:

— Чья тумбочка?

Дежурный замялся, но начальник еще требовательнее повторил вопрос:

— Я тебя спрашиваю: чья тумбочка?

— Костанчи,— нерешительно ответил дежурный.

— Костанчи? — переспросил начальник.— Пусть уберет!

Но это была тень в ясный день. Начальник шел дальше, живой и подвижной, как огонек,— ребята его так и прозвали «Огонек»,— все показывал и все рассказывал и отвечал на вопросы — о режиме и о меню, о продукции мастерских и о стоимости содержания каждого воспитанника, и видно было, что все ему близко и дорого. С гордостью начальник показывал гостям мастерские, по сути дела, целый завод с валовой продукцией в пять миллионов рублей.

— Мы выпускаем, например, передвижные бензоколонки для заправки тракторов в полевых условиях. Вот пожалуйста!.. Это готовая колонка на испытании.— И на глазах у гостей стеклянный резервуар наполняется керосином, а потом, также на глазах у всех, становится пустым.

— А здесь изготовляются настольные сверлильные станки,— говорил начальник в другом цехе.— Их отправляют главным образом по школам для политехнизации. Вот видите, они небольшие, но удобные.

Потом начальник ведет гостей на второй этаж.

— А здесь — первая ступень обучения — мастерские. Там — производство, здесь — обучение. Вот — рабочие места, тиски, вот инструменты, а это — лучшие работы воспитанников.— И на особом стенде перед глазами гостей поблескивают новенькие угольники, молотки, клещи и прочие изделия ребят.

Но особенной гордостью голос начальника зазвучал, когда он привел гостей в клуб и они прошли по залу, по комнатам, где будут работать кружки, по большому фойе с мягкими диванами.

— Тут была церковь когда-то давно, до революции. А потом — склад, потом что-то еще, а в войну ее просто разрушили. И вот...— и опять широким жестом радушного хозяина он обвел рукой зрительный зал,— шестьсот мест!

Это было, может быть, даже немного по-мальчишески — уж слишком наивно светились радостью глаза начальника и слишком ясно было, что он доволен. Но эта радость сегодня была и у всех — и у Антона, прошагавшего вместе со своим отделением на отведенные им места, и у всех ребят, и у сотрудников, тоже пришедших сюда

вместе с семьями на сегодняшний двойной праздник — открытие клуба и подведение итогов соревнования.

И все оказалось торжественным — и гудящий зал, заполненный людьми, и тишина, вдруг шагнувшая сюда вместе с начальником, по-прежнему живым и быстрым, но в то же время торжественным, парадным, в парадной фуражке с золотым шитьем и золотым ободком по козырьку, и общая команда «встать», и громкий рапорт дежурного, и новая команда:

— Под знамя колонии!

Все повернулись к центру, и грянул оркестр, и из фойе, через весь зал, отбивая шаг, почетный караул пронес знамя колонии, за ним — переходящее знамя и такой же переходящий красный вымпел производственных мастерских. Так же, с почетным караулом, они были установлены на сцене за президиумом, и началось собрание. Собрание как собрание, с докладом и речами, но Нине Павловне оно казалось совсем необычным, взволнованным, полным внутреннего дыхания. Она забыла, что это собрание тех, кого там, за стенами колонии, называют преступниками и которые действительно преступники, а вспомнив, растрогалась и хотела что-то сказать севшей рядом с ней женщине, с которой она приехала, и увидела, что та тоже вытирает слезы и сквозь слезы напряженно продолжает смотреть туда, на сцену, на зал, и снова вытирает мокрое лицо скомканным платком.

А на сцене майор Лагутин, заместитель начальника, читает приказ об итогах соревнования, о пятом отделении, которое отвоевало переходящее знамя у первого,— а Нина Павловна попутно отметила, что девятое отделение, где был Антон, оказалось где-то далеко, ближе к концу,— о токарном цехе, о командирах и отличившихся воспитанниках, получивших теперь кто книгу, кто небольшую денежную премию, кто благодарность в личное дело, а кто — снятие наложенных раньше взысканий. И после каждой фамилии отличившийся идет на сцену, начальник жмет ему руку, и снова отличившийся возвращается на место в зал, встречающий его горячими аплодисментами.

И речи... И секретарь райкома, говоривший обо всем, что сейчас происходит в стране, в мире, и председатель колхоза, поставивший на стол баян — подарок за помощь в уборке, и молодой офицер.

— Дорогие товарищи! — особенно торжественно обратился к собранию начальник. — Вот мы сегодня передали переходящее Красное знамя колонии нашему победителю в соревновании — пятому отделению. А знаете ли вы — откуда, от кого пошло это знамя? Это знамя первый раз мы получили когда-то, когда наша колония только устраивалась, когда у нас не было еще ни цветов, ни мастерских, ни клуба, и даже школы настоящей не было, и тогда это знамя было вручено бригаде — тогда у нас бригады еще были, — бригаде Бориса Травкина, и с тех пор оно переходит из рук в руки. И сегодня он у нас, Борис Травкин, один из наших первых воспитанников и первых командиров, а теперь — командир, офицер Советской Армии. Слово Борису Травкину!

И долго должен был стоять на трибуне молодой лейтенант, пока не успокоился зал.

— Да! Я офицер Советской Армии! — произнес гость, как только получил возможность заговорить. — И если нужно будет, если придет момент и мне скажут: «Иди и защищай родину», — я пойду и буду защищать ее. Потому что родина сделала меня человеком! Потому что партия сделала меня человеком!

Он не мог продолжать — перехватило дыхание, и лейтенант стоял, глотая воздух и глядя на притихший зал. А зал молчал и ждал, и это ожидание дало оратору силы, перебороть себя, пережить эту встречу со своим прошлым.

— Меня — архаровца, хулигана и воришку — сделала человеком колония. И когда я понял все, и когда во мне загорелась искра и я решил выплатить долг моей родине, и выплатить его, если нужно будет, своей кровью, когда я решил идти в военное училище, а мне отказали в этом, и правильно отказали, то начальник наш, наставник наш Максим Кузьмич, мне, бывшему архаровцу, хулигану и воришке, дал свою партийную рекомендацию. И я не подвел его, и никогда не подведу, и счастлив сказать здесь — затем и приехал, чтобы сказать ему и вам, — что я стал в одни ряды с ним, ряды Коммунистической партии!

Все встали и аплодировали, и не хотели садиться, и снова аплодировали дружными, мощными хлопками, точно по чьей-то команде, по команде общего, коллективного сердца. Максим Кузьмич закрыл собрание, зазвучал

гимн, потом опять марш, команда: «Под знамя колонии!», и снова поплыли знамена через весь зал.

Потом был объявлен перерыв, после которого должен был состояться концерт. Нина Павловна заговорила со своей соседкой, и ее нетерпеливо окликнул Антон:

— Мама! Мам! А ты знаешь, он из нашего отделения.

— Кто?

— Ну, Травкин!.. Этот, который выступал. Мне о нем Кирилл Петрович рассказал, как только я пришел. У нас и портрет его висит!

— Да ладно! Бог с ним, с Травкиным! — оборвала сына Нина Павловна.— Ты лучше скажи, как же это получилось: ваше девятое отделение, а на четырнадцатом месте стоит?

— Да ну, мам!— недовольно протянул Антон.

— Чего «мам»? Мне и то стыдно слушать было. Люди знамена получают, а вы что? А вы чем хуже? Такой день, торжество такое, а вы сидите, глазами хлопаете, чужим успехам аплодируете.

— Ну что ты, мам? Ну что я, один, что ли?

— А ты?.. Люди подарки получают, а ты что? Тебе почему подарка нет, никак не отметили?

— Я новенький...

— А при чем здесь новенький, старенький? Не все ли равно? Значит, не за что было, потому и не отметили.

Торжественное настроение было испорчено, и Антон рад был, когда Нина Павловна, выговорившись, пошла с ним в фойе и там они встретили Травкина. Он стоял, окруженный толпою ребят, и Антон, конечно, подошел тоже, а вместе с ним и Нина Павловна. В новенькой лейтенантской форме Травкин был по-юношески свеж и возбужден. Он чувствовал на себе взгляды окружавших его ребят, выслушивал вопросы и тут же отвечал на них.

— Вы, ребята, главное — крепче держитесь. Крепче! И не слушайте разных там шептунов. И носа не вешайте!. Вы думаете, я какой был? Я такой же был. Мы тоже ехали целой компанией сюда и тоже уговаривались в зону не входить, а войти — переворот сделать. А пришли — тут и переворачивать нечего, одни стены. И вместо этого устраиваться стали, кровати таскать.

— Ну ты особенно-то не хвались, ты тоже хорош гусь был,— раздался вдруг голос начальника.

Все оглянулись и, расступившись, пропустили его в середину.

— Да я шучу, шучу,— улыбнулся Максим Кузьмич.

— А почему? И без шуток!— возразил Травкин.— Я активистом сначала для видимости считался, разные дела покрывал. Все было! А потом одумался: выйду когда-никогда на волю — как жить буду? Жить-то надо! С того и пошло, шантрапу всякую стал гнать от себя.

— А помнишь, как она на тебя поднялась? Шурку Строева помнишь?

— Ну как же! Он мне ножом грозил. Тебе, говорит, все равно не жить. Я, по правде сказать, испугался тогда, на вахту убежал, под охрану. А вы, Максим Кузьмич, тогда пришли и говорите: «Нет, Боря! Иди! Не трусь! Нам нужно этот гнойник до конца вскрыть».

— И ты пошел, не испугался. Критический момент был. А потом здоровые силы победили — и пошло!

Начальник отошел, но Травкин долго еще беседовал с окружавшими его ребятами. Уже послышался звонок, приглашавший публику на концерт, когда раздался громкий голос Мишки Шевчука:

— А почему вы в колонию-то попали! По каким таким делам?

Травкин обернулся и, встретив вызывающий Мишкин взгляд, улыбнулся.

— А что — это очень интересно?

— Конечно, интересно!

— Да как тебе сказать?— ответил Травкин, вглядываясь в Мишкино лицо.— Да ты, пожалуй, сам лучше меня знаешь. Не головой думал. Понятно?

— Больше половины,— неопределенно проговорил Мишка.

— А знаешь что? Давай лучше сейчас концерт слушать, а завтра поговорим. Ладно? Как фамилия-то?

— Орешкин. Ефим Орешкин,— соврал Мишка.

— Ну вот, Ефим. Завтра и поговорим. Из какого отделения-то?

— Из первого.

Антона даже передернуло: врет! Опять врет! И в том и в другом... Зачем?

Он хотел уже сказать об этом и Травкину, но прозвенел второй звонок, и все двинулись в зал.

Концерт был неровный — одни номера были хорошие, другие похуже, но ребята несомненно старались — и пели, и плясали, и декламировали, а зрители так же старательно им хлопали, и все было хорошо.

Особенно тронула всех новая песня, которую хор подготовил специально к этому дню.

Раздалась команда надзирателя —
В мастерские дружно выходить.
Я иду работать, чтобы матери
За все муки радость подарить.

Верю я, что мать теперь обрадую,
Будет рад узнать и наш сосед:
Соревнуясь с первою бригадою,
Норму перевыполнили все.

Улыбнулись с нами воспитатели,
Трудовому дню настал конец.
Говорят, письмо напишут матери,
Про меня напишут: молодец!

Не горюй, не плачь, моя хорошая,
С каждым мигом ближе встречи час,
Навсегда плохое, мама, брошу я,
Чтоб ничто не разлучало нас.

Пусть пока не все добротно делаю,
Но берусь с душой за все подряд,
Будет время, и рукой умелою
Я добьюсь почета и наград.

Нина Павловна проплакала все время, пока пели эту песню, а соседка ее, совсем растрогавшись, проговорила:

— Вот она — Советская власть!

Домой после концерта Нина Павловна шла со своими хозяевами: Никодимом Игнатьевичем и Раюшей. По пути они разговорились о прошедшем вечере. Нина Павловна интересовалась, чем именно определяются итоги соревнования и почему, например, девятое отделение оказалось на предпоследнем месте. Это ее задело больше всего.

— Значит, ребята не взялись как следует,— коротко ответил Никодим Игнатьевич.

— А что значит: не взялись?— допытывалась Нина Павловна.

— Ну, то и значит. Без них-то ничего не сделаешь! Один ругнулся, другой ухитрился напиться или еще что-нибудь. Вот ваш сынок, к примеру, на работу у меня

опоздал, загулялся где-то. А это все баллы! Вот так и выходит — из маленьких пылинок ком грязи складывается. А понимать это не все понимают, не сразу. Когда-то он переломится!

— А значит, это все-таки возможно? — встрепенулась Нина Павловна.— Вот Травкин, например... Значит, действительно возможно, чтобы человек переменился? Так вот, совсем!

— А почему? Почему же из человека нельзя сделать человека? — угрюмо ответил ей мастер, но сквозь угрюмость у него прорвалось вдруг что-то совсем другое, живое и теплое.— У вас что с сынком-то?

И Нина Павловна рассказала, может быть, впервые так спокойно и обстоятельно, что произошло с Антоном.

— А вы не убивайтесь! — выслушав ее, проговорил Никодим Игнатьевич.— Ребята — такой возраст — можно повернуть и туда и сюда. Было бы за что зацепиться! У взрослых и то... Посмотришь — обормот, не дай господи, лица человеческого нету. А сдуй этот пепел... Искра-то, она у каждого есть, в самой никудышной, как будто бы пропащей душе.

— У каждого? — спросила Нина Павловна.— А есть конченые люди?

— Не знаю,— уклончиво ответил Никодим Игнатьевич.

Пришли домой. Раюша поставила самовар, стала собирать на стол, подала картошку жареную, банку с молоком. Нина Павловна достала колбасу, сыр, консервы, получился общий дружный ужин, и завязался душевный разговор. И тогда оказалось, что Никодим Игнатьевич сам отбывал наказание и долго не мог найти себе работу после освобождения — везде чувствовал подозрительные взгляды людей, пока не устроился здесь, в колонии.

— И тут я встретил ее, и все у меня засветилось.— И глаза Никодима Игнатьевича тоже засветились при взгляде на сидевшую за самоваром Раюшу.— Жизнь была у меня — одни рубцы кровавые. Хоть и родители были — и папаша, и мамаша, и все как следует быть, а только нужно кому-то заглядывать и за закрытые двери квартир — что там делается? Ну да ладно, что было, вспоминать нечего, а только не видел я ни любви, ни ласки родительской, и никто не покупал мне игрушек и коньков. И женщин всяких видел и тоже привык без любви

обходиться. А с ней вот сколько гулял — пальцем не тронул. А она возьми и скажи сама, что любит меня.

— Потому и сказала, что не трогал. Мужики-то какие бывают? Охальники! — вставила Раюша.

— И забила меня лихорадка, и не спал я тогда всю ночь, потому что никто мне таких слов не говорил.

Никодим Игнатьевич опять очень тепло и мягко посмотрел на свою Раюшу, но она с деланным неудовольствием оборвала его:

— Да ладно! Ну, чего ты об этом? Живем и живем!

А потом оказалось, что Никодим Игнатьевич и вообще совершенно другой человек, чем показалось вначале, и суровость его совсем не суровость, а крайняя сосредоточенность человека на одном, самом больном, но трудно разрешимом для него вопросе. И вопрос этот — искоренение преступности.

— Я об этом еще там, в лагерях, начал думать,— сказал Никодим Игнатьевич, и складка еще резче обозначилась у него меж бровями.— Вот вы говорите о Травкине — может ли человек переломиться? А хотите, я вам расскажу о человеке, который чуть не всю жизнь по тюрьмам бродил?

— Но это, должно быть, очень страшно! — поежилась Нина Павловна.

— Да брось ты! Не забивай ты голову людям,— подала опять голос Раюша. И, обратившись к Нине Павловне, продолжала: — Это у него как щепа в сердце. Ну, пережил много человек, вы уж его простите. Вот он сидит вечерами и пишет, нужно бы отдохнуть, а он пишет.

— А потому и пишу! — начиная уже горячиться, сказал Никодим Игнатьевич.— Как я сам много пережил и всякого зверья видел и все ихние законы знаю... Я и начальнику нашему Максиму Кузьмичу об этих делах рассказываю, как он интересуется. И написать хочу кому следует... Вот! Вот! — Никодим Игнатьевич достал с полки стопку обыкновенных ученических тетрадей, голубых, с таблицей умножения на обложке.— Как разные идолы, уркаганы, законами своими держат за горло потерявшихся вконец людей. Вот и пишу. Может, даже в самый Центральный Комитет напишу о том, что видел,— чтобы знали. Потому в коммунизм нам тоже с этаким добром ходу нет.

— Ладно, Дима, ладно! — решительно наконец перебила его Раюша.— Ну дай ты человеку отдохнуть. Иди-ка гуляй! Гуляй!

Резким движением Никодим Игнатьевич положил опять на полку пачку голубых тетрадей с таблицей умножения на обложке и вышел из комнаты на воздух покурить, успокоиться, а Раюша стала укладывать Нину Павловну спать. Но Нина Павловна долго не могла заснуть и все думала об этом суровом на вид человеке, бывшем преступнике, который пишет куда следует о том, как искоренить преступность. И тут ей неожиданно пришли на ум слова, вырвавшиеся у ее соседки по залу: «Вот она — Советская власть!»

18

Максим Кузьмич не собирался «втирать очки» или «пускать пыль» в глаза родителям, но, естественно, ему хотелось показать им все в полном блеске. И вдруг — окурки в тумбочке. И у кого? У командира отделения! В докладе при подведении итогов он подчеркнул, что девятое отделение отстает, и сразу после праздников вызвал его к себе в полном составе.

— Вы — десятый класс! Вы должны быть лицом колонии и ее гордостью, а вы?..

Начальник обвел взглядом нахохлившихся ребят, заполнивших кабинет.

— Сесть прямо! Смотреть в глаза! — скомандовал вдруг он тем непререкаемым тоном, которым умел говорить когда нужно, и, переглянувшись с каждой парой устремившихся на него глаз, продолжал: — Прошел по спальням — ваша спальня хуже всех. Салфетки на тумбочках грязные.

— В стирку не берут,— заметил Костанчи.

— Начальника не перебивают! — тем же непререкаемым тоном оборвал его Максим Кузьмич.— «Салфетки в стирку не берут». А песня? Встречаю отделение, а вы без песни идете. Почему? Погода плохая? Строй и песня должны быть в любую погоду. А вид?.. А ну встать!

Костанчи поднялся, переминаясь с ноги на ногу.

— Встать как положено! — Начальник осмотрел его взыскательным взглядом.— Почему верхние пуговицы не застегнуты? А то оправдания выискивает. Ты бы лучше

в тумбочку к себе заглянул. Общественник! Командир! Кирилл Петрович,— обратился он к сидевшему здесь же капитану Шукайло,— на ближайшем собрании отделения поставить отчет командира.

— Слушаюсь!..— привстал Кирилл Петрович.

— И вообще... Все отделение! На что это похоже? Зазнались! «Мы — десятый класс!» А вспомните, каким был у нас десятый класс в прошлом году! Две золотых медали, три серебряных! А вы потеряли требовательность к себе. Отставать начали и терять ориентир. Так вот: я мог бы вмешаться в вашу жизнь в приказном порядке, я имею на это все права и возможности. Но я не хочу этого. Я надеюсь, что вы сами сумеете взять правильный ориентир и продумать, как оздоровить обстановку. Сумеете?

— Сумеем! — нестройно раздались голоса.

— Не уверен! — все так же твердо и непререкаемо сказал начальник.

— Сумеем! — Голосов стало больше, но начальник опять повторил свое:

— Не уверен!

— Сумеем! — гаркнули все два с половиной десятка голосов, и только тогда начальник остался доволен.

— Вот это другое дело!

«Вот это другое дело!» — сказал про себя и Антон, когда они строем шли после этого к себе в отделение.

Для него как в сказке пролетели короткие, быстротечные дни, дни празднеств, торжеств и свидания с мамой. Оно как бы восстановило для Антона единство жизни — той, которая была раньше, до суда, и наступившей потом. Теперь суд стал эпизодом, тяжелым, страшным, но эпизодом в единой и непрерывной жизни. И связала эту жизнь, эти две разрозненные ее половины,— мама.

И потому так неприятно было Антону, что он опять огорчил маму. Кирилл Петрович ничего не скрыл от Нины Павловны — ни истории с запиской, ни опоздания на работу, ни других его, пусть мелких, провинностей. А Антону не хотелось обо всем вспоминать, особенно теперь, после такого счастливого путешествия в город и той решительной клятвы на коленях, что все будет хорошо — будет, будет, обязательно будет! И мама поверила, и все же поставила ему в счет все ошибки, и даже обвинила в том, что девятое отделение оказалось на предпоследнем месте.

Во всем, что сейчас происходило, он чувствовал что-то

действительно важное и необычайное: и вызов к начальнику, и разговор его, и тон, и покорное «слушаюсь» Кирилла Петровича, и поведение Костанчи, и конечный вывод — «поставить отчет командира!». Новым было и то, что, придя в спальню, ребята тут же зашумели, заговорили, заспорили, и Костанчи сразу же оказался совсем не таким грозным, как прежде, и даже стал оправдываться:

— А что тут — я виноват? Ну, окурки — ладно! Окурки мои! А разве мы за окурки баллы потеряли?

Стараясь сохранить авторитетный, «руководящий» тон, он пытался указать на провинность того, другого, третьего, но его прерывали вопросами: а почему ты это допустил? а почему ты то-то сделал и почему не сделал того-то и того?

На другой день на собрании Костанчи выступил с докладом, в меру умным и в меру хитрым: чтобы не сказать лишнего и никого не обидеть и отвести или смягчить предстоящие ему удары, он говорил и о своих ошибках и о плохой работе актива, но так, чтобы не восстановить против себя и актив. Антону доклад не понравился, особенно когда, выбравшись из чащи колючих вопросов, Костанчи заговорил чуть ли не вчерашними словами Максима Кузьмича:

— Пути для нас открыты, дорога широка и пряма. Так будем же образцом поведения для всей колонии, зачинателями всего хорошего. Это наша боевая, благородная задача, и мы обязаны ее выполнить.

Антон внимательно слушал доклад и в то же время присматривался к настроению ребят.

А ребята постепенно стали задавать вопросы, сначала осторожные, общие, затем более прямые и ехидные:

— А как ты смотришь на порядок в отделении?..

— И почему ничего не сказал о курении в спальне?

Это уже был прямой удар по Костанчи, потому что все знали, что в спальне позволяют себе курить только командир и его приближенные. Но Костанчи от прямого ответа увильнул: «А я не знаю, куда смотрит санитар»,— и этим сразу вызвал на себя шквальный огонь.

— «Куда смотрит санитар»?!— вскочил Вехов.— А почему я тебе говорю, а ты только рукой машешь: «Ладно!»

— А почему не все делают физзарядку?

— И вообще: к одним чересчур строг, а за другими ничего замечать не хочет.

— Любимчики!

Это — самый тяжелый упрек: любимчики!

— А почему ты в кровати по утрам залеживаешься? — спросил Дроздов, ответственный по спальне.— А почему белье выбираешь? Меняли постельное белье, и тебе не понравилась простыня — пятно на ней было. И ты перевертел их шесть штук, пока не выбрал самую белую. Тебе, значит, с пятном нельзя, а другому — ладно?

Это не менее тяжкий упрек — в несправедливости. И вдруг вскакивает Елкин и одним своим выкриком лишает этот упрек всей его силы:

— А как ты сам себе новое одеяло взял, что, можно?

Дроздов растерялся и сразу как-то очень заметно сник — он действительно, изловчившись, сумел заполучить себе новое, хорошее одеяло. Чтобы бороться с неправдой, нужно быть самому кристально чистым!

— Да что у нас, все плохо, что ли? — подал новую реплику Елкин, и Костанчи на него признательно глянул.

Кирилл Петрович насторожился. Он заметил взгляд Костанчи, напряженное лицо Славы Дунаева и его стиснутые зубы, — в ходе собрания в отделении намечались два лагеря.

— Дунаев, кажется, хочет что-то сказать,— проговорил он спокойно.

Дунаев встал, одернул гимнастерку и, повернувшись вполоборота к Елкину, сказал:

— Что у нас все плохо, никто не говорит. Но разве можно молчать о том, что плохо? И нечего тут замазывать и защищать командира.

— А ты не своди счеты! — выкрикнул из-за чьей-то спины Мурашов.

— Какие счеты? — повернувшись теперь к нему, спросил Дунаев.— Тебя еще в отделении не было, когда мы с Олегом дружить стали. Правильно? — Он перевел взгляд на Костанчи.— Я же и на командира его выдвигал, и никаких у меня счетов с ним нет. Я в другом виноват, что раньше о нем вопроса не ставил, думал — поймет, исправится. Нам не нужно, чтобы из командира царек вырастал!

— «Бугор», еще скажешь! — криво улыбнулся Костанчи.

— Нет, до бугра тебе далеко,— сказал Дунаев,— и бугром мы тебе не дадим сделаться, хоть ты и хочешь!

— Как «хочу», почему «хочу»? — вскипел Костанчи, но Дунаев тем же спокойным и твердым тоном ответил:

— А когда тебе лишнее масло в кашу льют, это что, по-твоему?

— Когда? Кто? — продолжал горячиться Костанчи, но Дунаев, не смутившись, остановил его движением руки, точь-в-точь как начальник, Максим Кузьмич.

— Ладно! Ребята скажут!.. И как оно у тебя пробкой в горле не застыло, это масло? Жрал чужой кусок, а командир!

Дунаев закончил выступление жестким, злым тоном и с искривленными от напряжения губами. Он сел, но тут же поднялся и добавил:

— А ты и дежурных так подбираешь: одни горб гнут, а другие — с тряпочкой да с ложечкой. Почему ты Шелестова назначаешь то по уборной, то по умывальной, то по кухне картошку чистить? А почему ты с ним, как товарищ с товарищем, не побеседовал ни разу, а покрикивать стал и даже постель за собой убирать заставлял,— это как, по-твоему?

— А чего ты варежку разеваешь, за своего дружка заступаешься? — закричал Сенька Венцель.— «Шелестов, Шелестов...» А сами в спальне лежат рядышком и порядок нарушают. По режиму спать положено, а они разговаривают. А командир замечание сделал — ссору затеяли, подчиняться не хотели, пока надзиратель не пришел. Что? Разве не было? Мы через это столько баллов потеряли!

— Их самих развести нужно. Кто их знает, может, у них группировка,— пробурчал из-за чужой спины Мурашов.

Возмущенный Дунаев снова поднялся было с места, но Кирилл Петрович остановил его.

— А почему Шелестов молчит? — спросил он, взглянув вдруг на Антона.

Но Шелестов от этого только смутился и вобрал голову в плечи.

19

Антон внимательно слушал все, что говорилось на собрании, и сопоставлял со своим не очень большим, но и не таким уж маленьким опытом. Он замечал и рань-

ше, что в отделении возникали какие-то нелады, но сначала он расценивал их как мелкие и случайные ссоры. А теперь он понял, что все здесь значительно сложнее.

Теперь Антону стало ясно, почему Костанчи хотел замять историю с запиской и многое другое. Вспомнил он и слова Елкина насчет посылки и «лапы», вспомнил и понял все, что говорил Дунаев: из Костанчи действительно мог получиться тот самый «бугор», о котором рассказывал когда-то Мишка Шевчук.

Постепенно выяснилось, что в отделении совсем не все гладко, и ребята разбились на два лагеря, между которыми завязалась перепалка. Вместе с мелкими упущениями и нарушениями, которые можно было бы выправить на ходу, постепенно обнаруживались явные злоупотребления. И когда они обнаружились, Антон видел, как помрачнело лицо Кирилла Петровича и как сам же он предложил снять Костанчи с поста командира. Это было неожиданностью для Антона потому, что с самого начала он слышал от многих ребят, что Костанчи — любимец Кирилла Петровича.

Антону тоже хотелось выступить, но у него не хватало решимости. А когда Кирилл Петрович предложил ему взять слово, он почему-то испугался. Зато позднее, ложась спать, Антон рассказал Славе Дунаеву и о Елкине, о «лапе», о посылке и поделился всеми своими мыслями и соображениями.

— А почему же ты на собрании молчал? — спросил Слава.

— Почему?.. Да сам не знаю почему... Думал, так надо.

— Что «надо»? В лапу давать? Заставлять других постель за себя убирать? Ребят притеснять? От работы отлынивать, а самому командовать только? Так, что ли, надо?

— Да нет — зачем? Я не говорю! — промямлил Антон.

— Как же не говоришь! — продолжал допрашивать его Дунаев.— Сам ты не знаешь, что говоришь. Надо — не надо... Говоришь, что не думаешь. Просто ты об отделении не болеешь — вот что! И в коллективе живешь и не в коллективе, будто тебе ничего не нужно. Как чужой!

— Какой же я чужой? — обиделся Антон.— Делаю все, что надо, а потом... Мне в конце концов самому жить нужно.

— Как это — «самому»? — переспросил Дунаев.

— Очень просто! — насупившись, ответил Антон.— Мне бы освободиться поскорей, а там...

— Что «там»?.. Там тебя опять такие же окружат, и ты по новой пойдешь?

— Это почему же я пойду? — возмутился Антон.

— А потому!.. Если ты характер не выработаешь, как же тебе на волю идти?

— А почему ж я не выработаю! Думаешь, я так и не работаю над собой?

— А если ты над собой только будешь работать, и смотреть только за собой, и бояться только за себя, а не за коллектив,— что у тебя выйдет? Ничего не выйдет! — сказал Дунаев.— Бывают такие, все делают как нужно, а жизнью не интересуются,— он живет, ему хорошо, а до других ему дела нет... и до коллектива ему дела нет. А вся жизнь в коллективе и в обществе — когда все спаяны и все дышат одним: помочь друг другу и поддержать друг друга... Ну ладно! Все равно не поймешь! Давай спать! — оборвал вдруг Дунаев, вспомнив, что он теперь командир и разговаривать после отбоя не полагается.

«Почему же я не пойму?» — хотел еще раз спросить Антон, но Дунаев отвернулся к стене и скоро заснул. А Антон долго еще размышлял. Обиды постепенно утихали, отступали, и на первый план выдвигались слова Дунаева: «Если характер не выработаешь, как же тебе на волю идти?»

Характер!.. Сколько раз он слышал это слово и от мамы, и от учителей, и от дяди Романа, и даже от Якова Борисовича.

Но разве у него не было характера? Когда они, «три мушкетера», решили досаждать новой школе и ее директору, «солдату в юбке», Елизавете Ивановне,— разве это не было проявлением характера? Когда он собрался в два счета и уехал в Ростов, к отцу,— разве этот поступок не был решительным? Когда оттолкнул Якова Борисовича, который старался удержать его... Нет, это, конечно, был не характер! Когда он оттолкнул склонившуюся на колени мать,— какой же это был характер?

Антон вспомнил Маринку и ее заветную папку с наклейкой «Слова и дела», вспомнил и фразу, которую она процитировала там из статьи в «Комсомольской правде»: «В борьбе с трудностями возникают решающие качества, которые порождают твердый и непреклонный характер».

Нет, это что-то совсем, совсем другое: твердый и непреклонный характер!

Воспоминание о Марине увело его мысли в сторону: почему она не ответила? Все-таки очень обидно! Антону написали все, от кого можно было и даже от кого нельзя было этого ждать: написала бабушка и обещала не помирать, пока не увидит Антона, написал дядя Роман и советовал, ухватившись за будущее, преодолеть настоящее.

«Ты не отчаивайся, верь! И не смейся над этим, как тогда в Москве. Без веры, брат, человеку жить нельзя, если по-настоящему жить. Он тогда расползается, как мыло в воде. А кто верит в будущее, в человека верит, в себя, в лучшее — тот все переломит и переделает. Я это сейчас по своему колхозу вижу. Да что колхоз!.. Осмотрись кругом и скажи по доброй совести: сильнее стала наша Россия? Краше? Краше стала, сильнее! А кто это сделал? Кто в войну победил и выстоял? Кто сейчас целинные земли переворачивает и хлеб родить заставляет? Кто Сибирь-матушку заселяет и обстраивает? Кто сделал, что к нам теперь разные народы учиться ездят? А? Те, кто не верит ни во что, или другие? Вот в том ваше и горе: вы не видите этих, других-то. А не видя их, вы не можете следовать им,— в этом ваше второе горе. А третье само получается!

Ты уж прости за эти напоминания, а я, как всегда, правду-матку режу, и тут тебе много пошуровать нужно, если хочешь человеком выйти».

Прислала письмо и учительница Прасковья Петровна, чего Антон совсем не ждал. Она тоже писала, что верит в его силы и в его будущее, и передавала привет от ребят. И только Марина вот не ответила ни слова. Конечно, она имеет на это полное право, и у него нет никаких оснований обижаться и чего-либо требовать от нее, а все-таки очень обидно: не ответила!

С этими мыслями Антон и заснул и видел во сне памятник Павлику Морозову, и луну, пробивающуюся сквозь ветви деревьев, и чьи-то родные, близкие глаза.

Приятный, хотя и чем-то грустный сон был прерван резкой и прозаически-требовательной командой:

— Подъем!

И тогда Антон заметил, как сразу же, не разрешив себе ни минуты понежиться, вскочил с кровати Слава Дунаев, как он быстро заправил постель, умылся, оделся и по команде физорга стал на зарядку. Все это он и раньше делал так же аккуратно и добросовестно, но теперь словно появилась в нем какая-то новая пружинка, придавшая ему еще больше упругости и сосредоточенности. Он выстроил отделение, перед тем как идти в столовую, и отрапортовал Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович поздоровался со своими «атлетами» и неторопливо негромко сказал:

— Ну так вот! Вот мы и пережили с вами очень серьезный кризис. И ваша есть доля вины в этом и моя. Я понадеялся на отделение и ошибся. Ну, как же мы теперь будем жить?

— Разрешите! — Дунаев сделал шаг вперед.— Мы выходим на старт. Я так понимаю. Но чтобы пробежать всю дистанцию, нужно сделать первый шаг. И пусть таким шагом будет для нас завоевание суточного вымпела.

— Но пусть за первым шагом последует второй и третий,— добавил Кирилл Петрович.— И пусть каждый сообразует с этим нашим общим шагом свой шаг, каждый свой шаг жизни. Победа коллектива решается в душе каждого.

— А не соберем себя — и вымпел и все проплывет мимо. Ясней ясного! — снова за всех сказал Слава Дунаев.

Так оно и вышло: один получил замечание за курение в школе, у другого оказались незашнурованными ботинки, третий обругал мастера,— и вымпел снова проплыл мимо.

— Вот тебе и первый шаг. Ать-два! — дурашливо улыбаясь, проговорил Сенька Венцель.

— А ты что? Обрадовался? — цыкнул на него Антон.

Медно-рыжий — за что на воле получил кличку «Червонец»,— пересмешник и зубоскал, Сенька всегда «валял дурака», задирал всех и все высмеивал, и невозможно было понять, когда он говорит всерьез, а когда шутит, Антон его и раньше недолюбливал, а когда узнал, что он на побегушках у Костанчи, то и совсем невзлюбил. И теперь... Отделение теряло баллы, отделение терпело неудачу — над чем же тут смеяться?

Сам Антон неудачи отделения воспринимал совсем по-другому: он начистил ботинки, проверил свой костюм, пуговицы, ногти — все, к чему можно было придраться при очередном осмотре, и вообще со всей горячностью новообращенного брался за любое поручение и старался выполнять его как можно лучше и добросовестней. Слова Дунаева о коллективе задели его, и теперь он только и думал о том, чтобы принести какую-то пользу коллективу.

«А что такое коллектив? Это — мы, ребята, мы сами! И если настоящей дружбы нет, какой тогда может быть коллектив? И чего тогда может добиться командир или актив? А если при воспитателе все вежливы между собой, а без него ругаются — какая это дружба? Не для воспитателя, Кирилла Петровича, не для начальника мы живем, а для самих себя. И с душою нужно все делать, а не так — для формы! Кирилл Петрович сказал однажды золотое слово: самосознание. И не молчать! А то бывает — простоят на линейке пятнадцать минут, будто по обязанности, и ничего не скажут, а если скажут, то тоже по обязанности, а не по долгу совести. Прежде всего — искра! Если искра есть у ребят, все пойдет на лад».

Так думал Антон и так говорил, вмешиваясь в споры, горячась и доказывая.

Он охотно брался за все, что ему поручали, и, когда на следующем собрании отделения его выбрали председателем библиотечной комиссии, он горячо взялся за работу.

Предшественник его, Мурашов, дело совсем запустил, и об этом много говорили на собрании: газеты подшивались неаккуратно, с пятого на десятое, не было учета читателей, не составлялись рекомендательные списки, не велась книга отзывов, не устраивались громкие читки. Антон проверил карточки читателей, и оказалось, что пятеро из его отделения вообще не берут книг в библиотеке. Он поговорил с заведующим и вместе с ним наметил, что нужно предпринять дальше.

Теперь Антона возмущал каждый, кто не думал о коллективе, кто не говорил о коллективе, кто не помогал или мешал коллективу. И больше всего его злил Сенька Венцель, его вечно растрепанный вид и манера огрызаться на каждое замечание. А Сенька заметил это и стал намеренно изводить Антона: как пройдет мимо, обязательно вытянется и «возьмет ногу»:

— Ать-два!

И наконец Сенька совсем вывел его из терпения. Дело было после обеда, когда вся колония выстроилась «на развод», чтобы идти в мастерские и на разные хозяйственные работы. И тогда обнаружилось, что Сеньки в строю нет.

— Где Венцель? — спросил Дунаев.

— Небось около кухни шьется,— ответил кто-то из ребят.— Ему все мало!

— А ну отыщи! — сказал Дунаев Антону.

Антон побежал к столовой и там действительно увидел Сеньку и страшно разозлился: отделение решило выбиваться на первые места, тут каждый балл дорог, а этот... Опоздает на работу — вот и слетело несколько баллов.

— Ты что ж, гад? Или работа тебя не касается? — крикнул Антон и сгоряча стукнул по спине пытавшегося увильнуть Сеньку.

И Сенька вдруг переменился: взгляд его стал злым, а лицо приобрело медно-красный оттенок.

— Ты что?.. Если ты новому командиру дружок, так и бить можешь?

...Антон легко мог отказаться, когда Сенька заявил о его выходке командиру. Но он не отказался, и ему пришлось стать перед строем и держать ответ.

— Я не знаю, как и получилось.

— Опять у тебя «получилось»? — спросил Дунаев.— И опять как сделал, так и получилось. Нечего тут оправдания искать! Предлагаю ходатайствовать перед руководством колонии о наложении на Шелестова административного взыскания.

Взыскание?.. Это за что же взыскание? За то, что помог Дунаеву, за то, что боролся за коллектив, за балл, за честь отделения? А что стукнул... Подумаешь! А если на такого типа ничего больше не действует?

И Антон обиделся на Дунаева, очень обиделся. А Слава, в свою очередь, был недоволен Антоном, и черная кошка вражды пробежала между ними.

20

Мишка Шевчук «ушел в камыши» — отсидеться, осмотреться и решить, как быть дальше. После неудачной выходки с зашитым ртом ему ничего другого и не оставалось. Когда он вернулся в отделение, ребята находились

на работе. Исполняя приказ начальника, воспитатель Суслин отвел его в мастерские, пошептался о чем-то с Никодимом Игнатьевичем, и тот, не обмолвившись ни словом, поставил Мишку к тискам. Мишка ходил в мастерскую и раньше, но работал кое-как, спустя рукава, смешил ребят своими подвижными ушами, а то и просто, придравшись к любому пустяку, отказывался что-либо делать — то ботинки худые, то рука болит, то живот. Теперь пришлось для вида смириться, молча взять в руки молоток и напильник и стать к тискам.

Ребята приняли Мишку спокойно, но по взглядам и улыбкам он видел, что они все знают и понимают. Сначала Мишка терпел, но когда после отбоя командир насмешливо провел по его лицу пятерней: «Все, Миша! Все!» — Мишка вскипел и со злостью оттолкнул его руку.

— И ничего не «все»! Я еще покажу!

В эту ночь Мишка долго не спал. Один за другим он взвешивал оставшиеся для него варианты жизни. Он не думал, правда, о том, чтобы работать как все — о такой возможности у него не было и помыслов. Зато мысли его усиленно рыскали по всем обходным путям, какие только были возможны в его положении. Уехать? — теперь об этом не могло быть речи: ехать отсюда можно было только после чего-то большого и настоящего, «с музыкой». Здесь жить?.. Как? Жить в приниженном состоянии, чтобы каждый мог ухмыляться, да насмехаться, да по лицу лапами проезжать,— так жить ему не позволяла гордость... А как?

На одну минуту Мишке пришел в голову совсем невероятный вариант — самому стать командиром, «ссадить» старого и занять его место. Но он тут же отбросил его: нет, «не пролезет», ничего не получится. А как дальше жить, Мишка не знал; что ему нужно было, он тоже как следует не знал.

И Мишка стал жить «по-хитрому», «ушел в камыши»: все выполнять, порядка не нарушать, в школу, в мастерскую ходить, на глаза воспитателю не попадаться. Воспитатель Суслин сказал даже на собрании, что Шевчук пошел на исправление. Вот тогда Мишка и попробовал заговорить с Антоном как бы нечаянно, в мастерской, во время перерыва.

— Ну, как житюга?

— А что? Жизнь как жизнь. Хорошая! — коротко ответил Антон.

— С командиром-то поругался?

— Как «поругался»? Когда?

— Ну-ну! Будто я не знаю!

— А что ты знаешь? Откуда знаешь?.. И чего ты лезешь не в свое дело?

— Ну, валяй, валяй! Я говорил: ты парень вихлястый. А мы держимся!

Антон резко повернулся к Мишке и смерил его глазами: он сразу вспомнил и арестантский вагон, и решетки на окнах, и дурацкие Мишкины бредни... А потом — как будто кинокартину пустили обратным ходом — вдруг замелькали страшные кадры прошедшей жизни: тюрьма, суд, Абрамцево, и разговор за дверью, на лестнице, и гнусная улыбка Вадика, и недобрый взгляд Генки Лызлова. Во взгляде Мишки, в его вопросе и во всем неожиданном и непонятном разговоре Антону почудилось что-то недоброе.

Антон долго не мог успокоиться: что нужно Шевчуку? «Ты парень вихлястый, а мы держимся». Кто это — мы? И почему он, Антон,— «вихлястый»? Да, он сильно напутал во всей своей прошлой, нескладной жизни, но теперь... Теперь хоть на четвереньках, а он будет ползти на берег, и никакой Мишка его больше не собьет. Нет! Теперь он твердо знает своих друзей и свою дорогу. И зря Мишка хочет сыграть на его маленькой размолвке с Дунаевым.

«Человек без друзей — что дерево без корней» — написано на большом плакате возле клуба. А с кем же здесь дружить, как не со Славиком?

И почему-то сразу исчезла у него обида на Славу, и вспоминалось только хорошее, что принесла дружба с ним: и вечерние разговоры после отбоя, когда они лежали, бывало, в постелях, голова к голове, и беседовали обо всем, обо всем, о чем даже вспоминать не хотелось. Но как не вспоминать и как не поделиться, если рядом с тобой человек, которого ты любишь и ценишь, и выделяешь среди других? И как не излить ему всю боль души?

— И вот я как в сказке: направо пойдешь — туда попадешь; налево пойдешь — сюда попадешь,— вслух размышлял Антон, подводя итоги.— И мог я пойти не сюда, а туда. Мог поехать в Абрамцево со своим классом, на экскурсию, а поехал... Мать оттолкнул, а поехал черт знает куда. А через неделю попал в то же Абрамцево, только не с классом, а с этой шпаной.

— Назад оглянешься, все, кажется, по-другому бы было,— так же тихо вторил ему Слава Дунаев.— Это я здесь за разум-то взялся и Кирилла Петровича за отца второго считаю, а там...

Дунаев выразительно покрутил головой и готов был, кажется, умолкнуть.

— Что там-то? — спросил Антон.

— А ты что, не знаешь? Завелся дружок, у него еще дружок и — пошло! Водка, деньги, девки! И на людей я смотрел не как на людей, и от жизни старался всего нахвататься, лишь бы попользоваться. А теперь... Знаешь, какие у меня теперь самые натуральные мысли?

— Какие?

— Воспитателем быть. Я все плохое видел и все хорошее и все понял и во всем разобрался, и теперь у меня самая главная цель в жизни — других воспитывать. Чтобы убить в них все зародыши подлых намерений.

Антон неоднократно замечал, что Дунаев что-то записывал на небольших листках бумаги, не сгибая, прятал в свою записную книжку. Один раз Антон спросил, что пишет Слава, но тот не то смутился, не то обиделся, а сейчас взял из-под подушки записную книжку, а позже подал Антону несколько листочков.

Антон прочел:

«Людей обычно судят по поступкам и осуждают, а если бы заглянуть в их души, они, может быть, были бы оправданы».

«Пройдя через ужас, начинаешь уметь распоряжаться жизнью и видеть ее красоту».

«Самое большое счастье на земле — это жить на свободе».

Вот какой это товарищ был и какая дружба: все общее — и мыло, и табак, и письма девушек. Да! И письма девушек! И хотя Антону хвалиться было нечем — Марина продолжала молчать, но зато он все рассказал о ней Дунаеву.

— И ты знаешь?.. Никаких нехороших мыслей у меня по отношению к ней не было,— говорил Антон.— Что мне тебе врать? Не было!.. Ну, как бы это выразиться?.. Да просто: Марина — и все!

— Ну, понятно! Понятно! — закивал в ответ Дунаев.— Честная, чистая!..

— И справедливая! — продолжал Антон.— И я гор-

дился ею, что она, такая, дружит со мной. И верил я не в себя, а в нее верил и... И теперь... Она мне и теперь вот как нужна!

— И ты адрес ее знаешь? — спросил Дунаев.

— А зачем тебе адрес?.. Да нет! Что ты! — понял вдруг Антон.— Разве это мыслимо? После того, что на улице было. Как она повернулась и как пошла. Мне бы догнать ее тогда!

— Не мог ты ее догнать! — сказал Дунаев.— Совести у тебя на это тогда не хватило бы. Я сам... Я с другой связался нарочно, чтобы ту, Светланку, забыть, а все равно... Она тоже вроде твоей. Я сначала их всех ненавидел, просто, знаешь, за падаль считал. Как попал к развратным девкам в руки, ну от них и на всех стал отвращение переносить. Дерзким старался быть. Нарочно! А как Светланку встретил — все! Эта — другая! Ну, ты понимаешь! Иные девчонки сами себя не ценят. Парень — что? На то парень! По себе знаю — с одной так, а с другой совсем по-другому, если гордая. Вот и Светланка такая! И она поняла бы! Если б я все рассказал — поняла бы! А я вот не рассказал! Бывало, накипит, накипит в душе,— напьюсь, приду к ней, а она говорит: «Ты ко мне такой не приходи, ты трезвый приходи». А трезвый я не могу! Совесть играла! И как я с ней говорить буду? С ней чистыми словами надо говорить!

— А пишет? — спросил Антон.

— Пишет. Хочешь, я тебе письмо покажу? Нет, ты прочитай. Прочитай и скажи.

Антон прочитал, и у него перехватило дыхание.

«Ты спрашиваешь: простила ли я тебя? Славик, родной, я не знаю! Я ведь видела, я ждала, что с тобой может что-то произойти, и если бы ты знал, сколько раз я хотела поговорить с тобой очень серьезно, но ты все отмалчивался, или отшучивался, или приходил пьяный, и я откладывала разговор, и все начиналось сначала. Как я виню себя в этом!

Иногда мне хотелось забыть тебя. Да, да! Забыть навсегда. И, поверь, у меня хватило бы сил и характера — ты знаешь. Но с тобой случилось несчастье и... Нет! Теперь я тебя никому не отдам! Ты самый хороший, ты самый добрый человек в мире!»

— Ну как? — голос Дунаева доносился откуда-то издалека, из тумана.

— Что «как»?

— Нет, ты скажи как друг: искренне она пишет или нет?

— Ты просто дурной! — словно очнувшись, с неожиданной злостью ответил ему Антон.

— Нет, ты понимаешь? — продолжал допытываться Дунаев.— Может, она из сознательности? Чтобы меня поддержать. Видишь: «Но с тобой произошло несчастье»... А если бы не произошло? Она такая девчонка — она на все пойдет!

— А ты что — не веришь? Ты что — не чувствуешь?

—Не знаю! — вздохнул Дунаев.— Мучает меня это!..

«Ну, чем это не дружба? — вспоминает теперь тот разговор Антон, и ему становится грустно.— Неужели я все разрушил? И неужели опять одиночество?.. И что я за человек? Сначала сделаю, а потом начинаю разбираться».

Одиночество!.. Это было страшнее всего: одиночество и молчание Марины.

Антон вспоминает письмо, которое давал ему читать Дунаев, и терзания Славы: «Мучает меня это!» Чудак! Ну и чудак! Да если бы он, Антон, получил такое письмо!

Но Марина молчала. Это становилось невыносимым — хочешь поставить крест, так ты и ставь, напиши: нам не по пути. Но просто отрезать, и замолчать, и вычеркнуть человека из памяти... Антон садится и пишет сам.

Потом перечитывает и рвет. Через два дня пишет снова и, как положено, сдает письмо Кириллу Петровичу для отправки. Но через полчаса он бежит к нему и, запыхавшись, просит вернуть обратно — передумал!

И опять ждет, ждет, каждый день ждет и каждый день — напрасно. Он с завистью смотрит на Костю Ермолина, который чуть не каждый день получает письма от девушки, из-за которой он попал в колонию. Он видит, как у него меняются при чтении глаза из грустных становятся теплыми и мечтательными. У Кости целая пачка писем, которые он никому не показывает, складывая в коробку из-под конфет.

Елкин — наоборот: носится с письмом, которое он получил от девушки. Все участники самодеятельности колонии недавно выезжали в город с концертом, был там и Елкин, познакомился с девушкой, студенткой педагогиче-

ского института, и завел с ней переписку и теперь хвастается.

Он вообще в последнее время снова увивается вокруг Антона. Лезет со своими секретами: как бы получить увольнительную в город и встретиться с новой знакомой. Но у него ничего не выходит — Кирилл Петрович в ответ на его просьбы укоризненно кивает головой:

— Заслужить нужно, Елкин! Заслужить!

Елкин ворчит и грозится сбежать.

— А что?.. Отсижу потом в трюме суток трое, и вся любовь! — говорит он Антону.— Зато повидаюсь.

А потом он лезет в карман и достает еще письмо, совсем другое, от другой девушки, и дает Антону, своему «кунаку», почитать.

«Здравствуй, Илья!

Сегодня получила твое письмо и даже удивилась. Неужели ты думаешь, что у меня нет ни самолюбия, ни гордости?

Ты спрашиваешь — осталось ли у меня что-нибудь от прошлого? Нет, Илья, ни капельки! Все перегорело и вспыхнуть снова не может, все невозвратно поздно: сердце заставить нельзя, у него свой закон — кого захочет, того и любит.

И я теперь совсем не та, какая была, которая верила всему, и все прощала, и смотрела на тебя как на бога.

Ты казался мне хорошим человеком, но ты свернул в сторону и понесся по течению и оказался плохим пловцом. А плохой пловец идет ко дну. И все получилось гадко — ты мне дарил цветы, но и они, оказывается, были ворованные. И мне обидно, что я поверила тогда и тебе и себе и свою первую, глупую любовь и свое первое девчоночье чувство отдала такому негодному человеку, как ты.

Поэтому лучше не надо, Илья, не пиши мне больше. Я тебе больше не могу верить, а друг, которому нет веры,— зачем он? Мне хочется такого друга, который верил бы мне и которому я бы доверяла все, мне хочется такого друга, который уважал бы меня и был искренним, честным и открытым человеком.

Вот и все!

А тебе желаю: шути любя, но не люби шутя.

И помни, что в жизни есть счастье, которое зависит от тебя. *Люба.*

Хотела написать коротко, а получился целый протокол».

Антон жалеет Любу с ее мечтой об искреннем и честном друге, особенно после того, как Елкин рассказал ее немудрую, наивную историю: еще совсем девочкой она привязалась к нему, носила ему какие-то яблочки, конфетки и позже, когда подросла, сохранила свою привязанность.

— Ребята, бывало, подсмеиваются: «Тебе Любка опять яблоки принесла!» — рассказывал Елкин.— Я смеюсь, а она краснеет. А потом, как подросли, гулять стали. Только надоело мне с ней в кино ходить по-пустому. И ребята говорят: «Что ты с ней возишься? Оттяни в сторону, и все!» Поехали мы Первого мая всей компанией в рощу, за рекой, ну я и оттянул. А она, знаешь... ударила меня по морде и бросилась в реку. Так прямо в платье и переплыла.

Такой гадостью повеяло от этого рассказа, от самого тона его и всех подробностей, на которые Елкин не скупился, что Антону стало не по себе.

— А зачем ты ей сейчас пишешь? — спросил он.

— Ну а как же! Все-таки! Чтобы девчонка была. А она — видишь? Друга ей надо! Лучше меня! Вот я ей написал. Знаю я, кто у нее в друзьях ходит. «Освобожусь и того, кто лучше меня, на фонаре повешу против твоего дома» — так и написал. По второму заходу будет легче, буду знать за что!

Очевидно, и действительно так написал, потому что скоро получил ответ и опять показал его Антону.

«Илья!

Как же тебе не совестно? Какую гадость ты пишешь! Как все грубо, цинично, даже читать противно!

И чем ты хвалишься? Что у тебя есть Люся, Клава и еще два десятка других. Ты что — задеть этим хочешь меня и тронуть мою душу? Глупости все это! Для хорошего мальчишки достаточно одной, а кто много раз влюбляется, тот по-настоящему не любит и не способен любить.

Так что оставлю тебя со всеми, которых ты за собой числишь. А мне достаточно одного.

Кстати, о нем, моем друге. Ты через кого-то узнал о нем и написал такие бандитские слова, что страшно даже.

Я сначала испугалась и хотела тебе написать, что никого у меня нет, никакого мальчишки, а потом рассказала ему, и он только посмеялся. Так знай, это — Игорь, с которым ты же и познакомил меня. Он шлет тебе привет и не обижается.

А от себя скажу: да, я дружу с ним и довольна этой дружбой, в ней я нашла все, о чем мечтала. Игорь — мальчик хороший, отзывчивый, не в пример многим другим, и менять его на тебя я не собираюсь и не хочу, чтобы ты был третьим лишним. И вспоминать я больше не хочу никакой прошлой грязи, когда на душе так прекрасно.

Еще раз прошу — не пиши мне больше. Все!

Л.»

Ну вот, Люба хоть отповедь дала, наотмашь, через плечо, крест-накрест! А неужели он, Антон, не заслуживает у Марины даже отповеди?

Мысли, мысли... Но с кем ими поделиться? С Ильей? А ну его к черту! Это поймет только Слава! Не нужно было ссориться с ним.

21

Может быть, и родилась у Антона грусть из-за такого непонятного молчания Марины, родилась и стала расти, незаметная, но неотвязная. И все у него шло как будто хорошо: в коллективе, после всех ошибок и волнений, он нашел, кажется, свое настоящее место, был доволен ребятами, и ребята были довольны им. Кирилла Петровича он полюбил и готов был, как и Дунаев, считать его вторым отцом.

В школе вторая четверть заканчивалась вполне благополучно. После памятного концерта педагогический институт принял над колонией шефство, и студенты стали там частыми гостями. Прикрепили в порядке шефства и к Антону одну студентку! И она ему очень помогла.

И в мастерской... Антон уже не отбивал себе рук молотком, научился работать и зубилом и напильником, и мастер его даже похвалил,— а на похвалу Никодим Игнатьевич был скуповат. За это время Антон усвоил все слесарные операции — и опиливание, и сверление, и клепку, и шабрение. Теперь он уже не просто переводит железо, а самостоятельно изготовляет полезные предметы — молоток, слесарный угольник. Правда, первые работы да-

вались трудно, даже такие простые, как гаечный ключ,— сказалось легкомыслие, с которым он отнесся в свое время к разметке и к другим элементам слесарного дела. Поэтому за изготовление ножовочного станка — сложного, состоящего из восьми деталей инструмента,— он взялся с большим опасением. Здесь пришлось применить все, чему он научился за последнее время.

Антон работал не спеша, но со всей тщательностью, и в результате Никодим Игнатьевич поместил его ножовочный станок на доску, где были выставлены лучшие работы воспитанников.

— Это твоя мамаша у меня на квартире-то стояла? — спросил он Антона.

— Моя.

— Ну как ты ее, радуешь?

— А как самому судить? — ответил Антон.— Не знаю.

— Ничего! У тебя дело идет! Ты только не останавливайся.

Дело у Антона действительно шло, а на душе все-таки было грустно. Кончается старый год, такой трудный, на всю жизнь памятный год, а как будет дальше?

...Вот Антон в перерыве стоит на лестничной площадке перед мастерской и смотрит в окно. Со второго этажа ему видно далеко вокруг — поверх стены, поверх караульных вышек с мерзнущими там вахтерами. Вот, почти рядом с колонией, колхозная птицеферма — сотни кур бродят вокруг, все белые, едва различимые на снегу. Вот на серой лошади колхозник везет к ферме бревна из леса. Вот прошла машина — это своя, из колонии. А дальше — поле, заваленное снегом, лес, за лесом где-то проходит железная дорога, и дымок паровоза возникает то здесь, то там, между вершинами деревьев. Это — дорога в Москву. Москва, мама, Маринка, вообще — жизнь! Жизнь и дальше за Москвою, кругом, везде, а они вот тут собраны и отгорожены от всей этой жизни стеною, потому что не сумели пользоваться тем, что им было дано от рождения. Больно, горько, нехорошо!..

И хотя в колонии совсем иначе, чем рисовалось когда-то с глупых Мишкиных слов, а все-таки... Все-таки: неволя. Сознание, что он не может уйти и что его никуда не пустят, и он должен, обязан жить здесь, за загородкой, вдали от людей и от всей кипящей кругом жизни,— это сознание давило и порождало чувство тяжелой, щемящей

тоски. Вот оно — наказание! Нет казематов с железными решетками, нет ни кнутов, ни пыток, ни издевательств, а наказание есть — лишение свободы, самое тяжелое для человека наказание, ибо человек рожден для свободы и без свободы он — не человек.

Тяжко!

Антон открывает окно и с жадностью вдыхает ворвавшийся морозный воздух.

— Что пригорюнился? — окликнул его, подойдя сзади, Кирилл Петрович.

— Нет! Ничего! — встрепенулся Антон.— Так! Засмотрелся!

— Засмотрелся и задумался. Да? — заметил Кирилл Петрович, положив руку ему на плечо.— О чем задумался-то? О девушке?

— Что вы, Кирилл Петрович! — вспыхнул Антон.— Какая девушка? У меня никого нет.

— Ну, а какой же ты парень после этого? — пошутил Кирилл Петрович.—О чем думаешь-то?

Антон помолчал, не зная, что сказать, и наконец спросил:

— Кирилл Петрович! А когда на пересуд можно подавать?

— Рано еще, Антон! Рано!

— Если б меня сейчас отпустили, я так бы работал! Так бы работал! — воскликнул Антон.— Чтобы стереть это пятно. Но ведь его не сотрешь? Да?

— Почему не сотрешь? — сказал Кирилл Петрович.— Все зависит от жизни.

— Я никогда этого не повторю! Какое бы положение, какие бы обстоятельства ни были — никогда!

— А тебе совсем не о том нужно думать. Я так понимаю тебя, Антон.— Кирилл Петрович попробовал повернуть Антона к себе лицом.— Можно ведь у людей не воровать, а себя обкрадывать. Согласен? На большом прицеле, Антон, нужно жить, тогда все мелкое отсеется само собой.

— Об этом мне и дядя Роман писал, — не то споря, не то соглашаясь, проговорил Антон.— А только и люди для этого большие нужны, особенные.

— Почему?.. А разве не цели формируют человека, не устремления? — возразил Кирилл Петрович.— Человек отдергивает руку от горячего самовара и выдерживает

длительную пытку огнем. Он даже готов сгореть в огне, как Джордано Бруно. Почему? Во имя цели!

Кирилл Петрович сел на подоконник, чтобы лучше видеть лицо Антона, обращенное все-таки туда, в даль, открывающуюся за окном. На нем бродили тени, неопределенные, смутные, и Кириллу Петровичу хотелось переломить ту неуверенность, которую чувствовал сейчас в Антоне, и зажечь его огнем веры и вдохновения, без которых жизнь пуста и бессмысленна.

Это он вывел, наблюдая многие и многие человеческие судьбы. Низменность целей — вот психологические источники ошибок.

Сам он из своей, тоже нелегкой жизни вынес другое. Семья у них была как семья: отец, мать, трое детей. Потом отца за что-то уволили с работы, скоро восстановили, но что-то сломалось в человеке, и он стал пить. И сын видел, с какой стойкостью, с какой даже гордостью переносила мать обрушившееся на нее несчастье. С детской и наивной решимостью он дал себе слово во всем помогать матери. И помогал: ходил за отцом, выводил его из пивнушек, поднимал из грязи, и это породило у него отвращение к водке и всяческому свинству. Потом отец умер, и сын, вынужденный бросить школу, пошел работать, чтобы помогать матери. Он работал, радуясь каждому рублю, который приносил в дом, каждой улыбке, которой отвечала ему мать. Трудности шлифовали его душу и порождали в ней не озлобление, а решимость и стремление к лучшему.

Вот почему с такой горячностью Кирилл Петрович говорил теперь об этом с Антоном — о вере в жизнь, о цели жизни, о силе и твердости.

— Ты считаешь, что только большие люди, особенные, могут так жить. Но вот ты строишь мост как простой каменщик или плотник, и разве это не благородная цель: чтобы мост держался и чтобы люди ездили по нему. Весь смысл в том, во имя чего ты это делаешь и что ты видишь в том, что делаешь? И счастье-то измеряется разной меркой. Созидать и потреблять, служить людям или использовать их себе на потребу. Два счастья! Вот что тебе нужно решать, Антон! Характер укреплять! Характер!

Перерыв в мастерской кончился, но Кирилл Петрович задержал Антона — слишком неожиданно завязался этот разговор, а неожиданный разговор — самый хороший. Но

и самый хороший разговор нужно кончать,— в мастерской уже стучат молотки и скрежещут напильники. Пора кончать!

Но нужно, обязательно нужно затронуть еще один важный вопрос.

— А что ты на Дунаева надулся? «Друг не тот, кто медом мажет, а кто правду скажет».

— Какую правду?.. Какую правду? — с неожиданной горячностью возразил Антон.— И никакой тут правды нет. Сам же он говорил, что нужно болеть за отделение. А почему я этого Венцеля стукнул? Ну, ошибся!

— Значит, что же: ошибся, и ладно? Нет, Антон! К ошибкам нужно относиться строго. Я не хочу тебе напоминать о прошлом. Ты сам о нем, по-моему, помнишь. И во всем виновата вот эта самая философия: нынче ошибся, завтра ошибся — ну и ладно! Нет, Антон! Теперь давай учиться жить без ошибок.

— А я хочу!— почти вдруг закричал Антон.— И вспоминать хочу, и понять хочу. Да. И понять! А когда начинаю понимать, то вижу: отчего я до всех этих дел дошел! Оттого, что не сопротивлялся. Я слабовольным был, я был как медуза и подчинялся всем — и Вадику, и Генке, и Крысе. Да чего там, я вел себя как самый последний трус. А трус что вор: вор обкрадывает других, а трус — самого себя... Вы думаете, я ничего не понимал? Понимал, а шел, не сопротивлялся. А злу сопротивляться нужно!

— Вот это ты правильно говоришь! — заметил Кирилл Петрович.— Это ты очень правильно говоришь.

— А тут я увидел это зло. Вы понимаете? Этакая противная, наглая рожа. А я?.. Что же, значит, опять терпеть? Да тут у меня, может, самый настоящий характер прорезался. Отпор дать! Вы понимаете? А Дунаев этого понять не хочет.

— Ну, какой же это характер на чужом горбу? — возразил ему Кирилл Петрович.— Характер, брат, прежде всего в том, чтобы собой владеть. Не помню кто, а кто-то сказал из великих людей: «Воевать с самим собой — труднейшая из войн; победить самого себя — труднейшая из побед». Вот это характер!

— Ну, а как же, если перед тобой этакая рожа? — не унимался Антон.— Разве стерпишь?

— А вот в том вся и тонкость, дорогой мой. Вся и тонкость. Кулаком-то легче всего орудовать. И Дунаев...

Я тебе по секрету скажу: Дунаев тоже сначала в колонию входить не хотел, тоже сопротивлялся всему, а когда взялся за ум, тоже попробовал кулаком пользоваться. Так я за него приказом начальника выговор получил. За него! Вот он и сам теперь ратует: колония без кулака! И правильно: насилие рождает насилие. Один ударил, другой ответил, третий смолчал и затаил злобу — какая это жизнь? Понятно?

— Понятно, Кирилл Петрович,— тихо проговорил Антон.

— Так что ты напрасно на Дунаева обиделся, он тебе правильно сказал: какая ж это дружба? Пойми: самое главное, основа основ — личность и коллектив, человек и общество. Сумеешь решить этот вопрос — все решишь. Тут — вся мораль! Не сумеешь — отсюда все ошибки! А Дунаев парень честный, справедливый, неподкупный, ты его держись!

— Да это я понимаю! — ответил Антон.

— Ну вот и хорошо! Выше голову, Антон! Выше! Силы приходят в борьбе. Все будет хорошо! Скоро Новый год, а с ним, может быть, и новое счастье.

Подготовка к Новому году шла полным ходом. От имени коллектива были посланы приглашения родителям на новогоднюю елку. В спальне вешали новые картины; клеили абажуры для лампочек; бумажные занавески на окнах сменились полотняными гардинами, которые прислала мама Кости Ермолина; готовили украшения для елки. Елку сначала хотели устроить общую, в новом клубе, но потом решили поставить елки в каждом отделении — так будет интимнее и уютнее, и теперь между отделениями шло настоящее состязание на лучшее оформление елки. А в самый канун праздника прошел слух, что приедет какой-то писатель, который не то пишет, не то собирается писать что-то о колонии. Приезд писателя всех очень заинтересовал: какой он? Конечно, в очках и, конечно, толстый, одетый по «блицмоде» и, вероятно, очень важный. Елкин даже изобразил, как он ходит, задрав нос и разворачиваясь на каждом шагу плечами на девяносто градусов.

Но писатель оказался не в очках и не толстый, а главное, совсем не такой важный. В сопровождении начальника он прошел по всем отделениям, разговаривал с ребятами просто и улыбался. Вечером в клубе, при подведении итогов соревнования, он сидел в президиуме, а потом про-

изнес речь; ребята ему долго и дружно аплодировали и, решив, что он «заводной мужик», после собрания окружили его и наперебой приглашали к себе на елку.

— Ладно, ребята! Ладно! Спасибо! — улыбался он.— Какое отделение? Второе? Обязательно буду! Пятое? Буду! Седьмое? У всех побываю. Даю слово.

Ждали его и в девятом отделении. Около елки был накрыт стол: конфеты, печенье, бутылки с ситро. Ребята пели песни, читали письма родителей, присланные в ответ на разосланные им приглашения и поздравления: от мамы Кости Ермолина, от отца и матери Елкина, написала письмо в числе других и Нина Павловна.

Во время чтения писем зашел писатель, но побыл недолго, поздравил с наступающим Новым годом, немного поговорил и ушел в следующее отделение. Зато пришел начальник Максим Кузьмич, выпил стакан ситро и пожелал ребятам успехов. Настроение у всех было хорошее, радостное, и Антон сначала тоже веселился и вместе со всеми пел песни. Но вдруг он вспомнил, как ровно год назад, на школьном новогоднем вечере, к нему подошла Марина и пригласила танцевать, и как они потом разговаривали, и как с этого началась их так неудачно закончившаяся дружба.

Антон вспомнил все так отчетливо, что тут же решил: будь что будет!

Он написал письмо.

«Здравствуй, Марина!

Поздравляю тебя с Новым годом!

Если ты помнишь прошлогодний вечер, вспомнишь и меня. Как много это, оказывается, времени — год!

Антон»

Через неделю был получен ответ.

«Антон, здравствуй!

Прошлогодний вечер я помню и помню все. Как обидно, что так получилось! Очень обидно. Но ты не унывай, Антон! У всякого человека могут быть в жизни ошибки. Вот ошибся и ты. Страшно ошибся! Но ведь это не значит, что у тебя не будет больше счастья в жизни. Будет, Антон! Обязательно будет! Это я говорю тебе, как твой большой друг!

Марина»

— Славик! Славик! Читай! Нет, ты читай! Я тебе разрешаю.

Забыто все — все мелкие и глупые обиды; друг есть друг, и в минуту радости о нем нельзя не вспомнить. Антон подает Славику конверт, и тот вместе с письмом вытаскивает из него еще какую-то бумажку, которую Антон не заметил.

— Что такое?

Антон наклоняется, и они вместе читают:

Помнишь, как Саша Матросов
Грудью свой полк заслонил?
Помнишь, как немец в морозы
Зою босую водил?

Помнишь, как мальчик Тюленин
Насмерть под пыткой стоял?
Дешево, Шелестов, дешево
Жизнь ты свою променял!

— А умная она у тебя! — говорит Слава.

Обескураженный Антон, немного подумав, тут же соглашается со Славой: конечно, умная! Как же? И тут же, в новом письме, он спрашивает: «Почему же ты не писала? Почему так долго не отвечала мне?», и Марина в ответ:

«Я не получала никакого письма. А то разве я бы не ответила?»

«Разве я бы не ответила?»

Какая ж это радость! Какая невозможная радость! Теперь — все! Теперь он в силах делать все! Теперь можно переворачивать горы!

И когда Кирилл Петрович выстроил третий отряд и сказал, что к ним, ребятам, страна обращается за помощью: на строительство комбината, развертывающееся в городе, прибыл большой состав леса и кирпича, и его нужно срочно разгрузить, а рабочих не хватает,— Антон первый тогда выкрикнул:

— Ну и что? О чем толковать, Кирилл Петрович! Пойдем и разгрузим!

— Так, что ли, атлеты? — спросил Кирилл Петрович, обводя всех глазами.

— Так! — гаркнули ребята.

— Только одевайтесь теплее. Мороз!

В морозную ночь они вышли, вскарабкались на машины, прижались друг к другу, спасаясь от поднявшегося на ходу ветра, и, приехав на станцию, высыпали, как горох, и тут же взялись за работу.

И звезды, точно капельки ртути, сверкают по всему небу, из конца в конец, и воздух — звонкий, ломкий, и гудки паровоза, раздающиеся с особой, необыкновенной резкостью, и дымы, поднимающиеся вверх и только там, вверху, распускающиеся широкими, развесистыми кронами!

А на морозе и работа кипит,— зимою, в холод, каждый молод! — все спешат, все уже думают о зоне за высокой стеной как о родном доме, и бревна весело прыгают одно через другое и ложатся одно на другое и, кажется, сами собой укладываются штабелями. А Кирилл Петрович появляется то у одного вагона, то у другого, там поддержит, там подтолкнет, и его бодрый голос на морозе тоже звучит сильней и слышится дальше.

— А ну, атлеты! Идет дело, идет!

Но когда справились с работой и перед тем как садиться в машину произвели проверку — трех воспитанников из отряда недосчитались.

«Неужели побег?» — пронеслось в голове у Антона.

— Греются где-нибудь. Умники! — как бы отвечая ему, сказал Кирилл Петрович.

Он выбрал несколько надежных ребят, в том числе и Антона,— пойти посмотреть на станции, в кубовой, в буфете. И в кубовой возле печки они увидели Мишку Шевчука, а с ним Елкина и еще одного парнишку из одиннадцатого отделения.

— А ты что, в бугры записался? — спросил Антона Мишка Шевчук.— То кулаками работал, а теперь, как собака-ищейка, рыщешь. Смотри! У тебя ум-то, видать, с дыркой. Не просчитайся!

— Ладно, ладно! Иди,— ответил Антон,— ребята-то ждут. Холодно!

Ребята действительно перемерзли, пока разыскивали пропавших «умников», и теперь набросились на них с упреками и руганью.

Антон был очень обрадован тем, что Кирилл Петрович оказал такое доверие ему, и был горд, что доверие оправдал. А что Мишка болтает насчет «бугров» — пусть болтает. Собака лает — ветер носит!

Происшествием на разгрузке занялись сразу как приехали. Хотя ребята и промерзли и мечтали о теплых постелях, но Кирилл Петрович выстроил опять весь отряд и перед общим строем поставил троицу «умников». Мишка стоял по форме, руки по швам, но всем своим видом старался показать, что ему на все в высшей степени наплевать, а раз попал в «пионерскую колонию», ничего не поделаешь — приходится тоже в игрушки играть.

У Елкина на лице было фальшиво-невинное выражение, за которым он мог спрятать любую свою проделку. «А что? Я ничего. Ну, оторвался на минутку, так ведь совсем на минутку. Мы уж как раз хотели идти, а тут он и появился, этот Шелестов». Так он примерно и говорил.

Третий молча разглядывал носки своих ботинок, явно не желая смотреть на ребят, требовавших от него ответа. Это был Афоня Камолов, присланный в колонию недавно, низкорослый и немного нескладный парень с приплюснутым зеленоватым лицом. Ему вынесли выговор. Долго говорили о Елкине. Ермолин предложил написать письмо его матери.

— Уже писали. Да что ему мама, когда он сам без пяти минут папа,— заметил Дунаев.

Но здесь он был неправ: на Елкина предложение Ермолина произвело самое неожиданное впечатление.

— Вы мне лучше морду набейте!— сказал он угрюмо.

Против предложения Ермолина высказался и Кирилл Петрович: он знал, что мать Ильи неизлечимо больна, и тревожить ее новыми заботами о сыне не считал возможным. Решили передать вопрос о поведении Елкина на обсуждение совета воспитанников.

С Мишкой Шевчуком не знали, что делать. Передать тоже в совет воспитанников? Просить руководство о наложении взыскания? А какое на него подействует взыскание, когда он их все перепробовал? Опять в изолятор?

— Вот о нем бы написать матери, да матери нет,— сказал воспитатель Суслин.

— Как «нет»?— спросил Антон.

— Нету у меня матери!— Мишка зло глянул на него.

— А ты мне в вагоне говорил...

— Ничего я тебе не говорил,— оборвал Антона Мишка.

— Подожди, подожди! Давай разберемся!— сказал Кирилл Петрович.

Выяснилось, что у Мишки Шевчука мать все-таки есть, и ей решили сообща написать письмо.

На другой день Мишка Шевчук, встретив Антона, спросил:

— Тебе что, жить не хочется?

— А чего ты грозишь? Что ты мне сделаешь?— возмутился Антон.

— Вот посмотришь! А то — «в вагоне»... Ты обо всем, что в вагоне говорили, забудь. Чтобы никто! Понял?

Нет, пока еще Антон ничего не понял, ему только было неприятно, что на его пути каким-то образом снова появился этот противный парень. Но слова Шевчука заставили Антона задуматься.

Дело, пожалуй, даже не в этой глупой угрозе: «Тебе что, жить не хочется?» Ну, что он сделает, этот пустой хвастун?.. Хотя нет, он, конечно, не хвастун — это не Елкин!— а все равно Антон его не боится!

Но столкновение с Шевчуком заставляло Антона упорно возвращаться к разговору в вагоне и вспоминать его во всех подробностях. «А если в зону затащат, что будешь делать?»— спросил тогда голос с верхней полки. «Убегу!»— ответил Мишка. «Ну и дурак! Куда ты убежишь? Зону держать нужно. Свяжись со своими, подбери и действуй». И что-то еще в этом роде, но это все чепуха, это не важно. Главное: Мишка грозился бежать. И Елкин... Он ведь тоже болтал о побеге, чтобы увидеться с девушкой из пединститута. Елкин, конечно, болтун, а впрочем, черт его знает, он шальной, и от него можно ждать все что угодно. И, может быть, они о чем-то сговаривались там, в кубовой?

Теперь Антон начал присматриваться и к Мишке и к Елкину, и тогда обнаружилось, что они продолжают встречаться — сойдутся, перебросятся несколькими словами и разойдутся. Когда Антон дежурил по кухне и нес из подвала картошку, то слышал в темноте знакомый хрипловатый голос Мишки: «Сходи в пятое...» Больше он ничего не разобрал и того, с кем говорил Мишка, тоже не узнал, но все, вместе взятое, ему показалось подозрительным. Хотя на одном из листочков у Славы и было написано, что «дружба как веревка — если порвешь, то никогда не свяжешь так, чтобы не было узла»,— никакого

«узла» в их отношениях не получилось. Наоборот, они сдружились еще больше, и когда Антон поделился своими наблюдениями с Дунаевым, тот прищурил глаз и почему-то шепотом спросил:

— А ты Кириллу Петровичу сказал? Может, они что-то готовят?

— Что готовят? — не понял Антон.

— Мало ли что! Шумок, кипеж. Они — дурные!.. Может, группа у них! Ты что, маленький! Или они нас за глотку возьмут, или мы должны!

И вдруг Антон понял! Вот теперь он понял все: что не побега Мишки нужно опасаться и не о побеге они сговаривались в кубовой, — зачем сговариваться, когда в ту ночь они могли просто уйти? — а совещались о чем-то другом. И теперь вагонный разговор вспомнился весь, целиком. «Свяжись со своими, подбери и действуй...» Неужели все это может быть — и баррикада из кроватей и что-то еще, чего нельзя было даже вообразить и что казалось пустыми выдумками Мишки!

А когда Антон опять поделился с Дунаевым, а потом они вместе рассказали обо всем Кириллу Петровичу, тот посмотрел в широко открытые глаза Антона и похлопал его по плечу.

— Не спеши, Антон! Не спеши!.. А в общем, спасибо! Молодец.

Но Антон не понял: Кирилл Петрович добродушно посмеялся над ним или уже что-то знает.

А вот Антон стоит опять на площадке перед мастерской и смотрит в окно. Это стало его любимым местом: отсюда виден мир. Он постепенно тонет в голубой дымке сумерек, и только заря над лесом горит своим холодным зимним пламенем. Воля!

И вдруг Антон видит, как от мастерской, по направлению к стене, отделяющей ее от жилой зоны, метнулась темная тень человека, раздетого, без шапки. Он подбежал к стене, подпрыгнул и, сделав какое-то движение рукой, побежал обратно. Все это происходило довольно далеко, и лица в сумерках Антон не рассмотрел. Но кто это? Зачем человеку ровно на одну секунду подбегать к стене, взмахнуть рукой и исчезнуть? Что это за взмах руки, словно бросок?.. Бросок? Да, он что-то швырнул через стену. Кончился перерыв, и под скрежет напильника Антон все время думал о том, что он увидел.

— Да что ты делаешь? Что делаешь? Смотри!— возмутился Никодим Игнатьевич.— У тебя же перекос получается. А ну возьми, измерь!.. Да тут и на глаз видно!

Антон измерил и, убедившись, что испортил деталь, расстроился.

— Что это ты как неживой нынче?— удивился Никодим Игнатьевич.— Работаешь, так работай, о посторонних делах думать нечего.

— А я, может, не о посторонних делах думаю!— вырвалось у Антона.

— О каких же таких не посторонних?— ворчливо спросил Никодим Игнатьевич.

И тогда Антон тихонько рассказал ему обо всем, что видел.

— Ну ладно, ладно! Работай!— сказал Никодим Игнатьевич. Но через пять минут он вызвал его в комнату для мастеров и дал пропуск на выход из мастерской.

— Иди к Кириллу Петровичу и доложи.

Антон побежал в отделение — Кирилла Петровича там не оказалось, оттуда в комнату воспитателей — она была заперта. Что делать? Где его искать? А время идет — скоро конец работы в мастерских, и тогда «тот» придет и поднимет то, что он бросил. Антон одно мгновение соображает и сразу принимает решение: нельзя терять время на розыски Кирилла Петровича, нужно действовать самому. Он бежит к тому месту, куда, по его расчетам, упал таинственный предмет, и быстро его находит: на деревянной ручке — заточенный железный штырь. Пика! Он поднимает находку и бежит, чтобы скорее сдать ее Кириллу Петровичу. Но потом соображает: а зачем? Разве дело здесь в пике? В человеке здесь дело, а не в пике! Кто бросил? Он придет на то место, поищет, не найдет и завтра изготовит другую пику и тогда поступит как-нибудь хитрее. Нужно взять человека!

Антон бежит обратно, кладет на место злополучную пику и оглядывается: где можно спрятаться? Вот выступ стены. Вот навес с какими-то ящиками. Не долго думая, Антон прячется за ящики. Он смотрит и слушает, боясь пропустить хотя бы один звук. Вот ребята пошли из мастерской, вот так же, с песнями, направились в столовую, на ужин,— Антон сидит и ждет, и ему становится уже холодно, но еще хуже холодок сомнений, который заползает в душу: а ну-ка его заметили и никто уже сюда не

придет за этой пикой и Антон зря здесь мерзнет. Но он решил: все равно! Он будет сидеть здесь хоть до самой ночи!

И все же чуть не упустил то, ради чего ждал. Он не заметил, как человек оказался рядом — может быть, прокрался вдоль стены? Антон увидел его, когда тот, нагнувшись, шарил по земле руками. И тогда одним скачком Антон прыгнул ему на спину и сбил с ног. Человек упал, но тут же вывернулся и ткнул Антона кулаком в подбородок. Антон лязгнул зубами, но, почувствовав, что противник старается подняться, схватил его за ногу и снова повалил. Тут он рассмотрел: это был тот самый Камолов, который отсиживался с Мишкой в кубовой.

— Ну что ты сделаешь? Что ты сделаешь? — сказал Антон.— Ты все равно никуда не уйдешь!

— Ну и ты не уйдешь, сука! — прохрипел Камолов, снова пытаясь вырваться и подмять Антона под себя.

...Не дождавшись Антона, мастер забеспокоился и после работы пошел к воспитателю, и вот они вместе решили искать Антона. Нашли они его в самый разгар борьбы с Камоловым и обоих привели к майору Лагутину. Пику они с трудом отыскали в снегу.

Но майор Лагутин был занят. Начальник в это время уехал в Москву, на совещание, и майор оставался вместо него.

Высокий и худой, с небольшими остренькими глазками, он казался прямой противоположностью Максиму Кузьмичу — был немногословен и суховат. Они дополняли друг друга и хорошо друг друга понимали. Максим Кузьмич был иногда добр, иногда резковат и, поддаваясь настроению, принимал иногда смелые, а иной раз и рискованные решения. Майор Лагутин был последователен и строг, может быть, немного педантичен, но педантичностью своей дополнял размах начальника.

Сейчас он беседовал с писателем Шанским, который, поселившись у Никодима Игнатьевича, целые дни проводил в колонии и постепенно становился там своим человеком. Пытаясь проникнуть во все тайны и тонкости так заинтересовавшего его учреждения, он старался разобраться во всем сам и сопоставить с тем, что слышал и от майора Лагутина и от начальника. Широта и педантичность, доверие и настороженность, любовь к человеку

и строгость — что это: разные направления или две колеи одного и того же пути?

Во время разговора к майору Лагутину и заглянул Кирилл Петрович, но, заметив писателя, замялся.

— Я к вам, Василий Васильевич.

Майор Лагутин тоже взглянул на писателя и недовольно ответил:

— Ну, что за срочность? Видите, я занят.

Кирилл Петрович опять помялся, но то, с чем он пришел, действительно не терпело никаких отлагательств.

— Может быть, я мешаю?— спросил писатель и сделал движение, как бы собираясь встать.

— Да нет, нет! Пожалуйста!— ответил Василий Васильевич.

Майор Лагутин понял: произошло что-то очень важное, и он, конечно, не хотел, чтобы об этом говорили при постороннем человеке, каким он считал писателя. А тот тоже все понял.

— «Ну зто дудки! — сказал он сам себе.— Вы меня отсюда никакими силами не выкурите!»

И не выкурили — пришлось говорить при нем.

23

Может быть, Мишка Шевчук так и засиделся бы в своих «камышах», если бы не появился у него новый дружок, Афанасий Камолов. Он вошел в колонию незаметно и на приеме в кабинете у начальника больше отмалчивался, глядя на носки своих рыжих ботинок, а когда Максим Кузьмич приказал ему поднять глаза, он глянул холодно и жестко. («Этот убьет и не поморщится»,— сказал про него потом майор Лагутин.)

Когда Камолова привели в одиннадцатое отделение — к Мишке, он чувствовал себя совершенно свободно. Мишка приметил его с первого же дня и быстро сошелся с ним. Сначала у них произошел короткий, мимолетный разговор, в котором они, однако, хорошо поняли друг друга,— оба считали себя «ворами», оба ненавидели актив и порядок. Потом они во время самоподготовки встретились за углом школы, но как следует обсудить все тоже не смогли — поблизости кто-то прошел, и, всегда настороженные и подозрительные, они сразу же разбежались. Но в основном они договорились держаться друг друга.

А тем временем у Мишки завязывались связи с Олегом Костанчи из девятого отделения. Началось это после того, как Костанчи сняли с поста командира отделения и поставили в общий строй. А не каждый ведь может легко перенести такой удар. С трудом перенес его и Костанчи. Словно соли в рану подсыпал ему еще Мишка:

— Что? Выперли?

— А тебе что? — огрызнулся Костанчи.

— А мне что? Выперли тебя, а не меня.

И опять обидное слово — выперли! Как будто бы очень просто: не переизбрали, ну сняли, выбрали другого — нет, «выперли»! А главное — кто? почему? И вот все рухнуло, и — становись в общий строй и пой песни. А разве легко брать тряпку и лезть под кровать или выносить грязную воду из-под умывальника? Разве не попирается здесь извечный, кажется, закон тщеславия — быть первым любой ценою, только первым. Поэтому в школе в свое время, не дотянув до первого ученика, Костанчи стал первым безобразником и организовал СБ — союз блатных. Поэтому в делах, к которым привела его наклонная дорожка СБ, он тоже оказался первым, и первым же ему мечталось быть и здесь, в колонии. Сначала на его пути стоял Дзюба, который тогда был командиром отделения: он был у ребят авторитетом, который нельзя было поколебать. Но Дзюба явно шел к освобождению, и после него... Кому же после него быть командиром, как не Костанчи? Отсюда — вся его тактика, активность, исполнительность и речи. И вот — все рухнуло! Ну как в пылу озлобления устоять перед насмешкой Мишки, потом — перед его намеками, перед россказнями о «веселой пятнице» и, наконец, перед сумбурными, но в то же время такими головокружительными планами. Была не была — зато можно отвести душу и показать себя.

Так «стакнулись» сначала трое, потом Костанчи привлек своего верного дружка Сеньку Венцеля и — с большими, правда, сомнениями — Илью Елкина, а Мишка высмотрел у себя еще одного, туповатого и грубоватого, вечно недовольного всем паренька. И образовалась группа. Это было мало — «шесть рыл», как говорил Мишка, стараясь сохранить тюремную терминологию, залог своей верности «преступному миру». А главное, это был всего один отряд — нужно было установить связи с другими, со всеми отрядами, чтобы в случае чего «подняться» всем.

Мишка пробовал и это, но дело подвигалось туго — лишь кое-где были у него на примете один-два человека, с которыми еще нужно встретиться и поговорить.

И вот Мишка разводит в кружке воды кусок мыла и выпивает, у него открывается жесточайший понос, и он ложится в санчасть. Сенька Венцель тогда обегает другие отделения, отыскивает «своих» и сообщает им приказ: «Кантуйтесь на больничку». И вот у врача прибавилось работы: у одного раскраснелись и загноились глаза, у другого поднялась температура, третий не дает дотронуться до ноги — не может ходить.

Так Мишка постепенно натягивал ниточки. Правда, в санчасть как-то приходил майор Лагутин, обошел всех больных, и Мишку вскоре выписали из санчасти, но кое-что сделать он успел.

И вот в колонии стали происходить непонятные события.

То в первом отделении, в печке, в золе, дежурный обнаружил «заточку», заостренный кусок полосового железа, и передал воспитателю. Все попытки установить, как он туда попал, ничего не принесли.

Потом в мастерской пропал молоток. Искали, искали — нет молотка!

— Да ладно! Найдется!— проговорил кто-то.

— Как так — найдется?— строго сказал Никодим Игнатьевич.— Найти нужно, тогда и найдется! Никуда не пойдете, пока молоток не будет лежать на столе.

Стали искать, и нашли молоток в самом невероятном месте — под лестницей, в каком-то хламе.

— Этот?

— Этот. Как он туда попал?

Никто не мог объяснить — все как будто работали, все были на месте. Никто не лазил под лестницу и в перерыв.

Неудачи Мишку только злили — приходилось прятаться не только от «чекистов», как звал он воспитателей, но и от ребят, на которых нельзя было понадеяться и положиться. Но это заставляло только еще больше хитрить и изворачиваться, а вместо молотка Мишка вынес из мастерской заточенный ромбовый напильник.

И вдруг Сенька Венцель прибежал к нему с неожиданной новостью: попался Афоня Камолов и сидит в изоляторе.

Что он? Как он? Устоит или «расколется», выдаст? И как он попался? Опять этот «студент»? Ну ладно, рожа подлая! Будет знать, что значит Мишка Карапет!

Тысячи вопросов завертелись в голове у Мишки: его могут в любую минуту прийти и взять — как быть? Сдаваться или сдвигать кровати к двери и отбиваться чем попало? Но никто за ним не приходил. Значит, Камолов не выдал. Но не выдал сейчас, может выдать завтра — там его сумеют согнуть. Значит, нужно спешить. И начальника пока нет, в Москву, говорят, уехал: нужно спешить! А со «студентом» что делать? С ним в первую очередь рассчитаться нужно!

Шевчук советуется с Костанчи, но что значит один Костанчи? Нужно поднимать всех.

И Мишка пишет записку, пишет печатными буквами, на всякий случай, если перехватят, чтобы не узнали по почерку!

«Привет ворам!

Жизнь наша совсем стала фуфлыжная, и всякая шушера над нами верх взяла, хватают и бросают в трюм, и некуда вору податься. Общественности нужно руки отбить и поставить свои порядки.

Смерть активу, привет ворам!»

24

Когда Шанский ехал в колонию, он больше всего боялся парада и фальши, опасаясь, что ему обязательно будут показывать одно хорошее и рассказывать тоже о самом хорошем и героическом. А ему хотелось знать буднично-обыкновенное. Не потому, что он отрицал героическое или пренебрегал им, а потому, что считал героику высшим выражением деловых будней. А люди хотят показать и похвалиться. Может быть, даже в этом нет ничего плохого. Но нужно прорваться, нужно обязательно прорваться через этот барьер показа и понять сущность. Лучше всего, если тебя не знают и ты можешь быть наблюдателем. Но ведь сохранить инкогнито почти невозможно. И потом — всегда ли при этом выявляется сущность? Тогда нужно войти в жизнь, в дело и заставить забыть о себе и из исследователя превратиться в деятеля, в участника жизни, и тогда сущность вышелушивается, как зерно ореха.

И тогда раскрывается новое, а в старом обнажаются невидимые до тех пор дополнительные грани.

Сколько недель и месяцев мучил Шанского неотвязный вопрос: в чем дело? Откуда у нас, в нашем действительно новом, действительно высоком обществе,— откуда у нас преступления? Шанский проверяет это на одной, другой, пятой, десятой судьбе, он узнает все новые и новые обстоятельства, новые и новые стороны жизни. Ребята были сыты, одеты, обуты и все-таки...

Колхоз. Как будто бы хороший: выполняет планы, принимает обязательства, борется, строится. А люди? Молодежь? Для председателя она — рабочая сила. А на самом деле это — люди, молодые люди, которым хочется и попеть, и поплясать, и повеселиться. А плясать можно под гармошку, а гармошка есть только у какого-нибудь Ваньки, а тот задирает нос, ему каждый раз нужно кланяться, а то и платить.

Поссорились с Ванькой: «А чего ему кланяться? Мы колхозники! Что мы, не можем купить свою гармошку, колхозную? Купим!» Пошли к председателю. А у того уборочная: «Есть мне время вашей чепухой заниматься!» Отказал, да еще и выругал. И вот нашлись дурные головы и решили продать воз каких-то отходов и на эти деньги купить гармошку. Воры? Воры. Нужно судить? Нужно судить. А председателя?

Обязательно ли должно было совершиться это преступление? Разве забота о людях, об их жизненных, даже житейских нуждах, интересах и потребностях не является закономерностью нашей жизни? И разве не может не вызывать протеста нарушение этих святых закономерностей?

И разве не нужно, с другой стороны, искать границ того, что дано председателю колхоза в руки народом: власти? Разве власть не есть лишь форма служения народу?

Хозяйственный руководитель забывает, что он в то же время есть и политический руководитель и обязан предвидеть все. И получается вот что.

Пятнадцатилетним пареньком Слава Дунаев пришел из ремесленного училища на строительство. Поместили его в общежитие, и там в первые же дни у него украли костюм и деньги. А до получки еще две недели, их както нужно прожить. Парень идет к начальнику, просит

аванс — двадцать пять рублей. И, конечно, отказ. Ну как же, финансовая дисциплина! Порядок! И стоит ли брать на себя лишнюю ответственность из-за какого-то мальчишки. Ничего, подождет!

А у мальчишки сверкнули глаза и дрогнули губы.

«Так что же мне? Воровать идти?» — «Дело хозяйское».

На другой день к парню подошли ребята, может быть, те самые, которые украли у него костюм.

«Пойдем с нами. Постоишь и, если нужно, свистнешь».

— Пошел, со зла пошел! Не пришлось и свистнуть, получил сто рублей. Я честно говорю вам. Как писателю,— закончил Слава свой взволнованный рассказ.— Я и забунтовал. Мне все нипочем стало. Ребята позвали второй раз — пошел. Позвали третий раз — пошел. Выпить позвали — пошел. Еще на что-нибудь позвали бы — тоже пошел бы. Трын-трава!.. Мне только совесть нужно было убить!

Слава перевел дух, он совсем не похож был сейчас на обычного, уравновешенного Дунаева и вдруг на минуту предстал перед Шанским таким, каким, по рассказам Кирилла Петровича, пришел когда-то в колонию: все бюрократы, правды нет, справедливости нет! Дунаев, взяв себя в руки, добавил:

— Ну ничего! За срок, который мне дали, я не состарюсь. А тот человек, который осложнил мне жизнь, так просто не будет оставлен в покое. Выйду на волю, найду его и обязательно свяжу концы, которые он оборвал.

— ...которые он оборвал,— медленно, в раздумье повторил Шанский.— А ты?

— Что «я»? — не понял Дунаев.

— А ты разве не оборвал?.. Как же так можно? Со зла пошел! Куда пошел! На что пошел? Против людей пошел. Против совести человеческой пошел. Из-за чего? Из-за того, что тебя обидели... Ты думаешь?

Шанский пристально смотрел в лицо Дунаеву и видел, как менялось оно и как вместо запальчивости и возбуждения на нем появляется осмысленность и стыд.

— Да нет, это я понимаю. Что я ошибся, это я понимаю. Я должен был удержать себя, это конечно! И из-за всякого сундука становиться правонарушителем... Ну... Да просто глупо! Но где же правда?

— А чтобы бороться за правду, нужно быть самому кристально чистым,— заметил Шанский.

— Это верно!— снова разгораясь, сказал Слава.— Не за то мой отец на фронте погиб, чтобы его сын вором стал. Это я понял! И что я не удержал себя — никогда я себе этого не прощу. Но и начальнику тому тоже не прощу и не забуду,— чтобы больше не портил и не губил людей. А я за молодежь зубами грызться буду.

Так неожиданно перед писателем Шанским открылась важнейшая и, пожалуй, решающая сторона так глубоко тревожившего его вопроса. Обстоятельства и человек. Обстоятельства могут поднимать человека, укреплять его достоинство и веру в себя и во все лучшее в мире, но они также могут и принижать его и обескрыливать — и все это зависит от нас, от общества, от людей, живущих и действующих и создающих обстоятельства. Но человек, со своей стороны, может ломать и менять эти обстоятельства и становиться над ними и «удерживать себя» — может и должен, если он человек.

И вообще Шанский никак не думал, что здесь, за кирпичной стеною, за железом обитою калиткой может быть такая сложная и интересная жизнь. Ему теперь даже странно было, что об этой жизни так мало знают и что стены как бы отгораживают ее от всего мира, от человеческого общества. А как же можно воспитывать без общества? Как можно решать вопросы без общества?

И чем больше вникал он в жизнь колонии, тем больше видел здесь хороших и душевных людей, связанных единым помыслом. Нет, он не хотел идеализировать их и в то же время не мог не чувствовать того, что связывало в единое целое и Никодима Игнатьевича, у которого жил на квартире, и Кирилла Петровича, и, конечно, прежде всего огневого Максима Кузьмича, начальника колонии.

В разговорах с ним Шанского привлекало то, чего он не чувствовал, например, в майоре Лагутине,— страсть, и напористость, и размах мысли. Беседуя о делах колонии, Максим Кузьмич ссылается то на разные жизненные факты и случаи, то на статью Маркса о нарушителях лесных правил, то на «Мертвый дом» Достоевского и поездку Чехова на Сахалин.

— Тогда нужно было только изолировать зло, чтобы не мешало, а нам нужно победить его. Чтобы не было!

Чтобы его совсем не было в жизни! И чтобы из русского языка исчезло слово «вор».

— А можно зло победить? — спрашивает Шанский.— Я читал об этом американскую книгу. Там есть глава: «Перевоспитание — опасный миф».

— Чепуха! Чушь! — нетерпеливо прерывает его Максим Кузьмич.— Это, конечно, совсем нелегко, и мы многое делаем далеко не так, как нужно, — ощупью, наука нам не помогает. И сами мы... И к науке тоже не всегда тянемся и — чего греха таить? — не всегда делаем что нужно бы, на замок больше полагаемся, ведь это легче, чем в душах-то копаться. Проще!.. Но отказываться вообще, объявлять перевоспитание мифом... Как же так? Это значит заранее признавать себя побежденным. Признавать силу зла, вечность зла... Не согласен!

Максим Кузьмич берет томик Чехова и читает:

— «Люди, живущие в тюремной общей камере, — это не община, не артель, налагающая на своих членов обязанности, а шайка, освобождающая их от всяких обязанностей». Или вот еще: «Стадная, сарайная жизнь с ее грубыми развлечениями, с неизбежным воздействием дурных на хороших, как это давно признано, действует на нравственность преступника самым растлевающим образом».

— Ну!.. Сарайная жизнь — это старо. Примитив! — говорит Шанский.— А хотите механизированную тюрьму? Подождите, у меня, кажется, это с собой, — он роется в своих записных книжках.— Ага! Вот оно! Это из той же книги об американской тюремной системе. Хотите?

— Что за вопрос? Конечно! — отвечает Максим Кузьмич, нетерпеливо подвигаясь поближе.

— «Центр тюрьмы — большое круглое помещение из стали и бетона, огромный и пустой, покрытый бетоном двор. В центре его вышка, уходящая под самую крышу. Заключенные поднимаются по лестнице, начинающейся прямо от ворот, их тяжелые башмаки стучат по железным ступеням. Если смотреть снизу, то можно видеть, как они поднимаются зигзагами все выше и выше и, разделяясь на цепочки, идут по бетонированным галереям, направляясь к своим камерам, их голубые униформы вяло движутся на фоне решеток, на второй галерее они идут по часовой стрелке, на третьей — против, на самой верхней — опять по часовой, как большое колесо прялки,

сделанное из людей. Подойдя к своей камере, каждый входит внутрь и закрывает дверь. И вот последний человек проходит через ворота, и ворота запираются с тяжелым звоном. Они все в своих камерах, и теперь охранник в башне нажимает несколько рычагов, и двери камер закрыты, охранники проходят по всем галереям, закрывая вторые замки на дверях каждой камеры с помощью ключа; затем раздаются четыре звонка, и два охранника поднимаются на верхнюю галерею, чтобы произвести вечернюю проверку».

— Страшно! — тихо говорит Максим Кузьмич. — Колесо прялки, сделанное из людей... Это страшно! — повторяет он и вдруг решительно трясет головой. — Нет!.. О человеке мы не забываем!

— Но строгий режим и у нас есть? — замечает Шанский.

— А без него разве можно?.. Но о человеке мы никогда не забываем! Пусть он завален грудой житейского пепла по самую маковку, но сдуй его, и под ним обязательно обнаружится искра человеческой совести. Даже у самых отъявленных и заскорузлых... Уверяю! И коллектив! У нас коллектив! — говорит Максим Кузьмич, и рука, энергично сжатая в кулак, показала, что такое коллектив. — И мы возлагаем на него обязанности. А он, коллектив, возлагает обязанности на каждого, кто в него входит. И в коллективе люди сближаются, а не отталкиваются. Мы ищем хороших и заставляем их влиять на дурных. Вот вы сами увидите!

Да, Шанский видел. И то, что видел, он сравнивал с тем, что читал, и с тем, что слыхал, и, отсеивая поверхностное и внешнее, старался проникнуть в сущность и химию жизни. А главным в творящейся здесь химии жизни была борьба между добром и злом. Побеждает добро — это очевидно, ясно. Но как? Так ли легко и просто, или здесь совершаются сложные реакции?

По многим намекам и догадкам Шанский чувствовал, что в колонии далеко не все так благополучно, как кажется с первого взгляда, и что-то происходит подспудно, но что — не мог понять.

Вот почему он ухватился теперь за то, что ему посчастливилось узнать, будучи у майора Лагутина. «Мне факта одного мало, мне нужно все, что вокруг факта», — говорил он сам себе, намечая план дальнейшей работы.

Он обо всем расспросил Антона, о всех подробностях, как он стоял и что видел, что думал и что почувствовал, как он сидел в засаде и как задержал «нарушителя». Его поразило в этом мальчике какое-то — как бы это сказать?— исступление честности. На вопрос Шанского — понимал ли он опасность, которой подвергался?— Антон, встрепенувшись, ответил:

— А что значит опасность? А как же можно?.. Да я готов... Знаете? Приставь мне нож к горлу — я не отступлю.

Потом Шанский вместе с майором Лагутиным пошел в штрафной изолятор к Камолову. Сначала он не очень верил майору: сквозь видимую деловитость и энергию он чувствовал в нем еле уловимый холодок. Но логика разговора и поведение Камолова скоро убедили Шанского, что Лагутин прав: Камолов упорствует и что-то скрывает. Но от этого интерес его разгорелся еще больше: что он скрывает и почему упорствует?

— Так когда же Шевчук давал тебе это задание?— спросил между тем майор Лагутин.

— Какой Шевчук?— глянул на него исподлобья Камолов.— Ничего мне Шевчук не поручал, я сам.

— А зачем?

— Так.

Камолов сидел на голых нарах и упрямо смотрел на голую каменную стену.

— Что это за Шевчук?— спросил писатель, когда они вышли из изолятора.

— Да есть у нас такой... Исподтишка мешки рвет,— не очень охотно ответил майор Лагутин.— Организатор всех неустойчивых, от него, по-моему, вся гниль идет.

— Ну и что же вы с ним думаете делать?

— Пока живет. Ходит у нас как под кисейной занавеской, а в руки не дается. Хитрая устрица.

— Ну как же после такой рекомендации не познакомиться с этой «хитрой устрицей»!

Шанский подбирался к Шевчуку то с одной стороны, то с другой и везде натыкался на «рога», которые выставляла перед собой эта «хитрая устрица»; иногда Мишка явно не хотел говорить, иногда так же явно лгал, а иногда совершенно открыто издевался. У писателя назревало тогда раздражение, поднимала голос обыкновенная человеческая чистоплотность, но он, превозмогая все, еще

настойчивее продолжал допытываться. И тогда раскрылась главная пружина Мишкиных злоключений — стремление к «независимости». В школе ему мешали учителя, дисциплина, уроки, на улице — милиционеры с их правилами уличного движения, а дома — бесконечные «морали» матери, которая зудила его, «как муха-жужжалка». И когда ему все это вконец осточертело, он ушел из дома и решил ездить по разным городам в поисках независимости, самостоятельности и свободы, «чтобы жить по-своему». И тогда на Приморском бульваре, в Одессе, ночью нашел его на лавочке Федька Чума, оплел его своими нитями, и привязал к себе, и повел от «дела» к «делу».

— И много «дел» было?— спросил писатель.

— Сижу по одному.

— А по какому?

И тогда Мишка, нехотя, с ужимками и увертками, рассказал о той ночи, когда они с Федькой Чумой и еще с двумя «хлопцами» ограбили магазин. И то, что Мишка не сразу признался, что им пришлось при этом «убрать» сторожа, а когда сказал, то сначала метнулся глазами в сторону, а потом вдруг подпял их в отчаянной, невыносимой дерзости, многое объяснило Шанскому.

— Подожди, брат! Давай отдохнем!— сказал Шанский, вставая из-за стола.

Он прошелся по комнате, расстегнул верхнюю пуговицу воротничка и стал смотреть в окно.

Продолжать ли? Можно ли разговаривать с этой гадиной, всюду несущей гниль? Нужно ли? Кому и зачем это надобно?

Но разве избегала когда-нибудь литература темы злодейства? Ведь избегать — значит оставлять ее в неприкосновенности.

Вспомнилось и признание, почти исповедь, крик души, вырвавшийся однажды у Кирилла Петровича при случайном разговоре в темном коридоре.

«Вы знаете, какие преступления бывают?— говорил он своим глухим, с придыханиями голосом.— Жестокие, почти до садизма. Да и без всякого «почти»! А посмотришь на него — мальчонка как мальчонка. Теленок! Вот и пойми! Влезь к нему в душу! А для меня он воспитанник! Я должен из него человека сделать, и выпустить его человеком, и ответить за него перед обществом. И я должен к нему человеческое чувство иметь».

Шанский сделал еще раз усилие над собой и, отойдя от окна, снова заговорил с Мишкой.

— Ну и что же ты в этом магазине сотворил?

— А я в магазине не был,— сказал Мишка.— Я милиционера отвлекал. Там недалеко пост милицейский был, ну я и завел разговор: где тут такой-то переулок, как пройти, ну, как полагается.

— Так, значит, ты... Убил-то кто же?

— Федька. Он рисковый.

«Значит, не Мишка...— с облегчением подумал писатель.— Невольный участник вроде... Дай бог памяти! Кто еще рассказывал ему подобную историю? Антон Шелестов. Да, да, Антон Шелестов! А какая разница в оценках и в переживании случившегося! Там — дрожь в голосе и исступленный блеск в глазах: «Пусть не я это сделал, но все равно я чувствую... Я кровь на себе чувствую». Здесь — дерзость, но тоже исступленная, совсем дикая дерзость».

25

Вечер. Точно льдины в большой ледоход, по темному небу плывут густые облака, и среди них ныряет тоненький рогатый месяц. Несколько дней стояла оттепель — было туманно, сыро, слякотно, и сквозь снег кое-где уже проглядывала земля. Сейчас все подмерзло, подсохло и звонкий ледок похрустывал под ногами.

Писатель Шанский слушает этот чистый и радостный хруст, рождающий в душе неясные и очень далекие воспоминания детства. Он вышел погулять, проветриться и отвлечься от дневных впечатлений. Но впечатления не дают покоя и рождают новые вопросы. Как понять Мишку? Кто он? Что он? И можно ли его понять? И можно ли его исправить?

Об этом только что был разговор с майором Лагутиным, и тот рассказал обо всех «художествах» Мишки. «Законченный преступник», «насквозь прогнивший тип, нафаршированный воровской идеологией», «неисправимый»...

Шанский слушал все это и соглашался: да, как будто бы неисправимый! И в то же время это почему-то не укладывалось в голове.

— Неужели это начисто перечеркнутая душа?.. И почему он строит из себя этакого?.. Во имя чего?

— От страха.

— Как от страха?— не понял Шанский.

— Очень просто,— глаза майора смотрели холодно и трезво, словно никаких вопросов для него здесь не существовало.— Срок у Мишки большой, до восемнадцати лет ему осталось три месяца, а там — колония для взрослых и взрослые воры со всеми их законами и требованиями.

— Но неужели они и там имеют силу?— удивился Шанский.

— Как работа поставлена, а то и имеют,— пожал плечами майор.— Но молву об этом они распространяют усиленно. Вот Мишка и рассчитывает: ему нужно будет «оправдаться» перед ними — как жил в колонии, да еще в такой «активной», как они говорят,— «пионерской» колонии? Не состоял ли в активе? Не изменил ли воровскому делу? А это они тоже внушают: вход в блатной мир стоит рубль, а выход — жизни. Он и боится. И хочет себя показать: я вот, мол, какой, меня не «согнули», я сделал то-то, то-то и то-то. Воду мутил! Зону держал! «Веселая пятница»!.. Вот он и старается. Одним словом, пошел вниз.

— Вы говорите это точно о стрелке барометра: «идет к дождю».

Майор Лагутин снисходительно улыбнулся.

— Вы новичок и, простите меня, смотрите со стороны.

— Я иду со стороны, но хочу проникнуть вглубь,— отпарировал Шанский.— А некоторые наоборот...

— Понятно! Ваши намеки мне понятны,— все с той же улыбочкой ответил Лагутин.— Мне одно непонятно: зачем вам нужна эта «глубь»? Писать? Но неужели вы думаете, что кому-то интересно копаться в переживаниях всякой сволочи?.. Ну хорошо, я, может быть, не то слово сказал,— поправился он, заметив нетерпеливое движение Шанского.— Но кому это нужно? Зачем? Ну, нам еще понятно — по должности...

— Но вы забыли, что у меня тоже есть должность,— возразил Шанский.— Должность гражданина.

— И все равно вы не постигнете всей «глуби». А постигнете — ужаснетесь. Вы не знаете, на что они способны,

вы не представляете всех их хитростей, и уловок, и подлости. А у нас на плечах пятьсот человек, и когда точат оружие... Вы понимаете, для чего точат оружие? И вы знаете, во что могут обойтись разные поиски и излишнее мягкосердечие?.. Кара должна быть! Кара и строгость!

Может быть, может быть... До сих пор Шанского занимал вопрос: где и когда происходит «излом»? Как человек решается поднять руку против общества? Теперь вопрос уходил глубже: как и когда начинается «неисправимость» и «законченность»? Есть ли она и почему вместо «довоспитания» получается «девоспитание», как очень метко выразился один читатель в письме, полученном недавно Шанским.

Что это — упорство зла или недостаток добра и человеческого внимания?

И опять новая цепь вопросов: строгость, внимание... Ведь внимание — это не обязательно мягкость. Внимание — это внимание, это изучение, познание, понимание, это пристальный взгляд и объективная оценка. И в результате всего этого в одном случае может возникнуть доверие и мягкость, в другом, наоборот,— ее большая, но обоснованная требовательность и суровость.

«Нет, я не за мягкотелость! — говорил себе Шанский, мысленно продолжая спор с майором Лагутиным.— Я за суровость, но против жестокости, за наказание, но не за мстительность, за гнев, но против обывательской злобности и равнодушия. Я за вдумчивость!»

Плывут облака, и среди них, как челн, ныряет узкогрудый месяц, уже низко-низко, у самого горизонта. В сгущающейся темноте своим ярким, но неживым, холодным светом горят прожекторы, освещающие каменные стены колонии, и теплятся огни поселка, в котором живут ее сотрудники. По абажурам, по занавескам, по цветам на окнах Шанский знает уже, кто где живет и как живет — воспитатели, учителя, мастера, производственники. Вот звякает на вахте железная задвижка — и раз, и два, и три,— идут люди. Это значит, что кончился рабочий день, воспитатели один за другим расходятся по домам: десять часов, отбой. Вот показалась и высокая фигура Кирилла Петровича: он сейчас придет домой, и вот в том окне, за палисадничком, зажжется лампа с густо-оранжевым, почти красным абажуром и будет долго гореть, потому что по вечерам Кирилл Петрович

работает — готовится к предстоящим экзаменам в институте. Но вот он замечает писателя и идет ему навстречу, и опять завязывается разговор.

— А как по-вашему,— спрашивает Шанский,— есть у Мишки святая святых?

— Должна быть! — неопределенно отвечает Кирилл Петрович.

— Что значит — должна быть?

— А то, что легче увидеть вора в человеке, чем наоборот — заметить человека в воре.

— Но нужно?

— Нужно. Докопаться нужно.

— А давайте попробуем: великолепнейший, возвышенный вор, перед которым Мишка преклоняется, идеал или убежище? Или щит и крепкая броня, за которую пытается спрятаться растерянное Мишкино существо? Отсюда — все, отсюда — как подходить к Мишке, на что нацеливаться и во что бить. Потому что если это броня, ее нужно сломать, а если идеал...

— То развенчать! — подсказал Кирилл Петрович.— «А король-то голый!» У нас об этом давно споры идут: преследование может вызвать как раз обратное, довести до фанатизма, до подвижничества во имя идеи, пусть глупой, дурацкой, преступной, но идеи. Тут вы очень правы. Но весь вопрос: как разоблачить этот идеал? Кто это должен сделать?

— Как кто? Вы! Вы — воспитатели и должны найти слова.

— А может быть, вы? — улыбнулся Кирилл Петрович.— Уж ежели нужны слова, тогда вам и карты в руки. Но он и вам не поверит.

«Да, не поверит! — думает Шанский, снова оставшись один.— Нужно, чтобы Мишка сам увидел изнанку преступного мира, чтобы его покоробило, вызвало протест, возмущение, гнев, отвращение. Но как это сделать?»

Шанский идет домой к Никодиму Игнатьевичу, и там его ждет самовар, приветливая хозяйка и разговорчивый хозяин. Из вечера в вечер выслушивает Шанский историю его жизни, узнает много интересного.

В рассказах Никодима Игнатьевича проходит множество биографий, десятки случаев, когда люди по легкомыслию или в силу сложных и трудных обстоятельств попадали в различные ловушки, совершали ошибки и оп-

лошности, становились преступниками часто против своей воли и желания, а потом, побившись, как мухи, в оплетавшей их паутине воровских предрассудков, обессиленные, теряли себя, опускались на дно и сами становились носителями преступности, «рысями», «волками» или мелкой воровской швалью; другие отбивались, выбивались из этой зловещей коловерти и через страдания, через большие усилия, шаг за шагом, упорно и настойчиво выкарабкивались снова на правильную человеческую дорогу; третьи объявлялись преступниками, не совершая преступлений, но не имея возможности преодолеть сложившиеся ситуации и опровергнуть выдвинутые против них обвинения, они плакали, ходатайствовали или, смирясь, уходили в себя и терпеливо ждали конца «срока»; четвертые могли и не быть преступниками, но стали ими силою обстоятельств, из-за холодной жестокости и равнодушия людей, которые могли поддержать, но не поддержали, имея сердце, застудили его, имея власть, злоупотребили ею или пренебрегли, и себя и свой покой поставили над делом, которому должны были служить, над долгом, который должны были выполнить и не выполнили,— у таких назревала злоба, неверие и нежелание видеть свет жизни; пятые спотыкались, падали и снова вставали и, получив поддержку в коллективе, в чутком, не забывшем своего долга воспитателе, боролись за право быть человеком и добивались его. И так шестые, седьмые, десятые — трудные судьбы, трудные души, которые не перестают от этого быть человеческими душами. Опять все то же: обстоятельства и человек.

Никодим Игнатьевич рассказывает все это горячо и обстоятельно, явно довольный, что у него нашелся наконец терпеливый и заинтересованный слушатель, и переводит потом разговор на «подрастающий люд», который нужно вовремя поддержать, направить и выправить. Шанский много раз видел его на работе, и всегда Никодим Игнатьевич в обращении с ребятами бывал строг, требователен, немного даже суров, а здесь он говорит о них мягко, тепло, то с усмешечкой, то с грустью.

— Им ведь не только профессиональное, им и человеческое нужно, душевное. Ведь что ни парень, то человек, да еще молодой, желторотый, да еще дорожка его загнулась не в ту сторону. А ему по этой дорожке-то шагать еще да шагать, и что ему повидать придется на ней — уму

непостижимо, и каких он дел может наворочать и сколько работы наработать. А тут вдруг — раз, и готово! И сломалась, испортилась жизнь. А ведь это жизнь, не что-нибудь! Другой-то ее не будет!

— А вы Шевчука знаете? — спросил Шанский.

— А как же? Есть такой чудило-мученик.

— Что вы о нем скажете?

— А что о нем сказать? Сначала пришел — на всех как зверь смотрит. Думает, что все ему зла желают, ну и сам злостью себя накачивает. И на работе: руки болят, спина болит. Ну я на это ноль внимания. Я с тебя, говорю, сниму стружку. А он этак плечом: а на кой мне ваша работа нужна — вором был, вором и останусь.

— Ну и как, по-вашему? Останется?

— Да как это можно сказать? Может, и останется, если поворота не сделает.

— Да ведь не делает?

— Тугой парень! Тугой! — подтвердил Никодим Игнатьевич.— Оно хоть всяко случается: бывает, лед тает и, бывает, ломается. Вот я вам говорил про старика, который тридцать лет по тюрьмам провел, у меня еще его записки есть.

— Да, да! — оживился писатель.— Я обязательно почитаю. Обязательно! Я пока все хватаю, хватаю — вы понимаете? — живые судьбы, горячие!

— Это правильно! — согласился Никодим Игнатьевич.— Да ведь старик тоже живой человек, не мертвый. И в нем тоже — извините меня, конечно,— для вашего дела интерес есть.

— О?.. Ну, давайте! — решил сразу Шанский.— Чтобы не откладывать больше, сейчас и давайте.

И вот у него в руках толстая тетрадка в переплете, оклеенная белой, уже замасленной теперь бумагой.

К первой странице приколота фотография старика, изможденного, с полусумасшедшими, страшными глазами.

Это — Струнин Иван Алексеевич, как значится в приложенной справке, он же Гельман, он же Донин, он же Воронов и так далее, и он же, по кличке, Иван Зеба. Дальше идет жизнь. Точно из затхлого, гнилого подвала пахнуло на писателя: от суда до суда, из тюрьмы в тюрьму. Сколько удали, лихости, бахвальства в молодости и какое полнейшее «ничто» в конце жизни. И, наконец, полное разложение личности: чифирь, люминал, морфий — нар-

котики, тринадцать лет дурмана и полное истощение сил.

Вот он лежит на больничной койке, и к нему приходят люди, садятся возле и говорят:

«— Хочешь еще быть человеком — пойди навстречу нам, нашим усилиям, делай так, как тебе велят!

Я не понимаю, как они могли без отвращения вести со мною эти беседы, вдалбливая мне крупицы здоровой морали. Кто я? И какую пользу я могу принести государству, когда моя душа и тело прогнили насквозь, а сам я похожу на тень смерти?

Я злился и на себя и на них, что они не дают мне умереть, и я отвечал самой бесстыдной дерзостью на их благородство и усилия. А они приходили опять, и тогда у меня появлялись другие мысли: что это за люди и из какого материала они сделаны? Ну если бы они меня истязали — так нет же! Сядут возле койки и сидят и говорят такие слова, которые сами лезут в душу. Я устану, закрою глаза, открою — а они сидят!

И вот на их усилия моя тлеющая душа отозвалась совестью человека. Получилось это сразу, от страха. Очнувшись, я увидел на соседней койке знакомого как будто человека. Как будто!.. Да нет, это он, бывший дружок с гордой кличкой «Директор»! Вытекший глаз и шрам на правой скуле.

— Ты Зебу помнишь?

— Нет, не помню,— отвечает тот, глядя перед собой пустыми, выцветшими глазами.

А ведь по одному делу шли. Ничто! Вся жизнь — ничто! И он, Директор, как покойник, живой мертвец.

— Эй! Кто там есть? Уберите шприц! Долой все пилюли! Ha! Ha! Ha!

Я разметал постель, раскидал все в палате и ждал, что сейчас кто-то придет на мой зов. Но никто не пришел, и мне стало страшно: я стал всем противен и никому не нужен, меня все забросили. Я сидел на полу и горько плакал. И вдруг вошла сестра.

— Сестрица! Милая! Помоги мне встать. Я теперь не хочу умирать! Я жить хочу!

Так я бросил последний вызов судьбе.

Если бы кто знал, какие муки переживал мой отравленный наркотиками организм, как тяжело мне давалась каждая, даже самая маленькая победа, но я шел шаг за

шагом и от победы к победе. А когда иссякали силы, терялся разум и слабела воля и когда казалось, что я не выдержу, ко мне приходили мои друзья, майор Карпов и капитан Голубков, и говорили:

— Держись, Струнин! Держись! И ты обязательно победишь!

И я победил! В душевных терзаниях и пытках, которые невозможно описать, после ста двадцати мучительных дней и ночей, без курева, порою без пищи,— я победил!

Но слишком поздно пришло ко мне это счастье: моя жизнь подходит к концу, а растоптал я ее собственными ногами.

Я временами жил широко, имел много денег, но деньги эти так же быстро уходили, как и приходили,— я их пропивал и прогуливал, стараясь залить горящую совесть, и оказывался самым бедным человеком на свете: сердце мое ныло всегда и стонало, и у меня не было завтрашнего дня. Я опять шел воровать, но обворовывал я совесть и свое счастье — работать, вести спокойную жизнь честного человека, видеть теплый взгляд жены и радоваться шалостям своих детишек. Кто возвратит мне растраченное мною?

Друзья мои! Граждане и люди! Особенно вы — дети, молодежь! Мне стыдно за свое прошлое, и мне хоть немного хочется облегчить свою грешную душу и оттереть ту грязь, которой вымазался, кувыркаясь в преступном болоте. Если раньше я мечтал украсть миллион, то теперь мечтаю о еще большем — стать человеком. И я им буду. И пусть моя несостоятельная, погибшая жизнь будет уроком, показывающим всю мерзость так называемой «воровской идеи». Пусть подумают об этом, кто еще корчит из себя убежденных уродов! И пусть подумают об этом, кого влечет еще «жиганщина», кто смотрит на воров как на героев. Оглянитесь и одумайтесь! Будьте такими, какими родила вас мать, будьте здоровыми людьми нашего общества и строителями коммунизма, идите в рядах со всеми вместе».

Вот оно! То саморазоблачение, то саморазвенчание вора, о котором говорил Кирилл Петрович,— вот оно!

— Никодим Игнатьевич! Дорогой! Так это же замечательно! Но как добиться, чтобы Мишка Шевчук прочитал эту исповедь — как сделать?

На другой же день Шанский рассказывает о записках

Зебы Кириллу Петровичу, и они вместе находят форму: Никодиму Игнатьевичу потребовалось что-то отнести из мастерской на дом, и он просит об этом Мишку. Дома ждет самовар и разговоры, и в разговорах Никодим Игнатьевич достает тетрадь в белом переплете и дает Мишке. Мишка сначала отказывается, кидает подозрительные, недобрые взгляды, потом начинает читать, и чем дальше, тем внимательнее и напряженнее.

А Шанский из-за газетного листа следил за игрой чувств на нервном, подвижном Мишкином лице. Вот появился интерес, почти восхищение — это Мишка читает о похождениях Ивана Зебы. Вот у него дрогнули брови: это он дошел до разговора на больничной койке:

«— Ты Зебу помнишь?

— Нет, не помню...»

А вот он явно волнуется — придет к Зебе кто-нибудь или не придет, и вот мелькнула радость — вошла сестра. Мишка поверил, кажется, даже поверил в майора Карпова и капитана Голубкова. Но вот наступил какой-то момент, и игра чувств на его лице прекратилась, оно охладело, застыло, и в конце концов на нем появилось выражение отчужденности.

— Вранье! — решил Мишка, небрежно отодвинув тетрадку.

— Почему вранье? — не выдержав, спросил Шанский.

— Взываю да призываю. Агитирует! — с тем же пренебрежением ответил Мишка.— В трюм загнали и заставили написать. Там все напишешь, если душка́ маловато. И думает — тут уши развесили.

26

Разбираясь в настроениях девятого отделения, Кирилл Петрович не мог подавить в себе тревожного ощущения. Правда, по сути, у него ничего не произошло, никаких особых катастроф и аварий, и после вмешательства начальника положение даже заметно улучшилось. Но в том и была задача: не допускать ни аварий, ни катастроф; в том и заключалось искусство работы в колонии — предчувствовать и снимать назревающие противоречия и конфликты. А положа руку на сердце, капитан Шукайло начинал понимать, что он в свое время чего-то недосмот-

рел и где-то недоглядел, а с чем-то, может быть, и примирился.

В прошлом году у него командиром отделения был Леша Дзюба, немного горячий, но именно своей горячностью державший отделение, как он любил говорить, «в струнке». Он кончил школу с золотой медалью, и вскоре после этого его освободили. Командиром вместо него стал Костанчи. Летом под его руководством отделение хорошо поработало на колхозных полях, на уборке, на молотьбе, как-то сплотилось и окрепло. Костанчи с большим рвением боролся за честь отделения и в повседневной жизни. Немного суховатый, жестковатый и замкнутый, он любил порядок, дрался за каждый балл и вообще показал себя заинтересованным, энергичным командиром. А с осени что-то разладилось — и новое пополнение пришло, из прежних ребят вдруг кое-кто разболтался, и сам командир «дал трещину». Это было особенно неприятно. Давнишний воспитанник колонии, Костанчи не легко «дался» Кириллу Петровичу. При приеме он отказывался «подниматься в зону», долго не хотел входить в актив, и с ним много пришлось поработать. Шукайло считал, что именно благодаря его стараниям Костанчи переменился, начал активно выступать на собраниях, на линейках, подружился с хорошими ребятами, и Кирилл Петрович счел возможным назначить Костанчи командиром отделения. А потом вдруг... нельзя, впрочем, сказать, что все получилось «вдруг»: Кирилл Петрович замечал за ним то одно, то другое, но надеялся его выправить и удержать — он считал, что перед ним глыба, которую нужно обтесывать и обтесывать, но из которой что-то все-таки может выйти. Поэтому и после вмешательства начальника Кириллу Петровичу хотелось оставить его командиром.

— А я и не настаиваю на том, чтобы его снимать,— сказал тогда Максим Кузьмич.— Но с ним нужно поработать и показать, что он — не все. А главное — актив! Командир без актива — ничто! Больше того, это — опасность!

То, что вскрыто было на общем собрании отделения, подтвердило эту опасность, и Кирилл Петрович сам предложил тогда заменить командира отделения. Но вот прошло время, и на глазах у него Костанчи стал вянуть и из энергичного, уверенного в себе парня превратился в задумчивого любителя уединения. В чем дело? Кирилл

Петрович пробовал с ним говорить — отмалчивается, пробовал давать поручения — выполняет, а сам отводит глаза. Обратили внимание на поведение Костанчи и ребята, даже говорили на собрании, но разве все можно решить на собрании? Кирилл Петрович посоветовался с Антоном и Дунаевым и просил их побеседовать с Костанчи по-товарищески: узнать, в чем дело. Они беседовали с ним, выпытывали и ничего не выпытали — Костанчи знал цену разговорам.

В эти дни еще одна сложность возникла у Кирилла Петровича: он получил письмо от матери Елкина. Даже привычное, прошедшее через войну сердце капитана Шукайло до физической боли сжалось от присланного, очевидно, со смертного одра письма. Оно написано было явно коснеющей рукой, разными карандашами.

«Уважаемый Кирилл Петрович!

Мне очень тяжело писать. Пишу лежа, три раза в сутки приходит медицинская сестра и вводит мне усиленные дозы морфия, я все время под наркозом, иначе нестерпимые боли и полный упадок сил. Голова у меня как в тумане, путаются мысли, но мне так хочется высказать Вам всю мою боль о моем Илюше.

Эта боль не пропадает ни днем, ни ночью.

Как все это могло получиться? Неужели он не войдет снова в нашу общую, советскую семью?»

До сих пор в письме был простой карандаш. Здесь, вероятно, начались боли, пришла сестра, сделала укол, и только тогда женщина, набравшись сил, снова взяла в руки карандаш, но уже другой — чернильный.

«Илюшу я больше не увижу, так как долго на морфии не протяну. Кирилл Петрович! Родной! Помогите моему сыну стать человеком — огромная к Вам моя просьба матери. Я Вас очень прошу, Кирилл Петрович, дайте умереть спокойно, будьте ему и за отца и за мать, я ведь из писем Ваших вижу, что работа с такими детьми — Ваша жизнь и Вы не меньше матери болеете за каждого. Попробуйте пожалеть его немного за меня — может, это подействует. Он когда-то был ласковым».

Опять перерыв — карандаш тот же, но почерк совсем другой, буквы покосились и поехали в разные стороны.

«Простите, Кирилл Петрович, что я отняла у Вас вре-

мя своим письмом, но ведь оно последнее. Желаю успехов в вашей большой и благородной работе».

А события шли и развивались, и ощущение напряженности, начиная с майора Лагутина, распространялось по всей колонии. Приехал начальник, и майор доложил ему обстановку.

— На Шевчука нужно брать наряд в режимную колонию,— сказал он решительно.— Вы меня простите, Максим Кузьмич, но больше терпеть нельзя. Это просто становится опасным. Иначе это скажется на всем коллективе: полная безнаказанность.

— А остальные? — спросил начальник.— Другие связи выявлены?

— Пока только предположение: Елкин, Венцель...

— А Камолов?

— Камолов продолжает отмалчиваться: «я сам», «я так», «так просто», «побаловаться».

— А не считаете вы, что этот потяжелее Шевчука будет, хоть и тихий? — заметил начальник.

— Дремучая душа, это верно,— согласился майор.

— А если так, о каком же наряде тогда говорить!.. Наоборот! Освободите Камолова и продолжайте выяснять границы группы и ее связи. Главное — связи! А наряд нам всегда дадут.

Вечером было партийное собрание — доклад о поездке начальника в Москву. С этим можно было бы и подождать, но обстановка не давала отсрочки. И доклад от этого получился боевой и напряженный: на совещании в Москве говорилось про новые решения ЦК о работе детских колоний, о воспитании актива, о том, чтобы лучше знать ребят, чтобы поддерживать все сознательное и благородное. Решения ЦК перекликались и переплетались с тем, что назревало в колонии, с недостатками, о которых и говорили на собрании.

— Мы слабо наступаем, мало у нас боевитости, большевистской непримиримости.

— Мало знаем ребят, плохо изучаем, формально изучаем. Прибыл парень, воспитатель повозился с ним день-два, и готово: думает, узнал.

— И работаем формально, плохо работаем, а где недорабатываем, там они прорываются.

— И либеральничаем. Майор Лагутин правильно говорит. Где здесь майор Лагутин?..

Но майора Лагутина не было. Перед самым собранием ему доложили, что в восьмом отделении заметили какую-то записку, куда она делась потом — неизвестно. И майор Лагутин выяснял это с одним, с другим, с третьим, собирая крохи истины, прослеживая путь таинственной записки, которую срочно нужно было найти: кто принес, откуда принес, когда, кому передал, кто читал и куда она пропала? А главное — что в ней было? В колонии основа основ — это честность, честность и искренность, все должно быть на виду, а если пошли тайны, значит, возникла какая-то подпольная жизнь, которую нужно пресечь. И майор тратит час, два, три, пока не прослеживает все извивы пути, который проделала запретная бумажка, и наконец в пятнадцатом отделении он узнает: ее опустили под пол, в щелку между половицами. А время позднее, ребята в спальнях, впереди — ночь, и что они могут придумать за ночь — неизвестно. Назначается специальный надзиратель со специальным заданием: сидеть всю ночь в спальне пятнадцатого отделения. Утром, когда ребята ушли на работу, в спальне были подняты половицы и обнаружено то самое Мишкино письмо, которое он пустил по отделениям.

Как ни тайно старался майор Лагутин проводить свои действия, Мишка Шевчук понял: кольцо сужается. Значит, пора, значит, нужно срочно действовать. Следовательно, нужно всем собраться и решить: что предпринять и когда начинать. И вот снова Сенька Венцель передает тайную команду: собраться нынче в пять часов в клубе, на сцене — Илья Елкин будет показывать якобы новую пляску.

Вот тут и прорвалось все, что назревало в последнее время у Костанчи. Теперь ему самому было непонятно, как он мог поддаться Мишкиным речам и согласиться быть участником его группы. За кем он пошел? Мишка! Что значит Мишка? А он еще начинает командовать да грозить. И что из этого выйдет хорошего? Разве что-нибудь может выйти? Он знал ребят, их настроения... Да и Кирилл Петрович!.. Даже стыдно! При всех обидах он все-таки очень уважал Кирилла Петровича.

Но, войдя в группу, Костанчи уже не мог отказаться — этим он сразу ставил самого себя под удар по всем законам воровского подполья. Надежда у него была только на то, что у Мишки ничего не получится: поговорят,

поиграют, позабавятся и на том кончат. Но Камолов с его «пиками» сразу обострил и ухудшил дело.

Поэтому, когда Сенька сказал ему о сходке, Костанчи понял: нужно решать. Значит, Мишка идет по крупной! Нужно решать!

И Костанчи решил: он пошел к Кириллу Петровичу и рассказал о заговоре, о заготовленных «пиках», о планах Мишки разделаться с «буграми», вроде Славы, Антона и Кости Ермолина.

— А как же ты сам ввязался в эту историю? — укоризненно покачал головой Кирилл Петрович.— Я было поверил в тебя, а ты...

— Я знаю...— не глядя на него, проговорил Костанчи,— я не оправдал вашего доверия, знаю.

— Ведь ты очень хорошо было стал себя вести...

— Хорошо себя вести еще не значит перевоспитаться,— не поднимая глаз, проговорил Костанчи.

Кирилл Петрович посмотрел на него, задумался: правильную мысль обронил сейчас этот много передумавший, видно, парень. Человек работает хорошо, ведет себя хорошо, а в душе у него может быть что-то свое, совсем другое. Вот Костанчи был командиром, шумел, гремел, спорил за баллы, боролся за честь отделения, а за что же он боролся на самом деле? А на самом деле у него были свои цели и планы. А какие планы и цели у него сейчас? Что он — в принципе против Мишкиных планов или не верит в возможность их осуществления? Да и реальны ли вообще его планы? Химеры! Может быть, он понял это и просто испугался?

А Костанчи почувствовал ту тень недоверия, которая была в размышлениях воспитателя, и добавил:

— Делать я старался все как нужно, а душа моя оставалась воровской в смысле господства.

— Оставалась или осталась?

— Оставалась. Нет, Кирилл Петрович! — Теперь Костанчи посмотрел прямо в глаза воспитателю.— Пусть я понесу наказание — все равно! Но я хочу доказать, что я не тряпка, а человек и твердо ступил на честный путь и больше не сверну с него. Никогда не сверну!

И Кирилл Петрович понял: правда силу родит, не свернет.

— Тогда нужно действовать! — решил он.— Пойдем к майору.

27

Майор Лагутин снова остался один. Максим Кузьмич, едва вернувшись из Москвы, был вызван в райком партии и получил там срочное задание выехать в колхоз, к которому он был прикреплен как член бюро райкома.

Выслушав доклад Кирилла Петровича, он тихо, как бы сквозь зубы, процедил:

— Доигрались! — И тут же еще раз повторил уже громко: — Доигрались! Сидим на бочке с порохом и делаем умное лицо. Как маленькие!.. В демократию игру затеяли! И забываем, что с огнем шутки плохие: могут возникнуть неуправляемые процессы — и тогда что?.. Ведь я говорил: на Шевчука нужно оформлять наряд в режимную. Говорил! Так нет! А теперь сам уехал, а тут... Впрочем, это, может быть, лучше. Зовите Костанчи.

Лагутин подробно и обстоятельно обо всем расспросил Костанчи.

— В пять, говоришь, начнут сходку? — сказал он, взглянув на часы.

Стрелки показывали двадцать три минуты четвертого.

— Товарищ майор! — проговорил Костанчи, чувствуя, что наступает решающая минута.— Вы разрешите мне. Я подберу ребят, и мы... мы их всех скрутим.

— Что? — майор поднял на него непонимающие глаза.— Самосуд хотите? Ни шагу! Слышишь? Самовольно — ни шагу! Скрутить их мы и без вас сумеем. Впрочем, ты... Тебе, пожалуй, нужно пойти к ним. Чтобы они не догадались.

— Нет, товарищ майор! Я к ним не пойду!

— А не боишься? — спросил Кирилл Петрович.— Они догадаются.

— Я ничего не боюсь! — твердо сказал Костанчи.

— Но они могут что-то понять и разойтись,— возразил Лагутин.

— Не знаю, товарищ майор! — так же твердо ответил Костанчи.— Но я... я не выдержу. Я с ними подерусь! Хуже будет!

Майор Лагутин разработал подробный план операции.

Всем воспитателям было дано указание: неотлучно оставаться на местах и занять ребят, следить за тем, кто будет выходить из помещения. Ликвидация группы воз-

лагалась на четырех надзирателей во главе со старшим — Харитоном Петровичем.

Мишка Шевчук пришел в клуб раньше всех и посмотрел, что там делается. Наверху было тихо: методический кабинет закрыт, комната для кружковых занятий — тоже. Библиотека работала, но народу там было мало. Зато внизу крякала большая труба и подсвистывал кларнет — занимался духовой оркестр, а в фойе, приспособленном под физкультурный зал, ребята упражнялись на перекладине. Все было спокойно.

Вскоре подошел Елкин и почти вслед за ним — Камолов. Немного потолкавшись в фойе, они прошли на сцену. Здесь им никто не мешал, но разговор они вели вполголоса.

— Давайте «репетировать», а то подумают...

Камолов взял баян, а Елкин стал выделывать какие-то коленца. Появился Сенька Венцель и неопределенно сказал, что все в порядке: скоро все соберутся. И действительно, через некоторое время подошли еще трое воспитанников.

Мишка заметил, что умолкла труба в комнате духового оркестра и ребята, занимавшиеся физкультурой в фойе, ушли.

В клубе стало тихо. Хорошо это или плохо?

— А ну выйди. Глянь,— сказал Шевчук Сеньке Венцелю.

Заговорщики напряженно прислушивались к каждому звуку.

— Вот Костанчи что-то нет.

Сенька долго не являлся, а потом прямо от двери закричал:

— Идут! Крючки идут! Крючки!

— Кипеж! — раздался вдруг истошный выкрик Мишки Шевчука, и в тот же миг, без всяких команд и приказов, ребята бросились к дверям, закрыли их на все запоры, начали придвигать диваны и кресла. Когда надзиратели подошли к дверям зала — обе они оказались закрытыми.

— А есть там кто? Может, зря? — усомнился кто-то из надзирателей.

— А при выполнении приказа рассуждать не положено,— строго сказал дядя Харитон.— «Зря»... Раз приказано, значит, не зря! Эй! Кто там? Открывай!

— А чего вам? — ответил из-за двери голос Мишки Шевчука.

— Я вот тебе дам «чего»! Говорят, откройте, значит, откройте! Мы что вам — докладывать будем?

— А пошли вы...

Дальше последовала ругань, которая вывела из себя дядю Харитона.

— Ах вы безобразники! Мы вот вас!..

— А ты, Вика-Чечевика, иди лучше в шашки играть.

— У... нет на вас пожара! — проворчал дядя Харитон и оглянулся вокруг, не зная, что предпринять.— А ну к майору! Бегом! — приказал он одному из надзирателей, а сам принялся урезонивать засевших в клубе ребят. Он старался говорить насколько можно строже, а те на строгость отвечали наглостью и этим распаляли его еще больше.

— Что вам надо? — кричал он, изо всех сил дергая дверь.

— Хозяина надо!

— Нету хозяина. Уехал.

— А с вами мы дело иметь не желаем! — И следом неслась новая ругань.

На все уговоры подошедшего майора Лагутина Шевчук отвечал тем же самым:

— Без хозяина разговаривать ни с кем не желаем.

— Ах, не желаете? Ну хорошо! Взломать дверь!

28

Антон был горд, когда несколько дней назад его вместе со Славой Дунаевым Кирилл Петрович попросил поговорить с Костанчи. Тот все последнее время был очень задумчив, держался обособленно и совсем не походил на грубоватого, но твердого и решительного парня, которого Антон узнал по приезде в колонию. Но оказалось, что при всей своей задумчивости Костанчи остался твердым — он ничего не рассказывал о себе ребятам.

И вдруг сегодня он отозвал в сторону Антона и Славу Дунаева и рассказал о «сходке», которая намечалась на сцене клуба. Явно нарушив приказ майора, он считал себя правым. Ему казалось, что с «бандюгами» (как называл он Мишку и всю его компанию) должны расправиться сами ребята и именно он, Костанчи, должен выступить

против них открыто, с глазу на глаз. И расправу эту он представлял вовсе не как самосуд, а тоже как открытую и прямую борьбу — «скрутить и доставить» на вахту.

Ему казалось, что приказ майора — сидеть в отделении и молчать— превращал его в простого предателя. С такой ролью Костанчи не мог примириться. Он предлагал собрать боевую дружину и, нагрянув в клуб раньше всех, переловить «бандюг» поодиночке.

— А приказ? — возразил Слава Дунаев.— Нужно быть начеку, а там видно будет.

Антон был с этим согласен и все-таки рисовал в воображении колено, поставленное на грудь Мишки, и выхваченную у него из рук «заточку». Он считал, что именно сегодня он должен показать себя и за все рассчитаться с тем «гадским» миром, который испортил ему всю жизнь. Ему не сиделось на месте, он ко всему прислушивался и старался вообразить, что происходит сейчас там, в клубе.

А в клубе события развивались опять не так, как представлял их себе майор Лагутин. Команда «ломать дверь» прозвучала и была услышана там, за дверью, но ее нельзя было выполнить — под руками не было ни топора, ни лома, ни простой палки, а когда все принесли, майор Лагутин вдруг почуял запах дыма.

— Пожар! — раздался крик с улицы, и сразу стало ясно, что дело приняло серьезный оборот.

Теперь проникнуть в зал было уже необходимо, чтобы тушить возникший где-то огонь и спасать здание.

Надзиратели, взломав двери, запутались в баррикаде из сдвинутых диванов и кресел. Когда наконец пылающий занавес был сорван, огонь потушен, оказалось, что на сцене никого нет.

И тогда обнаружился просчет майора Лагутина,— он забыл, что со сцены в люк вела пожарная лестница, а через нее можно было пробраться на чердак, а потом на крышу, а с крыши... Невероятный просчет! Лагутин это понял сразу и, оставив несколько человек на сцене, бросился с остальными во двор к спуску крыши. И там на пожарной лестнице он успел задержать Сеньку Венцеля и Елкина. Остальных с ними не было. Майор Лагутин ждал, что вслед за этими спустятся остальные, помедлил и потерял еще несколько минут.

А Мишка Шевчук и Камолов пробирались тем временем окольными путями в жилую зону, к спальням. После

испуганного крика Сеньки Венцеля Мишка сразу сообразил, что он «погорел», и сразу же понял — почему. Костанчи не пришел! Зачит, выдал! Значит...

Размышлять было некогда, нужно было строить оборону, действовать. Сдаваться Мишка не собирался. В этих делах главное, считал он, беспорядок, а поэтому — любой ценой,— шум, беспорядок, тревога — все, что позволит сбить с толку противника и уйти и замести следы.

«У, нет на вас пожара!» — послышалась из-за двери воркотня дяди Харитона.

И вот в руках Мишки чиркнула спичка, сломалась, загорелась, вспыхнула поднесенная бумага, занялся занавес. Гори! Пусть гибнет все, но если на тебя обрушились опасности — пропади все пропадом, гори!

Мишка побежал в спальни. Камолов отстал от него, и теперь Шевчук бежал один. На что он рассчитывал, сказать трудно. Поднять ребят? Привлечь на свою сторону? В нем кипела злоба, воровская непрощающая злоба против того, кто предал. Костанчи!

Мишка знал, что дело его проиграно и что через пять — десять минут, а может быть, сейчас, в это мгновение, он будет задержан, и тогда — все! А не рассчитаться с Костанчи нельзя, это закон! Это то, чему учил его когда-то Федька Чума: «заделать»! Предателя нужно «заделать»! По правилам расправу нужно было бы учинить иначе: где-то из-за угла, тайно, воровски, но наверняка. Сейчас для этого не было времени, это нужно было выполнить при любых обстоятельствах.

Мишка бежал в спальню девятого отделения, чтобы ворваться туда сразу, нежданным, негаданным, и сразу же, с ходу, ткнуть в грудь Костанчи припасенной в кармане пикой!

Бегом через две ступеньки он поднялся на второй этаж.

Антон сам не знал, почему он оглянулся на дверь, когда ее распахнул Мишка Шевчук. Но когда он увидел его лицо, глаза, засунутую в карман руку,— Антон понял все. Он очень хорошо знал, что значит засунутая в карман правая рука! И потому он сразу же, по какому-то наитию схватил вдруг табуретку — первую, которая попалась ему на глаза, и поднял ее высоко над головой.

— Не подходи!

Этот вскрик всполошил всех ребят, и они сгрудились вокруг Антона сплошной живой стеной.

— Чего тебе надо? Не подходи!

В это время, раздвигая ребят, вперед стал пробираться Костанчи.

— Куда ты? Уйди! — крикнул ему Антон, не опуская табуретки.

Но Костанчи, не отвечая, встал против Мишки.

— Ну?

Кирилл Петрович устремился было на помощь и вдруг остановился, ожидая, что будет.

— Ну? — повторил Костанчи.— Рассчитаемся?

Он стоял против Мишки, вытянувшись, как струна, сжав кулаки, и смотрел на него тяжелым, каменным взглядом.

— Вынь руку-то! Вынь!.. И отстань! Отстань ты от нас! И ты... И все ваши... Дайте нам жить!

— Жить?.. Ты жить захотел? — зло ухмыльнувшись, перебил его Мишка.— А что своего топишь...

— Своего?..— переспросил Костанчи.— Знаешь что?.. Давай вот на нож!.. И посмотрим!

— Ну, ну! Кончать! — решительно прервал их теперь Кирилл Петрович.— Мы без ножей обойдемся. Кончать!.. Что у тебя там? Выкладывай! — сказал он, обращаясь к Мишке.

Мишка, точно очнувшись, осмотрелся и вдруг увидел, что, пока он препирался с Костанчи, живая стена ребят оказалась между ним и дверью. Он, подчиняясь инстинкту. хотел обогнуть эту стену и бежать, бежать во что бы то ни стало. Но тут на его дороге стал Антон, и вслед за этим вся стена, сплошная стена ребят, вдруг ожила и обрушилась на него. Все завертелось, зашумело, закричало — и Кирилл Петрович, бросившийся в центр этой свалки, с трудом вытянул оттуда взъерошенного Мишку Шевчука. Губа у него была рассечена, а на полу валялась выпавшая каким-то образом в борьбе пика.

29

Максим Кузьмич в ту же ночь вернулся из колхоза и узнал о событиях в колонии. Было решено передать дело о виновных прокурору.

Это означало новый суд и новый срок для виновных. Мишку Шевчука Максиму Кузьмичу почему-то было жалко, и сразу же после разговора с Лагутиным он пошел к нему, в штрафной изолятор.

Мишка встретил Максима Кузьмича зло, почти с таким же исступлением, с каким он когда-то отказывался «подниматься в зону».

— А чего вы пришли? Взяли за хобот, так берите. Зачем пришли? Душу молоть?

— А чего мне ее молоть? — ответил начальник, усаживаясь рядом с ним на нары.— Она тебе сама скажет, если... ежели есть.

— Счастливы вы, что взяли меня вовремя, а то бы были дела,— проговорил Мишка.

— Пожалуй! — согласился начальник.— А для чего?.. Ты думал об этом?

— Пускай лошадь думает, у нее голова большая.

— А хочешь, скажу? — не обратив внимания на глупую шутку, сказал начальник.— Для анархии! Анархию создать. Хочу — работаю, хочу — не работаю, хочу — пойду, хочу — не пойду, хочу — учусь, хочу — не учусь. Свои порядки, своя власть — малина! А для чего? Королями хотите быть. В этой малине вы хотите быть королями. Правильно? А распусти вас — стадо будет, так и будете ходить, шумки устраивать, друг на друга ножи точить... И ты думаешь, это жизнь? И ты думаешь, кто-то вам позволит такую жизнь? Мы боремся против нее, против господства, мы за это столько крови пролили и у себя уничтожили тех, кто на силе стоял!

Мишка помолчал и неожиданно трезвым тоном проговорил:

— Я две ошибки допустил...

— Ты главную ошибку допустил,— перебил его Максим Кузьмич,— ты думал, что тебя поддержат, а тебя не поддержали. Сами ребята тебя оставили в решительный момент и пошли против тебя. Вот почему у тебя ничего не вышло и не выйдет. Запомни это: ничего у тебя не выйдет и никто за тобой не пойдет. Ты один!

— Кто? Я?

— Да! Ты!.. Это вам только кажется, что вас много и что вы сильны. Только кажется! И мира-то у вас никакого нет. Вы — пыль! И народ может стереть вас, как уборщица мокрой тряпкой, одним движением. Да! Он

только ждет и надеется — на исправление и возвращение заблудших сынов своих. И не зря! Люди лучше, чем ты думаешь. Да и ты сам, может быть, лучше!

Ничего не сказал на это Мишка, лег и отвернулся к стене.

— Вот и думай! — закончил Максим Кузьмич.— Хочешь идти своим путем, вниз хочешь идти— иди! Жизнь свою хочешь губить — иди! Жить тебе! Врагом народа своего хочешь быть — иди! Но знай, что жизнь тебе дана один раз!

Максим Кузьмич вышел, и дежурный вахтер снова запер дверь изолятора на два замка. А придя в штаб, начальник отдал приказание: «Мать Шевчука вызвать телеграммой ко мне. Срочно!»

Мишку держали в изоляторе, пока не приехала мать. И все это время он, может быть, впервые по-настоящему раздумывал о своих ошибках, о том, что ребята действительно его не поддержали. Думал он и о Федьке Чуме, и об Иване Зебе с его ужасом одиночества, и в душе у него начинало что-то копошиться, начинали бродить какие-то новые, непривычные мысли.

Он гнал их, глушил, а они возникали вновь и вновь. Дни за днями проходили в полном одиночестве, в гнетущей тишине изолятора. К изоляторам он привык — он сидел в них много раз и даже считал это своей гордостью, но теперь почему-то голые каменные стены давили его. И ему хотелось разбить эти стены или расшибить о них голову. Иногда появлялось сильное желание постучать каблуками в дверь и вызвать начальника. Что же он не идет? Почему он не хочет больше говорить с ним?

Но Мишка удерживал себя от этих «не достойных» его шагов и отсидел в изоляторе до тех пор, пока не приехала мать, пока не загремел замок и в открывшейся двери он вдруг не увидел ее, совсем нежданную и такую постаревшую. Она вошла, прислонилась к стене, и у нее мелко-мелко задрожали губы. Она хотела что-то сказать, она многое готовилась сказать, когда шла сюда после разговора с начальником и когда сердце ее восставало против собственного сына. Но она ничего не сказала, она стояла, прислонившись к каменной, холодной стене, и у нее дрожали губы. Мелко-мелко.

Максим Кузьмич, который пришел вместе с нею, остался на улице и прикрыл кованную железом дверь. Он

достал папиросу, выкурил, потом достал другую и тоже выкурил. В изолятор он вошел после того, как вышла мать Мишки.

— Ну?

— Хватит, Максим Кузьмич! — сказал Мишка, впервые называя его по имени-отчеству.— Видно, пора «завязывать».

— А если без «видно»? — спросил начальник.

— Можно и без «видно»! — ответил Мишка.

Но Максима Кузьмича, видимо, не очень обрадовали его слова.

— Д-да... Других слов я от тебя ждал, Шевчук! Других!

Мишка почувствовал, что начальник хочет сказать нечто очень важное, а тот взвешивал в последний раз то, что он должен сказать. В столе у него лежит наряд, он может передать его к исполнению, может «погасить», и Мишка останется здесь, в колонии. Но можно ли? Нужно ли? Большие споры идут из-за Мишки в коллективе сотрудников, и совет воспитанников постановил просить руководство колонии применить к Мишке суровые меры. А ему жалко: то ли Мишку жалко, то ли свою надежду на его исправление.

Максим Кузьмич сам не знал, но почему-то надежда у него не погасла. Почему-то ему казалось, что, если бы поработать еще с Мишкой да дать бы ему хорошего воспитателя, может быть, и определился бы парень, может быть, и оформился бы наметившийся как будто бы в нем перелом. Но ничего не вышло, и ничего не поделаешь.

— Думал я тебя переломить...— размышляя вслух, проговорил начальник.

— Ладно, Максим Кузьмич! Все понятно. Да я и сам сейчас к ребятам не пойду. Все понятно!

— И отвечать нужно! — уже тверже и решительнее добавил начальник.— За то, что сделал, отвечать нужно. Этого никакими словами не перекроешь!

— Когда ехать-то? — спросил Мишка.

— Завтра и отправим.

Выйдя из изолятора, Максим Кузьмич увидел мать Мишки. Она стояла, прислонившись к дереву, и ждала.

— Что же с ним теперь будет-то, товарищ начальник?

— А это теперь от него зависит, — ответил Максим Кузьмич. — Поедет в колонию со строгим режимом. Это тоже колония, воспитательное учреждение. Будет себя хорошо там вести — вернем к нам, а от нас — путь на волю. Ну, а если...

— Вернется, товарищ начальник. Как мать говорю вам: вернется.

— Будем надеяться! — Максим Кузьмич пожал ей руку.

30

История со сходкой не то что встревожила Максима Кузьмича — жизнь колонии как море: ходят волны, и по ним нужно вести корабль, чтобы он не черпал бортом, а качка в волну не в счет, — но все-таки это был срыв, неудача. Эта история обострила одни вопросы и заставила заново продумать другие: и возникающие из жизни колонии, и поднятые на прошедшем совещании в Москве.

Нет, он, конечно, знал и раньше, но теперь с особенной силой почувствовал, что среди больших и многообразных дел, в общем ходе переустройств и сдвигов, которые осуществляет партия, нашел свое место и их скромный и в какой-то степени скрытый от людского глаза труд.

Много мыслей привез Максим Кузьмич с совещания, на котором помянули и его, — кое в чем похвалили, а кое в чем поругали и заставили кое на что посмотреть другими глазами.

Почему, например, в колонии нет попечительского совета, где представители народа могли бы во многом помочь и от многого уберечь? Почему так хил и беспомощен совет воспитанников и, можно сказать, существует только на бумаге? Максим Кузьмич обиделся тогда на это «на бумаге» — так же как и на догадку, высказанную докладчиком: очевидно, товарищ Евстигнеев недооценивает общественные факторы в воспитании и чересчур полагается на себя. А почему? Откуда они взяли? Но вот он приехал домой, и на партийном собрании ему сказали то же самое: меньше «якать» и больше привлекать общественность и опираться на нее. Говорили и о совете воспитанников: конечно, Найденов — прежний председатель —

был не совсем подходящей фигурой, и начальник до сих пор не подумал о новом. И ничего не скажешь — не подумал, не собрался. А не подумал раньше, нужно думать теперь.

И вот на учебно-воспитательском совете завязался разговор о кандидате на этот пост. Называли Дунаева, Костю Ермолина, предлагали Архипова из пятого отделения. Но Костя оказался слишком тихим и чем-то похожим на выбывшего Найденова, а Дунаева жалко было снимать с работы командира девятого отделения.

— Ну, очевидно, придется, — сказал майор Лагутин. — А командиром можно поставить Шелестова.

— А почему? — возразил Кирилл Петрович. — Зачем такие перестановки? Почему Шелестова сразу не выдвинуть на пост председателя?

Максим Кузьмич окинул взглядом собравшихся, а Кирилл Петрович, почувствовав его колебание, стал быстро нанизывать мотивы один на другой:

— Десятиклассник. Мальчик, только тронутый преступной средой и уверенно идущий по пути исправления.

— Но у него были колебания, — заметил Максим Кузьмич.

— Не колебания, а ошибки, неверные, скорее — неумелые шаги, — тут же ответил ему Кирилл Петрович. — Отставал по школе... А как теперь? Нагнал? — спросил он Ирину Панкратьевну.

— Нагнал, — ответила та.

— И в общественной работе... — все более воодушевляясь, продолжал Кирилл Петрович. — Сначала член библиотечной комиссии, теперь председатель. Вот висит бюллетень «Книга — твой друг». А кто его выпускает? По чьей инициативе?

— Шелестов, — сказал заведующий библиотекой.

— Что еще? — Кирилл Петрович обвел товарищей взглядом. — На производстве? Об этом, думаю, Никодим Игнатьевич скажет.

— Что хорошо— не скажешь плохо,— ответил Никодим Игнатьевич.

— А насчет характера... — Кирилл Петрович посмотрел на начальника. — Сначала он действительно мог показаться кисловатым, но после истории с Шевчуком, мне

кажется, это впечатление должно рассеяться. Он просто такой человек. Одного нужно ломать, а другого — направлять и растить.

— Да, но справится ли он? — заметил директор школы. — Дело-то не только в нем. Речь идет обо всем детском коллективе.

— А почему обязательно исходить из того, что он не справится? — прервал его Кирилл Петрович. — Развитие сознания не всегда ведь по прямой идет, а толчками, импульсами. Сначала все представляется в одних красках, а потом человек переступает через какой-то порог — и все старое освещается другим светом и становится ясным и уже вырисовывается впереди. А потом опять на месте топчешься до нового импульса. И если Шелестову мы дадим сейчас этот новый импульс... Посмотрите, с какой жадностью он хватает сейчас все лучшее и честное. И ему сейчас нужно поручить именно что-нибудь окрыляющее, что его подняло бы, захватило и открыло бы ему большие горизонты. А справится — не справится?.. Посмотрим! Поможем! Не получится — будем решать. А я верю в него. Получится!

— Убедил! — широко улыбнувшись, сказал Максим Кузьмич. — Какое будет мнение?

— Быстро набирающий скорость воспитанник, — ответил за всех майор Лагутин, и кандидатура Антона была принята.

Все было действительно так: широко раскрывшаяся душа Антона с жадностью отзывалась на все — и на прочитанную книгу, и на беседу воспитателя, и на виденную кинокартину. Вот он смотрит в клубе фильм «Звезды на крыльях»: мальчишки учатся в школе, получают аттестаты, идут в военные школы, начинают летать — хорошая, целеустремленная, радостная жизнь, и у Антона сердце вдруг сжимается точно в кулак.

— Идиот! — ударяет он рукой о подлокотник кресла.

Это совсем не подходит к действию, которое развертывается на экране, и сидящий рядом Костя Ермолин с удивлением взглядывает на него.

«А ведь и я мог бы так же!» — думает Антон.

Вся жизнь, слепая жизнь, бесцельная, и люди, с которыми он в этой жизни встречался, вставали перед ним теперь совсем в другом свете — и Вадик, и Генка Лызлов... И книги!..

Он даже теперь диву дается — как раньше относился к книге, точно это был не он, а другой, совсем другой человек.

Как он относился к Николаю Островскому, такому изумительному писателю, с каким пренебрежением отбрасывал книгу, едва встречаясь в ней с чем-то серьезным и поучительным. Он почему-то всегда в этих случаях видел какую-то фальшь, неправду, желание автора к чему-то подделаться и увести читателя от подлинной, неприукрашенной жизни. «Учат, учат...» А теперь именно такую умную, формирующую, зажигательную книгу он искал и ждал,— книгу, которая ответила бы ему на все вопросы, книгу, которая ставила бы перед ним вопросы, помогла бы ему увидеть новое и задуматься там, где сознание готово было проскользнуть по поверхности. Вот почему Антон с таким же увлечением работал в библиотечной комиссии и с таким же увлечением занялся изданием бюллетеня «Книга — твой друг». Он разговаривал с ребятами, ходившими в библиотеку, собирал у них отзывы о книгах и в первом же номере бюллетеня поместил заметку: «Какую книгу я люблю?»

«Можно ли представить себе жизнь без книги? И каким отсталым существом был бы человек без книги!»

Много мыслей рождалось у Антона и тогда, когда он, стоя на своем «наблюдательном посту», на площадке второго этажа перед мастерской, «смотрел в мир». Вот сходят снега и обнажается земля, пока еще неприветливая, покрытая жухлой прошлогодней травой, но сила мечты превращает ее в пышную зелень, в цветы, и вот уже бушует весна, лето, и через раскрывшиеся монастырские стены Антон шагает в свободный и радостный мир.

Вот из бревен, которые когда-то у него на глазах колхозники возили из леса, теперь рубят новую ферму, большую, просторную, на красных кирпичных столбах. А вдали, рядом с городом, уже встали строительные краны, что-то поднимают и перебрасывают по воздуху, и вот уже растут стены каких-то зданий. И дальше, кругом... Дымят поезда, едут машины, идут люди туда и сюда, куда-то стремятся и что-то делают. Жизнь! Когда-то в этой жизни болтался нескладный, неприкаянный человечек и, обнявшись с дружками-приятелями, дерзко распевал песню:

Есть мушкетеры!
Есть мушкетеры!
Есть!

Ничего еще не сделав в жизни, он предъявлял ей свои непомерные претензии: это не так и то не так!

И вот этот человек сидит здесь, за загородкой, и ничего не изменилось в жизни: она пошла дальше, своими большими путями, а человечек смотрит через загородку и спрашивает самого себя: «Что я?»

Он думает об этом в спальне, накрывшись с головой одеялом, он думает об этом шагая в строю, он думает об этом каждую свободную минуту.

Вот Кирилл Петрович везет своих воспитанников в музей, в местный маленький краеведческий музей, вот они разглядывают чучела волков и воробьев, которые водятся в этих краях, стоят перед деревянной сохой, нашедшей себе приют на вечные времена в этом добротном бывшем купеческом доме. Вот они смотрят картины и планы — историю города, и оказывается, что родился он из пограничной заставы, которая оберегала русский народ от степных хищников, и что в реку, на которой стоит город, бросилась легендарная татарская царевна, полюбившая русского князя. Вот она какая древняя, оказывается, эта земля.

А вот в другом зале, под стеклом, вывешен пожелтевший газетный лист. Это — первая советская газета в этом городе, и в ней обращение первого Совета рабочих и крестьянских депутатов.

«При бывшем строе труд считался чем-то постыдным, а тунеядство — признаком благородства. При наступающем государственном строе необходимость для каждого потребляющего продукты чужого труда в свою очередь давать полезный труд для своих сограждан есть основное нравственное требование. Тунеядство пригвождается к позорному столбу».

Антон думает обо всем этом по пути в колонию, и здесь, в машине, он находит ответ на вопрос, не дававший ему покоя.

«Одна двухсотмиллионная. Вот что такое я. Двухсотмиллионная!»

И ему захотелось работать, работать и работать, ехать куда угодно, делать что только потребуется для этих двухсот миллионов; совершать любые подвиги, только

чтобы смыть зло и доказать, что он уже не тот, совсем не тот, который болтался когда-то неприкаянным человеком в жизни. «Лучшее наслаждение, самая высокая радость жизни — чувствовать себя нужным и полезным людям», — вспоминал Антон слова Горького, написанные на плакате, который висел у них в клубе. А когда Антона выбрали председателем совета воспитанников, у него в душе поднялась новая, горячая волна и он пообещал товарищам, Максиму Кузьмичу и Кириллу Петровичу, что будет честно работать на таком большом, порученном ему деле.

И он тут же написал Марине. Не маме, нет! Маме он напишет завтра, в первую очередь он написал обо всем Марине.

Ведь ее письмами он живет, их ждет неделями, боится каждый раз не получить. И радуется, когда, вопреки его страхам, приходит новое письмо. И он стал верить в ее дружбу и верить, что недалек тот день, когда он увидит ее и маму, конечно, но в первую очередь — ее, Марину!

Вот почему он ничего не мог понять, когда Марина замолкла. Дело было весной, после выпускных экзаменов. Сам он сдал их, правда, без большого блеска, получил аттестат зрелости. Окончание школы отпраздновали всем классом в клубе, потом ходили без охраны, с одним Кириллом Петровичем, на берег речки встречать восход солнца, и пели песни, и плясали под баян, дурачились и мечтали о будущем. И Антон тут же описал все это Марине и ждал ответа — как она сдала, как окончила школу? И вдруг — молчание, молчание и молчание, в ответ на его второе письмо — две строчки: «Прости, Антон, я больше писать не могу. Марина».

Что это значит? Что произошло?

31

В семье Зориных назревали конфликты, один за другим.

Соседка недаром в разговоре с Ниной Павловной назвала Зориных «демократами». Георгий Николаевич не понимал людей, которые воспринимали доверие, власть, положение и блага, получаемые от народа, как личное, должное и уже неотъемлемое от них. С головой ушедший

в свои дела и проблемы — острейшие проблемы современной физики,— он считал это своего рода иррациональностями жизни, которые, конечно, должны быть разрешены, и тогда дух честности и бескорыстности, побеждающий в нашей жизни, дух энтузиазма и самоотверженности восторжествует окончательно и вытеснит просочившийся кое-куда гнилой душок стяжательства, «ячейства» и расчетливого приспособленчества.

Убеждения эти Георгий Николаевич сумел донести от юности своей до поздних лет и положить в основу всего. Непримиримый к тому, другому, враждебному духу у себя на работе, в институте, он ревниво оберегал от него и свой дом.

И когда Екатерина Васильевна, соблазненная чьей-то роскошно обставленной квартирой, заводила речь о покупке гарнитура красного дерева или отделке комнат «под атлас», Георгий Николаевич спрашивал:

— А почему атлас? Зачем нам атлас? А чем плохи обыкновенные хорошие обои? Как у всех!

Екатерина Васильевна ничего не могла противопоставить простой человеческой логике мужа и, когда проходил азарт, стыдилась мелочности своих мечтаний об атласе и гарнитуре красного дерева.

Так же Георгий Николаевич воспитывал и своих детей. Всегда занятый и погруженный в свои мысли, он не считал нужным заниматься мелочами. Мелочи как помочи, на них всю жизнь детей не поводишь. Нужны основы, принципы. Это — рельсы, по которым дети войдут потом в жизнь своим ходом.

Его до глубины души возмутила однажды мимолетно виденная сцена. Воскресное утро, разряженная мамаша, такой же папаша и играющий всеми красками благополучия и довольства восьмилетний сынок. Он поставил ногу на табурет чистильщика обуви, и старуха армянка чистит ему ботинок.

Далекий по роду работы от проблем воспитания, Георгий Николаевич как человек не мог не интересоваться ими и не мог не задуматься по-граждански честно и искренне над тем, что увидел. Труд — это принцип. Простота — это принцип, равенство — принцип. Уважение к человеку — тоже принцип. И все это уже разрушено в самодовольном паршивце, не соизволившем почистить собственных ботинок перед выходом на прогулку. Кем он

будет? И как он будет воспитывать своих детей? Кто его папа и мама? И можно ли воспитывать ребенка, не воспитывая самих себя?

В семье Зориных дети сами чистили ботинки, убирали комнаты, мыли полы. Они отчитывались в деньгах и одевались всегда скромно.

— До окончания школы никаких бостонов, манонов и капронов. Простые чулки, простые туфли — как все!

Все вместе, все на глазах, все поровну, нет худших и нет лучших — дружба! — вот воздух, который вслед за мужем старательно поддерживала в семье и Екатерина Васильевна. Она совсем недавно вспомнила такой случай. Она и две маленькие дочки в лесу, на даче, — сына Женьки тогда еще не было на свете. И она нашла землянику, первую, красную с одного только бока ягодку, и обе девочки с радостным криком бросились к ней. «Подождите! — сказала тогда Екатерина Васильевна. — Вот мы сейчас другую найдем, тогда съедим». Девочки сразу приумолкли, задумались, и через минуту Марина сказала: «Мы три ягодки найдем, тогда и съедим. Да?» И надо было видеть, с каким старанием девочки искали вторую и третью ягодки, чтобы всем досталось поровну.

Вспомнила это Екатерина Васильевна в связи с недавней спортивной победой Марины: на соревновании по бегу она заняла второе место, получила Почетную грамоту и коробку шоколадных конфет. Она принесла коробку домой и, по старому правилу, угостила всех.

Все эти принципы выдерживались в семье Зориных со всей строгостью и не могли не преломляться в формирующихся душах детей. Но преломлялось это по-разному, иногда радуя, иногда удивляя родителей и чем-то своим и неожиданным. Так первая дочка, Аленушка, резвушка, хохотушка, к концу школы неожиданно посерьезнела и пошла в пединститут, чтобы ехать потом куда-то в самую далекую деревню учительствовать.

А всегда серьезная и не в меру прямолинейная Марина заинтересовалась платьями — у этого талия низкая, плечи не те, и вообще теперь такие не носят.

— Ну подумаешь, не носят! — попробовала настоять на своем Екатерина Васильевна. — Рано тебе об этом думать!

— А когда же об этом думать? — возразила вдруг Ма-

рина. — В пятьдесят? Ты, мама, забыла, какая была молодая-то!

А теперь Марина опять поставила всех в тупик: куда ей идти после школы? И когда об этом зашел мимолетный, пока случайный разговор, она вдруг сказала: пойду работать.

— Как работать? — удивилась Екатерина Васильевна. — А институт?

— А институт потом.

— Ну, об этом ты брось думать. Не дури! — спокойно сказала Екатерина Васильевна, уверенная, что это модные, пустые разговоры.

И вдруг — новая, третья проблема, затмившая все.

И как она могла просмотреть?

С тех пор как попало ей в руки первое письмо Антона, Екатерина Васильевна потеряла покой. Сначала она едва не задохнулась. Да как он мог, как он смел, этот бандит, подать свой гадкий голосишко из-за решетки?.. И по какому праву?.. Это был следующий вопрос, который возник, как только улегся первый приступ гнева.

Никому не сказав о письме, она стала присматриваться к дочери, но ничего особенного не замечала. Тут Екатерина Васильевна вспомнила, как Марина впервые сообщила ей новость об Антоне.

— Мамочка! Какой ужас! Ты помнишь, ко мне приходил мальчишка? Длинный такой... Он в тюрьме!

В голосе дочери тогда действительно слышался ужас. «Но чем Марина ужасалась? — спрашивала сейчас себя Екатерина Васильевна. — Тем, что у них в школе вообще мог произойти такой случай? Или тем, что это произошло с ним, с Антоном?» Мать не могла тогда обнаружить ничего подозрительного ни в тоне, ни в поведении дочери. Правда, Марина горячо обсуждала это происшествие со Степой Орловым, который стал к ней захаживать. Ну и как же не обсуждать? Марина — девочка чуткая, отзывчивая, и мимо нее не проходит ничто, что совершается в школе. А то, что к ней стал заглядывать Степа Орлов, окончательно успокоило Екатерину Васильевну — значит, «там» ничего нет.

Но не может же Екатерина Васильевна сама каждый день брать почту! Да и забыла она о ней, успокоилась и забыла. И Марина утром, перед завтраком, пошла откры-

вать почтовый ящик и среди пачки газет и прочей корреспонденции увидела вдруг помятое, чем-то необычное письмо: «Марине Зориной».

Она сразу почувствовала: письмо особенное. Отдав папе всю почту, она прошла в свою комнату и вскрыла конверт. Да! Оно самое! Письмо от Антона!

«Если ты помнишь прошлогодний вечер, вспомнишь и меня. Как много это, оказывается, времени — год!»

Как много действительно времени — год!

За завтраком Марина сидела сама не своя. У Екатерины Васильевны кольнуло сердце. После завтрака она спросила:

— Что ты нынче такая встрепанная?

Марина не умела лгать.

— Ты знаешь, мама... Я получила письмо...

— От бандита? — воскликнула Екатерина Васильевна.

— Мама! Почему ты так говоришь?

— Что-что?

— Ну мало ли что может случиться с человеком?

— Да ты думаешь, что говоришь? Человек грабил, выходил с ножом на большую дорогу, а ты?.. Давай письмо!

— Мама!.. — Марина с недоумением посмотрела на нее.

— Давай письмо!

Привлеченная голосом матери, в комнату вошла Аленушка. Екатерина Васильевна решительно поднялась и пошла в кабинет к мужу.

— Подожди!.. — Она решительным жестом отодвинула газеты, которые он начал читать. — У нас с Маринкой неблагополучно.

— С Мариной? — удивился Георгий Николаевич. — Как может быть неблагополучно с Мариной?

Умолчав, конечно, о первом письме, Екатерина Васильевна рассказала, что произошло.

— А может быть, тут нет ничего страшного? — проговорил Георгий Николаевич. — О чем он пишет?

— А ты спроси! Ты — отец. Спроси! Посмотрим, что она тебе скажет. Воспитали, называется!

— Ну, зачем так, Катюша? Зачем? И воспитали мы ее... Разве плохо воспитали? Жалоб мы, кажется, на нее не слышим.

— Подожди еще радоваться-то. Не пришлось бы плакать!

Никогда Георгий Николаевич не видел жену в таком возбуждении. Когда она вышла, он долго ходил по кабинету. Почувствовав неладное, притихла и вся семья. И Марина решила сама пойти к отцу. Она любила и мать и во всем доверяла ей. Отец слишком занят, и надоедать ему разными мелочами было нельзя. Но Марина чувствовала, что в самую последнюю, решающую минуту отец правильнее разберется во всем.

Письма Марина не показала, но дословно передала содержание и рассказала об Антоне все что могла. Она умолчала, конечно, о парке и скамейке, умолчала о своей бессонной ночи и слове «люблю», которое сказала тогда себе. Тем более она и теперь не знала, что́ это было на самом деле, — все оказалось куда сложнее и запутаннее, чем представлялось вначале. Поэтому вместо слова «любовь» она говорила «дружба» и доказывала ее великое значение.

И тут Марина вспомнила встречу в школе с Ниной Павловной и ее слова: «Его так бы ободрило ваше письмо».

— Ты скажи, папа: есть люди неисправимые? — спросила она отца.

— Неисправимые?.. Гм!.. — Георгий Николаевич снял очки, протер их. — Это не моя область, но... по-моему, есть неисправленные люди, а неисправимые... Трудно представить!

— Ну вот! — горячо заговорила Мирина. — Ты понимаешь, папа: если я ему теперь не отвечу! Ты понимаешь?.. У нас все так хорошо, спокойно, а он... И если мы замкнемся, если я замкнусь в своем благополучии, а он?.. Пусть гибнет? Да? Ведь там, где кончается борьба за товарища, там начинается предательство. Да? Ведь да? А разве я могу так поступить? Папа! Милый ты мой, хороший бутя!

Она обвила шею отца своими тонкими руками и прильнула к нему.

— Может быть, я его спасу этим!

— Н-да... Гм!.. — с трудом скрывая свое волнение и растерянность, бормотал Георгий Николаевич.

Он слишком занят был последнее время своими делами, и теперь все для него было неожиданным. Поэтому он не нашел ответа на вопрос, поставленный Мариной, и только поцеловал ее в лоб.

— Во всяком случае, нужно подумать. Нужно еще раз подумать, Мариночка.

А Екатерине Васильевне он потом, наедине, сказал:

— Видишь ли, Катюша... Очень опасно, когда высокое снижается, тогда люди перестают верить. И в некоторых вопросах дети могут быть умнее родителей. И можно ли глушить хорошие чувства, такие гуманные побуждения? Если она действительно поможет человеку...

— Если она окажется сильнее, — возразила на это Екатерина Васильевна.

— Ты хочешь сказать: если она на него будет действовать, а не он? Ну как же можно не верить в свою дочь?

Так родилось новогоднее письмо Марины. И она никак и никогда не жалела, что послала его — столько живой и горячей радости она почувствовала в ответе Антона и столько благодарности за ее такой честный и дружеский упрек:

Дешево, Шелестов, дешево
Жизнь ты свою променял!

«Если бы ты только знала, что значит для меня твое письмо. И я постараюсь, чтобы мой ответ принес тебе какую-то радость. Ведь я знаю, что и тебе я причинил уйму огорчений. Только теперь я понимаю, как я был самонадеян и глуп, и приходится только удивляться, что ты подружилась со мной. Как бы мне хотелось вернуть то время, но это невозможно, как невозможно вычеркнуть все, что произошло. И вообще страшно не то, что я нахожусь за колючей проволокой,— дуракам так и надо, тем, кто не умеет пользоваться свободой и ценить ее,— жалко то, что вычеркнуто несколько лет юности и запятнана честь...»

«Жить! — я даже не могу сказать, какое это необыкновенное слово. Не просто существовать, а именно *жить*, любить людей и все хорошее на свете, трудиться как все, со всеми вместе радоваться успехам, а не стоять в стороне и не подсматривать украдкою через забор.

Если бы ты знала, как иногда мне было тяжело, когда дом и все остальное казалось сказкой, сновидением, которое приснилось раз и потом рассеялось в тумане. И тогда все мне казалось пустым и бессмысленным, и мне однажды даже хотелось покончить с собою. А иногда хо-

телось волком выть от сознания своей мизерности перед дружной колонной «остального» народа, населяющего нашу страну, видя, как время и жизнь неумолимо шагают вперед, мимо тебя, оставляя тебя за бортом, за загородкой, отверженного и презренного. И тогда хотелось крикнуть им через забор: «Люди! Товарищи! Подождите, я с вами!» А люди идут себе и идут и прекрасно обходятся без меня, создавая свою жизнь и нового, чистого человека, способного и достойного стать членом коммунистического общества...»

Переписка шла регулярно, к великому огорчению Екатерины Васильевны. После долгих споров с мужем она вынуждена была скрепя сердце примириться с этим фактом. Но тревога продолжала жить: разве не может из простого человеческого сочувствия вырасти совсем другое, что не будет подвластно ни логике и никаким запретам и соображениям?

Разве может мужчина понять все эти тонкости? Ох, ошибку делает муж, ошибку!

День за днем Екатерина Васильевна твердила ему одно и то же.

До сих пор все было хорошо и стройно: интересная жизнь, работа, дружная, ладная, не вызывавшая никаких вопросов семья, хорошие дети и верная подруга-жена. Они вместе учились в школе, потом сдружились в далекие студенческие времена и поженились. Когда родилась первая дочка, Аленушка, нанимали нянь, водили девочку в детский сад, а Екатерина Васильевна продолжала работать. Но за Аленушкой появилась Марина, за ней — крикун Женька, и стало трудно. Женька часто болел, девчонки требовали глáза, и Екатерина Васильевна решила:

— Какие же дети без матери? Ничего не поделаешь, нужно бросать работу.

Муж протестовал, обещал всяческую поддержку и помощь.

— Ты мне скажи, ты меня позови, если нужно! — говорил он жене, говорил искренне и честно.

Но как оторвешь его от большого, волнующего дела ради каких-то пеленок и мелких домашних забот? Пусть работает!

Так и стала Екатерина Васильевна матерью, хозяйкой, основой дома. И дети знали: папа работает, папа пишет,

папа читает, папа отдыхает, значит, дома — мать, она — все. И сам папа подчинился этому порядку и только много позже понял все и оценил: «Материнство — это подвиг. Это — долг перед обществом».

И позднее, когда дети подросли и Екатерина Васильевна снова стала преподавать черчение в школе, ее слово в доме всегда было решающим. Это было признано и не вызывало ни конфликтов, ни трений. И вот теперь между супругами наметились разногласия. Отец не мог не сочувствовать дочери, но и не хотел ссориться с женой. К тому же у него не хватало ни времени, ни душевных сил, чтобы разобраться в так неожиданно возникшей семейной проблеме. Екатерина Васильевна тоже старалась не спорить, однако исподволь она вела свою неизменную линию, стараясь подорвать крепнущую дружбу Марины с Антоном.

Она стала привечать Степу Орлова, приглашать, поить чаем, купила даже два билета в Большой театр как будто для себя с мужем, а на самом деле взяла их на то число, когда Георгий Николаевич наверняка будет занят. Теперь она уже не спорила с Мариной насчет платьев, а наоборот, старательно занялась ее туалетами. Но все было тщетно, Марина примеряла новые платья, ходила со Степой в кино, в театр, обо всем советовалась с ним, но каждый раз загоралась, когда получала письмо от Антона.

И вот Георгий Николаевич уехал в командировку. Екатерина Васильевна решила, что настал подходящий момент. Отец, несомненно, чудесной души человек, но он в конце концов очень оторван от жизни. «О себе и зверь заботится»,— говорил он в каком-то споре с ней. Но гуманизм вовсе не в том, чтобы, спасая чужого, убить родное дитя. Глупости это! Нужно только найти случай и положить всему конец.

Но случая не представлялось. Марина сдавала экзамены, сидела за книгами, ходила по «читалкам», встречалась со Степой. Все было хорошо. К выпускному вечеру Екатерина Васильевна заказала для дочери белое платье, сама ходила с нею на примерку, сама разглаживала последние складки, а потом встретила дочь утром, когда уже взошло солнце: Марина пришла веселая, с горящими глазами рассказывала, как после вечера они ходили всем классом на Красную площадь, прошли мимо

Мавзолея, а потом пели и танцевали у кремлевских стен.

Все было хорошо. А через неделю — опять письмо, и все пошло вверх дном. Письмо Марина прочитала здесь же, при ней, при матери, и, не стесняясь, радостно сообщила:

—Ну вот и Антон!.. Ты знаешь, он тоже кончил, тоже аттестат зрелости получил. У них там и аттестаты дают.

— Такие, значит, и аттестаты, — недружелюбно заметила Екатерина Васильевна. — А ты чему радуешься? Ну, кончил! И что? Чему радуешься?

— А как же, мама!

— А вот так же! — решительно заявила Екатерина Васильевна. — Кончил, — значит, все! Значит, теперь не пропадет, выбьется. И писать ему теперь незачем.

— Что ты, мама? Наоборот!

— Как это — «наоборот»? — вспыхнула Екатерина Васильевна. — Говорю, незачем, — значит, незачем. Хватит в гуманизм играть. Довольно!

— Мама, нельзя так!

— Так ты еще споришь?.. А зачем?.. Зачем тебе еще писать? Ты что? Ты, может, влюблена в него?

Слово вылетело нечаянно, в запальчивости, но Екатерина Васильевна заметила, как побледнела Марина, как сжалась вся, не решаясь сказать ни «да», ни «нет». И вдруг это нечаянное, пустое слово приобрело смысл и достоверность.

«Влюблена! Конечно, влюблена!» — пронеслось в голове у Екатерины Васильевны, и ее охватил никогда не бывавший с нею приступ бешенства. Лицо ее побагровело от прихлынувшей крови, голос пресекся, и только глаза, огненные, злые, говорили о силе невысказанного чувства.

Марина испугалась. Она никогда не видела маму в таком настроении, никогда не слышала от нее таких слов, как в эти дни.

— Чтобы это было в последний раз! И никаких ответов. Слышишь? Никаких!

И то, что Марина по-прежнему не говорила ни «да», ни «нет», сердило ее еще больше. А Марина сама не знала, что чувствует к Антону, и упорно отмалчивалась. Отмалчивалась, но думала свое и спорила с собой и не знала,

как быть. Честно, самой себе говоря, она, конечно, мечтала вовсе не о таком друге. Но что же делать, если так получилось, если не встретила она того самого хорошего человека, который грезился ей когда-то в ее полудетском стихотворении? Что же делать, если встретился ей и зацепился за душу совсем-совсем другой. Так как же быть: заглушить голос разума или зажать сердце в кулак и ждать незапятнанного героя? И обязательно ли искать хороших людей и не лучше ли превращать их в хороших?

Несколько дней продолжалась эта схватка характеров. А потом вдруг Марина поняла, что мать совсем не сердится, а очень боится за нее, за свою дочь, и за ее дальнейшую судьбу. Марина не выдержала и быстро схватила лист бумаги:

«Прости, Антон, я больше писать не могу».

32

Первое недоумение, вызванное письмом Марины, сменилось долго не утихающей болью. Антон не мог решить: писать еще или не писать? Но чем больше он думал, тем больше запутывался. Написать! Чтобы знать, чтобы просто выяснить! Но это значит — навязываться. А разве можно навязываться?.. Что же произошло? Ведь как трогательно сказала она в первом своем новогоднем письме: «Разве я не ответила бы?» И разве теперь могла бы она так написать, если бы не случилось чего-то очень важного?

Первый ответ напрашивался сам собой.

«Все очень просто: девушка нашла другого молодого человека, лучше, и...» — нашептывал безжалостный внутренний голос.

«Но почему же она не оборвала сразу? Зачем нужно было писать?» — торопливо прерывал его другой, очень робкий.

«Пожалела».

Антон пробовал строить разные догадки, но они рассыпались одна за другой. Все было ясно: нашелся другой, лучший, и... И что тут удивительного, да и как могло быть иначе? Заключенный остается заключенным, и как он мог на что-нибудь рассчитывать?

Ну, а если так, если ей безразличны все его успехи и достижения, если ее не обрадовало, что он кончил школу, что стал председателем совета воспитанников, совестью колонии, если ее не трогают все его страдания и радости, — зачем он будет напоминать о себе?

Антон пробовал утаить от Славы и письмо, и все свои переживания, но разве от друга скроешь? Да и зачем скрывать, когда он все равно видит, что ты в полном смятении, а потом, разузнав все от тебя, вместе с тобою ищет выхода и наконец, подумав, говорит:

— В общем, ты прав. Ты натурально поступил. Только знаешь что?.. Только нос не вешай! Все обойдется. А нос не вешай! Держись! Будь мужчиной!

Ну нет! Носа Антон вешать не собирался. Слишком широко и бурно жила у него сейчас душа. Антон хотел было разозлиться, но из этого ничего не вышло: не мог он сердиться на Марину. Ведь все началось с нее, весь свет его жизни, и уж за одно это он будет ей всегда благодарен, а теперь он станет еще больше работать, он будет безгранично работать и снимет, сдерет, смоет с себя всю грязь и нечисть, всю лень и слабость, все, что мешало ему жить, — он сам, без всякой посторонней, хотя бы и дорогой для него помощи! И он работал в полную силу, во весь размах, запрятав на самое дно души боль от разрыва с Мариной.

Когда Антон после избрания, после всех своих горячих речей и обещаний одумался, его сначала испугала та громада ответственности, которая легла на его плечи. Тем более что и начальник, вызвав его к себе, поставил перед ним задачу: не теряя времени браться за работу, и «браться сразу, и уж так, чтобы все бурлило и у самого сердце, как у орла, билось».

— Ты не жди дела, ты ищи, сам к нему навстречу иди, тогда оно всегда найдется.

Но дело все-таки пришло само, и очень срочное: в первом отделении избили парня, который залез в полученную товарищем посылку и вытащил пачку папирос. В расправе принимал участие и командир отделения. Пришлось вне всякой очереди и плана собрать совет и обсудить на нем и этот случай, и всю работу командира. В результате совет воспитанников решил снять командира с работы и просить руководство наложить на него взыскание.

На этом же заседании Максим Кузьмич прочел только что полученное письмо от трактористов с целинных земель. Обращаясь «к молодым приборостроителям», они писали о работе подвижных бензоколонок, которые выпускала колония, высказывали свои предложения по улучшению конструкции, а главное, просили побольше выпускать колонок — «чтобы тракторы заправлять не ведром, на глазок да с песочком, а точно, по счетчику». Пришлось обсудить, как ликвидировать прорыв в токарно-механическом цехе, который задержал поставку основной детали для бензоколонок, а потом сочинить ответ «молодым покорителям целины».

А в конце заседания Архипов из пятого отделения неожиданно предложил, чтобы в столовой во время обеда по воскресеньям духовой оркестр «играл вальсы и разное другое, что умеет». Эта мысль всем понравилась, и начальник обещал обязательно провести это в жизнь и впоследствии провел. Правда, кое с кем пришлось поспорить: кое-кто из сотрудников усомнился — не будет ли это слишком?

«Дома люди и по воскресеньям обедают просто, без всяких вальсов — зачем же нам здесь ресторанные порядки заводить?»

«А почему нам не завести то, чего нет дома? — не соглашался Максим Кузьмич. — Почему не скрасить жизнь ребятам, если этого они сами хотят?»

Так первое и совсем неожиданное заседание совета оказалось важным и интересным, особенно когда речь зашла о дальнейших планах и ребята заговорили о лете, о летних работах и развлечениях. И тогда Анисов, член совета из пятнадцатого, вспомнил, как они во время работы в колхозе прошлым летом купались в тихой и теплой реке, в той самой, в которой, по преданию, утопилась татарская царевна.

— Плохо, что у нас купаться негде! — перебил его другой, из первого отделения. — Вот, говорят, на Кавказе есть колония, там ребята реку отвели прямо в зону. Вот мирово́!

— А что, — сказал третий, — полкилометра канал прорыть, и мы в свою зону реку можем отвести.

— Председатель! Председатель! Веди собрание! — заметил Антону Максим Кузьмич.

Но Антон даже не слышал слов начальника — он

вспомнил вдруг озерко за стеной зоны и ручей, протекающий рядом, который видел из своего «окна в мир», и с сожалением сказал:

— Вот если б это в зоне было!

— Что в зоне? — спросил начальник.

Антон рассказал об озерке и закончил с тем же сожалением:

— Вот если бы в зоне!.. Ребята его очистили бы — вот и бассейн!

— Максим Кузьмич! А нельзя зону расширить? — спросил секретарь совета Зайцев.

— Вам только волю дай! — полушутя и полуворчливо проговорил Максим Кузьмич. — Этак мы звон такой поднимем, хоть святых вон выноси.

— Нет, правда! Заднюю стену разобрать и отодвинуть ее... на сколько там?.. На двести метров. Мы за лето и разобрали бы, и новый забор поставили. Зато в самой зоне бассейн — купаться, нормы по плаванию сдавать.

— Вас тогда оттуда и не вытащишь, — пошутил начальник, а потом, уже серьезнее, добавил: — А зачем это обязательно в зоне нужно? Пусть рядом с зоной. И будете ходить с воспитателем.

— У-у, с воспитателем! — недовольно протянул кто-то.

— Да, с воспитателем! А вы как бы хотели?

Но, видимо, и его задела эта идея.

— Ну, это еще разжевать нужно! — неопределенно сказал он.

Стали «жевать» — пошли на место, осмотрели. Озерко маленькое, очистить его легко, но как в нем менять воду? Решили сделать иначе: рядом — речушка, а у речушки — затончик, заросший камышами и кувшинками и наполовину затянутый тиной. Очистить его, поставить запруду — и вот вам бассейн. Максим Кузьмич, майор Лагутин и начальник хозяйственной части подсчитывают необходимые материалы и средства, а Антон вместе с Зайцевым тоже подсчитывают и составляют планы: сколько работать? как работать? как организовать дело?

Интересно!

Интересно было и еще одно дело, к которому после поездки в Москву Максим Кузьмич начал привлекать совет воспитанников, — прием новичков.

Раньше он производился только в кабинете начальника, где когда-то принимали и самого Антона. А теперь, после первого ознакомления вновь прибывшего с жизнью колонии, его окончательно принимал совет воспитанников, и Антону доставляло большое удовольствие всматриваться в лицо новичка — смущенное, взволнованное или, наоборот, ироническое — и рассказывать ему о принципах, по которым живет коллектив: дружбе и товариществе, честности и откровенности, равенстве и уважении к старшим и друг к другу. И Антон был счастлив видеть, как человек начинал меняться, как постепенно расправлялись плечи, разглаживались хмурые складки на лице и загорался взгляд.

Так было, например, с Иваном Курбатовым. Прибыл он недавно, и тонкое, выразительное лицо Курбатова выражало ту самую безнадежность, с которой и сам Антон в свое время приехал в колонию. Антон положил его в спальне рядом с собой, провел по зоне, поговорил, порасспросил о Москве, о строительстве нового большого стадиона в Лужниках и, узнав, что Курбатов хороший футболист, записал его в команду, а потом поручился за него, когда ребята пошли в город, на состязание, — и парень сразу повеселел.

А потом он очень отличился на строительстве бассейна, когда, потный, грязный, стоял на пару с Костанчи, в одних трусиках, по колено в вязком иле и выбрасывал его лопатой на берег.

Так шло лето: нужно было и бассейн поскорее закончить, чтобы успеть покупаться, и строить новое административное здание, и в футбол поиграть, и на своем подсобном хозяйстве поработать, и помочь колхозу в прополке кукурузы. А в кукурузе поймали двух зайчат — новая забава и забота: куда поместить их и чем кормить, кому ухаживать?

А покос! Антон никогда не представлял такой красоты: и луг в цветах, и озеро в лесу, и костер на берегу озера, и запах сена, и дождь, красивый летний дождь — крупные капли шлепаются о голую спину, и чувствуешь, как они, разбиваясь па мелкие брызги, сбегают по ней теплыми, щекочущими струйками. И неизведанное удовольствие во всем этом, и радость жизни. И отдых в копне сена, когда, кажется, нет ничего более важного, чем смотреть вверх, в небо, и следить, как по его голубым

просторам плывут облака... И разговор колхозников о ржи, которая «не густа, а колосиста», о каких-то своих делах и «неуладицах»...

— Люди-то не равны: одни имеют совесть, а другие нахальство. Украсть легче, а по мне — лучше сто потов спустить, да свое получить, заработанное.

— Это верно. Чем украсть, а потом сидеть и дрожать, — это верно! — неожиданно для самого себя вмешался Антон.

— Что? Или обжегся? — спросил его старик с узловатыми, сухими руками.

— Обжегся, — признался Антон.

— Ну, счастью не верь, а беды не пугайся, — сказал старик. — Ничего, парень! Ты кто? Ты еще человек молочной спелости. Ты все можешь. Ты главное, суть забирай в голову. Человек сам себе мудрец, сам себе подлец и сам своего счастья кузнец...

Шло лето, и приближался август, а в августе — родительская конференция. Антон не видел маму с Октябрьских праздников и очень соскучился. Соскучилась и она, часто писала ему и сообщала новости: что очень плоха бабушка, что сама она поступила опять на работу, твердо решив разойтись с Яковом Борисовичем. Антон огорчился из-за бабушки и рад был за маму, за ее правильное решение. Он только боялся, что теперь мама не сможет приехать на родительскую конференцию, не отпустят с работы.

33

«Дорогая мама!

С третьего по пятое августа у нас в колонии состоится родительская конференция. Приезжай. Обязательно приезжай, я буду ждать».

Все это было красиво выведено на аккуратном листочке бумаги, разрисованном цветными карандашами, и выглядело как пригласительный билет на торжественное собрание. Нину Павловну приглашение очень растревожило: отпуска ей еще не полагалось. И еще ее беспокоили два обстоятельства: умерла бабушка, и Нине Павловне больно было везти эту грустную весть Антону. И второе: она случайно встретила на улице Марину под руку с молодым челове-

ком, в котором узнала Степу Орлова. У Степы был явно влюбленный вид, а Марина, очень, кстати, нарядная, заметив Нину Павловну, смутилась. Что это значит? И говорить об этом Антону или нет?

Получив отпуск за свой счет, Нина Павловна поехала в колонию.

— Доедем и приедем,— сказала она словами прошлогоднего попутчика своей новой соседке, направляющейся туда же.— Позвоним со станции, нам вышлют машину...

Но теперь не пришлось даже звонить: народа на конференцию съезжалось много, и к каждому поезду колония высылала специальную машину. Комната для приезжающих была, конечно, переполнена, у Никодима Игнатьевича жил писатель, и Нина Павловна вместе со всеми расположилась в только что отстроенном административном здании. Спали на полу, обед готовили прямо на открытом воздухе, но ради сына чего не перетерпишь — больше терпели! К тому же сюда доносились звуки из колонии: сигналы трубы — подъем, песня и игра оркестра. Все это говорило о жизни, которая шла там, за бывшей монастырской стеною.

Перед началом конференции майор Лагутин собрал родителей и рассказал об общей программе этих дней и правилах поведения,— оказывается, бывают родители, которые и здесь могут причинить вред: принести водку, пиво, в обход установленного порядка взять письма для передачи, рассказать ребятам ненужные вещи об их прежних дружках. Потом все пошли к стадиону и остановились возле красной ленты, преградившей вход. А на стадионе выстроились ребята, и на солнце поблескивали трубы оркестра. Когда была разрезана лента, оркестр заиграл марш, и навстречу родителям от каждого отряда вышел воспитанник с букетом цветов, а вверх полетели голуби. Начался парад: выход начальства, рапорт, «под знамя колонии», и под звуки гимна на высокую мачту был поднят флаг.

Нина Павловна, конечно, не удержала слез, когда на трибуну вышел Антон и от имени всей колонии рапортовал родителям об успехах и достижениях. Она даже не знала, почему плакала: ей и радостно было видеть сына на трибуне, и горько — ведь и в школе он мог быть одним из первых. Глупый он, глупый!..

А голос Антона громко разносился по стадиону:

— Дорогие родители! Прошел год после предыдущей конференции, на которой вы оставили нам свой родительский наказ. В своей повседневной жизни мы всегда помнили его и старались выполнять.

После парада родители разбрелись со своими сыновьями по всей зоне и расположились на стадионе, на травке под тенью тополей, на лавочках. Антон повел Нину Павловну в сквер перед спальней третьего отряда, и здесь, в беседке, она распаковала привезенные из дому лакомства. Она с удовольствием смотрела, как Антон ел, как по-хозяйски угощал ее и рассказывал о своей жизни. Как раз перед конференцией он сдал экзамен на слесаря четвертого разряда, а перед испытаниями выполнил пробную работу: узел для настольного сверлильного станка, которые колония изготовляет для школ.

Он смеялся, что Нина Павловна никак не могла понять технических терминов, которыми он щеголял: пиноль, шпиндель, узел. Нина Павловна тоже смеялась и в то же время радовалась: вот из ее Тоника получился молодой специалист. Она долго не могла собраться с силами и сообщить о смерти бабушки и «измене» Марины. О бабушке она наконец сказала, и Антон до слез огорчился. Но вдруг он вскочил, бросился за проходившим мимо парнишкой и подвел его к Нине Павловне.

— Мама! Это — Ваня Курбатов. Новенький. Мой подшефный,— сказал Антон.— К нему никто не приехал. Ну, одним словом, садись, и все!— решительно заявил Антон, обращаясь к товарищу.

Курбатов упорно отказывался, но Нина Павловна принялась угощать его, и мальчик сдался.

Когда Нина Павловна была здесь прошлый раз, осенью, все выглядело иначе. Сейчас вся колония была празднично разукрашена: арки, приветственные плакаты, замысловатые виньетки, выложенные вдоль посыпанных свежим песочком дорожек, герб из цветов и многое, многое другое,— все говорило о большой любви и заботе, с которой была подготовлена встреча с родителями. Но особенное впечатление произвели на нее новшества, которые появились за последнее время: бассейн, вальсы в столовой во время обеда и торжественное проведение «дня рождения» — так на третий день конференции все собравшиеся поздравляли воспитанников, родившихся в августе.

Все это время, занятое докладами, торжественными концертами, спортивными праздниками, вечером «подведения итогов», Нина Павловна много раз хотела заговорить с Антоном о Марине, но так и не нашла подходящего момента и только перед отъездом спросила:

— Тебе Марина пишет?

— А что мне Марина? — с какой-то нарочитой грубостью ответил Антон.— Я сам для себя живу.

Нина Павловна не стала ничего выяснять, хотя сердцем, конечно, почувствовала, что здесь далеко не все так гладко и просто. А разве можно вмешиваться в сердечные дела?

Зато перед самым отъездом Нина Павловна услышала радостную весть: Кирилл Петрович сказал, что в ближайший выезд областного суда Антон будет представлен к досрочному освобождению.

— Кирилл Петрович! Родной! — Нина Павловна схватила его за руку и тут же смутилась.— Вы меня простите, но... Неужели правда?

— А почему? Конечно! — ответил Кирилл Петрович.— Обязательную часть своего срока он отбыл и зарекомендовал себя хорошо. До сих пор препятствие было в том, что он не закончил профессионального обучения, а без специальности мы от себя не выпускаем. А теперь... Он вам говорил?

— Ну как же! И аттестатом хвалился! — ответила Нина Павловна.

— Ну вот! Это — путевка в жизнь. Мы считаем, что больше держать нам его у себя незачем. Теперь — что скажет суд!

Нина Павловна надавала Антону на прощание всяческих наказов и советов и уехала, полная трепетного ожидания. Неужели конец?

34

Неужели конец?

Кирилл Петрович и раньше намекал Антону на возможность досрочного освобождения, а разговор с мамой сразу приблизил эту возможность. Неужели конец?

Антон надоел Кириллу Петровичу вопросами — когда будет суд? Ему казалось, что он спрашивает редко и между прочим, но так ему только казалось. А Кирилл Петро-

вич понимал нетерпение своего воспитанника и делал вид, как будто бы не замечает его настойчивости.

Вместе с Антоном к досрочному освобождению представлялся и Слава Дунаев.

Для Антона освобождение было рубежом, заглядывать за который у него не хватало сил — резало глаза. А Славик шел на волю с твердой и ясной целью: стать воспитателем.

И он будет, он обязательно будет воспитателем, у него и в характере необходимые для этого черты: и душевность, и твердость, и общительность — цельная натура, «натуральная».

Одно только смущало Славика: ну-ка, не примут его в школу для воспитателей. Кто возьмет на себя ответственность? Была у него тайная надежда только на начальника, Максима Кузьмича.

И они ждали, два друга, и в этом ожидании еще более сдружились — скорей бы!

А дело шло: на ребят готовились характеристики, обсуждались на учебно-воспитательском совете,— все ждали приезда суда. И вот назначена дата и — последняя бессонная ночь.

И в эти бессонные часы родилось заявление, с которым Антон хотел обратиться к суду.

«Написать эти строки заставила меня моя совесть. Пишу их потому, что хочу честно, глядя в лицо правде, отказаться от всего, что позорит человека и мешает ему по-человечески жить.

Право, не знаю, с чего начать. Я не ищу никаких оправданий. Никто не виноват в том, что я не смог выработать в себе характер, будучи на свободе. Никто не виноват в том, что я никого не слушал и, мало что понимая, натворил гадких вещей. И я рад, что меня вовремя остановили в моих заблуждениях. А что могло бы быть, если бы этого не случилось?

Теперь я все понял и решил твердо и бесповоротно стать на тот путь, по которому идут все честные люди нашей страны, труженики, борцы за коммунизм. И я прошу: поверьте мне. Дайте мне возможность отдать все мои силы для этого великого дела. Я клянусь: все надежды, которые на меня возложат, я оправдаю, никого не подведу и честь советского человека никогда в жизни не замараю.

Прошу вас — не останьтесь безучастными к моей просьбе. Трудно дальше терпеть и ждать».

Антон показал написанное Кириллу Петровичу, но тот посоветовал заявление суду не показывать.

— Скажи сам. Скажи то же самое, но своим, живым словом. Живое слово лучше.

Антон так и поступил.

Как на иголках он сидел все время, пока разбирали другие дела, прислушивался и присматривался, как ведут себя ребята, как решает суд. Вот Ткаченко попробовал скрыть первую судимость и этим поставил под сомнение свою искренность. Вот Афонин, объясняя свое преступление, сказал: «Был сильно пьян».— «Значит, что же — каждый пьяный должен быть грабителем?» — спросил прокурор. Вот Дорошевич забыл число участников, забыл, когда было совершено преступление. «А разве это можно забыть? — спросил судья.— Значит, их так много было, твоих преступлений, если забыл».

Антон рассказал о себе все. С замиранием сердца он слушал речь прокурора, слова Кирилла Петровича, который от имени колонии выступал в качестве защитника. Особенно волновался Антон, когда ждал ответа Кирилла Петровича на вопрос судьи.

— А вы уверены в Шелестове?

— Вполне! — сказал Кирилл Петрович так твердо, что Антону захотелось тут же броситься ему на шею.

О том, как Антон ждал определения суда, нечего и говорить. О том, как выслушал его,— тем более: Шелестова Антона Антоновича досрочно освободить, Дунаева Владислава Семеновича — досрочно освободить... Всего выпускали семь человек.

И тут же, в этот день,— «бегунок», обходной лист: в санчасть, в библиотеку, в мастерскую, всюду, куда положено, наконец, последнее — к начальнику службы надзора и — полная свобода.

В хлопотах она пришла совсем неожиданно. Антон даже растерялся — он не успел проститься с ребятами, для входа в колонию уже нужно брать пропуск. И вот он прощается, жмет руки, записывает адреса.

А вот — линейка, торжественная линейка, посвященная проводам: рапорт, «под знамя колонии», гимн — все как обычно. Только теперь это последняя линейка. И Антон рядом со Славой последний раз стоит в строю.

Вот начальник, Максим Кузьмич, в парадном мундире, с орденами, читает вслух определение суда и называет фамилии:

— Шелестов Антон Антонович!.. Дунаев Владислав Семенович!..

Антон, Славик, все семь человек выходят из строя и становятся перед ним.

— Поздравляю вас, товарищи, бывшие воспитанники, ныне свободные граждане Советского Союза, и желаю вам честно блюсти свое имя и трудиться на благо нашей великой родины!

Максим Кузьмич каждому пожимает руку, затем все освобожденные по очереди выступают перед строем и торжественно обещают честно трудиться. Снова гремит музыка, и под звуки марша шеренга счастливых уходит за зону.

Свобода!

У штаба их ждет машина, и сопровождающий Вика-Чечевика — дядя Харитон — повезет их на станцию, там купит билеты и вручит каждому.

Свобода!

И вот стучат колеса, и с соседями можно разговаривать как с равными, за окнами проносятся поля, леса, колхозы — пространства родины, а мысль спешит в Москву, где ждет мама, родной дом и... Получила ли мама телеграмму? Встретит ли? Может быть, даже Марина придет на вокзал? Нет, зачем мечтать о невозможном?

И вот Москва, перрон, толпа встречающих и среди них... Среди них... Неужели не получила телеграмму?

— Мама!

35

Свобода!

Вот она — уже настоящая, полная. Москва — кипящая, бурлящая, сверкающая огнями. Улицы. Небо. Метро. Дом. Комната, где они будут жить с мамой вдвоем.

— Ну, еще раз здравствуй!

И хорошо, что мама наконец ушла от этого Якова Борисовича.

Разговоры, рассказы, планы.

— Никаких планов. Пока живи и отдыхай.

— Что ты, мама? Какой там отдых? Скорей прописаться. Пропишут ли?

— Почему не пропишут? Пропишут! А тогда и об институте будем думать, обо всем.

— Нет, мама! Я — слесарь. Я на работу буду устраиваться.

Так начиналась новая жизнь.

Антон стал другим, совсем другим, неузнаваемым — он рано вставал, быстро одевался, умывался, убирал постель, делал гимнастику, словно боясь растерять заряд, который получил в колонии. А когда Нина Павловна мельком заметила, что пора бы замазывать на зиму рамы, Антон тут же вызвался:

— Рамы? Ну, что ж! Сегодня замажу.

А придя с работы, Нина Павловна увидела, что не только рамы замазаны, но и пол в комнате натерт до блеска.

Антон брался за все и готов был, кажется, помогать во всем. Однажды она рассердилась, когда Антон вздумал чистить картошку.

— Уйди! Это совсем не мужское дело. Ни к чему!

Антон смеялся и, смеясь, рассказывал о тех многих работах, которые ему приходилось выполнять в колонии.

Нина Павловна была счастлива, видя радостное настроение сына. Это был лучший подарок, который она могла получить к Октябрьским праздникам, о чем и написала в своем благодарственном письме Кириллу Петровичу. Поэтому ее очень встревожило, когда у Антона вновь стали появляться иногда приступы грусти или он приходил домой расстроенный и какой-то поникший. На ее расспросы он отвечал коротко и неохотно:

— Так, мама!.. Пустяки!

Но Нина Павловна все-таки допыталась, что не так гладко и не так просто началось вхождение Антона в жизнь. Вот его встретила мать Толи Кипчака и, узнав, сказала: «Что, бандит? Вернулся?»

— А меня, мама, в колонии ни разу бандитом не назвали,— говорит Антон, и губы у него дрожат.

— Ничего, сынок! А ты не обращай внимания. Мало ли что глупая женщина может сболтнуть!

— Но она совсем не глупая! Ведь я действительно бандит!

— Не говори ерунды, Антон!

— А разве это ерунда? Ведь это было! Было!

Вот он на улице столкнулся с Володей Волковым. Он когда-то пробовал помогать Антону по математике, но из этого ничего не вышло. И вот они встретились лицом к лицу, а Володя «не узнал» Антона, отвернулся. Было очень больно, но Антон ничего не сказал маме, он решил: «Ну, что ж! Значит, так и нужно!»

А вот другая встреча, совсем неожиданная. Антон идет по улице, наслаждаясь тем, что может остановиться когда угодно и где угодно, поглазеть на богато обставленную витрину, зайти в музыкальный магазин и прослушать любую пластинку, взять билет в первое попавшееся кино и просмотреть картину. Свобода! И вдруг он слышит окрик:

— Эй ты, Цыпа!

Антон вздрогнул от этой своей прежней клички, сразу напомнившей ему старые, как будто бы ушедшие в вечность времена. Перед ним был Вадик, такой же красволицый и толстоватый, с дерзкими, смеющимися глазами.

— Освободился тоже? Давно?

— Нет, недавно,— ответил Антон, не зная, как себя держать.

— Ну как, в темпе? Что о ребятах знаешь?

— Ничего не знаю... И знать не хочу!

— Ой ты? — пренебрежительно сказал Вадик. — Небось в активе был?

— В активе. А ты? — спросил Антон.

— Конечно!.. Ну ничего, оправдаюсь.

— Значит, что же? В подполье был?

— А чего ж? Чтобы освободиться...

— Ну ладно! Я пошел,— решительно сказал Антон.

— Подожди. А живешь-то там же? Прописали?

— А тебе зачем?

— Знаться не хочешь?

— Не хочу.

— Сука!

Антон резко повернулся и пошел. Как же это все-таки получилось, что Вадик вышел из колонии, а остался тем же? Хитрюга был, хитрюгой и остался!

Антон был рад, что жил на отлете от всех своих прежних «корешков»: бабушка умерла, старый дом, в котором она жила, сломали, а на его месте росло новое большое здание, и Антону незачем было ездить туда, где Витька Крыса собирал в былые времена своих «сявок».

А вот Антон ищет работу. Это, оказывается, тоже не так легко: то места нет, то требуются не те специальности. На одном заводе предлагали работу медника и даже уговаривали, всячески расписывая ее преимущества, но Антон хотел быть только слесарем. Но вот, кажется, нашел подходящее место: инструментальный завод, хороший, известный. «Вакансия есть, заполняйте анкету». Просмотрели анкету: «Зайдите через несколько дней». Зашел через несколько дней: «Извините, место, оказывается, уже занято».

— А ничего оно не занято. Просто брать не хотят запачканного такого,— говорит маме Антон, и губы у него опять дрожат.

Нина Павловна сама думает так же, но пытается успокоить сына:

— Ну что ты чепуху говоришь! Занято,— значит, занято. На другом заводе найдешь.

— А ни на какой другой завод я не пойду,— заявляет Антон.

— Это еще что за новости? Не раскисай, Антон! Не раскисай! — говорит Нина Павловна, а у самой начинают бродить злые мысли.

Один за другим у Нины Павловны рождаются разные планы — обратиться в Верховный Совет, написать в «Правду», позвонить писателю Шанскому и попросить помощи, но она решает совсем по-другому:

— Знаешь что?.. Пойдем к Людмиле Мироновне.

Они идут в детскую комнату, и Нина Павловна высказывает Людмиле Мироновне свои злые мысли...

— Что брать чужого нельзя — это он понял. Но ведь это не все. А вот как идти по жизни и как вести себя в случае ушибов жизни, он, да, пожалуй, и другие, подобные ему, не знают. А жизнь бьет.

— Да, случается,— согласилась Людмила Мироновна.— А почему вы так поздно пришли? — спрашивает Людмила Мироновна.— Я уже давно получила извещение из колонии об освобождении Антона и хотела сама идти к вам... Ну, Антон, давай поговорим. Тебе сколько же теперь?

— Восемнадцать.

— У-у... Так ты уже совсем взрослый. Давай по-взрослому и разговаривать. Ну, с чем пришел?.. Подготовил ты себя к жизни?

— Больше я ничего такого не сделаю! — ответил Антон.

— Ну, я и не сомневаюсь! И не об этом спрашиваю,— сказала Людмила Мироновна.— А что думаешь? Как жить хочешь?

— Работать хочу. Себя оправдать хочу. Чтобы мне верили...

Сказал это Антон приглушенным, упавшим голосом, потому что почувствовал здесь, пожалуй, самое главное свое наказание. Когда-то наказание виделось ему в решетке, в замке, в стене, окружавшей колонию, но вот все это исчезло, ушло в прошлое, и вдруг среди видимой свободы он почувствовал невидимую стену общественного недоверия. И это было страшнее всего.

И, словно уловив его мысли, Людмила Мироновна сказала:

— Я тебя очень понимаю, Антон. Но доверия нельзя требовать. Его нужно завоевать, как и любовь и дружбу. Ведь что такое доверие? Это — общественная стоимость личности. Как любовь и дружбу, его можно потерять в одно мгновение, а на то, чтобы его заработать, нужны и время, и сила, и выдержка, и вера, и большое богатство души, способной доказать обществу, чего ты стоишь. И к этому нужно быть готовым, Антон.

Людмила Мироновна следила, как ложатся и укладываются в душу Антона ее слова, и, почувствовав, что все как будто бы идет благополучно, добавила:

— Ты не только пряники получишь от жизни. Но ты не унывай и не отступай.

— Нет, Людмила Мироновна! Не отступлю!

— А теперь вы меня простите, но я попрошу: посидите минуточку там, в коридоре,— сказала Людмила Мироновна, и, когда Нина Павловна с Антоном вышли, она позвонила на инструментальный завод, где Антону отказали в приеме на работу.

— Что у вас там получилось с Шелестовым? Почему вы его не приняли?

Начальник отдела кадров, пытаясь увильнуть от прямого ответа, сказал, что слесари сейчас заводу не требуются.

— Сейчас?..— переспросила Людмила Мироновна.— Вы что? Взяли?

— Ну, взяли!..— недовольно ответил голос в трубке.— Что я, перед вами отчитываться должен?

— А вы разве не привыкли отчитываться? — Людмила Мироновна начинала уже сердиться.— Вы Шелестову сказали, что место есть. Вы дали ему анкету. Почему вы потом отказали ему?

— Потому что я беру тех, кто мне нужен.

— То есть как это: «я», «мне»?..

— Очень просто: потому что я отвечаю за кадры и не могу засорять их. И я не хочу брать на свою шею того, которого через месяц, может, снова сажать придется.

— Вы, что же, и ему так объяснили? — спросила Людмила Мироновна.

— Нет, конечно, не так, но...

— Приблизительно,— подсказала Людмила Мироновна.— Придется, видно, нам с вами конфликтовать. В райисполкоме придется встретиться. Да, да! В комиссии по трудоустройству.

А пока Людмила Мироновна конфликтовала, приехал дядя Роман. Он был такой же шумный и напористый, а на лице его, обветренном и загорелом, казалось, отпечатались все его труды и заботы. Сверкая крепкими, белыми зубами, он так же шумно и увлеченно стал рассказывать о своей жизни, о работе в колхозе, обо всем, что ему пришлось ломать, строить и перестраивать.

— Ну, с мелочи, начиная с самой маленькой мелочи. Иду по дороге. Направо — рожь, налево — зеленка, смесь овса с викой. И шагает мне навстречу клоп — Ванька Кочанов. Вот такой! — Дядя Роман, нагнувшись, показал, какого роста был Ванька Кочанов.— Глаза синие, ну прямо смотрись в них, как в зеркало. Идет и несет клок зеленки, к рубашонке прижал. «Поросеночку, говорит, несу. Мамка поросеночка купила». А зеленка-то колхозная! Вот и разбирайся: тут тебе поросеночек, тут и мамка, тут и он сам... Ну ладно, всего не переговоришь и не переделаешь. Как у вас? Значит, освободился? — спросил дядя Роман, хлопнув Антона по плечу.

— А что толку, что освободился-то? — недовольно проворчала Нина Павловна.— Называется выпустили, и живи как знаешь.— И она рассказала о мытарствах Антона в последнее время.

— Так, значит... Мало? — усмехнулся дядя Роман.— Выпустили на свободу — и опять мало?.. Да я шучу, шучу!

Подожди, какой завод-то? Знаю, знаю. Придется завтра съездить, поговорить.

На другой день голос дяди Романа гремел в кабинете начальника отдела кадров инструментального завода.

— Один будет отмахиваться, другой,— это что же получается? Хорошо, если парень выдержит. А если не выдержит? Тогда его все заметят и все закричат: бандит, рецидивист! И что же?.. Снова сажать в тюрьму? А поддержи его вовремя...

— Хитро. Они упустили племянничка, а мы его с хлебом-солью встречать должны! Соломку подстилать!

— Кто упустил, почему упустил, разбираться будем особо. А сейчас человека нужно в жизнь вводить, воспитывать.

— А что у нас — интернат? У нас — план, производство, нам некогда с каждым нянчиться, за ручку водить.

— Ну, знаете...— обозлился дядя Роман.— Вы коммунист, и я коммунист, и давайте тогда говорить по-партийному. Как это можно? Парень ошибся. Но парень прошел через наше воспитательное учреждение. Парень вторично прошел через наш советский суд и досрочно им освобожден. Почему вы отказали ему и вместо него взяли другого? Как вы могли разбить его надежды? Как вы могли испортить ему радость возвращения к жизни? Как вы могли подорвать в нему веру в наши, советские порядки и в наши законы? Как вы могли закрыть ему будущее? Разве этого хочет партия? Так пусть она нас рассудит. Я в райком иду!

Не желая ничего больше слушать, дядя Роман стремительно вышел из кабинета и тут же поехал в райком.

И еще одно испытание пришлось выдержать Антону. К нему домой заявился Сережка Пронин. На нем были брюки небесно-голубого цвета, огненные ботинки «на гусеничном ходу» и широкая, заграничного покроя куртка с деревянными застежками.

— Ну, как «там»? Рассказывай! Ты теперь навидался.

— Навидался! — нехотя ответил Антон.

— Ну, рассказывай, рассказывай! Ведь это дико как интересно!

— Нет, Сергей! Интересного ничего нет. Рассказывай ты. Как кончил школу? Куда поступил? Как ребята?

Но Пронин, оказывается, никуда не поступил — учиться ему «не фонтан», а работать, видимо, тоже.

— А ребята?

— А ребята — кто как. Володька Волков, конечно, поступил на физмат. Ну, на то он Член-корреспондент, до академика фактически допрет. Толик Кипчак провалился — куда ему, пигалице. А Орлов Степка сдал на исторический. Этот — битюг, этот вывезет, далеко не пойдет, а свое возьмет. Вот Маринка отколола — это да! Кончила без медали, а на экзамене отвечала — каждый билет от зубов отлетал. И поступить она могла бы как пить дать куда угодно, а вместо этого вертанула знаешь куда? На строительство! Ну известно, романтика! Призыв! Теперь ведь это мода: на производство. Ну вот, помню, она стала агитировать. Ну как же: комсорг! Вот и стала вроде агитатора, горлана-главаря: «Родина зовет! Родина требует!» — «А сама-то, детка, пойдешь? — спрашиваю я ее.— Самой-то небось в институте папаша местечко приготовил?» Ну, тут она, конечно, мне реплику подала, из скромности умолчу, а после этого как же ей не пойти? После этого ей первой идти надо. Ну и пошла! Ее и дружок, Степушка, отговаривал, а она...

— Подожди, какой дружок? — спросил сумрачно слушавший все это Антон.

— Ну, какие дружки бывают? — осклабился Пронин.— Ты о Степе плохо не думай. Он медведь-медведь, а ухватился намертво.

— Врешь ты! — не выдержал Антон.

— Как вру? Все время вместе — чего еще надо? Он и дома у них как дома. И Маринка... Ты думаешь, она святая? Ты знаешь, как она целуется-то?

— А ты-то знаешь?

— Я-то? А как же? Я ее знаешь еще когда целовал? В девятом классе. Когда ты там этими своими делами занимался.

— Врешь, гад, врешь!

Взбешенный Антон схватил Пронина за лацканы его заграничной куртки и начал трясти. Пронин испугался и, глядя в налившиеся кровью глаза Антона, залепетал:

— Что ты? Что ты?

Вырвавшись, он выскочил из комнаты и только тогда уже, приоткрыв снова дверь, крикнул:

— Рано тебя оттуда выпустили, бандита такого! Вот что!

Но Антон уже лежал на кровати, уткнувшись в подушку, и ничего не слышал. А когда через какое-то время пришел Степа Орлов и протянул ему руку, Антон посмотрел на него волком. Он ничего не говорил ему и ни о чем не спрашивал и так, молча, глядел исподлобья, пока Степа, просидев в недоумении минут пять, не ушел.

Нина Павловна сердцем почувствовала, что Антону нехорошо, и наконец решилась спросить:

— А Марине ты не звонил?

И ее удивило, как болезненно поморщился Антон:

— Не надо об этом, мама!

36

Завод, на который поступил Антон, недавно отпраздновал двадцатипятилетие своего существования.

Антон видел лозунги, транспаранты и громадную фотоаллею, протянувшуюся от проходной вдоль всей территории завода. В самом начале ее большими, монументальными буквами было начертано: «Да здравствует героический рабочий класс Советского Союза», а потом шли фотографии лучших рабочих, мастеров, инженеров. Особое место в этой аллее занимала история. «Первые фабзайцы» — значилось под фотографией, а с фотографии смотрели пожилые дяди и тети, «комсомольцы — строители завода», тоже далекие от юношеской свежести.

Начальник отдела кадров говорил с Антоном коротко и сухо, но, давая ему направление в цех шлифовальных устройств, напутствовал:

— Это лучший цех, Красное знамя держит. Не подведи.

Сказал так, точно именно он устраивает Антону такую хорошую судьбу. На самом деле все было иначе. Звонок Людмилы Мироновны его не убедил. Он продолжал считать, что засорять кадры разного рода «проходимцами» нет никакой нужды, потом от этих «контингентов» жди одних неприятностей. Он даже не мог понять, почему милиция носится с Шелестовым, вместо того чтобы держать такую публику в «ежовых рукавицах». Визит дяди Романа его рассердил и окончательно убедил, что от Антона будут одни беспокойства. Поэтому он очень удивился, когда секретарь парткома вдруг спросил его о Шелестове. В полу-

шутливых, полунасмешливых тонах начальник отдела кадров изложил ему всю историю и высказал свое мнение: от мальчишки с таким подозрительным прошлым все-таки лучше отделаться.

Но секретарь парткома, который в свое время, парнишкой еще, таскал кирпичи на строительстве завода, рассудил иначе:

— А что же ты такого плохого мнения о нашем коллективе? Чего ты испугался? И думать-то нужно все-таки шире. Кто-то его должен воспитывать? Мы ж не одним заводом живем, мы в государстве живем.

Секретарь парткома позвонил начальнику цеха шлифовальных устройств.

— Слушай, Сергей Васильевич! Мы тут хотим тебе направить одного паренька. Такого... Ну, из трудколонии вышел. Прими его и устрой... Нет, мы к тебе хотим. Твой цех лучший, коллектив у тебя крепкий, организованный, к тебе нужно. И ты так устрой, найди такое место, одним словом, чтобы парень в хорошие руки попал... Договорились?

Антон пошел к начальнику цеха, но у того началось какое-то совещание, пришлось подождать. Антон остался даже доволен — пока можно было оглядеться. Начинался новый период в его жизни. Ему знаком был рабочий шум — в колонии ведь тоже было производство,— но здесь все выглядело несравнимо крупнее, шире и основательней. Станки стояли почти впритык один к другому, станки разные, иногда знакомые, иногда незнакомые,— одни долбили как дятлы; от других летели яркие, огненные хвосты, точно кометы; третьи окутывались завитушками металлической стружки, играющей, словно мыльная пена, переливами разных цветов.

— Что, парень, смотришь? Ищешь, что ль, кого?— раздался сзади Антона басовитый голос.

Антон от неожиданности вздрогнул, обернулся — перед ним был чем-то похожий на памятного по школе Члена-корреспондента лобастый парень в очках, в рабочей спецовке, с гаечным ключом в руках.

— Нет. Так, смотрю,— смущенно ответил Антон.— На работу поступаю.

— А-а... Куда берут-то?

— Не знаю пока. Вот жду. Слесарь я.

— Слесарь? Иди к нам, в ремонтники.

— В ремонтники? — переспросил Антон.

По правде сказать, эта работа ему не очень улыбалась. Ремонтник все равно что старьевщик-портной, возится с негодным, отслужившим свой век барахлом, и никакой радости! То ли дело — стоять у станка и отшвыривать детали, как вон та девушка в пестрой косынке. Создавать новое — что может быть лучше и интересней?

— А что? Чем тебе ремонтники не по вкусу? — спросил парень в очках.— Да если ты хочешь быть настоящим слесарем, тебе только в ремонтники и идти. У станка ты что?.. У станка ты одну только операцию знаешь, а тут — все; нынче — одно, завтра — другое. Тут залезешь в середину машины, в самую требуху, и копаешься. Вся она у тебя на глазах, вся — в руках. Красота!

Это был Валя Печенегов, физорг цеха, ставший потом хорошим другом Антона. Он так расхвалил свою профессию, что Антон, когда его принял начальник цеха, сказал, что хотел бы работать ремонтником. Но начальник цеха — спокойный, уравновешенный человек с квадратным лицом — на эти слова, казалось, внимания не обратил, а долго и основательно говорил с Антоном. Он подробно расспрашивал о колонии, о порядках в ней, о жизни, о производстве. Попутно он выпытал и что именно умеет делать Антон на практике. Затем он вызвал начальника участка — невысокого человека с умными черными глазами — и познакомил его с Антоном.

— Куда его?.. Он просится к ремонтникам, а я думаю — не стоит. Как по-твоему? Ремонтники нынче тут работают, завтра там, и вразнобой, коллектив не так виден. Я думаю — к тебе, Михаил Павлович, на сборку шпинделей, к дяде Васе.

— Пожалуй! — согласился Михаил Павлович.— Они там в одном кулаке, все на глазах. И бригадира лучше дяди Васи не сыскать. Тут живые люди нужны.

И вот Антон в бригаде по сборке шпинделей — отдельная комната, верстаки, какие-то машины, приборы и два бака с керосином. В комнате, несмотря на вытяжную трубу, стоит крепкий керосиновый запах. В бригаде восемь человек, а над ними — дядя Вася. Хотя нельзя сказать — «над ними», потому что он трудится тут же, рядом со всеми, и производит самые важные и ответственные операции

по сборке шпинделей. Работает он молча, сосредоточенно и очень быстро — необходимые части, все подготовленные, подобранные и промытые в керосине, стоят перед ним в строгом порядке; он берет их, почти не глядя, вставляет, куда нужно и как нужно. Остальные члены его бригады совершают какие-то другие операции, и в общем все заняты.

Когда Михаил Павлович привел Антона («Вот вам пополнение, прошу любить и жаловать»), дядя Вася оторвался от работы и осмотрел его с головы до ног. Взгляд его был не строгий, но острый и изучающий, словно бригадир хотел сказать: «А ну-ка покажись, кто ты есть».

— Четвертый, говоришь, разряд? Слесарь? — переспросил он.

— Да, слесарь четвертого разряда,— ответил Антон.

— Ну что ж, завтра выходи на работу!

Все было очень просто, и назавтра Антон в самом хорошем расположении духа вышел на работу. Дядя Вася, белобрысый, а потому, несмотря на возраст, не седеющий, встретился с ним в раздевалке и, еще раз окинув его взглядом, спросил:

— Пришел?

— Пришел.

— Ну давай!

Потом, распределяя работу между членами бригады, он указал Антону на ящик.

— Тут тебе навитые пружины. Из каждой нужно пять штук вырезать. Разрежешь, заправишь торцы. Как тут, по чертежу. С чертежами-то знаком?

— Да,— не совсем уверенно ответил Антон.

— Ну вот! В чертеже все сказано. Что непонятно, придешь спросишь.

И отошел.

Антон взял ящик, пошел к наждачному кругу, на котором нужно было резать пружины, и стал резать. Антон читал чертежи по той программе, по которой они проходили слесарное дело в колонии. А как разбираться в новых, он был не совсем уверен, но признаваться ему в этом было стыдно. Сама работа была тоже совсем новая, ее в колонии делать не приходилось. Но спрашивать с первого же раза Антону тоже не хотелось, и он начал приноравливаться и, на его взгляд, приноровился: изогнет

пружину, приставит одним витком к крутящемуся кругу и разрежет. И дело пошло.

— Ну что? Работаешь? — спросил проходивший мимо Валя Печенегов.

— Работаю.

— Ну, жми, жми!

Но вот к новому слесарю подошел дядя Вася.

Бригадир стал один за другим брать нарезанные куски пружины и показывать их Антону.

— Смотри: тут торцы пожег, а тут витки порезал. Сколько ж ты браку-то накорежил?

Антон растерянно стоял перед дядей Васей, а тот, перебирая пружины, продолжал отчитывать его:

— А почему не спросил, не проверил? Характер-то, я вижу, у тебя кипятильный. Сам с усам! Есть такие: делать — огонь, а сделал — в огонь, тяп-ляп — вышел карапь, на ура берет, наломает дров, а потом шишки на лбу считает. А другой сразу все проверит и без ошибок обходится. Ты из каких, из первых, что ли? Так не пойдет! Коли делаешь, знай, что куда предназначено. Это тебе не дверная пружина; на двери ей как-нибудь, лишь бы хлопать. Это шпиндель! — И дядя Вася многозначительно поднял палец.— А знаешь, что такое шпиндель?.. Нет, ты сейчас помолчи, ты меня послушай! Это приспособление для внутренней шлифовки. Ну, к примеру, орудийный ствол, или кольцо, или какая-нибудь другая деталь. И что у него для этого должно быть? Эластичность, мягкость хода, чтобы шлифовать, а не рубить и чтобы никакой дроби не было. Все это понимать нужно, коли берешься работать.

На другой день дядя Вася заставил Антона промывать детали в баке с керосином. А когда детали выстроились перед дядей Васей, он одну за другой отставлял в сторону.

— А ты внутрь заглянул? — спрашивал он Антона.— Видишь, там желобок! А в нем песчинка, опилка осталась. А ты знаешь, какая скорость развивается в шпинделе? Тридцать тысяч оборотов в минуту. Вот и прикидывай, что эта опилка наделает там, внутри, как все исчертит да расцарапает. В шпиндель нужно глядеть как в свой глаз. И вообще, дружок, давай-ка начинать сначала. Вот на стенке висит чертежик, изучи, что к чему. И помни: какая вещь, такие и требования. Одно дело — набойки

подбирать, а другое дело — шпиндель собирать. И еще помни: ты не один, мы вместе трудимся. Давай-ка подтягивайся!

Так Антон начал свою работу на заводе.

37

Есть такие грибы: «толстокоренные» — говорится о них. Вот такой же был Степа Орлов: коренастый, большелобый, большеголовый, широкий в плечах. Здороваясь с Мариной, он боялся пожать ей руку, настолько девушка казалась ему маленькой и хрупкой. Правда, когда он видел Марину в спортивном зале, когда она прыгала, играла в баскетбол и упражнялась на брусьях, он убеждался, что она совсем не такая уж слабенькая и, оказывается, много сильнее рослой и крепкой на вид Риммы Саакьянц. Но это усиливало в нем его удивление перед ней и робость.

Родители Степы кое-как сводили концы с концами. Но как бы туго ни приходилось, они никогда не изменяли главной цели, которую, не сговариваясь, поставили перед собой: учить детей. Сами малограмотные, проведшие всю жизнь в труде, они видели открытую для сына дорогу.

Об этом много раз и говаривал Степе отец. Немного шумноватый, а в общем хороший, честный работяга, он любил пофилософствовать о жизни; тогда, посадив перед собой сына, начинал «учить».

— Ты живи без хвантазий. И живи ты так, чтобы по жизни, как по одной половице, пройти — не шелохнуться чтоб, не ворохнуться, чтоб и под гору и в гору одним шагом идти и никаких чтоб у тебя перекосов не было. На это человеку голова дадена. Я жизнь прожил как слепой котенок, ничего не знал, хотя по своей работе все что нужно с зажмуркой сделаю. А тебе все в руки само плывет: учись! И не так, чтоб с вороны на зайца перескакивать, чтоб во всем свою точку найти.

Многое из этих поучений выветривалось, многое по размышлении отвергалось как неподходящее, а многое оставалось. Не хватая звезд с неба, Степа уверенно «как по одной половице», шел в школе из года в год, из класса в класс, шел «без хвантазий»: то, что давалось с трудом, в конце концов прочно усваивалось, спрессовывалось, прев-

ращаясь уже во что-то единое, цельное, свое. Так ученье-труд превратилось у него в потребность.

Вот почему Степа не соглашался с Мариной, когда заходила речь о дальнейших путях жизни.

— Я учиться хочу. Учиться — это тоже жить! Учиться — это тоже работать. Учиться — это тоже служить народу, все пройти и познать, и окинуть мысленным взглядом все, вплоть до самых высоких, сияющих в солнечном свете вершин.

И он не совсем понимал добровольный отказ Марины от института. Она сердилась.

— Ой, как ты красиво говоришь! — возражала Марина.— Только эти вершины твои нужно завоевывать. Их нужно строить, в конце концов! Потому что если их не построишь, то их никаким взглядом не окинешь и изучать нечего будет. Их возводить еще нужно!

— Но возводить их нужно не только руками. И если у тебя хорошая голова...

— А если сейчас нужны хорошие руки?.. Ты понимаешь, я хочу быть там, где нужно, где я больше всего нужна!

— Ну, тем более, Марина! Тем более! — Степа смотрит на нее очарованными глазами.— Ты же с полетом!.. Горящая!.. Ты такая...

У Степы перехватывает дыхание, а Марина сначала смущается его явно влюбленного взгляда, а потом решительно берет себя в руки.

— Ну, это глупости! Это ты совсем глупости начинаешь говорить, Степа!

Степа замолкает, свет в его глазах гаснет.

— Ну, как хочешь!

И трудно сказать, к чему относится это покорное «как хочешь».

Но Степа все-таки продолжал ходить к Марине, а Екатерина Васильевна все больше ему покровительствовала именно за его, как она говорила, трезвый разум — «хоть не блестит, а золото!» — и за его поддержку в той борьбе, которая шла в доме. Решение Марины идти работать именно на стройку вызвало яростную атаку Екатерины Васильевны на мужа, и атака эта поколебала даже Георгия Николаевича.

— Видишь ли, Мариночка! — говорил он дочери.— Я тебя вполне понимаю, но... Все имеет свои границы.

Прекратить образование, остановиться в своем интеллектуальном развитии...

— А почему «прекратить»? Почему «остановиться»? — перебила его Марина.— Я поступлю на вечерний, окончу институт и буду инженером-строителем. Тебя это успокоит? А трудности... Ничего! Чем жить трудней, чем радостней!

— Милая моя! Горячая моя головка! — Георгий Николаевич погладил дочь по золотистым волосам.— Ты думаешь, это так легко? Физический труд — тяжелый труд и может оказаться тебе совсем не по силам.

— Почему? — не унималась Марина.— Почему ты обо мне так плохо думаешь? Для чего же я занималась спортом? А если... А если будет тяжело, ну что ж... Перетерплю! Разовьюсь, закалюсь! Милый мой бутя! Ты же сам меня учил: делай то, что нужно народу! Живи так, чтобы слово не расходилось с делом. Учил?

— На слове ловишь? — засмеялся Георгий Николаевич.— На это и сказать нечего.

— А раз нечего, так не нужно!

— Вот так, Катюша, и приходит в жизнь новое,— говорит потом жене Георгий Николаевич.— И даже не приходит, а вторгается, и что-то ломает, и кое-что заставляет пересматривать. И ничего с ним не сделаешь!

Так Марина стала строителем. У нее зашершавели руки, обветрилось лицо, но она приходила домой возбужденная, бодрая, и ни слова жалобы не слышали от нее домашние. Не слышал и Степа, который продолжал заходить к ней, приносил билеты в театр и на концерты. Марина охотно ходила с ним и только один раз, найдя подходящий предлог, отказалась.

— Я лучше отосплюсь! — объяснила она матери.

— Ну что? Я тебе говорила! — кольнула ее Екатерина Васильевна.

— Ну ладно, мама! Ладно!

Марина продолжала встречаться со Степой, рассказывала ему о своей работе, расспрашивала его об университете, о занятиях и успехах, и этого ему было достаточно.

Нет, конечно, не совсем. Как можно удовлетвориться малым? Вот они слушают Грига, и Степа замечает слезинку, сверкнувшую в глазах Марины. Он прикрывает ладонью ее руку, такую, как ему кажется, маленькую и хрупкую, но она отодвигается. Ну что же! Как хочешь.

Но по пути домой она сама берет его под руку, и Степа счастлив. Что ему в конце концов нужно, кроме дружбы?

Но вот он приходит к ней и говорит:

— Ты знаешь? Антон вернулся!

Ах, зачем он это сказал? Какую непоправимую ошибку он сделал!

Марина прикладывает руки к разгоревшемуся лицу.

— Вернулся?.. Когда?

— Я не знаю. Я был у него, но он какой-то чудной. Совсем не в себе. Как волк!

Марина старается успокоиться, но, боже мой, как трудно успокоиться! Как трудно, почти невозможно выдержать настороженный взгляд понявшего все Степы! Он здесь! Все оборвано и почти забыто и выдрано, кажется, с корнем, и вдруг все снова вспыхнуло, как пламя, как взрыв,— Антон здесь!

38

Он здесь!

Эта мысль не давала Марине покоя: он здесь! Антон уже давно здесь и не подал о себе никакой вести. Ну и ладно! Ну и хорошо! Ты же сама хотела этого? Зачем тебе какие-то вести о нем?

Но почему? Почему он все-таки молчит? Пустой, глупый и даже нечестный вопрос. Как будто бы не ясно, почему он молчит. Этого может не знать мама, может не знать Степа, но — она сама? Зачем перед собой хитрить и себя оправдывать? Она великолепно знает, почему он молчит.

Ну а как можно было поступить иначе? Марина вспоминает разговоры с матерью, ссоры, тяжелую атмосферу в доме. На душе на какое-то время становится легче, и вопросы теряют свою остроту. Но вот Марина видит в «Комсомольской правде» крупный заголовок «Не оставлять в беде» и жадно пробегает статью глазами.

«Знали мы с Германом друг друга с детства. Отец его погиб на фронте, мать умерла, когда Герману было четырнадцать лет. Он бросил учиться и пошел на завод. Мы очень дружили с Германом со школьных лет, я часто бывала у него».

Дальше Татьяна Л., именем которой подписана корреспонденция, рассказывает, что однажды поздно вечером на нее напала компания пьяных ребят, среди которых, к ее ужасу, был Герман.

«Я вырвалась и бросилась бежать. Не могу передать, что я передумала в эту ночь, как плакала. Все кончено! Что общего у меня может быть с таким человеком? Пусть живет как хочет!

А Герман продолжал катиться вниз, уволился с завода и жил неизвестно на какие средства.

Вот тут я и поняла, что наделала,— оставила товарища в беде. Это ли не беда — попасть в дурную компанию!»

И Татьяна Л. — «совсем как Татьяна Ларина», подумала Марина — сделала решительный шаг: она пошла к Герману и, застав у него пьяную компанию, разогнала ее, выключила радиолу, открыла форточку, бросила в ведро недопитую бутылку водки, унесла на кухню грязную посуду, стряхнула крошки с залитой вином скатерти. А когда один из оставшихся гостей попробовал сопротивляться, то Татьяне на помощь неожиданно пришел сам Герман — он вскочил с дивана, схватил парня за шиворот, встряхнул два раза и вытолкнул за дверь.

«Ты прости меня, Танюша,— сказал он своей, оказавшейся такой верной ему, подруге.— Я больше никогда не буду огорчать тебя».

«С тех пор прошло несколько лет,— заканчивает Татьяна Л.,— Герман стал моим мужем. Он по-прежнему работает на заводе, учится теперь уже в десятом классе вечерней школы, осенью собирается на вечернее отделение института. А если бы я вовремя не пришла к нему на помощь, быть может, все было бы совсем иначе!..»

Все было бы совсем иначе! Конечно, иначе!

Вот это друг! А она... Умыла руки и оставила Антона в трудную минуту и оттолкнула, дважды оттолкнула, когда, может быть, решалась его жизнь: когда он падал и теперь, в самый момент взлета, когда он получил аттестат зрелости и, встречая солнце на берегу какой-то тихой, поросшей ивняком реки, мысленно рвался к ней, Марине. «Я больше писать не могу...» Почему? Чем она объяснит, если он спросит ее: почему? Мамы испугалась!.. Как

стыдно!.. Он не ответил ей на то позорное письмо. Обиделся? А может быть, даже не обиделся? Может быть, хуже? Может быть, она подрезала ему крылья... погубила его?

«Он какой-то чудной, не в себе, как волк»,— вспоминаются Марине слова Стены.

Ну конечно! Конечно, она во всем виновата! Строить дома... Но разве не важнее еще строить человека?

И как можно? Если ты поднялся на ступеньку выше, так разве можно забывать о тех, кто отстал, кто там, внизу? Не хочет? Как так не хочет? Как может человек не хотеть быть человеком? Как хорошо тогда сказал папа: есть люди неисправленные, а неисправимых трудно представить. Двигаться вместе и помогать друг другу. Как на фронте! Вот вспоминается какая-то кинокартина — форсирование Днепра: люди плывут и поддерживают друг друга и вместе добираются до берега и идут дальше, плечом к плечу. Вот это дружба, настоящая, боевая, огневая!

Не раздумывая больше, Марина одевается и идет к Антону. Она поднимается на лифте, останавливается у двери, нажимает кнопку звонка и, прислушиваясь к шагам за дверью, ждет, кто ей откроет.

Открыла Нина Павловна и в изумлении попятилась.

— Марина?

— Антон дома? — с той же нисколько не остывшей, горячей решительностью спрашивает Марина.

— Антон?..— как бы не понимая, повторяет Нина Павловна. И вдруг, спохватившись, радостно и торопливо говорит: — Дома! Дома!.. Антон! — кричит она.— Смотри, кто пришел! Да вы заходите, заходите!

Марина идет в комнату и видит перед собой Антона. Он стоит у стола и напряженно смотрит на нее. Он, конечно, понял, что пришла она, и ждет. Марина тоже на секунду останавливается в дверях. Антон! И тот и не тот. И выше как будто еще, но шире — шире в плечах! И лицо: тверже, определенней, взрослей. Не мальчик! А главное: усы! Они только пробиваются, но уже явной тенью легли на верхнюю губу и кажутся чужими: тот Антон был без усов. И глаза... В них радость и изумление. Пожалуй, это такое же изумление, как у Нины Павловны... Нет! Другое! Но ничего «волчьего» нет, хотя он не делает навстречу ни одного шага.

— Здравствуй, Антон! — с трудом произносит Марина.

— Здравствуй! — Он крепко жмет протянутую ему руку.

— А я сейчас чайник поставлю, чай будем пить,— говорит Нина Павловна и уходит на кухню, плотно затворяя за собой дверь.

— Ты на меня сердишься, Антон? — спрашивает Марина и, не дождавшись ответа, добавляет: — Ты можешь сердиться. Ты имеешь на это право.

— Право? Какое я имею право? И вообще...

— Не надо «вообще», но я... Я должна была...

— Что ты должна? Ничего ты мне не должна.

На смену первому изумлению, сквозь которое так явственно проступала радость, пришло вдруг что-то встревожившее Марину. Антон даже не предложил ей сесть, и они так и стояли друг перед другом.

— Но ведь ты же обиделся на меня. Зачем скрывать? Обиделся!

— За что?..— упрямо смотрит на нее Антон.— И как я мог на тебя обидеться?

И Марина действительно не почувствовала у него обиды ни в глазах, ни в тоне. Но она заметила что-то другое, необычное и непонятное. Нет, Антон не опускал глаз, но в них было что-то, чему Марина не могла подобрать слова, чего она еще не встречала у людей. Униженность? Нет, не униженность. Стыд? Не стыд. Отчуждение? Не отчуждение. Но это было и то, и другое, и третье, и что-то еще, что он принес «оттуда». И она вдруг все поняла, всю тяжесть того, что он принес. И не в простой обиде тут было дело.

— Прости меня, Антон! — заговорила она искренне, боясь, что он перебьет.— Я виновата! Я очень перед тобой виновата. Очень! Но я не могла. Прости меня: я не могла иначе. Все это было так сложно.

И Антон почувствовал тонкую и самую последнюю, самую искреннюю искренность, которая прорвалась в ее голосе, и взгляд его дрогнул тоже, помягчел и потерял «то», непонятное и чуждое ей.

— Я понимаю тебя, Марина,— сказал тихо Антон.— И не сержусь. Честное слово, не сержусь. Мне, конечно, было обидно. Мне было очень обидно, но... Какое я имел право обижаться? И вообще, на кого я могу обижаться?

— Послушай, Антон! Почему ты все время так говоришь? «Я не могу», «я не имею права»... Что за глупости?!

Опущенный взгляд Антона сказал ей больше, чем любые слова: он стыдился! Теперь было совершенно очевидно: он стыдился.

— Так нельзя, Антон! Так нельзя! — воскликнула Марина.— Я понимаю, что тебе сейчас трудно. Тебе, может быть, сейчас труднее, чем прежде, чем «там».

Антон вскинул на нее взгляд, благодарный до беспомощности. «Труднее, чем там»... Как она это поняла, как тонко почувствовала. А Марина увидела эту беспомощность, и голос ее стал еще горячее:

— Но ты не должен унижать себя. Ты на все имеешь право. На все! Ты можешь и сердиться и обижаться — все! И не нужно смотреть, как Степа сказал, волком. Зачем волком?

И все бы разъяснилось, если бы она не упомянула имени Степы, если бы не приглушила этим то теплое, благодарное чувство, которое поднялось было в душе Антона. Имя Степы разрушило все. Сразу вспомнился Пронин и его болтовня. Что Пронин целовал Марину — Антон не допускал. Он хорошо знал Сережку — рябь на воде! — и слишком верил в Марину. Врет Пронин! Но Степа... Тут незачем было врать! А тогда зачем пришла Марина? Пожалеть? Поддержать? Как Слава Дунаев сказал бы — «из сознательности»?.. Конечно, из сознательности! Ведь она такая... «идейная»! Ну а мне не нужно ее идейности и не нужно никакой жертвы! Обойдусь как-нибудь сам!

Антон сразу замолчал и сник, и Марина не могла объяснить себе этой перемены.

А за дверью томилась Нина Павловна. Чайник давно вскипел, она поставила посуду на поднос и приготовилась нести его в комнату. Но, услышав голоса, остановилась. Пусть говорят! Но разговор почему-то прервался. В чем дело? Вот Марина встает, прощается. Господи! Как же так?

— Ну, спасибо тебе, Марина,— говорит Антон,— за память, за внимание. А дружку своему скажи, чтобы он на меня не обижался.

— Подожди!.. Какому дружку?

— Ну, Марина!.. Зачем?

Антон в упор смотрит на нее, и значительность взгляда лишает Марину возможности уйти.

— Антон! Я ничего не понимаю.

— Это на тебя совсем не похоже, Марина. Зачем? Повторяю, ты мне ничего не должна.

— Антон!

— Что «Антон»? И зачем притворяться? Мне Сережка Пронин все рассказал.

Марина смотрит на Антона широко открытыми, недоумевающими глазами, а потом в них загорается... Трудно даже сказать, что загорается в глазах девушки, сердцем своим почуявшей правду. Как когда-то в школе, после объявления по радио, когда Антон шел, демонстративно подняв голову, и вдруг, увидев Марину, повернулся и ушел из школы. И она тогда почувствовала: из-за нее!

Так и теперь. Ревность!.. Марина не может произнести этого слова, оно слишком взрослое и... Она не знает еще — хорошее оно или плохое? Но сейчас оно радует ее. Значит... Значит...

— Степа?..— спрашивает она особенным, совсем не своим голосом.— Глупый ты, Антон! Какой же ты глупый! Степа хороший парень. Степа очень хороший парень. Но это... Это же совсем... это совсем другое!

И у Марины неожиданно на глаза набегают слезы. Она даже не знает, как это получилось и почему. Глупо и совсем некстати.

Впрочем, кто в этих случаях может сказать: что кстати и что некстати! Все происходит нечаянно.

Так вот нечаянно Антон, пораженный слезами Марины, быстро подошел к ней, обнял и прижал ее лицо к своей груди, а она тоже нечаянно обвила его шею рукой. И все получилось так, как рисовали ее девчоночьи, навеянные кинокартинами мечты: без затяжного поцелуя крупным планом, а вот так — доверчиво и нежно.

Нина Павловна подогрела еще раз чайник и, сидя на табуретке возле кухонного стола, выжидала момент, когда можно угостить дорогую гостью чаем. И вдруг неожиданно открылась дверь и Антон сказал:

— Мама, я пойду проводить Марину.

— Как «проводить»? А чай?

— Ну что ты, мама? Какой чай? К чему?

Взглянув на сияющее лицо Марины, Нина Павловна поняла, что действительно чай сейчас будет совсем некстати.

39

За отца Марина была спокойна: он поймет. А мама... Марина каждый день собиралась сказать ей об Антоне и каждый день не решалась. И Марина не позволяла Антону ни звонить, ни заходить к ней. Приходилось опять назначать встречи на улице — скрывать и таиться.

В этом были свои тяготы и свои прелести. Придет или не придет? Антон был уверен в Марине и все равно каждый раз волновался. Вот стрелка подходит к назначенному часу, вот прошла минута, другая, и сердце уже начинает ныть. Он стоит в переулочке, против ее дома, смотрит на ее окно и следит за ее дверью. Входят и выходят разные чужие люди, а Марины нет. Но вот неожиданно показывается ее родная, милая фигурка; Марина торопится, Марина подходит и улыбается. Ему!

И они идут, взявшись за руки, счастливые тем, что они вместе. Кругом воет вьюга, снег слепит глаза, ложится белым ворсом на плечи, на воротник, но они счастливы, потому что они вместе.

— Ты не замерзла?

— Строители не мерзнут. А метель — моя любимая погода. Пушкинская!

Они идут переулками, они заходят в тот же парк — «в наш парк» — к памятнику Павлику Морозову, и вьюга им не вьюга, метель не метель, потому что они счастливы.

Ну а когда Марина упомянула в разговоре с мамой имя Антона, получилось именно так, как она ожидала: Екатерина Васильевна насторожилась, потом, выпытав все, вскипятилась и «дала бой». Георгий Николаевич только развел руками:

— Что же поделаешь? Катюша! Видимо, нужно примириться, молодость всегда может чем-нибудь удивить.

Но Катюша могла примириться с чем угодно, но не с крушением своей политики.

— Твоя уступчивость, твоя бесхарактерность губит ее! — запальчиво говорит она мужу.— Ну разве они — пара?

— Прости, Катюша, но я не совсем понимаю: пара — не пара... Пока, по-моему, ни о чем таком и речи нет.

— Это по-твоему... Если бы все получалось по-твоему!

— Ну хорошо, Катюша, пусть будет по-твоему. Но если речь идет о «паре», тем более не нам судить. Это уж, как говорится, созвучие душ.

— А ты думаешь, что говоришь? — продолжает неистовствовать Екатерина Васильевна.— Созвучие душ!.. Ведь он же бандит!

— Ну, Катюша, тут я даже не знаю, что тебе сказать. Я вполне допускаю, что человек, прошедший через испытания, может достигнуть в своем развитии не меньших результатов, чем тот, кто развивался, так сказать, по принципу равномерного и прямолинейного движения. Отнюдь не меньше! Тут все зависит от человеческих качеств. А в этих делах, Катюша, доверимся Мариночке. Она у нас разумная девочка. Сердце само разберется, сердце не ошибается.

— Сердце?.. Еще как ошибается-то! А по-твоему, что же: любить сломя голову? Не рассуждая?

— Это, конечно, сложный и, можно сказать, теоретический вопрос: о рациональном и эмоциональном начале любви,— пытается Георгий Николаевич сформулировать свой ответ.— Но я знаю одно: если бы я в свое время послушался своих родителей, я бы на тебе не женился.

Георгий Николаевич опять уехал в новую командировку, так и не решив проблемы о рациональном и эмоциональном начале любви, зато Аленушка в секретных разговорах твердила сестре одно и то же:

— Ты никого не слушай — люби! С рассудком — не любовь, и тот, кто рассуждает о любви, не любит.

Она тоже решала свою судьбу: среди всех, кого знала, она никого не находила лучше, чем ее Монбек. Теперь он заканчивал Московский университет и должен был уехать к себе на родину. И вдруг Аленушка объявила: она едет с ним в Корею. Это был тоже удар для Екатерины Васильевны, но Аленушка оказалась тверда как кремень и этим как-то помогала и Марине.

А Марина решила все споры по-своему. Она пришла к матери, когда та легла уже спать.

Они проговорили половину ночи..

— Мутик! Милый! — горячо шептала Марина, обвив шею матери рукою. — Ты не сердись, ты пойми!.. Главное, обо мне не думай плохо. Ведь ты знаешь, какие бывают девчата: нынче с одним дружат, завтра с другим.

— И слово-то превратили во что-то ужасное,— заметила Екатерина Васильевна,— потому что для них это вообще не дружба, а совсем другое, нехорошее.

— А я... Меня девчата монашкой зовут. А теперь... Я не могу выразить, что делается со мной. Ну ты скажи... Нет, ты скажи — можно полюбить по желанию? Или, наоборот, разлюбить? А?

— Видишь ли, дочка! — тронутая искренностью ее тона, отвечала Екатерина Васильевна.— Плохо о тебе я не думаю. Как я могу о тебе плохо думать? Глупышка! Но и ты обо мне плохо не думай и тоже пойми. Я твоя мать, я больше тебя знаю, понимаю, и тебе я желаю только добра. Вот ты сама говоришь, что не можешь выразить своего состояния. Это — возраст! Девичья любовь — как утренний туман. Он окутывает все своими розовыми клубами, и все тает в нем. А потом он рассеивается, и тогда обнажаются реальные очертания вещей.

— Ну и что? — спросила Марина.— Глядя по тому, что́ обнажается. Ну ты, например?.. Ты разве недовольна тем, что вышла замуж за папу?

— Дурочка! — усмехнулась Екатерина Васильевна.— Так твой папа совсем особенный человек.

— А может быть, он потому и особенный, что ты о нем так думаешь, что веришь в него. Я ничего не знаю о любви, но мне кажется, верить в человека — в том вся суть любви. Вот, например, ревность, хорошее это чувство или плохое?

— Не знаю,— задумалась Екатерина Васильевна.— Мы с твоим папой прожили хорошо, нам краснеть не за что, а говорят, что любовь без ревности невозможна.

— А если веришь? — спросила Марина.— Как можно ревновать, когда веришь? Любовь без веры... Какая же это любовь? Нет! По-моему, самое главное: верить в человека и возвышать его и вместе с ним возвышаться самой и идти...

Марина мечтательно смотрела перед собой, точно вглядываясь в будущие, неведомые пути жизни.

— Да, но для этого нужен человек, который возвышал бы тебя,— не могла не возразить ей Екатерина Васильевна. — Почему мы так безоблачно прожили с твоим папой?

— Ну, что ты все — «прожили, прожили»?..— перебила ее Марина.

— И живем!— поправилась Екатерина Васильевна.— Потому что душа у него чистая, как стеклышко.

— А ты не унижала его!

— Ну конечно!.. А если другой человек? Наоборот?

— Я знаю, что ты имеешь в виду! — Марина решительно поднялась.— Никакого «наоборот» нет! Мы договорились с Антоном: я его ни о чем не спрашиваю, и он мне ничего не рассказывает. Прошлое в прошлом! И я хочу, чтобы он совсем забыл его, чтобы оно не давило на душу. Мы не о прошлом, мы говорим с ним о будущем, мы говорим о том, каким должен быть человек при коммунизме.

— Ну и что же вы решили? Какой же должен быть человек при коммунизме?— полюбопытствовала Екатерина Васильевна.

— А такой!..— решительно и без запинки ответила Марина.— Чтобы не «я хочу», а «я должен»,— вот! Чтобы главным в нем было чувство долга.

— Ну, это как сказать!— перебила ее Екатерина Васильевна.— А может быть, «хочу» и «должен» как-нибудь соединятся тогда?

— Может быть!— согласилась Марина.— А потом... Я не знаю, как выразиться. А вообще жизнь и на пуды и на умы нужно мерить. Вот говорят: главное — это отношение к труду, к социалистической собственности. А ведь можно и работать хорошо и не воровать, а к новой жизни-то, коммунистической, не быть готовым.

— Подожди, подожди. Что это ты мудреное говоришь.

— А что тут мудреного? Ты думаешь, мама, я все еще девочка? Я «пороху понюхала», и людей повидала, и правду и неправду начинаю понимать. Вот есть у нас шофер Сивопляс — фамилия такая чудна́я. Шофер как шофер, как говорится, вкалывает вовсю, проценты хорошие дает, а хам, ругательник, гуляка, бросил жену с ре-

бенком и теперь ни одной девушки не пропускает. Он и работает-то для того, чтобы повеселее пожить. И совсем тут дело уже не в труде, а в душе. Если он нагрубить может, оскорбить человека, если он не заметит чужого несчастья и пройдет мимо нужды...

— Ты садись-ка и подбери ноги, простудишься,— сказала Екатерина Васильевна.

— Или какой-нибудь начальник,— не обращая внимания на замечание матери, продолжала Марина.— Он до полуночи может сидеть на заседаниях и целыми днями работать, а если за этим фасадом кроются разные комбинации да махинации, а о своих рабочих, о народе он и думать не думает, да еще и нос дерет, и до людей ему нет никакого дела — годится такой для коммунизма?— Марина подобрала ноги и, поджав их под себя, с тем же азартом закончила:— Как он к человеку относится, к обществу,— вот главное! И — к чему стремится, в чем счастье видит! А по-моему, настоящее, коммунистическое счастье человека в том, чтобы делать людей счастливыми. И коммунизм вообще... Я не знаю... Социализм, по-моему,— это товарищество, а коммунизм — это дружба, это любовь к человеку, расположение. И чувства... При коммунизме чувства должны быть открытые. Все, что есть у тебя на душе, должно быть и снаружи. Не нужно ни прятаться, ни притворяться.

— Это кто же — ты или Антон такие вещи проповедует?— спросила Екатерина Васильевна.

— А что? — насторожилась Марина.— Ты думаешь, он не думает?

— Я этого не говорю, но...

— И никакого «но»!— решительно заявила Марина, снова опуская ноги с кровати.— Ты знаешь, какие есть среди молодежи? Ни о чем не задумываются, а так — живут и живут без вопросов. Да еще насмехаются над теми, кто думает, дразнятся: «Идэйные!» Вот эти-то хуже всего, они на все способны. Они свое, низменное, ставят выше всего и из-за него на все способны. И Антон... Раньше он такой и был, и от этого... все от этого и произошло. А теперь... Вот мы ездили с ним за город, на лыжах кататься, и на площадке вагона он показывает сделанную кем-то надпись: «Ехал без билета», подпись, число. «Обманул на два рубля государство и рад». Это Антон говорит.

— Сказать все можно! — проговорила Екатерина Васильевна. — А уж если человек один раз совесть потерял...

— Неверно! Неверно! — закричала Марина, вскочив с кровати. — Вот ты бы поговорила с ним... Он теперь совсем другой! Он думает, стремится, он рвется к хорошему. А если человек стремится, он всего добьется, он может подавить одни свои черты, развить другие и управлять своим характером. Ну, что ты смеешься? Разве неверно? Хорошие люди не рождаются, хорошие люди вырастают. И вообще, мама, осудить человека легко, а понять трудно!

Так они ни до чего и не договорились.

И все равно! Пусть она не договорилась с мамой, но Марина пригласила к себе Антона и угостила его чаем. Но Антон чувствовал себя неловко и старался к ней не заходить — куда приятнее пройтись по милым переулочкам и посидеть опять у памятника Павлику Морозову.

Марина недавно окончила краткосрочные курсы крановщиков и была на седьмом небе.

— По устройству крана — пять, по технике безопасности — пять, по электрооборудованию — пять! — хвалилась она Антону. — В блеске! Нас только двое так сдали из двадцати трех. Здорово, а?

Теперь ее перевели на другое, крупноблочное строительство. Работать там было хорошо и весело — сидя в кабине своего крана, она могла наблюдать всю картину большой стройки и потом делилась с Антоном.

— Ты знаешь, я на одном блоке написала... Ну, одним словом, мраморной доски не нашлось, так я прямо по бетону: «Здесь работала Марина Зорина». Чернильным карандашом написала. Как, по-твоему, смоет дождем или нет?

Особенно ее восхищали монтажники.

— Если бы ты видел, как они работают, — говорила она. — Легко, красиво! Мне иногда даже самой хочется к ним. Дело трудное. Блоки эти бетонные, огромные, а они с ними так управляются! И ребята хорошие, только ругаются очень. Шик, что ли, видят в этом? А шика никакого нет, просто стыдно! А главное, понимают: заметят нас, девушек, извиняются, а потом — опять. А ведь этим не нас — они себя унижают!

Рассказывал и Антон о себе — он тоже постепенно осваивался с делом, но у него все было труднее, сложнее и не так весело. Уже первые дни на заводе — история с пружинами, с промывкой деталей — настроили его на невеселый лад: ему хотелось сразу показать себя, а вместо этого — конфуз и строгая отповедь дяди Васи за «кипятильный характер».

А дядя Вася, отчитав Антона и заставив его как следует изучить «чертежики», приметил, как он во время обеденного перерыва сидит один, на отлете, и сосредоточенно что-то жует.

— А ну! Что ты там, комар-одиночка? Садись в «козла» играть! Садись, садись!

В «козла» играть Антон не любил, но для компании сел и проиграл.

— Плохо ты фишки в голове держишь,— сказал дядя Вася.— Ты ж видел, что я на четверках играю!

После перерыва дядя Вася стал на свое рабочее место и подозвал Антона:

— Вот теперь смотри!

Дядя Вася взял блестящий, отполированный цилиндр и повертел его перед Антоном.

Шаг за шагом дядя Вася показывал Антону все операции и попутно объяснял и предостерегал, что будет, если он плохо закрепит втулку стопорным винтом или неточно поставит распорное кольцо. Закончив объяснение, бригадир поставил Антона рядом с собой и велел самостоятельно, от начала до конца, собрать шпиндель.

Антон долго возился, то подсматривая за тем, как работает дядя Вася, то заглядывая в висящий на стене чертеж, и в конце концов собрал. А тогда подошел дядя Вася и, покрутив головку шпинделя, коротко бросил:

— Перебрать придется. Видишь — бьет!

Антон ничего не видел, но уже знал, что проверка «биения» производится на особых, микронных часах, индикаторе, а дядя Вася определил это на глаз! Пришлось начинать все сначала.

Постепенно Антон овладевал своим делом. Вместе с огорчениями это приносило радости и растущую уверенность в своих силах. В этом очень помогала ему и дружба с Валей Печенеговым. Антон переставал чувст-

вовать себя оторванным от всех, «комаром-одиночкой», и постепенно втягивался в жизнь цеха — участвовал в лыжном походе, написал заметку в стенгазету и даже выступил на собрании. Этим он с гордостью поделился с писателем Шанским, когда тот приехал его навестить и расспросить о его теперешнем житье-бытье.

Но были случаи, которые, наоборот, воскрешали готовые было совсем исчезнуть настроения настороженности и отчужденности.

Однажды дядя Вася послал Антона в инструментальную кладовую за напильниками, но кладовщица не выдала инструментов и, как показалось Антону, подозрительно на него поглядела.

Другой раз подсобная рабочая, тетя Паша, при всех обругала Антона жуликом. Дядя Вася прикрикнул на нее и объяснил Антону, что у тети Паши такой характер: если дома с мужем поссорится, то на первом встречном готова зло сорвать, весь завод перевернет. А все-таки Антону было очень неприятно.

И, наконец, третий раз обида была так велика, что дурное настроение Антона заметила Марина.

— Что у тебя?

— Ничего.

— Ну зачем ты врешь, Антон? Как тебе не стыдно? Ведь я все вижу.

И Антон вынужден был рассказать, что у них в цехе стали пропадать то деньги у рабочих, то вещи, то инструменты.

— Ну и что?— спросила Марина.

— Как «что»? Ты же понимаешь!.. Ведь люди-то думают...

— Кто?.. Тебе это сказали?

— Нет.

— Так почему же ты сам думаешь? Я сердиться буду, Антон!

Но сердиться она не могла — Антон каждый раз приходил все более удрученным. Правда, он старался делать вид, будто все хорошо, но Марина чувствовала, что он притворяется.

Так продолжалось больше недели. А потом вдруг он приходит совсем другой, сияющий.

— Ты знаешь? Нашли!

— Что нашли?

— Того! Гада! Эх, мне не дали, я бы его сразу выучил. А то теперь товарищеский суд, видишь ли, хотят устраивать.

— Так на тебя-то, значит, не думали?

— Оказывается, и не думали. Он давно на подозрении был.

— Так почему же ты себя мучаешь? Дай уши!

Марина шутливо дерет его за уши, и оба смеются.

Ее главной заботой было снять бремя с души Антона, ей так хотелось, чтобы он обо всем забыл! Она неодобрительно смотрела поэтому на его переписку с друзьями по колонии и недовольно морщилась, когда он что-нибудь рассказывал о ней.

— Не хочу о них ничего слушать. Молчи! — говорила она.

Нехотя, поджав губы, она согласилась прочитать и письмо от Славы Дунаева.

Он писал, как поступил на работу, как отказывал ему в том тот самый начальник, который когда-то «осложнил ему жизнь», и как Слава добился своего и «связал концы» — выговорил начальнику все при всех, прямо глядя в глаза. Дальше Слава писал, что он начал готовиться в школу для воспитателей, о которой мечтал, и вот его встретили старые дружки и стали втягивать опять в свою компанию, а когда он наотрез отказался, напали на него и избили.

«На меня сыпались удар за ударом, но я не думал обороняться. Моя душа настолько перегорела в переживаниях за прошлое, что эти удары я ощущал так, как после знойного дня будто неожиданно пошел дождь, и я наслаждался этим дождем. Теперь с ними все кончено, будем набирать высоту».

— Вот это да! Это парень! — воскликнула вдруг Марина. — И это тебе урок! Да, да! Набирать высоту! И довольно тебе носиться со своими переживаниями!

Вместо ответа Антон продекламировал:

> **Перед собой я сам теперь в ответе,**
> **Мой приговор указом не сотрут.**
> **И мне страшнее всех судов на свете**
> **Мой собственный и беспощадный суд.**

— Что это? Откуда? — спросила Марина. — Послушай, в самом деле, Антон, довольно! Ты все искупил, и на все

нужно ставить точку. Нужно набирать высоту. Бери себя в руки и поднимай голову, вступай в комсомол и становись в общие ряды.

— Какой комсомол? Кто меня туда примет? — почти испугался Антон.

— А почему? Что у вас, в комсомоле, ребята такие формалисты?

— Ну, что ты? Ребята хорошие... Мне Валька Печенегов уже предлагал.

— Так что же ты? Сам не хочешь?

— Как так не хочу? А только...

— Опять «только»? Брось прибедняться, Антон! Слышишь, Антон? Я тебя любить такого не буду.

Антон понимает, окончательно понимает, какое для него счастье — Марина.

40

Так прошла зима, весна и наступило лето. Москва готовилась к приему гостей. Со всех концов земли должна была съехаться в столицу молодежь, вестники мира и дружбы, на шестой, Московский фестиваль. К этому готовились все: чистили и украшали город, готовили подарки, сувениры, каждый думал о том, как лучше, радушнее, теплее встретить гостей.

Мир и дружба!

Готовились и Марина и Антон: Марина записалась в хор молодых строителей, а Антон вступил в бригаду содействия милиции, чтобы в дни фестиваля следить за теми, кому вздумается нарушить порядок.

Но праздник праздником, а дело делом. Страна продолжала работать — косить, пахать, убирать хлеб, ковать, сверлить, выпускать машины и строить. А по планам, утвержденным в Кремле, где-то там, в глухой сибирской тайге или на дальневосточных сопках, а может быть, на берегу Енисея или в полярной тундре, на вечной мерзлоте, нужно было ставить новый город или прокладывать железную дорогу, или сооружать электростанцию. И там нужны были люди, молодежь. Клич дошел до каждого завода, стройки и до каждого честного сердца, дошел и нашел там такой же честный и искренний отклик.

— Ты знаешь, Антон! У нас в комсомольской организации путевки есть — в Сибирь.

— В Сибирь?

— Да, в Сибирь. На стройку.

— Ну и как?

— А ты как?

— А я не знаю, у нас что-то молчат.

— Узнай.

Антон пошел в комитет комсомола.

— Путевок нет, на наш завод не дали,— сказали ему там.

— А если я хочу?

— Узнаем в райкоме. Зайди через денек-другой.

Зашел через денек-другой.

— Нет путевок. Не дают.

— А если я хочу?

— Ну мало ли что хочешь. Нельзя!

Антон не может поймать взгляд девушки, которая с ним разговаривала, и вдруг все понимает...

— А к секретарю можно?

— Пройди.

Антон идет к секретарю райкома.

— Я хочу на стройку. Почему мне говорят: нельзя?

— Значит, нельзя!— отвечает секретарь.

— Потому что я судимый? Да?

Секретарь поднимает на него глаза.

— Ты пойми... Как тебя? Шелестов твоя фамилия? Пойми, что туда требуются самые проверенные и... надежные люди.

— А я ненадежный? — и голос Антона ломается.

— Я этого не говорю, но... Как комсомолец, ты совсем молодой, а к тому же...— Секретарь разводит руками.— Согласись, это же государственное дело. Мы в прошлом году послали таких вот, а потом нам же и попало по шапке. Они там чего-то натворили, а нам попало. Видишь? А работать везде можно, чего ты расстраиваешься?

Но Антон во что бы то ни стало хотел добиться своего.

— Они там за свою шапку боятся, а для меня это жизнь, дело чести! — говорил он Марине.— И не просто путевка, мне работа нужна, такая работа, чтобы во всю силу. Я прошел все факультеты жизни, и мне хо-

чется сделать такое... Я не знаю!.. Ну, чего никто не сделает! Ты понимаешь! Ты одна понимаешь меня, Марина!

— И добивайся, Антон! Молодец! Ты иди! Ты вплоть до ЦК иди!

Антон ходил и добивался и действительно вплоть до ЦК комсомола дошел и добился.

Оставалось последнее препятствие — родители.

Разговора с ними Марина боялась больше всего. Но, очевидно, ее предыдущие бои сыграли свою роль, и теперь ей пришлось легче. Отца она обезоружила тем, что напомнила ему его же слова: «Кто хочет сам пожить, а кто — чтобы всем жилось хорошо и счастливо. В этом — все дело, основное различие». Георгий Николаевич прослезился, торжественно сказал:

— Я горжусь тобой, Мариночка!

А глядя на мужа, не очень спорила теперь и Екатерина Васильевна.

Зато решительно восстала против их отъезда Нина Павловна.

— Зачем! Ну куда тебя несет? — говорила она Антону.— Чем тебе плохо дома? Работа, квартира есть, уход есть,— что тебе еще нужно? А ты о матери думаешь? Я так настрадалась из-за тебя!

«Я так настрадалась из-за тебя...» На это он ничего не мог возразить. Это обезоруживало; имел ли он, действительно, право уехать и бросить ее одну? Ведь у нее теперь никого нет!

Он высказал все это Марине, и она не могла не согласиться с ним: Нине Павловне, конечно, будет трудно. А ему? Антону?

Марина не может решить этого вопроса. Как быть? У Нины Павловны — правда. А разве у Антона не правда? У него и дома сейчас хорошо, и на заводе хорошо, но разве он может удовлетвориться простой, тихой жизнью?

Марина идет к Нине Павловне и говорит с ней по душам.

— Ты понимаешь, Марина! — возражает Нина Павловна, вытирая слезы.— Ведь он — все, что осталось у меня в жизни. Все! Придет время, ты сама будешь матерью, и лучшей, конечно, матерью, чем я. И ты поймешь меня!

— А я понимаю вас и сейчас! Нина Павловна! Родная! Но поймите и вы! Антон не может иначе! Он такой! Я вспоминаю, каким я его впервые узнала когда-то, в школе, каким я его к директору отвела и какой он теперь. Он — другой. У него глаза чистые. Он теперь просветленный какой-то, и ему все мало, мало! Он искупить хочет! Вы понимаете? Ему подвиг нужен. Нина Павловна! Он не может иначе. Честь! Теперь ему дороже всего честь!

Нина Павловна тихо плачет, и возразить ей нечего.

— Ну, дай я тебя поцелую!— говорит она Марине.— Умница ты! Люби его! А я... Ничего! Я буду опять возиться со своими подшефными. Для меня ведь это тоже искупление. А потом... Потом и я, может быть, к вам приеду.

— Ну конечно, Нина Павловна! Конечно! Мы устроимся, тогда и вы приедете!

Так и решили. Начались сборы. Тут уже вступили в свои права матери: Екатерина Васильевна и Нина Павловна встретились, не сразу разговорились, потом поплакали, а затем, вытерев слезы, стали составлять список, что нужно взять с собой ребятам.

А тут — фестиваль, город украшается флагами, флажками и лозунгами, и в петлицах, на платьях людей появляется пятицветная розетка фестиваля, и на стенах домов плакатные девушки, юноши всех стран мира пляшут вокруг увитого лентами земного шара.

Мир и дружба!

В последний вечер перед отъездом Антон и Марина гуляли по городу. В центре, против Большого театра,— высокая разукрашенная мачта с флагами, на площади Дзержинского — ковер-самолет, на площади Восстания — макет: развалины, разбитая, полуразрушенная стена и надпись: «Не бывать этому!»

Конечно, не бывать! Не допустить! Не допускать! Обуздать опустошителей земли и разрушителей мира! И строить, и украшать ее, нашу планету! И пусть символом этой жизни будет вонзившийся в небо, золотистый, сверкающий на солнце вот этот шпиль высотного здания!

Как жалко уезжать из такой Москвы!

...Но вещи собраны, билеты на руках,— пора в путь.

Поезд отправлялся с Ярославского вокзала. Народу на перроне множество — одни едут, другие провожают, а некоторые просто смотрят. Еще бы: на вагонах красные полотнища: «На Восток!», «Едем строить!», «Не пищать!»

— Не пищать! — в тон этому говорит и писатель Шанский, пожимая руку Антону.

Он тоже пришел пожелать ему счастливого пути.

Он хотел бы много сказать этому на его глазах развернувшемуся в плечах парню с красивыми, заново отросшими волосами. Но говорить сейчас некогда, да, пожалуй, и не к чему. Человек прошел через мучительные водовороты жизни и теперь выходит на стрежень, на прямое и сильное течение: плыви, греби и не сбивайся с курса, покоряй открывающиеся перед тобой дали и смелее входи в щедрое, чистое племя созидающих — и жизнь, и себя, и судьбу.

А кругом обычная перронная суета — последние разговоры, советы, улыбки, слезы. Там — баян и песни, а вот девушка сдернула косынку с плеча и пошла — платье колокольчиком, берегись, каблуки,— «давай «русскую»!».

Потом прощание и последние взмахи рук. Вагон немного качнуло, и все поплыло назад — и гармонист, и Георгий Николаевич, и Екатерина Васильевна, и Шанский, и дядя Вася, и Печенегов, и вытирающая слезы Нина Павловна. Поехали!

Все-таки это было событие: они ехали из прошлого в будущее! И разве можно было просто так вот: сесть и болтать, или лечь спать, или открыть сумку и начинать закусывать? Это было большое событие!

Антон с Мариной стояли у окна и смотрели. Впереди была новая жизнь — может быть, тайга и большие переходы в ней, строительные леса и жизнь в палатках. Ну что ж — в палатках так в палатках! А Москва уходила назад: дома, заводы, железнодорожное депо, купола и шпили Сельскохозяйственной выставки. Яуза. Солнце садилось в облака и проглядывало сквозь них, как уголек. Мимо проскакивали платформы, дачные поселки, рощи. Вот поезд прогремел по мосту, и в сумрачном еловом лесу мелькнула платформа «Абрамцево».

Антон вздрогнул. Как он забыл? Ведь он совсем забыл, что они едут по этой дороге, по тем памятным, страшным местам!

Но в этот момент пальцы Марины легли на его руку. Она ничего не сказала, только тронула. Антон взглянул на нее и отошел от окна.

1955—1960

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Александрович Медынский
ЧЕСТЬ
Повесть

Редактор **Н. Сафонов**
Художник **В. Красновский**
Художественный редактор **В. Покусаев**
Технический редактор **Л. Киселева**
Корректоры **В. Марычева, З. Князькова**

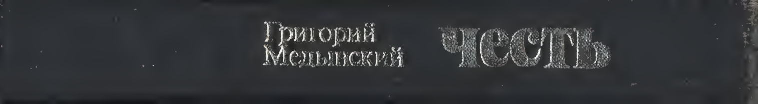
Сдано в набор 9/VII-1976 г. Подписано к печати 26/XI-1976 г. А09229. Формат изд. 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 14. Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 24,44. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1318. Цена 1 р. 02 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении, направлять по адресу:
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»


Григорий
Медынский
Честь